

ГЛОДЫ



Я ВОЗЬМУ САМ ГЛОДЫ

Я ВОЗЬМУ САМ

ЭКСМО

Я ВОЗЬМУ САМ



Перед нами — поэма. Ведь аль-Мутанабби, главный герой романа, — поэт, пусть даже меч его разит без промаха; а жизнь поэта — это его песня. Но, кроме того, поэт и сам Олди — читая роман, не замечая разницы между плавно льющейся прозой и мерным ритмом восточных стихов. “Я возьму сам” — блестящая аллегорическая поэма о судьбе эмира и едва ли не шахиншаха, отринувшего меч, чтобы войти в историю в качестве поэта. Потому что меч — наваждение, посланное черной магией фарра; и сколь ни завоевывай Кабир мечом, это не оживит запертых в нем марионеток. Силой обладает лишь песня; аль-Мутанабби обретает настоящую жизнь, а поэт Олди окончательно побеждает фантаста Олди...

А. Калашников

БЕЗДНА ГОЛОДНЫХ ГЛАЗ. Книга 1. ДОРОГА

БЕЗДНА ГОЛОДНЫХ ГЛАЗ. Книга 2. ОЖИДАЮЩИЙ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ

БЕЗДНА ГОЛОДНЫХ ГЛАЗ. Книга 3. ВИТРАЖИ ПАТРИАРХОВ

ГЕРОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН

ГРОЗА В БЕЗНАЧАЛЬЕ

ДАЙТЕ ИМ УМЕРТЬ

ИДИ КУДА ХОЧЕШЬ

МАГ В ЗАКОНЕ. Часть 1.

МАГ В ЗАКОНЕ. Часть 2.

МЕССИЯ ОЧИЩАЕТ ДИСК

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ. Книга 1. АРМАГЕДДОН БЫЛ ВЧЕРА

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ. Книга 2. КРОВЬ ПЬЮТ РУКАМИ

(в соавторстве с А. Валентиновым)

НОПЭРАПОН, ИЛИ ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ

ПАСЫНКИ ВОСЬМОЙ ЗАПОВЕДИ

ПУТЬ МЕЧА

РУБЕЖ. Книга 1. ЗИМОЮ СИРОТЫ В ЦЕНЕ

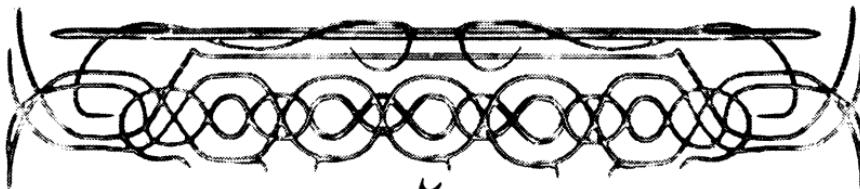
РУБЕЖ. Книга 2. ВРЕМЯ НАРУШАТЬ ЗАПРЕТЫ

(в соавторстве с А. Валентиновым, М. и С. Дяченко)

СЕТЬ ДЛЯ МИРОДЕРЖЦЕВ

Я ВОЗЬМУ САМ

Нашему читателю
Аллиг + Граф = H.L.Oldie



ГЕНРИ ЛАЙОН ОЛДИ

Я ВОЗЬМУ САМ

ЭКСМО-ПРЕСС

2 0 0 1

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
О 53

Разработка серийного оформления
художников *Анту* и *Николая Симкина*

Художник *А. Дубовик*

Олди Г. Л.
О 53 Я возьму сам: Роман. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — 480 с. (Серия «Нить времен»).

ISBN 5-04-004341-4

Они слушают меня, открыв рты, они внимают тому, что выше нас, выше всех, они берут твой Кабир вместе со мной, заново, — посмотри в их глаза, мертвый череп! Там клубами плещет дым горящей столицы, там сшибаются всадники, там в стенном проломе бьются последние защитники Кабира; их взгляды полны огня и стали, их взгляды — зеркала, их души — зеркала, их жизнь, исковерканная тобой, — зеркало, где теперь отражаюсь я-настоящий, я-живой, я-подлинный...

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-04-004341-4

© Олди Г. Л., 2000
© Оформление. ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 2000
© Иллюстрации. Дубовик А., 2000

До каких я великих высот возношусь
И кого из владык я теперь устрашусь,
Если все на земле, если все
в небесах —
Все, что создал Аллах
и не создал Аллах,
Для моих устремлений — ничтожней,
бедней,
Чем любой волосок на макушке моей!

Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби

Есть такие призраки, что приходят между явью и сном.

«Ну что это за свинство?! — хрюплю бормочешь ты, натягивая одеяло на голову. — Просто безобразие! Эй вы там — я вас что, для этого выдумывал? Для этого, да?! А ну живо, кыш отсюда!»

Шаги. Скрипят половицы, чужое дыхание перышком касается щеки, щекотно, щекотно... у дальней стены тихо смеются. Хрустальные колокольцы откликаются щемящим вздохам сквозняка; ты пинаешь ногой наугад, промахиваешься и обнимаешь подушку истово, как обнимают желаннейшую из женщин.

На кухне звякает посуда.

Пахнет чаем: крутым, свежезаваренным... чаем пахнет.

— Призываю в свидетели чернила, — бормочешь ты, не ведая, чтотворишь, — и перо, и написанное пером! Эй, свидетели: я сейчас встану, и никому мало не покажется! Вы слышите... вы... слышите...

Есть такие места, куда попадаешь между сном и сном.

Песок струится меж пальцами, уходя в песок; желтые крошки бытия, и белые крошки бытия, а еще, говорят, бывают черные, красные... Стойте! Куда вы?! В горсти вода — те хрустальные колокольцы, что совсем недавно заигрывали со сквозняками,

обрываются крупными каплями, и остается лишь вытереть мокрой ладонью лоб.

«Ну что это за свинство?! — Ты идешь по берегу реки, ругаясь в такт шагам всеми бранными словами, которые успело выдумать человечество за века существования; и еще добрым десятком слов, человечеству неизвестных. — Эй вы там — дадите мне выспаться, в конце концов, или нет?! На кой я выдумывал эту речку, и эту пустыню, и эти горы (что, уже горы?! м-мать!..)?! Для чьей забавы: моей или вашей?! Вот сейчас проснусь — и всех к ногтю... всех... к ногтю...»

Ветер смеется в лицо, мелкий щебень норовит забиться в башмаки, сосны на взгорье текут смолистым ароматом, и вместо одеяла остается лишь натянуть на голову серую пелену дождя.

Шаги.

За спиной.

Ты обрачиваешься: никого.

Одни шаги.

— Призываю в свидетели серые сумерки, и ночь, и все то, что она оживляет, — бормочешь ты, лишь бы заглушить проклятые шаги, лишь бы не слышать этого шарканья стертых подошв. — Призываю в свидетели месяц, когда он нарождается, и зарю, когда она начинает аlete... призываю! Эй, свидетели: имейте в виду, в следующий раз я напьюсь до того волшебного состояния, когда сны шаражаются от перегара на сто поприщ! Имейте... в виду...

Есть такие слова, что начинают звучать между сном и явью.

Безумие воцаряется кругом: лепет младенца, крик страсти, вопль влюбленного ишака, старческое бормотанье, гнусаво пришепетывает мелкий плут, взахлеб плачет женщина, выталкивая из себя комки отчаянья. «Да чтоб вас всех! — надрываешься ты, не слыша собственного голоса, ощущая лишь боль, жгучую боль в горле. — Заткнитесь! Онемейте! Клянусь: всем языки вырву!.. всем... всем...»

Слова испуганно разбегаются, чтобы из углов
тыкать в тебя пальцами.

— Призываю в свидетели день Страшного Суда и
укоряющую себя душу. — Остается лишь взять
руки к потолку, прекрасно понимая всю бесполез-
ность жеста. — Призываю в свидетели время, нача-
ло и конец всего, ибо воистину...

— Ибо воистину человек всегда оказывается в
убытке, — отвечают они, уходя.

Призраки, места, слова...

— Всегда? — спрашиваешь ты у них.

Нет, правда? — спрашиваешь ты у них.

— Постойте! — И они останавливаются на по-
роге.

Есть такая жизнь, что начинается между явью и
явью.

КНИГА ПЕРВАЯ

ФАРР-ПА-КАБИР

Во имя Творца, Единого, Безнадежного, да пребудет его милость над нами! И пал Кабир белостенный, и воссел на завоеванный престол вождь племен с предгорий Сафед-Кух, неистовый и мятежный Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби, чей чанг в редкие часы мира звенел, подобно мечу, а меч в годину битв пел громко и радостно, слагая песню смерти...

То, что гнало его в поход,
Вперед, как лошадь — плеть,
То, что гнало его в поход,
Искать огонь и смерть,
И сеять гибель каждый раз,
Топтать чужой посев —
То было что-то выше нас,
То было выше всех.

*И. Бродский.
«Баллада Короля»*

КАСЫДА О НОЧНОЙ ГРОЗЕ

О гроза, гроза ночная, ты душе — блаженство рая,
Дашь ли вспыхнуть, умирая, догорающей свечой,
Дашь ли быть самим собою, дарованьем и мольбою,
Скромностью и похвальбою, жертвою и палачом?
Не встававший на колени — стану ль ждать
чужих молений?
Не прощавший оскорблений — буду ль гордыми прощен?!

Тот, в чьем сердце — ад пустыни, в море бедствий
не остынет,
Раскаленная гордыня служит сильному плащом.
Я любовью чернооких, упоенем битв жестоких,
Солнцем, вставшим на востоке, безнадежно обольщен.
Только мне — влюбленный шепот, только мне —
далекий топот,
Уходящей жизни опыт — только мне. Кому ж еще?!

Пусть враги стенают, ибо от Багдада до Магриба
Петь душе Абу-т-Тайiba, препоясанной мечом!

Глава первая,

*где излагаются сожаления по поводу ушедшей молодости,
слышится топот копыт и бряцанье клинков, воспеваются
красавицы и проклинаются певцы, но даже единственным словом
не упоминается о том, что всякому правоверному в раю
будет дано для сожительства ровно семьдесят
две гурии, и это так же верно, как ваши сомнения
относительно сего*

1

ыжая кобылица зари, плеща гривой,
стремительно неслась в небо. Словно хотела пробить первый свод, как следует
тряхнув подвешенные на золотых цепях
звезды, и ворваться туда, где ангелы в во-
площении животных предстоят перед
Всевышним за разных зверей. Туда, где
бродит одиноко белоснежный петух, чей
гребень касается опор неба второго —
хоть пятьсот лет пути разделяет небеса! — и про ко-
торого сказано: «Есть три голоса, к коим Аллах всег-



да преклоняет свой слух: голос чтеца Корана, голос молящего о прощении и кукареканье сего петуха». Ибо все твари земные просыпаются от его пенья (кроме человека), а прочие кочеты поют «аллилуйя» тем же тоном, что и белый гигант.

Говорят, в преддверии Судного Дня смолкнет великий провозвестник зари, сложит крылья и нахохлится, а следом за ним онемеют все петухи земли; и это будет знаком скорого конца мира.

Несись, рыжая, тешь себя несбыточными надеждами, пока есть еще время, платайся в яростной скачке над минаретами Басры и Куфы, дворцами аль-Андалуса и острова Вахат, садами Исфахана и Хуресона — гони!..

...Человек у ночного костра невесело ухмыльнулся. Поворотил угли палкой с завитком на конце, похожим на вытянутую букву вав, и в ответ иные буквы зарделись, заплясали в очнувшемся пламени — алиф, мим, нун, син, каф... ты, гроза, гроза ночная... Заревая кобылица пока что существовала лишь в воображении человека, до бега ее оставалось не меньше трех часов, а реальность была совсем иной: костер, который пришлось разводить заново, ежеминутно поминая шайтана над сырьими дровами. Гроза промочила одежду до нитки, бурнус пришлось дважды выкручивать, и в итоге сухими остались лишь нижние шаровары из кожи, пропитанной овечьим жиром, да еще упрятанный на дно запасного выюка уккаль — головной убор бедуинов.

Полотнище ткани и витой шнур, удерживающий покрывало на голове.

Человек еще раз усмехнулся. Уккаль подарили ему те, кто сейчас рыскал по пустыне в надежде залить пожар ненависти кровью беглеца. Смешная штука — жизнь. Все прекрасно знают, куда влечет нас течение, и тем не менее каждый надеется, что именно его забросит в иное русло. Вчера ты грел зад

на атласных подушках, а черноглазая гурия несла тебе чашу шербета или запретный плод виноградных лоз, сегодня тебя ждет дырявый ковер, вытканный еще во времена Яджуджа и Маджуджа, и вместо гурии с чашей ты вынужден довольствоваться старухой-фазариткой со щербатой плошкой, где плещется верблюжье молоко. Но пройдет день или час, и явление ангела смерти Азраила, чьи ужасные глаза отстоят друг от друга на семьдесят тысяч дневных переходов, заставит добрым словом помянуть щедрую дочь Бену Фазар — и что с того, что ее предки после смерти пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) отпали от истинной веры, возвратясь к племенному идолу Халлялю?! Только что твой рот набивали жемчугами, превращая каждое сказанное тобой слово в блестящую бусину, но вот уже твой сладкоречивый рот, твою сокровищницу, готовы доверху набить собачьим дерьмом, ибо сказал не то, чего ждали, и не так, как ждали! Старый мерин, кричат они вслед, крепость паскудства, дитя вони и слепоты... ты хватаешься за меч, но они разбегаются, гнушаясь честным боем, и ты остаешься один на один с обидой.

Стрелы поношений, оперенные наилучшими сравнениями, с наконечниками из самых изысканных рифм от Йемена до Моря Мрака, где плавают наводящие страх глыбы льда, падают в пустоту, не найдя цели — о, они убегают, а «старый мерин» и без рифм звучит громче и противней ослиного рева...

Как же ты был прав, еретик и скряга Абу-ль-Атакия, чье прозвище-кунья означает «Отец Безумия», умерший за девяносто лет до моего рождения, не-превзойденный мастер жанра «зухдийят» — стихов о бренности жизни:

Вернись обратно, молодость!
Зову, горюю, плачу,
свои седые волосы
подкрашиваю, прячу,
как дерево осеннее

стою, дрожу под ветром,
оплакиваю прошлое,
впустую годы трачу.
Приди хоть в гости, молодость!
Меня и не узнаешь,
седого, упавшего
последнюю удачу.

Человек собрался было усмехнуться в третий раз,
но раздумал.

И правильно, в общем, поступил.

Улыбка давно не красила его, лишенного изрядной части зубов, и среди них — двух передних. Их выбил тупым концом копья один ревнитель чести из племени Бену Кельб, столь же горячий, сколь и опрометчивый. Ведь если его сирийские праотцы действительно придерживались веры креста до того, как обратить свой слух к воззваниям пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), то почему об этом нельзя сказать вслух?! Сказать ясно и просто, не рискуя лишиться передних зубов и поссориться затем со всеми кельбитами — о нет, не из-за их прошлого, но из-за безвременной гибели пылкого соплеменника! Ведь если не вовремя высказанная правда стоит славного удара, то заплатить ударом за удар вдвойне достойно! Возгласил же пророк Иса: «Не мир я вам принес, но меч!», и спустя шесть веков с лишним Мухаммад, последний из пророков, повторил при многих свидетелях: «Меч есть ключ к небу и аду».

Да, меч... Человек посмотрел на свою левую руку, до сих пор сжимавшую палку с завитком в виде буквы вав. Вместо безымянного пальца красовалась уродливая кульяпка, а на среднем не хватало одной фаланги. Впрочем, палец не голова, а шрамы украшают мужчину. Вон, на шее, и еще на скуле, и еще под ключицей. Драгоценности, не рубцы! Сокровища. Так говорят сами обладатели шрамов, но с ними редко соглашаются стройные газели тринацати лет от роду, предпочитая изрубленным ветеранам пухлощеких юношей с усиками чернее ам-

бры. Вот ветеранам и приходится брать газелей силой, утешая себя глупыми пословицами. Пятьдесят лет — плохой возраст для костров под ночных ливнями, особенно в тех краях, где впустую потраченная капля воды воспринимается как личное оскорбление. Давно, давно пора было оstepениться, осесть где-нибудь... да хоть в том же Дар-ас-Саламе! Осесть, купить дом, восхвалять халифа и ближних его, подставляя открытый рот за жемчугом или динарами, поносить скучных, вышибая подачки острозвучием, вести беседы с закадычным другом, прожорливым неряхой Абу-ль-Фараджем Исфаханским, в надежде попасть в «Книгу песен» последнего, наконец, бросить воспевать дев и битвы, вспомнив о брёnnости тела и вечности души...

Увы, человек никогда не считал себя мастером жанра «зухдийят». Душа не лежала. Собственно, желание освоить этот жанр (вопреки велению сердца, зато по настоянию плеших умников) и погнало его сперва на Шамийские равнины, а потом сюда, в пустыни Аравии, или, как говаривали персы, Степь Копьеносцев. Где, если не здесь, сохранился неиспорченный язык бедуинов, язык Корана и поэтов «джахилий»?! — тех времен, когда неистовый Мухаммад еще не родился, чтобы принести верующим слово истины.

Язык восхвалений и поношений, язык правды, язык открытого сердца.

Человек боялся признаться самому себе, что дело не только в этом. Перекати-полё — вот кто он такой. Просто Аллах спросонья моргнул невпопад, и некий младенец в глухом селении близ Куфы родился намного позже правильного срока. Лет эдак на четыреста. Или на пятьсот. Пусть прикусят языки те, кто зовет сии благословенные дни прошлого Эрой Невежества, пусть прикусят до крови, или нет! — пусть лучше вспомнят, чьи семь касыд, где каждое слово благоуханней мускуса, были подвешены к стенам святой Каабы! Пусть вспомнят

грозного Имру уль-Кайса, прозванного Скитающимся Царем, пусть их устрашит видение чернокожего Антары, Отца Воителей, пусть остальные пятеро великих поэтов-бойцов Эры Невежества на миг скинут погребальные покровы и явятся к хулиителям из скрежета зубовного или райского блаженства, где бы они сейчас ни были! Вот когда надо было рождаться, вот с кем надо было ехать бок о бок в походе и набеге, вот с кем стоило состязаться в красноречии и остроте копья...

Где Медный город и Долина гулей, талисманы ифритов и летающие кувшины колдунов, где поединки храбрецов и красавицы-пери, смущающие сердце и похищающие рассудок... и наконец — откуда под горбатым небосводом такое обилие серой слякоти, лишь по недоразумению судьбы именующейся сынами Адама?!

Аллах, куда ты смотришь?!

Человек вздохнул и поднял голову. Умытое грозой небо отливало у горизонта лиловым, и падающие звезды расчерчивали его вдоль и поперек, превращая в драгоценную кашмирскую парчу. Сегодня была ночь правоверных джиннов, сегодня духи, созданные из чистого огня, старались украдкой заглянуть в горние сферы, а ангелы швырялись в дерзких соглядатаев метеорами, отпугивая от запретного зрелица. Видимо, какой-то из вождей джиннов в дерзости своей сунулся дальше обычного — ослепительная молния заставила светильники небес поблекнуть, а вместо грома донеслось рычание Ангела Мести и перезвон раскаленных цепей, грудой сваленных у подножия его престола. Свод над головой затопило овечьим молоком, потом осыпало пеплом и ржавчиной, но джинны отпрынули, рык стих, и лишь холодный порыв ветра налетел с запада.

Будто вздох бездонной пропасти.

Крохотный оазис, давший приют беглецу, вздрогнул до основания, испуганно плеснула влага в водоеме, обнесенном каменными плитами, и колючие

акации зашептались, затрясли в испуге ветвями, роняя редкие капли.

Тишина.

Лиши храпят недовольно две лошади: низкорослая тихамитка, чья доля — тяжесть выюков, и тонконогая кобылица с белым пятном во лбу, напоминавшим звезду Сухейль.

— Наама! — еле слышно позвал человек.

Кобылица встрепенулась, зафыркала, и человек помахал ей рукой. Левой, искалеченной, которая до сих пор сжимала палку с завитком в виде буквы вав. Он сам дал кобылице, гордости джизакских табунов, это имя — Наама. В честь страуса-бегуна, чьи ноги способны мерить пески так же споро, как купец меряет дареный тюк шелка; и еще в честь знаменитой кобылицы прошлого, из-за которой вожди племен спорили долго и обильно, заливая кровью окрестные земли.

Пора было собираться в путь.

Пора было сунуть голову в пасть льва.

Рыжая кобылица зари, плеща гривой, стремительно неслась в небо. «Наама!» — позвал кто-то снизу. Заря не обернулась, как не оборачивалась и раньше, в славные времена джахилийи, времена поэтов, бойцов и безбожников, о которых тосковал ночью человек у костра.

Аль-Мутанабби Абу-т-Тайиб Ахмед ибн аль-Хусейн из племени Бану Джуф.

Что значит на языке Степи Копытносцев, языке остром, как меч, и «звонком», как меч: Выдающий-Себя-За-Пророка, Отец Всадников рода Тай, Ахмед, сын аль-Хусейна из южных арабов, рожденный близ благословенной Куфы.

А на земле полновластно царил 354-й год со временем «Бегства пророка», или 965-й год от рождения пророка Исы, как привыкли считать люди креста.

«С детства ненавижу удачливых», — подумалось Абу-т-Тайибу, когда из-за дальнего бархана вывернулся такой же одинокий, как и он сам, всадник; и клич радости огласил пески.

Поэт в досаде забыл добавить: «Но удача еще никому не мешала», — ибо клич вполне мог оказаться куда более многоголосым, а встретить одного преследователя, несомненно, лучше, чем дюжину ему подобных.

Будем спорить?

Не узнать всадника пристало лишь слепому: даже самый щеголеватый из бедуинов не станет скакать по пустыне, вырядившись женихом. Кроме разве что жениха. Того самого жениха из маленького, но гордого племени Бену Кахтан, куда Абу-т-Тайиба позавчера чуть ли не силком затащили на свадьбу. Шейхам племени было лестно присутствие на празднике знаменитого поэта, а самым ретивым охота была проверить: сможет ли похититель столичных сердец привести в восхищение привередливых детей пустыни?

— Мадх! — закричали кахтаниты хором, после того как обильные дары были разложены перед гостем. — Хвалебный мадх в честь невесты!

А одноглазый крепыш, слывший меж соплеменниками знатоком прекрасного, добавил с ехидной усмешечкой:

— Хвалебный мадх с «серой» рифмой, как однажды пел Ибрахим Счастливец перед повелителем правоверных, мир им обоим!

Абу-т-Тайиб поднялся, не коснувшись руками ковра, с достоинством поклонился собравшимся и начал, аккомпанируя себе на чьей-то изрядно расстроенной лютне:

Ты горбата и зобата, и меня гнетет забота:
Если будешь ты забыта — не моя вина, красавица!

Ты бежишь быстрее лани, ты бредешь, пуская слюни,
Предо мною на колени скоро встанешь ты, красавица!

О, бока твои отвесны, и соски твои отвислы,
Убежать смогу от вас ли, если...

В упоении «серым» мадхом, чья импровизация требовала от сочинителя всего напряжения душевых сил, Абу-т-Таййб позорно упустил из виду, что шумные знатоки далеко не всегда являются знатоками истинными, и заказчик может быть подталкиваем скорее гонором, нежели знанием тонкостей. Ни одноглазый, ни его соплеменники, как вскоре выяснилось, и понятия не имели о правилах стихосложения. Знай они заранее, что славное восхваление Ибрахима Счастливца началось с описания собачьей подстилки с целью дальнейшего противопоставления ей дворца повелителя правоверных... О, тогда бы они, разумеется, дослушали бы мадх до конца и поняли всем сердцем: их гость намеренно начал с описания верблюдицы, на которой доставили невесту к шатрам жениха, дабы оттенить сим сравнением всю прелесть девушки! Поняли бы, и не стали гневаться, и подарили бы певцу вышеупомянутую верблюдицу вместо того, чтобы ворчать и рычать яростными львами, размахивать мечами и потрясать копьями, швыряться камнями и гоняться за оскорбителем по всей пустыне, обещая сунуть его раздвоенный язык в места много худшие, нежели блюдо с мясом в уксусе!

Ах, и впрямь опасно рассыпать жемчуг перед хрюкающими!

Плащ закона гостеприимства спас Абу-т-Тайиба от немедленной расправы, но едва истек второй час после его бегства, как кахтаниты дружно ринулись в погоню. Впрочем, сперва неудача в поисках, а затем ночная гроза поохладила горячие головы (или кто-то из шейхов вспомнил-таки основы стихосложения, за что хвала создателю миров!) — короче, лишь оскорбленный жених продолжил рыскать меж барханами и оазисами, кусая губы.

Докусался, везунчик.

Догнал.

— О встреча, не позволившая моей желчи разлиться бурным потоком! — заорал бедуин еще издалека, и кобылица Наама злобно откликнулась на ржание бедуинского жеребца. — О стариk, чей вид скверен, образ мерзок, а запах отвратителен! Любойся мною, ибо пробил твой час!

Абу-т-Тайиб вздохнул и понял, что юноша в детстве пересидел у пастушьих костров, слушая «Рассказы о подвигах племени ал-Хилля».

Но, так или иначе, начало требовало продолжения.

— Ты подробно описал мне своего благородного отца, о пылкий жених! — привстав на стременах, крикнул поэт, пытаясь не усложнять поношений лишними сравнениями и образами — для вящего понимания. — Ты лишь забыл добавить, что он в старости делает воздух мрачным и пространство от вони непрозрачным! Давай же теперь вспомним твою славную мать! Правда ли, что, когда она хотела золотой динар, ей давали медный фельс, а когда она просила фельс, то получала рубленый даник? И правда ли то, что когда она просила сына, то получала безродного ублюдка вроде тебя?!

После этого бедуин вместо острых слов швырнулся в оскорбителя копьем, а оскорбитель, уворачиваясь, понял раз и навсегда: жанр «зухдийят», воспевающий добродетель и осуждающий мирскую тщету, воистину недоступен для бедного поэта.

Как райские сады недоступны для хулителей веры, как чалма недоступна для безголового, как...

Вскоре досужие мысли улетучились сами собой, а жеребец араба и тонконогая Наама сшиблись, стараясь вцепиться друг другу в шею.

Легко и весело рубился жених, пьянея от самого опасного в мире хмеля, вкладывая в удары всю не-растраченную юность, весь пыл, которому следовало бы выплеснуться в невестиной палатке — во имя

рождения новой жизни, а не для истребления старой. Бой должен был стать коротким, коротким и ярким, ибо ждать — сердце плавить, а кровь обидчика слаще воды источника Земзем, даря если не бессмертие, то непреходящую славу. Увы, кривой машрафийский меч старика, изготовленный славными оружейниками Йемена, оказался существенно длинней и тяжелее, чем звонкая жениховская альфанга, а сам старик-сквернослов — существенно упрямей и опытней в поединках храбрецов, чем показалось юноше с первого взгляда. Змеи клинов плели в воздухе чудную вязь, рассыпая искры-чешуйки, немела рука бедуина, запаздывая выполнять приказы хозяина, и вот уже ядовитый поцелуй залил бедро алым ручьем, и еще, и снова, а проклятая ко-была вертелась выюном, словно крылатая аль-Борак, что доставила пророка к престолу Аллаха; и еще, и снова... и мнилось, поет небо над головой: «Разящие рифмы в пыли загремят, обученные сразиться — от этих стихов головам врагов на шеях не удержаться!..»

Нет, Абу-т-Тайиб не хотел убивать глупого мальчишку. И жалость была тут совершенно ни при чем. Мало чести, а душа потом воет на луну тоскливым воем, саднит застарелой язвой, словно и не душа она вовсе, и являются из ниоткуда призраки с тусклыми бельмами, сидят рядом до самого утра, безмолвно вопрошая убийцу:

— Зачем?

Пусть его, отлежится, опомнится, свои подберут, невеста выходит... Е рабб, в смысле «Боже мой! Что ж ты делаешь, безумец?!

В самый последний момент жених вдруг застыл в седле каменным изваянием, рисованным красавцем-идолом, запретным для истинно верующих; изрядно выщербленная боем альфанга остановилась на полузвезде — и клинок Абу-т-Тайиба не удержал разбега. Когда голова жениха отделялась от шеи, умирающие глаза все еще смотрели куда-то за епину

поэта, смотрели пристально, испуганно, будто увидев рогатого ифрита или святого бродягу Хызра; но кто в наши времена поддается на дешевые уловки? Поэт благоразумно дождался, пока безглавое тело упадет в песок, и лишь потом обернулся, заранее зная, что не увидит ничего особенного.

Он и не увидел ничего.

На пустыню рушился самум.

Непроглядная чернота задрала подол небу, и насилие свершилось.

3

«Кто я... о-о-о, скажите мне, кто я?!»

«Выдающий-Себя-За-Пророка, Отец Всадников рода Тай; маленький Ахмед, глупый сын аль-Хусейна, ветвь от пальмы гордых арабов юга...»

«Где я?! Где я, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби?!»

Нет ответа.

Лишь хихикает меленько насмешник-невидимка: «В преддверии ада, дружище, — а хуже места и не сыскать, хоть век ищи!»

Тьма обступает, морочит, приникает постылой женою, на зубах хрустит песок, а где-то неподалеку капли воды долбят темя вечности: алиф, мим, нун, син, каф... ты, гроза, гроза ночная...

Капли?

Воды?!

Встать на ноги труднее, чем пешком дойти до легендарной горы Каф, и поначалу приходится двигаться на четвереньках, по-собачьи, в кровь обдирая колени, а потом уже, когда боль становится обжигающим кнутом, рывком подымать себя и, выплевывая хриплый стон, тащиться в темноту, невозможную, небывалую темноту, где пахнет сыростью, а капли не смолкают, бубнят речитативом: алиф, мим...

Надо было идти.

Глава вторая,

*которая есть наилучшая в нашем повествовании,
ибо здесь говорится о безвременной кончине владык
и трудностях, связанных с наследованием трона,
о моргающих глазах мира и долинах гулей-людоедов,
но даже краешком не приоткрывается завеса
над тайной древнего храма Сарта-Ожисдающего,
да сохранит его Аллах и приветствует!*

1

Суришар с ленивым интересом наблюдал за приготовлениями жрецов-хирбедов, вызвавшихся служить проводниками. Перевал как перевал, родной брат предыдущего и двоюродный того, что они миновали три дня назад — морщинистые, изъязвленные ветрами скалы, сквозь которые упрямо ползет змея горной тропы, накручивая кольца: вверх-вниз, вверх-вниз...

В общем, будущий шах совершенно не понимал: зачем хирбедам понадобилось останавливаться именно здесь и с головой погружаться в таинства явно бессмысленного обряда? Подготовка затягивалась на шее удавкой палача, грозя если не смертью, то смертельной скучкой; и вскоре ожидание вдоль и поперек изгрызло печень нетерпеливому Суришару. Даже учитывая, что сейчас его взгляд настойчиво ласкал молоденькую жрицу Нахид. Увы! — будь сей взгляд стократ пламенней, и то остыл бы, расплескавшись по ледяной броне невозмутимости прекрасной хирбеди. Девушка была всесело поглощена разведением ритуального огня на жаровенке-алтаре, установленной поперек дороги, и не обращала на наследника престола никакого внимания.

Впрочем, точно так же она вела себя и в течение всего пути, чем дальше, тем больше раздражая молодого человека. Суришар ценил себя весьма высоко, и не без оснований: знатен, юн, красив, остроумен... что еще? Стихи — как из рога изобилия! Вот, к примеру:

Прости, красавица, и не вини поэта,
Что он любовь твою подробно описал!
Пусть то, о чём писал, не испытал он сам —
Поверь, он мысленно присутствовал при этом!

Ну?! Где славословия?! Где восторги равных и пресмыкание низших?! Все нам по плечу, хоть слово, хоть меч... кстати, о мечах! На ристалище или на скачках приз получить — и тут он один из первых в столице! Отвага? Презрение к опасности? Ха! Кто еще из возможных наследников решился на Испытание, вышел на дорогу, которую должен пройти будущий владыка Кабира? Да никто, кроме него! И быть ему вскорости шахом, а эти унылолицые пусть прозябают...

Женщины от таких молодцов должны быть без ума. И были без ума. И будут. За исключением Нахид-хирбеди. Разумеется, подобное равнодушие «небоглазой» жрицы (а ведь действительно: глаза у девицы — голубые и пронзительные, как небо в горах!) выводило будущего шаха из себя.

Тём более что обета безбрачия жрицы не давали. Сыщется достойный жених — и ладно... а сказок про блудливых хирбеди хоть пруд пруди!

«Ничего, дай срок, гордячка! Вот сяду на престол — возьму в жены. Или лучше в наложницы. Шаху не отказывают, — злорадно думал юноша, лаская яростным взглядом по-звериному изогнувшуюся фигурку жрицы, что припала к алтарю. — А мольбы Огню Небесному пусть плешиевые мудрецы возносят!.. кто на них, кроме Огня, позарится?» — Он покосился на хирбеда, бродившего вокруг Нахид и алтаря с невнятным бормотанием.

Вот этот жрец был правильный: долговязый старец, отменно седой и морщинистый, в плаще шафранового цвета, надетом по случаю обряда поверх изрядно сношенной рясы. Общую благообразность слегка портила бородавка на верхней губе — раздвинув усы, проклятая нагло вылезала, подставляя бока

для всеобщего обозрения и топырясь тремя иссиня-черными волосами, росшими из нее...

Словно почувствовав взгляд Суришара, старец вдруг остановился, коротко взглянул на шах-заде, но ничего не сказал и продолжил свое бесконечное хождение по кругу.

Седой хирбед тоже был «небоглазым», только в его запавших глазницах плескалась не безумная горная синь, а блеклое небо пустыни.

«Так, наверное, и должно быть», — невпопад подумалось шах-заде, и он сам удивился такому странному итогу.

Огонь мало-помалу разгорался, обратив слух, наконец, к уговорам молодой хирбеди, старец без устали наворачивал круг за кругом, бормоча себе под нос свое «хирам, хирам, кирам, пирам» — молитвы? заклинания? просто какую-то ерунду? — и Суришару уже начало казаться, что так было всегда, от сотворения мира, и они торчат на этом перевале уже целую вечность, и будут торчать еще вечность, до скончания времен, и хирам, и пирам, и еще кирам...

— Вставай, шах-заде. Можно ехать.

— А до этого нельзя было? — не удержался Суришар, стряхивая оцепенение и с трудом поднимаясь на ноги.

В колени словно песка насыпали.

— Можно. Но не нужно. И прошу тебя: держись строго между нами.

Юноша презрительно фыркнул, подражая собственному жеребцу, но спорить не стал: как раз в этом месте тропа была достаточно широкой, чтобы по ней бок о бок могли проехать трое конных. Раз жрец говорит «надо» — значит, надо. Вот только — зачем? Спросить? Суришар ловко вскочил в седло, подбоченился и с некоторым удивлением обнаружил, что и старик, и девушка опередили его. Святые покровители! — оба сидят верхом. А вся поклажа собрана

и приторочена к седлам. И когда успели? Сон его сморил, что ли?..

Что-то здесь было не так. Несуразица комом стояла в горле, насмехалась шорохом малой осыпи, горькой оскоминой плыла в воздухе, от которой хотелось закричать во все горло... а тут еще хирбед с хирбеди буквально зажали его коня с двух сторон своими лошадьми. Шах-заде вновь помянул святых покровителей и машинально проверил: легко ли выходит из ножен сабля? Мало ли. Хотя в такой тесноте и не развернешься для хорошего удара...

— Драться не придется, шах-заде, — в холоде голоса Нахид явственно сквозила легкая насмешка. — Оставь саблю в покое и всего лишь держись между нами. В этом месте очень легко заблудиться.

«Да за кого она меня держит, эта гордячка?!» Однако вслух юноша ничего не сказал: пререкаться с женщиной, пусть даже трижды «небоглазой» — ниже достоинства наследника шахского рода!

Тем паче заблудиться на одной-разъединственной тропе в горах, при полном отсутствии развилок... ладно, промолчим!

Старец сухо щелкнул пальцами, будто уличный лицедей-мутриб — кастаньетами, и кони, как если бы только этого и ждали, шагом тронулись с места. Они шли голова в голову, мерно бряцая серебром уздачек, будто на время превратились в единое существо, и Суришар невольно задумался: а что еще может этот немногословный старик с лающим именем Гургин?

Кроме как бормотать и пальцами щелкать...

В следующее мгновение мир вокруг *мигнул*. Другое слово подобрать было трудно, да и не стоило его подбирать, это слово, ни другое, ни третье, как не нужно пальцами сбрасывать набежавшую слезу — веки сошлись, разошлись, словно встретились века, дрогнув ресницами-днями; миг сменился мигом, и вот — жизнь вроде бы прежняя, но без слезы, застившей взор.

И без соринки, что вызвала слезу.

Шах-заде ошарашенно заморгал в ответ, затряс головой, не веря своим глазам. Те же горы, то же небо — вот только внизу, в долине, что открылась по правую руку от путников, возник город! Суришар готов был поклясться: до того, как миру вздумалось мигать, никакого города внизу не было! Да и долины не было. Или все-таки была?..

Лишил сейчас он заметил, что кони уже не держат строй, тропа распухла от сознания собственной значимости, превратившись в довольно торную дорогу, а ладонь самого Суришара крайне глупо закаменела на сабельной рукояти.

— Не беспокойся, шах-заде, — буднично сообщил Гургин, почесывая бородавку. — Осталось совсем немного. К вечеру доберемся до места.

Прозрачное небо опрокинулось само в себя, плотно облегая тропу и всадников на ней; пестрая крупинка ястреба металась в голубизне, оглашая простор хриплым клекотом, и мелкие камни переговаривались друг с другом под копытами.

У наследника престола было много вопросов к проводникам, но юноша прикусил язык: стыдно уподобляться молокососу-несмышленышу, донимающему взрослых глупой болтовней. Поэтому Суришар осведомился лишь с показным безразличием:

— Что это за город, Гургин? Харза? Кимена? Медный город?

Последнее Суришар добавил с явной подковыркой: в Медный город попадали исключительно доблестные витязи, исключительно при помощи колдунов с бородавками где ни попадя и исключительно в сопровождении прекрасных девиц.

Гургин кивнул с абсолютным равнодушием.

— Проницательность шах-заде не имеет пределов. Это именно Медный город. Впрочем, на самом деле он медный не более, чем любой другой. И названия у него нет.

— Как это — нет? — опешил юноша. — Но ведь хотя бы его жители как-то называют свою родину?

— Называют, — во второй раз кивнул хирбед. — Просто Город. Город — и все.

2

Наследник престола честно сдерживался почти час. Потом его прорвало, и сквозь разрушенную плотину выдержки и напускного безразличия хлынул мутный поток вопросов.

— Мы заедем в Медный город, Гургин?

— Заедем, шах-заде. Или не заедем. Если да — то на обратном пути. Если нет — то тоже на обратном. Сначала ты должен пройти Испытание.

— А что это вообще за горы? Ты бывал здесь?

— Бывал. И Нахид бывала. А кличут их по-разному. — Суришар обратил внимание, что после странного перевала старик стал куда более разговорчивым. — Жители Города вообще лишних имен не любят. Просто — горы. Других-то все равно поблизости нет. Местные горцы... ну, тут история особая. Для них гор просто так не бывает, для них горы — это весь мир, а мир целиком и без названия проживет. Разве что части... Вон та вершина, в дымке — Тау-Кешт, за ней Ырташ-ата; а перевал, на котором ты скучал и поминал старого дурака тихим помином, — перевал Баррах. Хочешь — запоминай, не хочешь — выбрось из головы.

— Гургин, а как ты сам здешние места зовешь? Тоже — просто горы?!

— Фарр-ла-Кабир, — отрезал хирбед, поджав губы, и веселый шах-заде осекся.

Словно подзатыльник схлопотал.

Именно здесь, в этих горах без названия, из века в век решалась судьба будущих шахов Кабира. Наследники рода, претенденты на престол и шахский фарр всякий раз гурьбой отправлялись сюда в со-

проводении жрецов Огня Небесного — а возвращался из взыскующих славы лишь один. Шах. Куда девались остальные — никто не знал. Впрочем, хирбеды, наверное, знали. Они-то всегда возвращались в целости и сохранности!.. знали, но молчали.

Однако Суришару подобная участь не грозила. Дивное дело! — на сей раз он оказался единственным, кто отважился пройти Испытание. Значит, исход однозначен.

Шахом станет он.

А вот известие, что юная Нахид уже бывала в здешних местах, оказалось для шах-заде новостью. Когда это она успела? И — зачем? Похоже, «небоглазые» скрывают ото всех целые сундуки тайн, отнюдь не стремясь посвящать в них даже великих правителей Кабира-белостенного!.. Ничего, когда он примерит шахский кулах и перстень-печать, он заставит их развязать языки. Щелкая пальцами или не щелкая — заставит. Всему свое время: и время это уже не за горами. Вернее, как раз за горами! — притаилось в логове, куда они сейчас направляются.

Ждет.

Эй, время, слышишь? — ты дождешься!

Я иду!

«Ду-у-у-у...» — откликнулось эхо прямо в сознании шах-заде, не размениваясь на прогулки меж скалами, и юноша вслушался в самого себя: кто это там насмешничает?

— Ты никогда не рассказывал мне, в чем состоит Испытание, «небоглазый», — вновь заговорил Суришар спустя полчаса. — Здесь водятся гули-людоеды? Дэвы? Горные великаны? Я должен буду сразиться с ними?

— Водятся, — охотно согласился старый хирбед, а бородавке досталась новая доля почесываний. — В изобилии.

В ответ послышалось лошадиное фырканье, и до будущего шаха не сразу дошло, что это Нахид весьма удачно передразнила его самого. Еще и издевает-

ся, девчонка! Ох, дойдут у меня руки, дотянутся, почешут, где чешется!..

Однако, когда юноша скосился на едущую рядом жрицу, вид красавицы-хирбеди был совершенно серьезен.

— Вон за Тау-Кешт, — пальчик Нахид указал на вершину в чалме сизых облаков, — живут хмурые горные великаны. Очень хмурые и очень горные.

— Но мы туда не поедем, — не преминул добавить Гургин, хмурясь почище старейшины всех на свете великанов.

— А долина, куда можно выйти через ущелье по левую руку — владения гулей-людоедов. Там хранится их боевой петух — чьи перья острее копий, а кукареканье заставляет воинов ходить под себя, словно малых детей и впавших в детство патриархов...

— Но туда мы тоже не поедем, — снова уточнил хирбед. Видимо, на всякий случай.

У Суришара начало складываться впечатление, что эта парочка вполне могла бы зарабатывать кучу динаров, теша своими байками чернь на площадях.

— Наискосок от Тау-Кешт, и на треть фарсанга ближе к Городу, расположен древний храм Сарт-Ожидящего. Иногда там noctуют странные люди, чтобы выйти наружу еще более странными. Или не выйти совсем.

— Сарт-Ожидящий? — с интересом переспросил юноша. — Я никогда не слышал о таком боже. Кто он?

— Он не бог. Он — Сарт. Он ждет; и ждет не нас, — резко бросил жрец, скривившись, словно в рот ему попала пригоршня зерен горького колоквinta, сулящего несчастье глупому едоку. — И туда мы уж точно не поедем. Испытание — не самоубийство; вернее, далеко не всегда самоубийство. Потерпи, шах-заде. Умерь горячность. Осталось недолго.

После такого ответа у Суришара напрочь пропало желание пускаться в дальнейшие расспросы, и они продолжили путь в молчании.

3

...Суришар сидел перед входом в пещеру и время от времени бросал взгляд на клоняющееся к закату солнце, ожидая, когда Огнь Небесный утонет в складках чалмы Тау-Кешт. Именно в этот момент он, наследник престола, должен будет войти в шершавый сумрак входа, который поглотит его... надолго ли?

Этого шах-заде не знал.

Сейчас юноша был один: Гургин и Нахид ушли, уведя с собой всех трех лошадей и предупредив, что будут ждать шах-заде у выхода. Ему надо просто пройти через пещеру насквозь и выбраться к ожидающим его спутникам. Только и всего. В этом заключалось Испытание.

«Только и всего!» — мысленно передразнил юную хирбеди Суришар. Без факела тащиться через мутную сырость, где просто обязан поджидать неизвестно кто или что! Сидит небось во мраке, тварь безымянная, потирает клешни, слону меж клыков пускает — желтую такую, тягучую... Только и всего! Правда, старый хирбед клялся, что в пещере отродясь не водилось никаких страхолюдин, кроме темноты — но ведь всякий раз с Испытания возвращался лишь один претендент на трон и фарр! Куда девались остальные? Темнота убаюкала?! Даже если пещера и впрямь пуста, как торба нищего (шах-заде отнюдь не был трусом, но ему очень хотелось верить Гургину), то во мраке вполне можно заблудиться и сгинуть, так и не найдя выхода. Ждите, «небоглазые»! Авось дождитесь... Суришар справедливо полагал, что внутри пещеры должен крыться некий лабиринт — иначе велико ли испытание: пройти по прямой от входа до выхода?!

Нет, на подобное везение он даже не надеялся.

Впрочем, все теперь в руках Судьбы — а еще не было случая, чтобы Судьба отвернулась ото *всёх* претендентов, и шахский престол опустел! А раз так, раз претендент один; как одно солнце в небе, значит, Судьба сама за руку проведет его по всем лабиринтам мира — к будущей славе и величию! Иначе просто и быть не может!

Прия к подобному заключению, Суришар ма-
лость приободрился, и мысли шах-заде игриво свер-
нули в другое русло, уводя в сторону от предстояще-
го Испытания.

Только сейчас до юноши начало доходить, сколь завидная доля ему уготована. Когда скоропостижно скончался его прадед, шах Кей-Кобад, донельзя удивив этим знать и простолюдинов, в столице (да, похоже, и во всем Кабирском шахстве) почти месяц царили растерянность и тихое смятение. Впору до дыр зачесать затылки: шах уходит к праотцам, не до-
стигнув и двухвекового рубежа?! Ведь даже сельско-
му дурачку известно, каков срок жизни великих
шахов, обладателей священного фарра, а если ве-
рить преданиям старины, так и вовсе впору развести
руками! Умереть в сто семьдесят девять лет, в самом
расцвете сил...

О Кей-Кобад!

Поговаривали об отравлении или ином тайном умерщвлении, но слыханное ли это дело — поднять руку на носителя фарра?! Вовек не бывало! И тем не менее...

Официальное заключение придворных лекарей-хабибов и верховных хирбедов было: смерть от внезапно наступившей преждевременной старости. Ха! Поверить в такую нелепицу?! Однако вслух объявить лжецами ученых хабибов и мудрых жрецов никто не решился. Через месяц волнения улеглись, траур продолжился, но траур трауром, а престол — престолом.

Кто унаследует трон и фарр?

Кто?!

Родственников у покойного шаха оказалось по-рядочно, несмотря на раннюю кончину: дряхлые младшие сыновья (старшие давным-давно перешли в лучший из миров, ибо, в отличие от шаха, жили обычные земные сроки), племянники, внуки, правнуки...

Суришар был одним из многих. И даже не самым близким. Но, видимо, молодой шах-заде чем-то выделялся среди толпы возможных претендентов на трон, поскольку однажды рядом с ним остановился один из верховных хирбедов — все тот же Гургин — и загадочно осведомился: «Не зябко ли стоять в тени фарра, шах-заде?»

Ответить или просто переспросить юноша не успел: хирбед исчез быстрее змеи, когда та стремится во мрак норы.

И вскоре выяснилось, что претенденты, один за другим, отказались испытывать судьбу. По собственной воле. В здравом уме и трезвой памяти. В итоге осталось двое: Суришар и его двоюродный дядя Лухрасп, тридцатипятилетний силач и гуляка, который не собирался отступать. Не умел. «Испытание? Отлично! — во всеуслышание заявил Лухрасп, подкручивая ус. — Я чувствую в себе силы достойно продолжить дело Кей-Кобада!» И через три дня силач слег в горячке: родичи даже испугались, что последнее дело шаха, то бишь безвременная смерть, и впрямь будет продолжено бахвалом. Придворные хабибы клялись, что непременно поставят Лухраспа на ноги — но не раньше чем через месяц. А к Испытанию он будет готов... ну, скажем, месяца через три-четыре... Для круглого счета, через полгода. А время подгоняло. Смутная пора между властью затягивалась, дела в стране шли наперекос, жалобы на самоуправство наместников текли в столицу грязным потоком, дихкане роптали, пряча зерно в по-тайных ямах, благопристойные горожане без причины ударялись в хмельной загул, ремесленники

бездельничали, стражники несли службу спустя рукава и не очень-то торопились ловить расплодившихся сверх всякой меры разбойных людышек...

Народу нужен был шах. Опора и символ государства. Земной Бог, чей фарр олицетворяет сам Огнь Небесный, сошедший на грешную землю, дабы согреть и осветить заблудшие души детей своих.

Ждать выздоровления Лухраспа было смерти подобно. Особенno в свете новостей о набегах кочевников-хургов на рубежах с вечно голодной Харзой. Надо сказать, что Суришар ничего не имел против — и когда к нему заявились хирбеды с вопросом о дне Испытания, ответил коротко, как и подобает человеку решительному, будущему правителю великой державы: «Выезжаем завтра».

Ответ шах-заде явно понравился Гургину; хотя сам юноша предпочел бы нравиться упрямой хирбеди.

И вот теперь...

Очнувшись от раздумий, Суришар воздел очи к небу, налившемуся лиловой глубиной — и увидел, как диск светила тонет в пуховой млечности.

Пора.

Надо было идти.

Глава третья,

в которой повествуется об ангелах и праведных размышлениях, о ястребах и кровниках, пиве и сыре, но ни слова не говорится о мосте аль-Серат, перекинутом через пучину геенны и тонком, как лезвие дамасской сабли, по которому верные души пройдут в лучезарном свете, а грешники — на ощупь, во тьме

1

Светящийся провал возник впереди сразу, рывком, словно огненная кисть начертала его на скрижалях кромешной тьмы, и Абу-т-Тайб со стоном

зажмурился. Еще и ладонями прикрылся, для верности. Впору было кощунствовать: минуту (час? день? год?!) назад он богохульственно мечтал о способности рассеять темноту властным окриком: «Да будет свет!» Домечтался, еретик. Вот сейчас уберешь ладони, заставишь веки разойтись — и дождешься мрака, одного мрака и ничего, кроме мрака, где пахнет сырой землей и еще отчего-то мокрым войлоком.

На веки вечные.

Омин.

Поэт стоял, дожинаясь, пока сердце прекратит колотиться безумным узником о двери своей тюрьмы, и заставлял себя не думать о случившемся. Не ждать удачи, не надеяться на лучшее и не спешить к плодам бытия. Такому способу хладнокровно принимать беды и напасти его обучил один шакирит из страны Хинд, которую предки поэта еще триста лет тому назад растоптали копытами своих коней. Вместе со всей воинской силой шакиритов — сами они звали себя труднопроизносимым словом «кшатрии», и очень плохо соглашались принимать ислам. Настолько плохо, что, даже согласившись, частенько обзывали пророка Мухаммада (да сохранит его Аллах и приветствует!) девятым воплощением какого-то четырехрукого идола.

Но предки предками, вера верой, а потомки давнишних врагов мирно встречались в благословенном Дар-ас-Саламе, и чубатый шакирит делился с бритоголовым поэтом многими тайнами. В частности, умением отрешиться от земного перед пучиной битвы и океаном волнений. Это умение передавалось в шакиритском роду еще со времен их легендарного родича, колесничного витязя ар-Джунана ибн-Панду умм Притха. Тот, говорят, был мастером самоуспокоения: прадеда застрелил, двоюродных братьев топтал, как саранчу, учителей с наставниками к ногтю прибирал чище вшей, а сердцем до конца дней своих был кроток и незлобив.

Великий человек, хоть и гяур неверный.

Абу-т-Тайиб краем глаза глянул меж решеткой пальцев: нет, светящийся провал никуда не делся. Слепит, манит. Чем манишь, свет? — надеждой?! Глупо. Какая надежда у того, чьей могилой стал песчаный бархан, насыпанный самумом поверх четырех трупов — двух конских и двух человеческих? И по каким пещерам ты бродишь сейчас, ревнивый бедуин, жених-неудачник, в злую годину решив потешиться «серым» мадхом?!

Поэт вздохнул и побрел вперед.

Сперва вслепую.

Потом опустил руки.

Потом открыл глаза и обнаружил на фоне светлого пятна две черные фигуры. Ну конечно! — темные ангелы-допросчики, ужасающие Мункар и Накир, соединяющие погибшую душу с былым телом для последнего дознания. Мертвому велят встать — а он, Абу-т-Тайиб, разве не стоит сейчас, что ли? — и опрашивают с усердием о единстве Божием и о земных делах. Если ответы удовлетворяют темных ангелов, то тело остается в покое, а дух правоверного тихо ждет у могилы Судного Дня; если же нет — ангелы лупят бедолагу железными палками по лбу, а душу выдергивают с адскими мучениями, словно косорукий цирюльник — гнилой зуб.

Да и тот после на поверку оказывается здоровым.

В предвкушении железных палок Абу-т-Тайиб выбрался наружу и замер, глядя в сторону. Дабы не оскорбить ангелов. И достоинство так сохранить легче: смотри себе мимо и думай о возвышенном... об аде, например. О третьем его круге, где сейчас вопиет слезно умник-шакири, проклиная своего предка ар-Джунана за дурацкие способы самоуспокоения. Или о круге седьмом, где сидят лицемеры, пропускавшие час молитвы дневной или вечерней,

сочинявшие еретические стишкы и в дерзости своей восстававшие на справедливость господа миров...

Да одна строка «все, что создал Аллах и не создал Аллах...» вполне заслуживает, чтобы ждать Дня Суда в потаенных недрах земли, а потом свалиться в серный мрак геенны без надежды на прощение!

Крик ястреба спугнул грустные размышления. Поэт покосился в сторону и рассмотрел в сини небес пернатого хищника. Вот он сложил крылья, свинцовым диском, брошенным с крыши умелым ловкачом, рухнул в бездну — чтобы мигом позже вновь явиться в просторе и огласить его негодующим воплем. Упустил добычу? Эх, ястреб, тебя вот никто не станет бить железными палками по лбу... От свежего воздуха слабо кружилась голова. Абу-т-Тайб еще немного подумал о ястребах и ангелах, даже сложил машинально пару бейтов:

Я стою, уставясь в небо, всей душой мечтая: мне бы, словно ястреб, словно небыль, птицей мчаться в небесах!

Бейты вышли странными. До озноба, до неуместной ломоты в костях. Поэт вздохнул и стал разглядывать горы, сурово молчавшие вокруг, размотанную чалму дороги, низкорослые деревья на склонах, после чего решил и перевел взгляд на ангелов.

Спорят, посланцы.

О чём?

Темный Мункар до ужаса напоминал старца-огнепоклонника, с которым Абу-т-Тайиб однажды познакомился в своих странствиях, пересекая окрестности Гундешапура. Тот маг в оранжевом плаще еще, помнится... шайтан побери! И плащ точно такой же! И бородавка... только у гундешапурского мага она была на щеке. Точно, искушение перед допросом. Иначе чем объяснить, что второй ангел, грозный Накир, как одна песчинка на другую, похо-

дил на юную красотку из веселого квартала ан-Ри-мейн, в чьих объятиях поэт не раз забывал о времени поста и покаяния! Ясно, железные палки обеспечены. А вокруг, наверное, лежит промежуточная страна аль-Араф: место меж адом и раем, лишенное покоя и блаженства, предназначеннное для младенцев, лунатиков, идолов и существ, не сделавших никому ни добра, ни зла, а также для тех, чьи прегрешения уравновешиваются рождением в богобоязненной семье и молитвами матери. Ох, куковать тут с ястребами... и утешаться тем, что унылая аль-Араф для обитателей ада кажется раем.

Впрочем, для обитателей рая все выглядит совсем иначе, и тогда утешаться уже нечем.

— Замолчи! — вдруг выкрикнул Мункар-старец, и полы его плаща всплеснули гривой кобылицы, что еще совсем недавно неслась в небо над живым поэтом. — Замолчи, дерзкая! Не я ли учитель твой?! Не я ли делал из сельской дурочки «небоглазую» хирбэди?! Он вышел из пещеры, и впереди его бежал Златой Овен! Чело его являет нам все признаки величия фарр-ла-Кабир, и блеску юного шах-заде далеко до этого невыносимого сияния! Замолчи, или кровь твоя станет дозволена мне!

Слушая гневную тираду, Абу-т-Тайиб принялся размышлять: отчего бы это темному ангелу вздумалось разговаривать на языке пехлеви? Сам поэт не-плохо владел и пехлевийским, и новым фарси-дари, на котором даже пытался сочинять, подражая великому Абу Абдулло Рудаки — сладкоречивого-слепца убили ревнители веры в тот день, когда самому поэту исполнилось ровно двадцать шесть лет. Так что понять ангела было проще простого... но ангелы, пожалуй, должны все-таки изъясняться священным языком Корана! Или не должны? Или ангелам вообще все равно, какие слова слетают с их языков, отточенных подобно самхарийским копьям?

— Я склоняюсь перед волей наставника, — ответил прекрасный Накир, но в звонком ангельском

голосе явственно звучали кимвалы противоречия. — И тем не менее, полагаю, что мы должны либо обождать появления шах-заде Суришара, либо вернуться ко входу, либо...

— Либо! — передразнил старец. — Вернуться и ждать грозы с ясного неба! — когда тебе, глупой, отлично известно: ждать больше нечего!

И, не дожинаясь очередного возражения, он бухнулся в ноги поэту, потрясенному столь неуместным поведением ангела.

Тут настал такой момент, когда мысли сами собой проясняются, а сердце успокаивается и бьется ровно-ровно, хотя причин для ровного биения нет ни одной, и даже наоборот. Абу-т-Тайиб оглядел самого себя с ног до головы, оценил превосходную изорванность одежды и наилучшую грязь, щедро украсившую ткань и плоть, после чего строежайшим образом запретил себе валять дурака. Даже ради спасения рассудка. Потому что если долго строить из себя юродивого дервиша, то недолго и всерьез повредиться умом, нацепив власяницу и подражая в неистовости танца суфиям-бродягам.

Хватит.

Судьбе угодно пошутить? — рассмеялся в ответ и пойдем по новой дороге.

А рассуждения об аде и рае оставим для более подходящего случая. Ты сам мечтал о завидной доле и потрясающей участи, ты ссорился с великими и малыми, называя жизнь серой дерюгой, а жизнью — отголоски легенд и сказаний?! Ты убивал и рисковал быть убитым, ты пел и внимал пению; ты ждал, ждал... Радуйся! — кажется, ты получил, что хотел, и теперь можешь вволю разочаровываться, обладая желанным.

Считай, что игравые джиннии забросили тебя за гору Каф.

Много ли это меняет, кроме места действия?

— Подними себя, мой ангел! — Поэт наклонился и ухватил старца под мышки. — Иначе из уважения

моих седин к твоим я буду вынужден прилечь рядом, а это оскорбит твою достойную спутницу, ибо грех мужчинам возлежать бок о бок в присутствии белогрудых красавиц! Ну давай, давай, подымайся...

Старец встал с неожиданной легкостью и, отойдя на шаг назад, в пояс поклонился Абу-т-Тайибу.

— Кони ждут, о мой владыка! — коротко заявил он, не снизойдя до объяснений. — Нам пора отправляться домой, в Кабир.

— Ты уверен? — поинтересовался поэт, удивляясь не столько приглашению вернуться туда, где он никогда не бывал, сколько тому, что у него после удивительных злоключений ничего не болит. — Тем более что слово «домой» для меня мало что значило раньше... э-э-э... я имею в виду, при жизни; а теперь и вовсе ничего не значит. Не лучше ли вам отправиться своим путем, а мне — своим? И посмотрим, каковы здесь дороги!

«А заодно посмотрим, не ведет ли одна из них в Дар-ас-Салам, где я теперь уж наверняка куплю дом и раскрою рот в ожидании подачек», — едва не добавил он.

— Ничуть не лучше, о мой владыка! Ибо тебя ждет трон и шахский титул, а нас — высокая честь помазания тебя на шахство!

Абу-т-Тайиб расхохотался, с удовлетворением слыша, как здоровое веселье окончательно вымывает из смеха визгливые нотки истерии.

Это было восхитительно: еще недавно он с тоской вспоминал о славных временах джахилийи, когда невозможное было возможным, а слава ждала за поворотом ближайшей дороги... Увы, возраст и опыт мешали до конца поверить в сказку, когда она встала на пороге и воскликнула: «Салам!» Не зря же историк аль-Масуди и библиограф ан-Надим, собутыльники, каких мало, и умницы, каких еще меньше, с пренебрежением отзывались о собрании сказок «Тысяча ночей», говоря, что оно составлено «нудно и жидко, подобно калу объевшейся собаки».

И вдобавок сказители слишком часто возвещают: «Он рубил головы, будто шары, а отсеченные руки летели сухими листьями в пору листопада!» — но горе, если «он» — это не ты, а ты... короче, ясно.

Не отвечая, Абу-т-Тайиб пересек дорогу и встал над обрывом.

— Вон на той вершине, смею полагать, — под ногами беззвучно смеялась пропасть, а за спиной сопел старец, которому если чего и не хватало, так это летающего кувшина, — живут хмурые горные великаны. Полагаю также, что поклоняются они барану, вскормленному миндалем, фисташками и чистым конопляным семенем; а пришельцев они поедают сырыми, кроме милых дев, предназначенных для услаждения божественного барана. Не так ли, мой дорогой старец?

— Мудрость владыки глубже морских пучин! — сдавленно донеслось из-за спины.

— Не то слово, о светоч разума, не то слово... Полагаю также, что, минуя дальнее ущелье, мы попадем в долину гулей-людоедов, которых больше, чем звезд в небе, и нрав у них хуже, нежели у голодного барса! И едят они путников, начиная с печени, ибо таков их обычай!

— Ты... откуда ты знаешь?! — Голос упрямой красавицы, до того звонкий, словно литой кувшин, дал трещину.

— От верблюда, — усмехнулся Абу-т-Тайиб, нарочно глянув на красавицу через левое плечо, чтобы та как следует разглядела шрам на скуле и щербатую усмешку. — Есть один такой верблюд во владении Бену Каахтан, о чьей верблюдице я не вовремя решил сложить стихи... Он мне и поведал о горных великанах и диких гулях, в чьи угодья мы наверняка не поедем. Потому что я достаточно взрослый, дабы иметь свое суждение относительно героических поездок.

— Мы поедем в Медный город, — вмешался старец-маг, и в хриплом голосе его звучала абсолютная

уверенность. — Чтобы завтра отправиться домой. Где владыку ждет шахский венец и поклонение народа. Нахид, веди лошадей!

— Ты не похож на ангела, мой ангел, — искалеченная ладонь поэта огладила бороду, где соли давно было больше, чем перца. — А теперь взгляни на меня и скажи: похож ли я, беспутный бродяга, которого самум и шутки Иблиса затащили невесть куда, — похож ли я на наследника шахского венца? На юношу, подобного свежему курдюку или динару в фарфоровой миске, чье предназначение — сражать врагов и осыпать поцелуями дев?!

— Похож, мой владыка, — твердо заявил старец тоном, не терпящим возражений. — Похож.

И добавил вполголоса уже знакомую бессмыслицу:

— Фарр-ла-Кабир. Вне сомнений, господа мои! — фарр-ла-Кабир!

Девица фыркнула, а поэт пожал плечами.

Все лучше железных палок.

3

...Сырой бархат темноты ласкал его щеки, искусно притворяясь кистью цирюльника, путался в заплетающихся от усталости ногах, приглашая сесть на валун, отдохнуть, смежить веки и — спать, спать, спать... Но Суришар упрямо шел вперед, время от времени натыкаясь на стены или падая, чтобы встать и двинуться дальше. Он уже устал шипеть от боли, да и сама боль от многочисленных ушибов и ссадин успела притупиться и потеряла всякое значение. Как и многое другое.

Значение сейчас имело только одно: надо идти, сделать еще дюжину дюжин шагов, а потом — еще полдюжины, и еще... Он дойдет до выхода! Непременно дойдет! Что для этого требуется? — ах, идти, господа мои, всего лишь идти, сквозь тьму и злость,

запрещая себе останавливаться и поддаваться на мрачные уговоры пещеры... какая малость!

Он шел.

Счет минутам и часам потерялся давно, и было совершенно невозможно возвращаться за ним, за проклятым счетом, чтобы узнать, ночь сейчас снаружи или день! «Не сойдешь с пути, так сойдешь с ума!» — втихомолку посмеивались стены, тьма, и вторили им чужие, чуждые голоса, обещая скорое исполнение желаний, вечный привал между «сейчас» и «никогда»; шаг, смех, призрак безумия, еще шаг...

И когда мрак впереди наконец дрогнул, сдался на милость человеческому упрямству, посветел, а затем и вовсе расступился, изгоняемый благословенным Огнем Небесным, Суришар даже не нашел в себе сил для радости. Просто добрел до выхода — и упал.

Заснул он мгновенно.

* * *

...Суришар воздел очи к небу, налившемуся лиловой глубиной — и увидел, как диск светила тонет в пуховой млечности.

Пора.

Но... ведь это уже было!

Юноша непонимающие огляделся: он лежал на знакомом месте, у входа в пещеру, и солнце клонилось к закату, окрашивая снежную вершину Тау-Кешт в пурпурные цвета шахских одежд.

Неужели он просто заснул, устав от ожидания, и все остальное ему привиделось?!

Шах-заде поспешил вскочил на ноги — и тут же во всем теле отдалась ноющая боль. Во рту пересохло, перед глазами разом потемнело, рванув душу постылым воспоминанием... Значит, все это случилось на самом деле? Проклятая пещера, где он преблуждал всю ночь, а к утру вышел... туда, откуда

вошел! — и свалился без сил, чтобы проспать до вечера?!

Но где хирбеды с лошадьми, водой и провизией?
Ведь Испытание завершилось!

Или нет?

Куда он должен был выйти на самом деле?!

Потрясенный этой догадкой: заблудился, проиграл, не выдержал Испытания! — Суришар растерянно озирался по сторонам, все больше убеждаясь в обоснованности своих подозрений.

В отчаянии шах-заде бросился к краю обрыва; и увидел.

Далеко внизу, по пыльной спине горной змеиной дороги, двигались три едва различимые чешуйки: фигурки трех всадников. Суришар напряг зрение, и ему показалось, что он узнает их. Да, точно: вредный Гургин и эта дерзкая недотрога Нахид! А третий... третий... На какое-то мгновение юношу обожгло изумление: третий — это он сам, только сильно постаревший, много повидавший на своем веку, истрепанный жизнью, будто верблюжье одеяло — кочевым погонщиком буйволов... Шах-заде упрямо мотнул головой, освобождаясь от колдовского наваждения, и взгляделся вновь. Конечно же, третий человек, восседавший на его — его, Суришара! — жеребце, был ему совершенно незнаком.

Чужак.

«Предатели! — гнев опалил юного шах-заде изнутри, вскипев лавой в жерле вулкана. — Изменники! Они еще поплатятся за это! Догнать, догнать и рассчитаться за все сполна!..»

Но как? Вниз головой с обрыва — и забрызгать своими мозгами негодяев?! Говорят, у раскосых вэйцев такой поступок считается наилучшей местью обидчику, но он, Суришар, не вэец, он кабирский шах-заде!

Гнев по-прежнему мерно клокотал внутри, но сверху его начала покрывать ледяная корка холодной, расчетливой ярости.

Гургин говорил, что на обратном пути они скорее всего заедут в Медный город. Вот и славно. Именно там он и перехватит изменников. Но для этого сначала надо добыть коня — пешком он будет добираться до города в лучшем случае неделю, если не сгинет вовсе в здешних ущельях. Коня! Полщаства за коня! Кто-то ведь живет в этих горах? Живет! Издалека они не раз видели прозрачные столбики дыма — верные признаки людских селений. Денег у него с собой достаточно, чтобы купить целый табун аргамаков и в придачу нанять проводника до города; да, проводника — обязательно, а то в этих нелепых грудах камня и заблудиться недолго. А если здесь действительно живут великаны и гули-людоеды... что ж, прекрасно! Он сразится с ними всеми — гулями, великантами, проводниками, горами, пещерами и судьбой! — сразится, что бы ни болтали предатели-хирбеды, и добудет коня силой! Предателям не уйти!

И, забыв об усталости, шах-заде решительно двинулся прочь от зловредной пещеры.

4

Лучина торчала, воткнутая в щель между плоскими нетесанными камнями стены, и скорее чадила, нежели разгоняла мрак. В углах сакли копились корявые извины теней, притворяясь старой ветошью. Там что-то шуршало, пищало, бегало взад-вперед, наводя юного шах-заде на неприятные мысли. И пещеру напоминало, только еще противнее. Хозяин, сказавшийся Джухой («Я сам Джуха, и дед мой Джуха, и его дед; а отец мой — Аршантагур, и сын мой — Аршантагур, а внук снова Джуха — слава моему роду!») — так вот, этот самый Джуха, к счастью, свято чтил закон гостеприимства. И говорил понятно: на родине шах-заде примерно так же изъяснялись уроженцы Малого Хакаса, хотя Джуха, в

отличие от хакасцев, изрядно коверкал самые простые сочетания слов.

Отчего речь горца походила на его хижину: сто лет простоят, но душу не радует.

Джуха усадил гостя за сланцевый блин, носивший гордое имя стола, и, наотрез запретив сразу переходить к делу или просьбам, принялся выставлять угощение. Вскоре и сам хозяин уселся напротив гостя, разломил лепешку и сделал щедрый жест, предлагая начать трапезу. Суришар, вспомнив обычай хакасцев, рассчитывал на добрую толику вина, крайне уместного после гнусного Испытания; юноша ухватился за кружку, даже не очень разобрав сперва, что именно в нее налито — и жестоко по-платился.

Один-единственный глоток просянного пива, которое успело прокиснуть и прогоркнуть еще в дни деда Джухи, чуть не вывернул шах-заде наизнанку. Боясь закашляться (кто их знает, этих обидчивых скалолазов?!), он спешно ухватил со стола первое, что попалось под руку: сероватый шарик подозрительного вида и с резким запахом извести. Однако, против ожидания, шарик оказался отнюдь не пометом двузадой птицы Ум, а твердым и на редкость едким овечьим сыром. Он пришелся как нельзя кстати, мгновенно отбив вкус мерзкого пойла. От неожиданности юноша машинально хлебнул еще раз из глиняной кружки — мигом кинув в рот следующий шарик и отметив про себя, что в таком сочетании что-то есть.

Зато лепешки, густо усыпанные поверху сушной кислицей, а также жареная на углях баранина, окончательно примирили Суришара с местной кухней. Не успели оглянуться, а кувшин опустел, уступая место горячему чаю. Какой же ужин без беседы? А какая беседа без чая?

Или это не чай? — впрочем, юноше уже было почти все равно..

И пиво булькало в желудке почти приятно.

Сначала Джуха, исполняя долг хозяина, поведал гостю о своем роде и о жизни в здешних горах. Юноша честно надеялся услышать о хмурых великанах и гулях-людоедах, однако речь все время шла о другом: предок Джухи налетел на кровника и угнал пять коз, потом кровник налетел на предка Джухи и отбил три козы, прихватив две чужие овцы и восемь горшков с пивом, потом сын предка Джухи отбил горшки без пива и овчину без мяса, зато обесчестил жену сына кровника, прилюдно назвав ее старой кошкой, потом внук кровника... Великаны и людоеды в эти подвиги не мешались. Правда, горец помянул между делом подземных духов-альбестов, но явно больше для красного словца — сам Джуха с оными духами не встречался и, похоже, отнюдь не горел желанием встретиться.

Хватало кровников, коз и горшков.

Затем настала очередь Суришара рассказывать. Юноша набрал полную грудь воздуха и, стараясь не слишком врать, но и не говорить всей правды, поведал, как он, потомок знатного рода из далекого Кабира (чистая правда!) долго ехал по горам в сопровождении двух спутников (снова правда!) и как, проснувшись сегодня утром, обнаружил, что спутники исчезли, прихватив заодно его коня, провизию и прочее имущество (а ведь тоже правда! — удивился сам себе шах-заде); а потом он увидел их далеко внизу на дороге в обществе незнакомца, видимо, сообщника — и решил пуститься в погоню за проклятыми предателями, но для погони ему обязательно нужен конь; и хорошо бы — проводник, а то в здешних горах и заблудиться недолго.

Вот.

А теперь промочим горло.

Джуха сочувственно цокал языком на протяжении всего рассказа, а когда юноша умолк, заявил:

— Быть конь. И проводник. Сам проведу. Тропа знаю, быстро ехать. Вай, плохой люди тебе попались! Резать надо. Долго резать надо, сердце греть,

печень греть, расстройство долой гнать! Завтра.
А сейчас спи будем.

И без всякого предупреждения швырнул в луchinу папахой.

* * *

Продавать коня Суришару никто не захотел: на все селение лошадей было не больше десятка, и хозяева соглашались скорее расстаться с руками-ногами, а также со всеми чадами и домочадцами, нежели с любимой скотиной. Ни за какие коврижки, а тем более — деньги. Однако Джуха сумел договориться с сыном двоюродного брата внука кровника, что тот даст гостю коня на время: добраться до Города. Там Джуха заберет коня и приведет обратно, а Суришар купит себе в Городе другого.

На том и порешили.

И вот теперь мохнатый низкорослый зверь, по недоразумению названный конем, споро трусил вслед за лошадью Джухи по, казалось бы, вообще непроходимым тропинкам.

— К вечеру-ночь быть в Город! — заверил юношу Джуха, сбив на затылок косматую папаху.

От папахи несло горелым.

Осыпям и изъеденным ветрами наростам не было видно конца-краю, зазубренные клыки скал яростно вгрызались в безумную синь неба, деревья, искривленные и скрученные своей тяжкой судьбой, изо всех сил цеплялись за камни руками-корнями.... Подъем сменялся спуском, перевал — перевалом, от жесткого седла и тряской езды у шах-заде уже чувствительно побаливал крестец; вдобавок юношу нещадно донимали блохи — легионы их с радостью переселились на нового хозяина из кошмы, на которой юноша провел ночь в жилище Джухи.

Суришар терпел, стиснув зубы. Юноша прекрас-

но понимал, что Джуха не виноват — у них все так живут. Горец и без того сделал для шах-заде все, что мог, и даже больше: накормил, обогрел, оставил переночевать, добыл коня и лично вызвался проводить до Города. Кто сделал бы больше? Вся вина за теперешние злоключения лежит на «небоглазых» предателях. Ничего, скоро он до них доберется! До них, и до их третьего сообщника, зачинщика святотатственного сговора! Как сказал о них мудрый Джуха? Резать надо? Правильно сказал! Будем резать.

Перевал.

Спуск.

Р-резать!

Подъем.

Перевал.

Долго резать! — все более ожесточался юноша, подпрыгивая на очередном ухабе и мимо воли расчесывая блошиные укусы. Никакого честного боя — резать, как поганых шакалов! Сердце греть, печень греть, селезенку, требуху... Впрочем, одного из злодеев придется оставить в живых, иначе он просто не найдет дорогу обратно в Кабир! — дошло вдруг до шах-заде.

Мир моргает редко, а Суришар, увы, не самая большая соринка в глазу.

И когда шах-заде, во время переправы через быструю горной речушки, смирился с необходимостью оставить в живых красавицу-хирбеди, — за их спинами раздался вой.

Суришар самым постыдным образом вжал голову в плечи, не смея оглянуться. Трусость была присуща кому угодно, кроме молодого шах-заде, но рассудите, господа мои: люди и звери воют по-иному. А здесь желчью выхлестывалась первобытно-жуткая тоска, неотвратимая, как возмездие за грехи в потустороннем мире, и казалось — вековечная боль гор исходит унынием, глядя на скрытую до

поры луну и захлебываясь от муки без конца и начала.

Лохматый конек прынул вперед и в один прыжок оказался на берегу, нагнав каурую лошадь Джухи.

Вой оборвался истошным взвизгом, от которого впору было оглохнуть, но эхо его до сих пор металось в теснинах, дробилось, множилось, всем телом ударяясь о скалы, в клочья разрывая самое себя, чтобы вновь и вновь вернуться...

Тишина.

Гулкая, набатная тишина заталкивает в уши бархатные затычки; еще и ладонями поверх хлопает, для верности.

— Что это было, Джуха? — свистяющим шепотом спросил юноша, опасаясь говорить громко и не слыша звука собственного голоса.

— Горный Смерт был, — спокойно ответил проводник чуть погодя и добавил с ухмылкой: — Добрый знак.

— Добрый?!! — поперхнулся юноша.

— Ясно дела, — в свою очередь приподнял брови Джуха, удивляясь, что его спутник не понимает таких простых вещей. — Он же нас предупредила! А могло и не предупредить.

— И... что теперь?

— А-а, пустяк теперь! Ехай дальше. Темнота приди, мы должен сиди в Город. Тогда жизнь — хороший штука.

— А если это... не сиди в Город?

— Дохнуть станем, ясно дела, — пожал плечами Джуха. — А то пади на ночь в храме Дядь-Сарта, Гложущий Время... Но лучше сиди в Город. Или сдохни.

Дальше они ехали молча. Джуха задремал в седле, присвистывая заложенным носом, а шах-заде пытался представить себе что-нибудь хуже смерти.

Получалось плохо, зато блохи донимали куда меньше.

Так, безуспешно терзая себя горькими думами, шах-заде и не заметил, как они подъехали к заставе.

Очнулся он только от оклика Джухи:

— Пошлина платить надо! Деньга доставай!

Действительно, шагах в двадцати впереди дорога была перегорожена суковатым бревном, установленным на подпорках. А сбоку, под навесом, расположились двое близнецовых мордоворотов: в одинаковых чекменях из рыжей шерсти, косматых треухах. и с ржавыми, словно молью траченными, бердышами в руках.

Есть, видать, такая моль, что железо грызет за милые пряники.

— Дирхем и три медных даника за оба рыла, — хрюкнул левый мордоворот, нимало не интересуясь, кто такие путники и по какой надобности едут. Да и то сказать: даже проезжай через заставу разбойный люд с намерением позабавиться в Медном городе — разве ж признаются? А на роже редко у кого написано: я, люди добрые, вор и разбойник. Разве что клеймо палаческое на лбу стоит; да и то клейменых лучше заставщиками нанимать, чтоб злее службу вершили, а на лоб и треух недолго сдвинуть. Я, значит, сдвинул, а ты плати пошлину и проезжай.

Без лишних разговоров.

Шах-заде развязал тесемки кисета и, не слезая с коня, кинул заставщику золотой кабирский динар. Этого должно было хватить с лихвой: сколько бы ни стоил местный дирхем, пускай даже и больше двух третей динара, вряд ли въездная пошлина могла превышать золотой!

Монету прямо на лету словно жаба языком слизыала, и мордоворот уставился на свою ладонь, как если бы пытался разобраться в линиях жизни и удачи.

Напарник, глухо сопя, заглядывал через плечо.

— Гляди, и у этих такие же, — пробормотал он, пока первый обстоятельно пробовал монету на зуб.

Суришара передернуло: вонзить зубы в изобра-

жение обладателя священного фарра, отчеканенное на монете, — это ли не варварство и святотатство?! Однако юноша сдержался. В здешних горах явно свои законы (небось те, которые дуракам не писаны!); местные дикари, возможно, вообще ничего не знают об истинном порядке вещей, как и упрямые горцы его родных краев... Ничего, они узнают! И те и другие!

Дайте только срок.

— Вкусно! — с уважением протянул левый заставщик, а правый отобрал у него динар и сам стал прикусывать подачку, пофыркивая от удовольствия. — Езжайте, люди добрые, да старханом вам дорога...

И двинулся к странному приспособлению, состоявшему из деревянного ворота с ручкой, цепи, толстой измочаленной веревки и еще каких-то воротков поменьше. Зазвенела, натягиваясь, цепь, детина крякнул, поднатужась, пустил обильные ветры — и суковатый ствол начал медленно подниматься, освобождая путникам дорогу.

«Виши ты: дикари, да не совсем», — честно признал юноша.

Уже проехав под поднятым стволовом, он вдруг, повинуясь какому-то наитию, обернулся и поинтересовался у заставщика:

— А скажи-ка, любезный, кто расплачивался с вами такой же монетой, как мы? Не трое ли путников: долговязый старец с бородавкой под носом, наглая девица и...

Рука шах-заде скользнула в развязанный кисет.

— ...И здоровый дядька! — возликовал мордоворот, умудрившись поймать брошенный динар, ловко зажав его между плечом и щекой. — Одежа жеваная, рваная, а глазищи хи-итрющие! На роже шрам, да и слепому видно: всласть пожил... Пальцев на руке не хватает; и еще зубов.

— Зубов? На рука? — искренне изумился Джуха, но шах-заде мигом перебил своего проводника:

— Давно они проехали?

— Да с третий час будет. Уже в городе небось.

— Ниче, отыщем! И ты их зарезать, — утешил юношу Джуха, когда, уже в сумерках, они проезжали под аркой городских ворот.

Суришар искренне надеялся, что горец окажется прав.

Глава четвертая,

где излагаются многие соображения относительно дурных наклонностей золотых баранов, вспыльчивых юношей с усиками чернее амбры, ночных гроз и невезучих собак, но так и не раскрывается тайна ужасного воя в горах, хорошо известная всякому чабану от перевала Баррах до вершины Тау-Кешт

1

Постоялый хан со многими коновязями, верблюдовязями и даже одной слоновязью располагался совсем близко от крепостной стены. Рыскать по темным улицам в поисках бывших спутников не имело никакого смысла — те скорее всего давно устроились где-нибудь на ночлег. «Возможно, прямо в этом самом хане!» — мелькнула у Суришара мысль. Увы, надежду на скорую месть не замедлил развеять бритоголовый ханчик, когда шах-заде набросился на него с расспросами. Отведя Суришара в тень вековых карагачей, ханчик подробнейшим образом выслушал юношу, особо замечательные эпизоды упросил повторить, сочувственно хмыкнул, всплеснул руками, пересказал с десяток подобных историй, где мститель благополучно настигал обидчика...

Ханчику очень хотелось поговорить со свежим человеком. И толку от его сочувствия было чуть: поиски в любом случае откладывались до утра.

— Ниче, не уйти! — успокаивал юношу Джуха, налегая на заказанный его спутником плов и ви-

но. — Утром конь тебе купать. Красный конь купать, быстрый. Потом враг найдешь. Зарежешь. И дом поедешь. Ай, хорошо!

Слова горца и уют хана малость успокоили Суришара. А вскоре выяснилось, что здесь не только вкусно кормят: кельи оказались чистые, с белеными стенами, с мягкими тюфяками и без клопов или блох, что было вообще удивительно.

Проснулся юноша ни свет ни заря — солнце еще только боком выползло из-за горизонта, а шило в седалище успешно подняло Суришара на ноги. Он растолкал ворчащего спросонья Джуху (постелью горец не воспользовался, отдав предпочтение дорожному кожуху); и они отправились на базар.

Город не произвел на шах-заде особого впечатления: он-то ожидал увидеть невесть что (что именно, он и сам не знал), а тут — смотри-моргай. Кривые улочки, высокие дувалы закрывают дома, площадь вымощена булыжником... Город был заметно меньше не только родного Кабира, но даже Хины или Харзы, где Суришар успел побывать. Лишь общественные хаузы-водоемы, аккуратно выложенные голубой плиткой и оттого на удивление чистые, а также высоченные башни храмов были Суришару в диковинку. «С хаузами они здорово придумали, — решил юноша. — Стану шахом, прикажу, чтобы и в Кабире так было».

И через минуту их захлестнула базарная разноголосица.

— Ай, слава славная! — туманно возвестил горец, потирая ладоши. — Пропустил, радость мой, вывел!.. ай, молодца...

И еле-еле успел вовремя ухватить своего спутника за локоть — иначе шах-заде уже готов был купить у лишайного прохвоста двух красавиц, подобных луне и вполне способных нянчить внучат. Прохвост был отогнан взашей, обиженные красавицы воспеты, но не куплены; и Джуха, игнорируя призывные вопли торговцев сладостями и фруктами, лезущих под

ноги попрошаек, разноцветье тканей со всех концов света, оглушительный гомон и дурманы из лавок, торгующих благовониями...

Короче, превратясь в каменного истукана, равнодушного к радостям бытия, горец поволок обалделого Суришара прямиком к конному ряду.

Здесь уж настал черед шах-заде: уж в чем, в чем, а в лошадях юноша разбирался. И теперь сам повлек Джуху мимо бородатых гуртовщиков — все, как на подбор, в дерюжных халатах, подпоясанных веревками, с полами, заправленными в холщовые штаны. Ведь ясно и без разглядывания: кони тут продаются мужицкие — ширококостные, коренастые, с огромными копытами, размером и твердостью напоминавшими головы продавцов. На таких ломовиках только землю пахать или зерно на мельницу возить! Нет уж, Джуха, пошли, пошли, кончай глазеть! — и вскоре тяжеловозы уступили место настоящим бегунцам.

Разочаровав Джуху донельзя.

Суришар долго приглядывался к стройному гнедому трехлетке, чья грива была заплетена в мелкие косички. Зашел сбоку и спереди, резко взмахнул ладонью перед самой мордой: нет, не подслеповат скакун, отпрянул, захрапел!.. ощупал бабки, суставы, понюхал копыта, проверил на шагу и рыси. Всем хорош конь: стать лихая, легок на ногу, хотя сразу видать — долгой скачки не вынесет. Но тут шах-заде спохватился, вспомнив старое правило, усвоенное еще от дворцового конюшего: если сразу конь глянулся, если глаз прикипел — бери, сколько бы ни стоил! Нет денег — в долг бери, умоли, угони, укради, или душа соком изойдет! А ежели задумался, прикидываешь, весы уравновешиваешь — отойди, брось маяться!

Не про тебя конь, не нужен он тебе.

Да и ты — ему.

Это правило всегда действовало безотказно, и юноша отправился дальше.

А потом он увидел.

Чалый красавец-скакун заговорщицки косил на него влажным лиловым глазом, вскидывал узкую, щучью морду, чуть ли не подмигивал: бери, не прогадаешь! Я — твой! Одного взгляда Суришарухватило, чтобы понять: конь прав. Рождены друг для друга.

И юноша полез за пазуху: доставать кисет.

Торговаться шах-заде не умел в силу происхождения, но теперь настала очередь верного Джухи. Спорили всласть: долго и упорно, ударяя шапками оземь, призывая в свидетели всех и каждого — людей и богов, зверей и демонов, купцов и прохожих, Дядь-Сарта и Горный Смерт — но в итоге ушлый Джуха сбил-таки цену почти на третью.

В придачу выдурив роскошный ковровый чепрак.

Солнце близилось к полудню, когда они вернулись в хан.

— Все, парня. Мне вертайся надо. Удачи!

Оставаться в незнакомом Городе и в одиночку пускаться на розыски беглых хирбедов было тоскливо, но — ничего не попишешь. Джуха, совершенно чужой ему человек, и так сделал больше, чем лучший друг или родной брат. Пора и честь знать.

Суришар щедро расплатился с проводником, а также за аренду взятого напрокат конька (цену двоюродный кровник Джухи заломил такую, что впору было вернуться, согреть сердце традиционным способом горцев!). Но возвращаться шах-заде не стал. И торговаться опять не стал. Лишь вздохнул тихонько и долго смотрел вслед, пока кожух и папаха не скрылись за поворотом.

А после, когда и топот копыт в переулке затих, юноша препоручил своего чалого заботам ханщика и отправился на поиски.

Справедливо рассудив, что беглецы должны были где-то ночевать, Суришар начал обход города с местных постоянных ханов. За скромную плату хозяева охотно сообщали юноше, кто вчера останавливался у них на ночлег; и, казалось, поиски вот-вот увенчиваются успехом. Однако вскоре выяснилось, что ханов в Городе — превеликое множество, и еще неизвестно, удастся ли обойти их все до темноты.

Шах-заде приуныл. Огненная птица-солнце весело подмигивала юноше с небосвода, щедро обрушивая на город слепящий жар своих перьев. Ханшики утирали пот с бритых макушек, перечисляли постоянцев, Суришар вежливо благодарил и шел дальше. Странное дело: поначалу Город глянулся шах-заде совсем убогим — но раз за разом перед юношой открывались все новые площади, улицы и переулки, крепостные стены норовили удрать подальше, и когда солнце начало клониться к закату, Суришар окончательно укрепился во мнении: Город этот если не Медный, то наверняка заколдованный, и заколдован он исключительно с целью заморочить Суришару голову!

А может, и вовсе в сговоре с проклятыми хирбадами.

Изрядно проголодавшись за день, юноша решил наконец зайти в ближайшую чайхану — перекусить. Он и предположить не мог, что в этом чадном и шумном заведении удача наконец соизволит улыбнуться ему. Видимо, понравился удаче молодой красавчик: хорошо сидел, хорошо жевал сочный бешкебаб, вино молодое глотал хорошо и ушки на макушке держать не забывал!

— Эй, Али-хозяин, что за гостя ты сегодня привечал? Уж не пророк ли заезжий, или там святой-чудотворец?

— Шутишь? — Хозяин подозрительно скосился на шумного болтуна, облаченного поверх халата в кожаный фартук сапожника или скорняка.

Нет, скорее все-таки сапожника: у скорняков одежда вонючая...

Болтун прочистил горло, взлохматил черную, как смоль, шевелюру и залпом осушил вместительную кружку.

— Ты, Марцелл, и сам у нас вроде чудотворца, — вмешался в разговор купец средней руки, вытирая ладони о полы длинного казакина. — Еще отец мой, бывало, едва завидит тебя в чайхане, и давай сразу вспоминать, как вы об заклад бились в молодости — кто кого перепьет?! Только отец мой давно в раю гурий за ляжки щупает, а ты все по канавам отсыпаясь... Не надоело?

— А, мало ли что дураки вспоминают! — небрежно отмахнулся чернявый Марцелл. — Не лез бы твой родитель меня перепивать, глядишь, и по сей день небо коптил бы помаленьку... На все воля Все-вышнего! А вот когда впереди человека в таверну входит золотой баран, сияя, как начищенный сапог, — это что-нибудь, да значит?!

— Какой-такой баран? — мало-помалу раздражался хозяин. — Баранов всяких видел, включая тебя, но чтоб золотой... Ты это если платить не хочешь, так сразу и говори, чтоб я тебя к судье за шкирку волок! Ишь, удумал: баран...

— Кто из нас пьян? — хитро усмехнулся сапожник. — Ну, ежели тебе скупердяйство зенки застит и ты чудо из чудес не увидел, так хоть дядьку того запомнил? Трепаный такой мужик, борода клоками, шрам на роже, и двух пальцев на руке не хватает!

Суришар вздрогнул, напрягся и весь превратился в слух.

— Ну! — уверенно подтвердил хозяин, сообразив, что сапожник не собирается увиливать от платы. — У него еще ухмылка щербатей твоего греб-

ня и горло вроде как перерезано, сохрани нас всех Аллах от злой участи! Небось лиходей-заброда.

— Сам ты лиходей, — скривился купец, о котором успели забыть. — Лиходеи сами берут, а не пла-тят-заказывают. И старики с лиходеями не ходят, почтенные такие старцы в плащах, и порядочные девицы с лиходеями за одним столом не сидят! А с этим и ходили, и сидели. Старик — ладно, а девица — очень даже ничего девица, прямо замечу! Пер-сик, не девица! Пери, не девица! Щечки розовые, глазки небом отсвечивают...

— Кому что, а Мурзе все глазки! — хохотнул кто-то. — Небось уже и разузнал, где остановилась, чтоб ночью наведаться! Авось пустит Мурзового осла в стойло!

— А то как же! — самодовольно подтвердил Мурза-купец. — В хане хромого Кумара и остановилась. Старик еще две кельи взял: одну — красотке, одну для мужчин.

Народ загомонил, смакуя любимую тему, и никто не рассыпал, как сапожник в фартуке произнес нараспев, глядя в пустую чашу:

— ...И Златой Овен будет следовать впереди того мужа, носителя священного фарра...

Никто, включая Суришара, которого в чайхане уже не было.

Он услышал все, что хотел.

3

...Уже четвертый по счету прохожий охотно ука-зывал Суришару дорогу к хану хромого Кумара — каждый раз отправляя молодого шах-заде в про-ти-воположную сторону; и каждый раз юноша неиз-менно возвращался в один и тот же грязный пере-улок, зажатый между косыми дувалами, за одним из которых при его появлении слышалось злорадное козье меканье.

Когда юноша оказался в переулке в четвертый раз, уже начало смеркаться. Откуда-то налетел колючий, совсем не южный ветер, швырнулся в лицо пригоршню мелких дождевых капель. Капли были похожи на слезы, и шах-заде, чуть не плача от беспомощности, так и не понял: дождь ли это, или глаза все-таки предали наследника престола?

А потом сомнения мигом улетучились: ветер ударили крылом, прошелся в брачном танце, взбив пыль смерчиками, и следом хлынул такой ливень, что юноша невольно втянул голову в плечи.

Укрыться от грозы в переулке было негде. Да теперь это и не имело никакого смысла: в первые же мгновения Суришар вымок до нитки — не помог ни плащ, ни высокая шапка-калансува с назатыльником.

Ливень же, словно куражась над молодым человеком, вскоре ослаб, но прекращаться и не подумал: верно, решил посмотреть, что юноша станет делать дальше.

Бродил вокруг, погромыхивал, молнии гонял туда-сюда: эй, человек, ну спляши, что ли, все веселее!.. и злорадствовала невидимая коза за дувалом, чтоб ей сдохнуть, проклятой!

Окончательно пав духом и махнув на все рукой, шах-заде побрел прочь, куда глаза глядят, поминутно оскальзываясь в грязном месиве... чтобы минутой позже встать столбом, разом забыв про дождь и холод.

У выхода из переулка шел бой.

Не на жизнь, а на смерть.

Круглогий баран, чья шерсть неестественно блестела от осевшей на ней влаги, сражался за свою баранью жизнь с голодным псом.

«Ну вот, где еще по улицам беглые бараны разгуливают?» — вяло удивился шах-заде, но тем не менее остановился посмотреть, чем окончится странный поединок.

Поначалу казалось, что пес обязательно возьмет

верх: вот он вцепился барану в шею, мощные челюсти сжались мертвой хваткой... Однако, вопреки здравому смыслу, на его рогатого противника это не произвело особого впечатления. Баран встяхнулся, весь в брызгах, легко сбросил с себя пса и так наподдал ему вдогонку рогами, что зубастый любитель свежатины со всего маху шмякнулся о ближайший дувал! Не давая врагу опомниться, баран коротко разогнался и живым тараном врезался в затравленно скнутившую собаку. Захрустели кости, пес истошно завизжал, а баран, не останавливаясь на достигнутом, продолжал с яростью топтать содрогающееся тело острыми раздвоенными копытами. Хруст, визг, — шах-заде, не веря своим глазам, наблюдал, как пес в последний раз дернулся и затих.

Победное блеяние огласило переулок, ударились о дувалы, притихшие в испуге, а затем баран наклонил голову и принялся рвать поверженного врага своими плоскими зубами, время от времени жадно глотая кровоточащие куски собачатины!

Суришар мимо воли отступил на шаг — и в этот самый момент баран на миг оторвался от жуткого пиршества. Взгляд его налился пурпуром, два огня зловеще засветились в сумерках и уперлись в наследника кабирского престола, не суля молодому шах-заде ничего хорошего.

Баран утробно заурчал и вразвалочку двинулся к юноше.

Уже не думая о своем достоинстве и о том, как будет смотреться со стороны наследник престола, удирающий от барана, шах-заде развернулся и помчался со всех ног. Позади мерно цокали копыта. Юноша бежал что есть мочи, но цокот копыт неотвратимо приближался. Улица впереди раздавалась, и Суришар инстинктивно замедлил бег в нерешительности: куда свернуть?

Однако раздумья юноши были недолгими: чувствительный удар пониже спины направил шах-заде в левый проулок, а ноги сами понесли дальше. Про-

улок круто свернул вбок, и Суришар, следя его изгибу, с разгону выскочил на маленькую площадь — где и налетел на какого-то кряжистого горожанина.

— Тише, юноша, подобный вспышке молнии во мраке... — ухмыльнулся тот, рассудительно подытожив: — Так и зашибить недолго!

Сполох молнии вы светил его лицо, бросил отблеск на ладонь, которая неторопливо оглаживала бороду; и Суришар задохнулся, благословляя судьбу в облике хищного барана.

«...Трепаный такой мужик, борода клоками, шрам на роже, и двух пальцев на руке не хватает!...»

— Попался! — счастливо возвестил шах-заде и потянулся из ножен саблю.

4

...подковы небесных всадников грохотали вдалеке, суля грозу. Но Абу-т-Тайиб не внял этой угрозе. Он вдруг решил покинуть чайхану, сей приют обремененных голодом и жаждой. Без видимой причины. Можно было уйти, можно было остаться и заказать еще гранатового сока, от которого плясало чрево и сводило скулы; можно было вернуться в келью постоялого хана и лечь спать. Можно было все. Чуть ли не впервые в жизни; так бывает, когда ты вдруг понимаешь, что Аллах дал тебе душу в залог отнюдь не навсегда, понимаешь остро и ярко, до сердечной боли и ледяного, темного спокойствия. Именно поэтому старый поэт капризничал в мелочах, изводя навязавшихся спутников и тайно радуясь действительности. Есть люди, с которыми ты не знаком и которые твердо знают, что тебе надо делать и куда тебе надо ехать. Не счастье ли? Е рабб, тебя провозглашают шахом и валятся в ноги? — даже если маг с бородавкой безумней весеннего павлина, какая разница? Да, халиф на час! А там... там видно будет. В шахский венец он верил не больше,

чем во встречу с птицей Рох, но к чему искушать судьбу и Аллаха?

Или скажем иначе: стоит ли лезть со своим пленом в чужую медресе? Жизнь продолжается, а в последние годы он редко загадывал больше чем на день вперед.

Этот день прошел.

Маг и девушка безропотно последовали за ним, когда он поднялся из-за стола. И Абу-т-Тайиб отметил про себя, что уже начал к этому привыкать — к неотвязной парочке, к их послушанию и повиновению: у старика — вполне искреннему, у девушки же... с норовом девица!

Такие ему нравились.

О них хотелось слагать стихи, звонкие, словно дамасский клинок, журчащие, будто река на перекатах; а для ложа вполне годились другие, послушные и искусные.

Под ногами чавкала грязь, подражая нечистому животному свинье; дождь выждал, пока люди окажутся под открытым небом и отойдут подальше от чайханы, чтобы припустить изо всех сил. Куда идти, Абу-т-Тайиб еще не решил; и после долгого кружения по улицам, в котором смысла крылось не более, чем в послеобеденной отрыжке, он остановился, поджидая своих спутников. Те не торопились, и мокрый до нитки поэт успел вволю поразмышлять о странностях Медного города: создавалось впечатление, что не люди идут по улицам и переулкам, а город водит людей сам по себе, играя в сложную игру с непредсказуемым результатом.

Как они тут живут, местные горожане?.. и льет, льет — когда прекратится?!

Почти сразу из-за угла и вылетел сломя голову молодой человек, как если бы за беднягой гналась целая свора ифритов, и с размаху врезался на поэта.

К счастью, оба устояли на ногах и никто не шлепнулся в лужу.

— Тише, юноша, подобный вспышке молнии во мраке... — Абу-т-Тайиб справедливо решил, что выбрал неудачное место и время для красноречия, а посему закончил просто:

— Так и зашибить недолго!

В ответ скороход самым невежливым образом уставил ему в лицо — остатки зубов пересчитать хотел, что ли?! — затем отшатнулся и с возгласом «Попался!» выхватил саблю.

Поэту даже показалось сгоряча, что это пылкий жених-бедуин восстал из могилы и дognал его по ту сторону жизни, дабы свести счеты. Высверк клинка над головой оставлял мало времени для раздумий, а умирать во второй раз не хотелось — вряд ли тебе заново предложат шахский венец! Удар был хорош, и направь его безумный юноша как надо, наискосок — лежать бы Абу-т-Тайибу в грязи, разрубленным от ключицы до... в общем, все равно уже, до чего.

Тем паче, что машрафийский меч, за который поэт отдал в свое время блюдо полновесных динаров, остался там, в самуме прошлого.

К счастью, юноше непременно хотелось снести с плеч мерзкую голову со шрамом на скуле. Желание вполне здоровое и даже благословенное: потому что, когда поэт в последний момент бухнулся на колени, клинок со свистом прошел над его уккалем, подбив ворсинки ткани.

Прошлое скрыл мрак, где пахло мокрым войлоком, будущее рассмеялось с отчетливым привкусом безумия; и час нынешний стал всем временем сразу, от сотворения до гибели мира.

Мира по имени Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби.

— Ты тоже хочешь насладиться «серым» хвалебным мадхом?! — тихо спрашивает Абу-т-Тайиб, чувствуя, как страшно горят от падения колени, изодранные пещерой; и еще — как закипает внутри то

варево, хлебнув которого ты можешь отрезать обидчику губы и заставить бывшего владельца съесть их без соли и куфийских приправ.

Выпад. Прямо в лицо. Сабля плохо приспособлена для таких игр, но рука юноши тверда, и приходится снова издеваться над своими коленями. А также наскоро вспоминать полузабытую науку «детей Сасана» — братства плотов и ловкачей, чья забота в свое время прикрыла поэта от гнева халебского эмира. Шаг, нарочито грузный, снова шаг, подошва сапога скользит по земле, проворачиваясь на носке; и край халата, обласканный сабельным лезвием, повисает хвостом шелудивого пса... жалко, но своя шкура дороже.

— *Тише, юноша, подобный блеску молнии во мраке...*

Удар.

Злой, бешеный, и оттого бессильный.

— *...наслаждению в пороке, дивной пери на пороге, Нитке жемчуга во прахе...*

Удар.

— *Сладкой мякоти в урюке, влаги шепоту в арыке, Просветленью в темном страхе...*

Возраст неумолимо берет свое, хрипло посмеиваясь втихомолку, набивая грудь ветошью, а суставы — железной крошкой, но «сасанская пляска» все длится, подменяя юность памятью, памятью о славном ловкаче Али по прозвищу Зибак, что значит «Ртуть», и о его повадках, следить за которыми было привилегией избранных.

И еще: нутром, чутьем битого бродяги поэт понимает, что убить горячего юнца легко, заставить съесть собственные губы — трудно, но можно; а то, что происходит сейчас, стократ жесточе и первого, и второго.

— *Башне Коршунов в Ираке, мощи буйволов
двурогих,
Шелесту ручья в овраге...*

Ливень хлещет сотней плетей по спине, по стене, по глиняным дувалам, истрепывая вдребезги пространство, и хвала Аллаху за сей ливень, ибо склонной юнец привык биться на твердой земле и даже скорее всего под аплодисменты зрителей.

Грязь не для него.

Грязь уравновешивает годы.

— *Доброму коню в дороге, неврежденью*

в смертной драке —

Но невольницей в остроге ждет душа...

О благословенная грязь, в которой Абу-т-Тайиб должен был найти последний приют, второй после самума! — беспалая ладонь мимоходом зачерпывает полную горсть тебя, о дивная, бесконечно грязная грязь; и подарок отправляется прямиком в лицо юноши.

Простые средства всегда самые действенные: например, кровопускание или прижигание. Или липкая жижа в нужное время и нужное место. Юноша бестолково взмахивает руками, видимо, окончательно ощущив себя сизым кречетом, плюется, рычит — и тяжелый кулак основательно ласкает сперва плоский живот буяна, а затем и затылок.

Сабля верткой щукой плюхается в лужу. Сам же юноша грузно валится в ноги поэту, валится крайне неудачным образом, мешая продолжить мадх и, что главное, сшибая наземь, поскольку левое колено подвело-таки владельца... а дождь радостно скачет вокруг, стегая наотмашь копошащиеся тела.

Минутой позже тел становится трое.

А еще спустя миг, короткий и полный яростного движения, драчуны выясняют новое обстоятельство: они стоят на четвереньках в семи локтях друг от друга, а между ними стоит баран.

Здоровенный баран очень мрачного вида; и в свете очередной молнии щерсть его отливает синеватым золотом, а глаза явственно мечут искры.

Чуть поодаль молчат маг с девицей, и холодные

струи текут по их лицам ручьями; но руки так ни разу и не поднялись отереть воду.

Зато дождь вскрикивает, эхо отдается за горами, и небо перестает рыдать.

Тишина.

Баран сурово глядит сначала на поэта, потом на юношу, потом оброненная сабля ломается под тяжелым копытом, и незваный миротворец бредет восьвояси, раздраженно блея.

Маг делает шаг вперед.

— Фарр-ла-Кабир не спешит, но везде успевает, владыки мои! Мы поедем домой все вместе. Знакомься, о избранник судьбы: это теперь твой названный сын, шах-заде Суришар. И ты знакомься, шах-заде: перед тобой будущий шах Кабира!..

Будущий шах встречается взглядом с названным сыном и вдруг чувствует себя молодым.

Совсем молодым.

Такая замечательная ненависть горит во взгляде шах-заде.

КАСЫДА О ВЕЛИЧИИ

Величье владыки не в мервских шелках, какие
на каждом купце,
Не в золоте, почившем в гробах-сундуках, —
поэтам ли петь о скупце?!

Величье не в предках, чьей славе в веках сиять
заревым небосклоном,
И не в лизоблюдах, шутах-дураках,
с угодливостью на лице.

Достоинство сильных не в мощных руках —
в умении сдерживать силу,
Талант полководца не в многих полках, а в сломанном
вражьем крестце.

Орлы горделиво парят в облаках, когтят круглогих
архаров,
Но все же: где спрятан грядущий орел в ничтожном
и жалком птенце?!

Ужель обезьяна достойна хвалы, достойна сидеть
на престоле

За то, что пред стаей иных обезьян
она щеголяет в венце?

Да будь ты хоть шахом преклонных годов,
султаном племен и народов, —
Забудут о злобствующем глупце, забудут о подлеце.

Дождусь ли ответа, покуда живой: величье —
ты средство иль цель?
Подарок судьбы на пороге пути? Посмертная
слава в конце?

Глава пятая,

*где слышится скрежет зубовный, пахнет заговором,
воруются пеналы из мореной черешни, жрецы увлеченно
ползают на коленях, а в довершение всего ангел Джибраиль
так ни разу и не появляется на страницах этого
повествования*

1

Зубы болели так, словно по каждой челюсти весело скакала дюжина шайтанчиков, топота копытцами. Хотелось разодрать десны ногтями, разодрать до самых пяток и выковырять все, что может болеть, включая сердце и печень. Короче, едва мучительный прилив отступал, откатывался в безбрежный океан пекла, где ему и место, Абу-т-Тайиб чувствовал себя заново родившимся и с трудом переводил дух.

После чего в очередной раз связывал нить предыдущих размышлений, оборванную приступом, и продолжал кругами бродить по покоям.

Он — шах. Этот, как его... Кей-Бахрам. Трам-тарам. Странник по мирам, расположенный к пирам. Имя выглядело чужим, его можно было взять в руки и потрогать, с содроганием ощутив шероховатость и заусенцы по краям. Оно и было чужим, данное ему вчера имя. Чужим было все: дворец, покои, преклонение и раболепие, судьба была чужой, одежда, надежда... Пока все идет хорошо, как говорил один мулла, падая с минарета.

Пока все идет хорошо.

Абу-т-Тайиб еле сдержался, чтоб не хватить ку-

лаком по столу, инкрустированному нефритом и яшмой; потом пожалел себя и стол. Кулаки не помогут, хоть в кровь разбей. Ты — шах, мой красавец! Пусть имя твое на айванах царит, и счастье немеркнущим светом горит над родом и краем, и ратью твоей, и лицом, и царственной статью твоей! Во всяком случае, так утверждают твои верноподданные благодетели, утверждают в один голос, стремглав падая ниц, как если бы твое шахское величество пиняло их под коленки. Будь счастлив, мой дорогой халиф на час; обжирайся дармовым сыром, пока рычаг мышеловки не привел в движение грубую прозу бытия.

В последнем поэт не сомневался.

Абу-т-Тайиб подошел к столу и налил себе в кубок из серебряного кувшина, покрытого тонким кружеевом черни. Какая-то добрая душа с вечера наполнила кувшин кисленьким отваром, совершенно не хмельным, и даже наоборот: голова после него становилась ясной, а зубная боль слегка отступала. Поэт отхлебнул глоток, потом прополоскал рот и сплюнул в угол. На ковер. На роскошный ковер с орнаментом из пурпурных и лиловых ромбов. Шах он или не шах?.. по всему выходило, что шах, плюй-не-хочу.

Следующий глоток легко скользнул по горлу в желудок. А поэт вдруг припомнил, как после очередного перевала в горах без названия мир вокруг него мигнул. Ощущение было странным, словно предстояло давать новые имена старым знакомым, а душа вдруг стала курильницей из белой меди, пустой и звонкой. Но они вскоре поехали дальше — и поэт вновь постарался задремать в седле. Урвать хоть крупицу отдыха, благо есть возможность. Но-чами на привалах он мучился бессонницей: вслушиваясь в каждый шорох, подскакивая от дуновения ветерка. Причина была проста. Абу-т-Тайиб давно утратил наив юности, и теперь справедливо полагал в новообретенном названом сыне искреннее жела-

ние — перегрызть глотку названому папаше при первом удобном случае. На сторожевые достоинства мага с бородавкой, а уж тем более дерзкой девицы, поэт полагался слабо. Зато на остроту ножа Суришара... ох, тут и заснул бы, а невмоготу! Уж больно явственно вспыхивали глаза мальчишки, когда взгляд его будто случайно падал на Абу-т-Тайиба, бродягу, укравшего у шах-заде отчий венец!

Сам поэт тогда еще не верил ни в какие венцы, кроме венца сумасшествия на головах спутников. Он просто ехал рядом с ними, рассчитывая облобызать всю троицу, едва они доберутся до торговых дорог — и никогда больше не встречаться с удивительной компанией.

В Медном городе поэт на базаре встретил троих дар-ас-саламцев, в постоялом хане успел переговорить с басрийским цирюльником, которого шальная судьба занесла сюда пять лет тому назад — и способ возвращения домой казался простым и верным. Поэт катал на языке это сладкое слово «домой», впервые ощущая его подлинный вкус, вспоминал былую жизнь чуть ли не с умилением, прощая обидчиков, восхваляя друзей, молясь за убитого женихабедуина и иных бедняг, чьи головы ему довелось отделить от тел...

Эйфория длилась до тех пор, пока мир не научился моргать.

А спустя еще сутки их встретила толпа вельмож, разодетых пышней слив в цвету.

— Радуйтесь! — сипло возвестил маг, подымаясь на стременах, и предгорья откликнулись шумным эхом. — Испытание завершено, фарр-ла-Кабир вновь сияет нам в полном блеске! Вот ваш шах!

И первым слетел с седла, дабы простереть ниц свое почтение перед убежищем власти, в смысле перед лошадью Абу-т-Тайиба.

Мгновением позже выяснилось, что путь домой изрядно осложняется, если не откладывается вовсе, а безумие старца заразней чумы. С кликами радости

благородные господа принялись освобождать коней от тяжести своих благородных задниц; и вскоре Абу-т-Тайиб мог вдоволь любоваться ягодицами и спинами, обтянутыми шелком и парчой. Последним пал ниц драчун Суришар, так и не сделавший попытки на привале сунуть нож в бок оскорбителю. Лошадь поэта пятилась, справедливо пугаясь откравшегося ей зрелища, сам Абу-т-Тайиб прикусил палец изумления зубами сдержанности, и на ум не приходило ни одной путной идеи.

Велеть им подняться?

Развернуться и поскакать прочь?!

Сделать вид, что ничего не произошло?.. ха! — легче сказать, чем сделать.

Пришлось выпутываться обычным способом.

— Э-э-э... негоже достойным валяться в пыли, усами дороги мести. — Пехлевийские слова, став привычными за неделю пути, сейчас спотыкались хромыми мулами; было стыдно. — Негоже великим владыкам земли... земли... от слуг только лесть обрести! Поклон не позор, но позорней стократ...

Хвала Создателю миров! — они начали подыматься. И можно было замолчать. Захлопнуть пасть, надежно укрыв окостеневший язык, не способный родить рифму к слову «стократ»; продолжить путь в шелесте и гомоне, в неподдельной радости, в искреннем обожании, в сладости сердец, распахнутых навстречу повелителю.

Вчера его торжественно возвели на престол; весь город, который местные жители звали Кабиром, ликовал и пил за здоровье владыки.

Он — шах, Кей-Бахрам.

И все же он — Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби. А посему плохо верит в обожание и сладость сердец, в динары, щедро рассыпанные под ногами, и в скуку удачу, когда та сама лезет в руки; ты ее отталкиваешь, пинаешь острым носком сапога, а она лезет, тычется мордой, скулит: «Возьми!»

В такую удачу поэт не верил вообще.

...зубная боль вновь уходит на миг, и миг кажется вечностью, особенно когда ты знаешь: быстрее всего заканчивается именно вечность.

Остановись.

Хлебни отвару, огладь бороду; заставь мысли бежать в нужном направлении.

Иначе... иначе нельзя.

Итак: что остается предположить? Первое — он, несчастный дурак, застигнутый врасплох самумом, благополучно скончался от удушья, от тяжести песка, и сейчас видит дурацкий смертный сон. Истлевая под мавзолеем пустыни. Сон противоречит общим представлениям о Божьем промысле, но кто намерен оспаривать право Творца на шутку? — и вообще: какие сны в том смертном сне приснятся?! Может быть, именно такие, с белостенным городом Кабиром и шахским престолом...

Предположение имело право на существование — но право маленькое, куцее, с горчичное зерно, и Абу-т-Тайиб забросил его в самый дальний угол. Туда, где на стене, в окружении свиты кинжалов, наискось висел владыка-ятаган: роскошный клинок, держать который в руках было подлинно шахским удовольствием.

Вот поэт и держал, уже три раза за сегодня держал, чтоб потом аккуратно повесить на прежнее место.

Второе предположение стоило первого: допустим, он тронулся рассудком. И теперь по Степи Ко-пъеносцев скитается блаженный доходяга, пуская слюни и воруя у бедуинов плошки с молоком вечернего удоя; а видит сей юродивый, как его силком возводят на трон, видит и путается в сомнениях...

Нет.

Что-то не сходится.

Дальний угол пополнился еще одним отброшен-

ным выводом, а поэт принял за третье предположение.

Все происходит на самом деле. Мир велик, и в нем вполне сущется место для Кабирского шахства. Где-нибудь на краю света, к примеру, за страной чинов или вообще в Уделе Черных джиннов. Всякому просвещенному человеку известно: знакомыми народами заселена лишь четверть земного круга, а что творится в остальных трех четвертях — ведомо одному Совершеннейшему Благотворителю! Кстати, надо будет позже спросить... нет, велеть принести ему карту здешних земель! Авось прояснится. Но дело не в карте, а в том, что в Кабире недавно скончался шах. Скончался безвременно, согласно заверениям мага с бородавкой, а шахи безвременно не кончаются — ежели на то нет особых причин. Разговоры о возрасте покойного (и до двухсот лет не дотянул, бедняга — ха!) мы оставим на потом, а сейчас...

Предположим, владыку тихо убрали из государственных соображений. После чего наследники с похвальным единодушием стали отказываться от Испытания, сулящего им венец. Насколько известно под горбатым небосводом, наследники от трона тоже просто так не отказываются — значит, и здесь был свой резон. Даже какой-то Лухрасп мигом слег в горячке, едва собрался съездить за шахским титулом. Камешек ложится к камешку, и умненький-безумненький маг Гургин отправляется за семь фарсангов шербета хлебать, вкупе с самым глупым претендентом на трон и наглой девицей, которой не владык на престолы возводить, а стонать сладким стоном под законным муженьком!

В итоге юный шах-заде должен был остаться в глупи навсегда. Глупый верблюжонок лишь чудом избегнул скорбной участи, а на трон... А на трон возвели никому не известного чужака, пред которым вельможи склонились, как перед отцом родным!

У Абу-т-Тайиба потеплели ладони. Он вытер их о халат, оцарапавшись драгоценным шитьем, и продолжил кружение.

Вот, вот оно, рядом, рядом...

Марионетка на троне, пустышка, перекати-поле! Вызванный колдовством проклятого Гургина из несусветной дали, глиняная свистулька, куда хозяин-невидимка станет дуть по мере надобности — чтобы вскоре растоптать тяжелым каблуком! И впрямь халиф на час! — только минуты уже бегут, и лишь судьбе известно, какая из них станет роковой... Надо было исчезнуть еще в горах, а сейчас поздно, сейчас даже из дворца выйти не дадут: если догадка верна, то нового шаха сторожат бдительней, чем узника халифских темниц!

Спокойно, Абу-т-Тайиб, спокойно, голова твоя пока еще на плечах! А жизнь — не такая уж потеря, чтобы биться лбом об пол, кляня в отчаянии всех и вся; но жизнь — и не такая уж безделица, чтобы кукла стала рвать нитки раньше времени.

И зубы болят... Е рабб, ну почему зубы болят даже у марионеток, даже у шахов?.. Аллах, прости святотатца — у тебя тоже иногда болят зубы?!

Поэт встрияхнулся мокрым пском, отставил кувшин и принудил себя улыбнуться. Что делает связанный по рукам и ногам узник, угодив в зиндан? Сперва глаза должны привыкнуть к мраку ямы, после стоит вслушаться в шаги над головой... опробовать на крепость веревки, проверить узлы — к птице свободы подкрадываются исподволь, ощущую, боясь спугнуть! Это отлично известно тем, кто больше месяца гнил в зиндане эмира Бахара, да прогрызут черви насквозь его ядовитую печенку! Интересно: а если я сейчас велю собрать военачальников и объявлю Бахару войну? Молодец, стихоплет, быстро осваиваешься... Будем считать, что к мраку привыкли и в шаги вслушались. Пора осмотреть веревки, дернуть цепи: нет ли изъяна в каком звене?

Сунув ноги в теплые кауши, расшитые золоченой канителью, Абу-т-Тайиб подошел к дверям покоев. Сегодня он еще ни разу не выходил отсюда; впрочем, он вообще ни разу не выходил отсюда — шахом. Куклу делали, наряжали, а затем она до поры легла в сундук. Итак...

Двери отворились без скрипа, от малого толчка ладонью, и из коридора в лицо пахнуло сырой прохладой. Тишина. Лишь в отдалении слышна глухая воркотня, но слов не разобрать, и ничего не разобрать: то ли люди разговаривают, то ли кони фыркают, то ли голуби... А вот теперь слышно: дышат. Сипло дышат, вполгруди, стараясь помешать воздуходу заклокотать в глотке, выйти нутряным храпом.

Выберемся-ка наружу, поглядим, кто это тут у нас дышит?

Коридор оказался скорее галереей (вчера не разглядел, вчера было не до того!). Ряды сводчатых ниш, в глубине каждой теплится малая лампадка, дрожа язычком пламени — десятки змей трепещут огненными жалами, и стены между нишами кажутся перламутровыми от мельчайших росписей, татуйровки от пола до потолка. А по обе стороны дверей в шахские покои замерли великаны. Двое, точно Яджудж и Маджудж. Сизые от бритья макушки увенчаны пуговками-тюбетеями, кожаные безрукавки накинуты прямо на голое тело, и кушаки из сиреневого бархата многослойно намотаны поверх шальвар, где обычному человеку утонуть проще, нежели в морской пучине. Торсы великанов обильно смазаны маслом, остро пахнет мускусом и мужским потом, и лоснятся бугры мышц, текут волнами, выются клубками удавов...

Стража.

«Ясное дело, стража! — одернул Абу-т-Тайиб сам себя. — А ты чёго ждал, глупец?! Дервиш с просьбами о подаянии?! Черных зинджея с кольцами в ноздрях?!»

Он вразвалочку вышел из покоев. Качнулся с

пяtkи на носок, задумчиво возведя очи горе, и наконец обернулся к великанам. Те, выкатив маслины глаз, стояли недвижимо, лишь убрали к ноге шипастые герданы — палицы, способные распллющить гору Каф.

— Ну-ну, — буркнул поэт, чтоб хоть что-то сказать. — Ишь, вымахали, на казенных-то харчах...

Великаны не ответили. Вероятно, не поняли: последнюю фразу Абу-т-Тайиб произнес на языке Корана.

И не сдвинулись с места, когда новый шах Кабира медленно, с подчеркнутой ленцой, зашагал по коридору.

Один узел на поверхку оказался слабоват, да и узлом его назвать было трудно. Если, конечно, все это не притворство или шутки кукольника. Стارаясь отрастить себе уши на спине, поэт насквозь пересек галерею, резко свернул налево, откуда донесся женский смех; но вскоре передумал и наугад нырнул в темный переход. Тот закончился тупиком, где вверх тянулась винтовая лестница, плита за плитой нависая над идущим. Как вскоре выяснилось, вела лестница в круглую башню: достаточно было толкнуть кованую дверцу, и ты попадал в полусферу с четырьмя прорезями бойниц. Если глянуть в северную прорезь — отчетливо виднелся край соседней башни, рубцы ее кладки; из бойницы западной просматривались сады предместий, плавно сползающие в долину.

К остальным бойницам поэт подходить не стал. Так, сунул любопытный нос в стенные ниши: оловянная чашка с гнутым краем, стеганый колпак... Сквозняки гуляли в башне, гуляли вольно, забираясь под халат, и впору было радоваться надетым с утра чулкам из теплой шерсти. Не в его возрасте сдаваться на милость этим продувным bestиям. В крайней нише обнаружился роскошный пенал из мореной черешни, сплошь расписанный мельчайшей вязью, ветками и цветами. Серебряная цепочка

приковывала к пеналу чернильницу о шести гранях, сделанную из желтой бронзы. Рядом, скрученный жгутом, лежал шелковый платок — заворачивать сокровище. Воровато озираясь, Абу-т-Тайиб сунул находку за пазуху, туго подпоясав халат (чтоб не выпала!); и передумал. Достал, обмотал платком и демонстративно понес в руке.

Шах он или не шах?!

А значит, по праву может без зазрения совести присваивать и отбирать!.. где ж это видано: совесть у шахов?

Внизу, у подножия лестницы, его ждали двое телохранителей. Не великаны, другие: сухие, поджарые усачи с кинжалами на поясах. Они молча потащились следом — переход, галерея... В присутствии охраны не было ничего особенного, владыку обязаны сопровождать доверенные люди, блюдя его пуще зеницы ока; и все-таки это раздражало старого поэта.

Хуже зубной боли.

«Надо будет ввести хождения в народ, — решил Абу-т-Тайиб, возвращаясь в покой и любуясь краденым пеналом. — По примеру великого халифа Харуна Праведного. И непременно под чужой личиной, без охраны. Брать одного спутника. Да хоть того же Гургина! От него и избавиться в случае чего будет легче легкого...»

Поэт лгал сам себе; и знал, что лжет.

Избавиться от Гургина, от мага с бородавкой, от делателя владык... Кстати, как советуют поступать с тем, от кого покамест не можешь избавиться?!

И дверь покоев распахнулась снова.

— Гургина ко мне! — рявкнул шах Кабира. — Немедленно!

И сморщился вяленой грушей: шайтанчики вновь заскакали по деснам.

— Я желаю тебя облагодетельствовать.

Маг молчал и смотрел в пол. На котором только что лежал плашмя; а Абу-т-Тайиб еще и обождал минуту-другую, прежде чем велеть Гургину подняться.

— Цена твоя стала великой в наших глазах, и явная истина блеснула во мраке: ты — мой собеседник и друг, ты мой близкий и товарищ! Короче, я назначаю тебя своим вазиром, советником, к чьим советам охотно преклоню слух! Ну, ты счастлив?

Вместо счастья тень набежала на лицо мага. Он потянулся было к бородавке, но раздумал, и старческие пальцы крепче вцепились в посох с остроконечным концом из металла.

— У моего шаха уже есть два вазирга: Отец Казны и Господин Приговоров. Они имели честь служить еще предшественнику моего шаха, будучи искушенными в мирских делах. Я же никчемный хирбед, раб Огня Небесного, и познания мои в управлении государством не стоят и горсти проса.

— О твоей богопротивной ереси мы поговорим позже, — Абу-т-Тайиб оценил гримасу недоумения на лице мага и ухмыльнулся про себя. — Если Аллах терпел это ваше идолопоклонничество до сих пор, то потерпит еще немного (да будут мне прощены дерзкие речи!). А Отец Казны и Господин Приговоров будут просто счастливы узнать, что я... в смысле, великий шах Кей-Бахрам, утверждаю пост главного вазирга. Наиглавнейшего!

Тень на лице мага сгустилась, мглой заполняя ущелья морщин, сдвигая брови так тесно, что складка между ними напомнила букву «шин»; и начекнущий посох со скрипом разодрал основу ковра.

— Владыка переоценивает мои старания. Я готов служить кабирскому трону словом и делом, но кулах слишком тяжел для моей головы!

— Кулах?

В ответ Гургин указал на стол, где валялась неразвязанная чалма Абу-т-Тайиба. Поверх нее был надет венец белого золота: зубчатый круг, центр которого украшало стилизованное изображение солнца.

По всей длине венца бежала россыпь крупных жемчужин; каждая третья или пятая — черные.

Капли адской смолы.

— «Книга шахов» гласит, — тихо произнес Гургин, и голос мага дрожал аккордом, взятым на расстроенной лютне, — что к тем, кто низок по происхождению, волей владык приходят перстень, пояс и кулах. Твой же кулах, о мой владыка, есть прообраз фарр-ла-Кабир, да сиять ему вовеки!

— И если я хочу назначить кого-то вазиром или, к примеру, хлебодаром, то я вручаю ему должностной кулах, пояс...

— И перстень. Зато если мой шах гневается на своих слуг великим гневом, он отбирает указом знаки власти, и злоумышленники скорбят скорбью неправедных! Замечу лишь, что хлебодарам знаки власти не пристали; в отличие от советников-вазиргов, полководцев-спахбедов или сатрапов и марзбанов, правителей областей внутренних и пограничных.

— Отлично! — Абу-т-Тайиб подмигнул магу с искренним весельем. — Значит, мы закажем для твоей дряхлой головы самый маленький кулах, легкий, невесомый... Ты понял меня, вазир Гургин? Эй, кто там?! Кулах мне и пояс — то бишь не мне, а моему любимцу Гургину, да пребудет его бородавка вовек не зудящей!

И тут случилось странное: маг побелел, будто тень на лице Гургина внезапно оборотилась первым инеем. Губы его мелко задрожали — и старец плюхнулся на колени, уронив посох. Мутная слеза выкатилась из уголка левого глаза, вприпрыжку про-

бежав по щеке и утонув в прядях бороды, а взгляд стал походить на взгляд древней собаки, которой за верную службу предлагают отравленный кус требухи.

— Владыка! — Вскрик мага треснул надвое, и чепреки слов градом посыпались на изумленного поэта. — Владыка! Готов служить, готов стоять у трона... коленями на горохе стоять готов! Не назначай вазиром! Оставь при себе, оставь конюшим, метельщиком, цирюльником, кем угодно!.. прости раба своего! Прости!

— Да что ты! Встань, встань... — Если шах Кабира и ожидал чего-то, так уж никак не подобного самоуничтожения. Он подхватил мага под мышки, но старец подыматься не хотел, упирался, а под конец даже лег ничком, продолжая бормотать о своей готовности руками выгребать отхожие ямы, лишь бы не надевать кулах вазирга.

Пришлось брать полный кубок и отпаивать Гургина, заливая ему рясу и ласково поглаживая по костлявому плечу.

Наконец старец угомонился и прекратил всхлипывать.

— Ты похож на одного моего знакомого, Гургина, — бросил Абу-т-Тайиб, заложив руки за спину и расхаживая по покоям. — Он посмотрел утром на рабыню соседа, и та была для него запретна; в полдень он ее купил, и рабыня стала для него дозволена; к вечерней молитве он ее освободил, и девушка вновь стала для него запретна; на закате он женился на вольноотпущеннице, сделав ее дозволенной для себя, чтобы ночью развестись и сделать бывшую жену запретной; а утром он вновь заключил с ней брак, и она стала ему дозволена. Короче, ты сам не знаешь, чего хочешь. Ладно, будь по-твоему: оставайся при мне советником, а златой кулах мы придержим в стороне до лучших времен.

Ощущение было не из приятных: маг вдруг кач-

нился к поэту и истово ткнулся губами в ладонь, прежде чем Абу-т-Тайиб успел отдернуть руку.

Губы старца были мокрыми и шершавыми.
Как у верблюда.

Глава шестая,

где можно удивляться, можно сочувствовать, можно преисполниться восторгом или ощутить гнев, а можно ничего этого не делать, и заняться любым другим делом, о чем здесь не сказано даже единным словечком

1

Вызов во дворец застал Суришара в его загородном имении. И застал, надо сказать, врасплох. Юноша как раз сидел на перилах веранды, задумчиво изучая расположение фигур на шахматной доске. Напротив замер управитель: щуплый евнух-коротышка, который по сей день не располнел вопреки обычаям среднеполых, зато успешно превращал дом в полную чашу. Евнух ждал возгласа «Шах!», ждал дольше обычного, и дождался — только от гонца, а не от хозяина.

— Шах хочет видеть названого сына, да будет благо им обоим!

Мигом дом закипел, словно забытый на огне котел с похлебкой. Что надеть? С ума сошли: узорчатые шальвары? парчовую джуббу?! сапоги из крашеной юфти?! Ни за что! Сочтет щеголем, решит, что достаток выпячиваю... Холщовая рубаха и такие же штаны?! Болваны! Недоумки! Дети ослицы и тарантута! Кто же ездит во дворец, одетый в холст и дерюгу?! Живо, живо, раскрывайте сундуки, вываливайте добро, сам разберусь...

И не прошло часа, как копыта чалого жеребца, купленного в Медном городе, выбили шальную дробь о плиты внешнего двора.

Расплескивая весеннюю грязь, шах-заде бурей вылетел на дорогу, ведущую к западным воротам

Кабира, и понесся вскачь. Далеко позади оставались арбы, крытые войлоком-двуслойкой, груженные просом телеги, гурты ослов с мелкой поклажей, паломники в островерхих куколях и караван торговца-оразмита; чалый мерил пространство, вытянувшись струной, а шах-заде подставлял лицо пронзительно-му ветру, и душа пела птицей бульбуль:

— Быстрее! Еще быстрее!.. Владыка хочет видеть названого сына...

Еще во время обряда помазания, когда представители всех четырех сословий пали на колени перед новым шахом, Суришар понял — Огнь Небесный нарочно искушал его. Плеснул в глаза сиянием ложных надежд, одурманил мозг тщеславием, заставил дерзновенно кинуться на того, чье чело отмечено судьбой и фарр-ла-Кабир! Видать, сильно прогневал святых покровителей самонадеянный шах-заде, живым выйдя из пещеры Испытания и вместо благодарности взлелея гадюку мести, если понадобилось сбрасывать его с вершин гордыни в бездну покаяния... О Кей-Бахрам! Вели отправиться в ссылку! Вели гнить в темнице до скончания веков! Вели в одиночку пойти на дэвов Мазандерана!

Исполню не колеблясь!

Несся чалый, приближались городские рвы, где тяжко плескалась желтая муть, исполинами вырастали стены, издали отблескивая то булатной синевой, то ржавым налетом; более светлые камни арки ворот казались зеленовато-сизыми, будто патина на старом серебре — несся чалый, наслаждаясь скачкой, и плеть так ни разу и не обласкала конские бока.

К чему?

— ...По зову владыки!

— О, шах-заде Суришар! Конечно, конечно, мы сейчас проводим!

Куда его ведут?! Задний двор, террасы, галереи,

вереницы низеньких комнат, чьи стены обиты кедровыми досками, диваны с полосатыми тюфяками, снова двор, галерея, фонари из резного кипариса растопырились летучими мышами... в темницу! Его ведут в темницу!

Сбылось!

— Прошу, сиятельный шах-заде! Владыка велели не мешкая...

На длинных стойках развешано белье для просушки. Исподнее: плещет шелком крыльев, тончайшей бязью оперения — белое, розовое... всякое. Рядом каменный домик, и из стенных проемов грозно скалятся львиные морды, отрыгивая струйки воды. Войдешь в дверь, и боязно ступать по роскоши мозаик: прямо под сапогами лежит нагая красавица, бесстыдно обливая щедрую плоть из кувшина — топчи, гость! Мраморные скамьи сами кидаются на встречу: садись, скинь одежду, улягся распаренным телом, подстелив циновку, доверься умелым рукам слепцов-массажистов!

Надежды на благодать темницы, на искупление грехов и очищение совести рухнули горным обвалом.

Вдребезги.

— Владыка изволят посетить баню! Но относительно шах-заде было велено: пропустить без задержки! Ну куда же вы, куда!.. в сапогах, в халате...

Суришар потянул из-за кушака нож, чьи ножны и серебрянную рукоять густо усыпали зерна бирюзы, после чего принялся разматывать сам кушак. За угловой дверцей вовсю звякала медь кувшина, тихо струилась вода и доносилось счастливое кряканье. Не так представлял себе шах-заде официальную встречу с властелином Кабира: своды парадной залы, ряды царедворцев застыли в торжественном молчании, и вот он, шах-заде — с достоинством принимает опалу, подставляя шею под карающий меч истинного правителя, названого отца! Дудки! — в смысле, именно дудки, а не трубы или карнаи. Где

уж тут с достоинством подставить, если ни царев-дворцев, ни залы... подставиша, а лишенный шальвар зад выпятится куриным огузком, подло намекая: пни! приложись пяткой! ну же!

Оставшись голым, Суришар совсем заскучал.

И, в тоске обмотав чресла передником, нырнул в пар, журчанье и кряканье.

Зрелице потрясло юного шах-заде: обладатель фарр-ла-Кабир ничком валялся на цветастом половичке, а по его жилистой спине усердно топтался банщик, визжа от азарта. Рядом курилось жерло бассейна, доверху наполненного горячей водой. Засмотревшись, шах-заде нечаянно наступил на забытый банщиком обмылок, пятки юноши взлетели к потолку, зато все остальное с грохотом рухнуло на пол.

— А, это ты! — прохрипел шах Кабира, пытаясь вывернуться из-под мучителя. — Молодец, быстро доскакал... Эй, плясун, разомни-ка мне сыночка!

Не успел шах-заде опомниться, не успел отбитые ягодицы почесать, как и под ним чудесным способом образовался половичок, а банщик принялся вовсю пинать и щипать «сыночка».

Эй, поосторожнее! эй! ай! ой!.. я ж тебе не тесто в кадке!

Шах меж тем встал и пересел на скамью. Взяв резную доску, он уставился на нее, после задумчиво хмыкнул и почесал волосатую грудь.

Шрам под левой ключицей розовел дождевым червем, распарившись от жары и ласки банщика; еще два червя ползали — один по шее, другой по скуле владыки.

— Эй, юноша, — шах ухмыльнулся и добавил, вогнав Суришара в краску, — подобный блеску молнии во мраке... А скажи мне, дружок, вот что: Пламень-в-Красном-Шлеме — это как понимать?

Суришар наконец скинул с себя банщика-надоеду и рискнул приблизиться к владыке. Сесть рядом он не решился (да и кто бы решился?!), устроясь на

мокром полу рядом с ногами шаха. На сами ноги юноша старался не смотреть: испещренные синими жилами, с пятнами застарелых ушибов, они выглядели недостойными своего хозяина.

Дурацкая мысль, но в бане другие, более чинные и мудрые, мысли как отрезало.

— Пламень-в-Красном-Шлеме? — переспросил шах-заде.

В ответ шах молча сунул ему доску, после чего ночь слепоты сменилась утром ясности. Суришар никогда не считал себя знатоком-звездочетом, он даже гороскопы, которые подсовывал ему евнух-управитель, читал вполглаза, через строку, но вырезанные на доске символы были ясны даже для мальчишки.

Вот Нахид, звезда любви и чадородия, вон Кей-Ван, шах звезд с кольцами фарра вокруг чела, а вон и Пламень...

— Новое имя владыки — Кей-Бахрам, — юноша поднял голову и встретился взглядом с названным отцом. — А Бахрам — это и есть звезда Пламень-в-Красном-Шлеме. Багровая такая, будто кровь запеклась... символ воина.

— Миррих-воитель?

— Нет, если по-нашему, то Бахрам. Миррихом эту звезду в Дурбанском сultanате зовут.

Внезапно вспомнилось: первым, малым именем владыки было... как он тогда назывался? Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби? Огнь Небесный, имя-то совсем дурбанское! Уроженец тамошних равнин? Да нет, быть не может: вон, фарр вокруг чела так и сияет!

Нимало не заботясь еретическими сомнениями юноши, шах встал, поскреб макушку уполовиненным пальцем; и вдруг с разбегу плюхнулся в бассейн. Брызги взлетели до потолка, и оттуда, из плеска и брызг, донеслось:

— Ладно, Иблис с ними, с именами-звездами! Мудрецы намудрили, а мы выясняй... Ныряй лучше

сюда, потолкуем о душевной сладости! Говорят, ты стихи слагать горазд?

Шах-заде твердо уверился в грядущей опале. Баня, не баня — все равно. Вопрос о стихах сразу напомнил ему: гроза в проклятом Городе, сабля рубит мимо цели, и строчки хлещут по лицу звонче оплеух. Не зря, видать, шах про «молнию во мраке» намекнул!

— Ну давай, давай, чего насупился! Омоемся большим омовением, ибо оно ключ к вратам рая и палатка света о четырех веревках, а возле каждой веревки ангел поздравляет тебя с легким паром! Иди, приятель, потешь мою душу жемчугом красноречия!

Пришлось Суришару вставать с пола, тащиться к бассейну и робко садиться на краешке бортика, свесив пятки в горячую воду. Как он здесь плещется, в кипятке?.. одно слово — владыка!

— Язык проглотил? Смотри, еще минутку промолчишь — петь заставлю!

— Боясь жены, друзей, боясь людской молвы, — начал шах-заде вспоминать первое, что пришло на ум, — боясь назвать кривой ствол дерева кривым... э-э-э... ты все равно кричишь, что ты — венец творенья!..

— Как жаль, что под венцом не видно головы! — в голос закончил шах и расхохотался.

Ответом ему был истошный вопль, потому что от изумления Суришар сполз-таки в горячую воду целиком; и еще потому, что он был потрясен легкостью, с какой владыка играл словами. Сам юноша уже плохо помнил, чем там заканчивалось давнее четверостишие, и собирался импровизировать — пока это намерение не выдернули из-под него скользким половичком.

«А вдруг примет за намек? — обожгла шальная мысль, и кипяток сразу показался холодней горных ключей. — Нет, ерунда, он же сам... ну и что, что сам! Головы под венцом не видно...»

Суришар с опаской покосился на названого отца

и действительно ничего не увидел: шах скрылся под водой целиком. Одни пузыри всплывали, словно вода и впрямь закипела. Наконец показалось бритое темя, высокий лоб, где возраст успел проложить немало борозд, затем явились топазы глаз по обе стороны горбатого носа и губы с налипшими на них прядями усов.

— Хороший ты парень, — сказали губы, пока глаза пристально изучали юношу, и взгляд шаха тайно противоречил сказанному, впиваясь жалящей змеей. — Молод еще, правда, горяч не в меру, но это пройдет... к сожалению. Я так Гургину и сказал: хороший, мол, парень, жаль, если зря скиснет! Ну, отвечай, не задумываясь: какой столичный полк самый-самый?!

— Гургасары, — машинально откликнулся шахзаде, плохо понимая, к чему клонит владыка. — «Волчьи дети».

— А раз так, готовься: быть тебе с сегодняшнего дня полководцем-спахбедом, Волчьим Пастырем! Пойдем одеваться, напомнишь — там тебе уже все подготовили: пояс, перстень и этот, как его...

— Кулах, — подсказал юноша. Слова шаха жарко обтекали его, струясь незримым кипятком; понимание ускользало, виляя хвостом, а карие глаза все смотрели, не отрывались, ждали чего-то... чего?!

— Ага, и кулах. Нацепиши, приберешь своих гургасаров к ногтю, а дальше, глядиши... — Ладонь шаха резко вынырнула наружу и с палаческой цепкостью ухватила Суришара за кудри. Рывок; и вот они лицом к лицу, названные сын и отец, пасынки судьбы, дети-ублюдки пещеры в горах без названия. — А дальше, одной прекрасной ночью, поведешь «волчьих детей» на дворец! Охрану вырежешь под корень, их резать, что козий сыр рвать, потом старому дураку башку долой! — придут утром советники с лизоблюдами, а на троне новый шах, Кей-Суришар! Нравится?! Ну, отвечай — нравится?!

Так Суришара не обижал еще никто и никогда. «Серый мадх» показался юноше благословением небесным после этих слов, после этой властной руки и этих глаз, двумя раскаленными иглами впившихся даже не в самое сердце! — глубже, еще глубже, туда, где прячется...

Шах-заде не знал, что у него прячется глубже сердца.

Он просто заплакал.

Слезы текли по лицу, слезы стыда и обиды, соленые капли щекотали уголки рта, и хотелось умереть. Нырнуть с головой в мутную воду, чтобы больше никогда не выныривать в эту проклятую жизнь, где прибой бьет тебя о скалы, не пропуская даже самой завалившей. Соль выедала глаза, а напротив, на бортике бассейна, сидел великий шах Кей-Бахрам; сидел и разглядывал плачущего юношу со странным интересом. Так глядят на площадных акробатов, на мутрибов-лицедеев, раздумывая: что бросить шутам за трюк?

Монету или гнилую сливу?!

— Е рабб, — спустя минуту пробормотал шах, и лицо владыки сморщилось, как если бы он хлебнул уксусу, — ну не может же он... Ладно, парень, забудь! Ну все, все, умойся... или лучше я тебя сам умою. Быть тебе спахбедом, быть, хватит реветь-то!

И Суришар ткнулся мокрым лицом в чужие ладони, покрытые твердыми мозолями.

2

...пир был в самом разгаре.

Слуги проворно сновали меж столами, блюда исчезали и появлялись словно по волшебству, седло барабашка в темной подливе сменялось мясными шариками, переложенными пучками черемши, сладкий фалузадж-медовик соперничал ароматом с джа-

узабом, где куропатки истекали сладким соусом; и кубки долго не пустовали.

— Уф-ф! — Это было все, что сумел сказать Абу-т-Тайиб, когда подали душистую харису: вид плова, куда вместо риса клали пшеничные зерна.

Есть он уже не мог; и не есть не мог.

Особенно если учесть: поэт и раньше частенько нарушал запрет пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) на вино (да благословит его Аллах и приветствует!) — но здесь из патоки гнали жидкий огонь, позволяя в обход запретов изрядно повеселить душу (да благословит ее Аллах и приветствует!).

Шах улыбнулся, берясь за кубок.

Его новый спахбед, чей дом сегодня был удостоен чести государева визита, просиял в ответ и возгласил замысловатую здравицу. Хороший парень. Начисто лишен греха злопамятства. Абу-т-Тайиб вспомнил, как в бане испытывал Суришара, испытывал жестоко, с палаческим пристрастием, пальцами ковыряясь в сокровенном... Оставалось либо предположить, что местные шах-заде — самые талантливые лицедеи в мире, которым заплакать, что иным высморкаться; либо враг и впрямь стал верным слугой. Если второе истинно, стоит иметь его рядом вкупе с полком «волчьих детей», если же истинно первое...

Е рабб, ненависть в нашей жизни редко сменяется преданностью! — особенно ненависть наследников престола, у которых престол увели самым наглым образом... Об этом думать не хотелось. У жребчика было меньше всего шансов участвовать в возможном заговоре; меньше всего шансов выжить в горах, где его подло бросили лжепроводники; меньше всего шансов проникнуться любовью к нему, Абу-т-Тайибу! А если он, вопреки очевидному, выжил и проникся, то пускай так дальше все и идет. Пусть стоят плечом к плечу, по обе стороны кукольного трона: хитрый маг и пылкий шах-заде.

Пусть, а там посмотрим, кого столкнуть лбами.

Абу-т-Тайиб честно признался самому себе: игра в «Смерть Шаха» начинает его увлекать. Поэт по-прежнему чувствовал себя молодым. Как тогда, в Городе, когда встретился глазами с юным шахзаде. Жизнь была прекрасна и разнообразна. Бархат штор — и ожидание стрелы из-за каждой; мягкое ложе — и тениочных убийц; почести в предвкушении публичного разоблачения, здравицы в преддверье проклятий — и дворец на пороге могилы. Все это придавало существованию смысл, наполняло еду доброй толикой перца, и по утрам Абу-т-Тайиб вскакивал с юношеской бодростью, о которой успел позабыть давным-давно. Даже зубы перестали болеть; только до сих пор жутко свербели десны.

Все время, сводя с ума.

Если бы не это...

Абу-т-Тайиб отхлебнул из кубка. Сегодня он проверил крепость еще одного узла: впервые выехав из дворца в загородное имение нового спахбеда. Интересно, а если сейчас попытаться ускользнуть от свиты и челяди... Хмель толкал на подвиги, но благородумие натягивало поводья — вспомни, поэт, то-ропливость ведет на «ковер крови»! Славный такой коврик: его подстилают под приговоренного царевнорца, дабы кровь не забрызгала покой владыки. Помнишь? — ты однажды уже стоял на таком ковре, и достаточно, достаточно!

Он помнил.

И продолжал сидеть за столом, тем более что на сегодняшний вечер у него был припасен еще один узел.

Государственный узел, можно сказать.

— Эй, Гургин!

Маг поднялся с глубоким поклоном. За весь вечер старец съел одну лепешку с тмином, запив ее подкисленной водой. Лицо у мага было мрачней

ночи, кустистые брови сошлись у переносицы, тучами затеняя блеклую голубизну взора; и Абу-т-Тайиб еще подумал, что на месте мага хмурился бы вдвое.

Ишь, лепешка... под такие ароматы!

— Надеюсь, тебе передавали, что утром я вызывал к себе писца с докладом?

Гургин пожал плечами.

— О поступках владыки докладывают разве что солнечные лучи Огню Небесному. А я всего лишь дряхлый глупец, чьи советы лишены всякого смысла.

Абу-т-Тайиб кивнул, словно соглашаясь с выводом мага, и исподтишка мазнул быстрым взглядом: обидится ли?

Шайтан его разберет, хмурится и хмурится...

— Тогда, полагаю, тебе будет интересно знать, что я лишил пояса и кулаха окружного судью Пероза! — Поэт говорил уверенно, со знанием дела, забыв добавить лишь, что имя судьи Пероза узнал утром из бумаг писца. — Ибо дважды на Пероза поступали жалобы, где он именовался судьей неправедным, и вопли страждущих достигли небес! Что скажешь?

Странно: пирующие хоть и прислушались к словам владыки, но отнеслись к его заявлению крайне спокойно. Когда буйдский эмир Муизз ад-Даула, фактический правитель Дар-ас-Салама, в обход халифа, или кордовский Омейяд аль-Хакам II смеялись родовитых сановников — шептались куда больше. Одному сановнику доводился родичем, другому — покровителем, третьему — фаворитом, поваженным в делах, другом, наконец!.. А здесь тишина. Выслушали, кивнули и облизывают сальные пальцы.

Один Гургин дальше хмурится, хотя, казалось бы, дальше некуда.

Ну что ж, бедный поэт и не переоценивал своих возможностей в реальном возвышении или низвер-

жении. Ясное дело, указы марионетки годны только в сундуке.

И все-таки...

— Владыка подписал указ об отстранении судьи Пероза? — спрашивает маг вполголоса.

— Да. И велел гонцу немедля доставить сей указ в дом судьи.

— Не поторопился ли владыка? Возможно, стоило бы подробнее разобраться с жалобщиками? Судья Пероз стар, более чем стар, и лишить человека в его возрасте пояса и кулаха без детального разбирательства...

Маг говорит шепотом, еле слышно, хотя никто и не вслушивается в беседу шаха с советником.

— Ну, ты у меня тоже не мальчик, а от кулаха отказался! — Бледность внезапно заливает лицо мага, и Абу-т-Тайиб решает не перегибать палку, особенно имея в запасе новый подарок. — А впрочем, умница! Вот и я думаю: не погорячился ли? Не внял ли мольбам злоязычных?! Наш достопочтенный устроитель пира, мой названный сын, минутой ранее сообщил мне: имение Пероза всего в двух фарсангах от этого дома! Итак: седлайте коней! Шах едет разбираться!

И, не дав никому опомниться, поэт встал из-за стола.

3

Сегодня он будет спать плохо. Очень плохо. Поэтому что, вломившись во главе хмельной толпы в имение отставного судьи, застал там громкий плач и причитания. Труп судьи лежал в открытом гробе-табуте, уже обмытый и завернутый в погребальные пелены; а рядом скорбно молчали родственники и близкие друзья. Обман исключался, да и не стал Абу-т-Тайиб проверять: настоящий судья лежит

перед ним или поддельный? Просто постоял над трупом, вспоминая вопрос мага-советника:

«Не поторопился ли владыка? Судья Пероз стар, более чем стар, и лишить человека в его возрасте пояса и кулаха без подробного разбирательства...»

А ведь он всего лишь хотел уличить возможных заговорщиков в пренебрежении к указам шаха, уличить публично, дав пишу молве!

Уличил, владыка?

Ты ведь был уверен, отправляя гонца, что цена твоему указу — рубленый даник, и тот с обгрызенным краем!

— От чего умер судья? — глупо спросил Абу-т-Тайиб и едва не покраснел.

Вперед вышел ровесник поэта, очень похожий на умершего: вероятно, старший сын.

— От... — Он запнулся, проглотил слюну и уже твердо закончил. — От старости, мой шах. От старости.

— Получив мой указ?

— Да. Получив указ владыки. Вот...

Абу-т-Тайиб обратил внимание, что ему протягивают атласную подушку, поверх которой лежали пояс и кулах.

Золотые бляхи на ремне и россыпь жемчужин по зубчатому обручу; похожи на шахские регалии, но меньше и бедней.

— Оставь себе, — тихо сказал шах Кей-Бахрам. — Теперь ты — окружной судья. Оставь себе.

— Лучшего выбора трудно и представить, — шепнул на ухо Гургин, но шах не слушал его.

Лица. Лица родственников судьи, лица его друзей; лицо самого покойника. Абу-т-Тайиб мечтал, чтобы хоть на одном из этих лиц мелькнула укоризна, ненависть, презрение к владыке, подписавшему указ об отстранении из мимолетной прихоти... ну же!

Нет.

Лица были спокойны, и глаза смотрели понимающе.

Оправдывая.

Машинально Абу-т-Тайиб сунул пальцы в рот, ухватил, дернул... Извлек гнилой пенек, зачем-то спрятал его за кушак, видимо постеснявшись при мертвце швырнуть в угол. Сунул окровавленные пальцы в рот снова, пошарил; и брови шаха удивленно взлетели на лоб.

* * *

Уже отъезжая от судейского имения, он бросит Гургину:

— По приезде гони ко мне лекаря! Кто тут у вас зубами занимается?!

— Зубами у нас занимаются цирюльники, — прозвучит спокойный ответ. — Но владыке они не нужны.

— Как не нужны? А что тогда творится у меня в рту?!

— Ничего опасного, — и Гургин впервые за сегодня улыбнется. — Ничего опасного, мой шах. Просто у тебя режутся новые зубы.

Глава седьмая,

где речь пойдет о благородном искусстве охоты и послушных шахской воле девицах, а также о прилюдных казнях и мудрости правителей — однако не будет упомянуто, что если первым днем года станет понедельник, то это указывает на праведность властующих делами и наместников, а также год будет обилен дождями, взрастут злаки, но испортится льняное семя, умноожится моровая язва, и падет половина животных — баранов и коз; хорош станет виноград и скуден мед, хлопок упадет в цене, а Аллах лучше знает

1

Утро наступало особенное. Охотниче утро — это новый шах Кабира понял сразу. Тусклая сталь неба медленно раскалялась на востоке, где ангелы-

кузнецы разжигали горн для переплавки грехов в добродетели — и металл тек голубизной, превращаясь в редкую разновидность индийского булата. Легкие белые стрелы облаков перечеркивали свод над головой, и Абу-т-Тайиб окончательно уверился: быть сегодня потехе!

Говорят, фазанья охота здесь — поистине шахская. Вот и проверим. Даром, что ли, за «ловчие поэмы» ему в свое время платили втрое больше, чем за винную лирику «хамрийят»?! А когда охотник может в любую секунду стать дичью, равно как владыка — падалью...

Поэт твердо знал: если, миновав невольничий рынок, взять наискось от угловой башни и спуститься в лощину, то через час начнутся кустарники, где и ждут ловца краснохвостые птицы со спинками из чистого серебра.

Знать бы еще, откуда подобная уверенность? И все-таки: прикроешь глаза и ясно видишь — рынок, дорога, лощина... фазаны!

Наваждение?

Пылающий лик светила еще только-только успел взмыть над твердью, оглядывая землю и выясняя, что здесь успели натворить в его отсутствие — а кавалькада нарядно одетых всадников уже выезжала из ворот дворца.

Меховая джубба, поданная шаху по случаю охоты, оторочкой подола свисала едва ли не до стремян. Конь шел ровно даже по грязи, не сбиваясь с руслы, а жгучий от холода воздух бодрил, быстро изгоняя остатки сна. Впереди покрикивали и незло щелкали нагайками телохранители-гургасары во главе со своим новым спахбедом, гоня с дороги ранних прохожих... В общем, настроение у Абу-т-Тайиба было отличное — под стать этому ясному утру. В голове сами собой сложились два байта:

Миновала давно моей жизни весна. Кто из нас вечно
зелен? — одна лишь сосна.
Нити инея блещут в моей бороде, но душа, как и прежде,
весною пьяна!

Пей, душа, пой, душа, полной грудью дыша!
Пусть за песню твою не дадут ни гроша.
Пусть дурные знаменья кругом мельтешат —
я бодрее мальчишки встаю ото сна!

Абу-т-Тайиб, ставший с недавних пор шахом Кей-Бахрамом, громко расхохотался. Эй, игроки-кукольники! Смейтесь и вы! Смейтесь над болваном в венце, плетите сети интриг, дайте вдоволь надышаться дразнящим запахом опасности, дайте миру еще немного побыть обжигающе ярким; позвольте вам подыграть, не забывая украдкой глазеть по сторонам. Кабир ваш для меня — тайна за семью печатями, но каждая поездка добавляет золотые крупицы в сокровищницу знаний — а знания эти мне понадобятся, ох как понадобятся!

И, возможно, весьма скоро.

На первый взгляд Кабир мало чем отличался от других виденных Абу-т-Тайибом городов — а их на своем веку поэт повидал немало. Кривые улочки, майданы, хаузы-водоемы, глухие высокие дувалы скрывают от досужих взглядов внутренние постройки, сплошь каменные (хоть у богачей, хоть у бедняков). Оно и понятно: камня кругом в изобилии, бери — не хочу, а дерево еще поди сыщи! Мошна тугая? — возводи дом хоть из белого с прожилками мрамора, добываемого рабами и каторжанами в каменоломнях; каждый дирхем на счету? — строй жилище из ноздреватого ракушечника-желтняка или серого сланца. Все — как в той же Куфе, Басре, Дар-ас-Саламе... все, да не все.

Во-первых, город непривычно чист. По крайней мере те улицы, где они ехали, явно убирались мельницами не за страх, а за совесть.

Топтать стыдно.

Во-вторых, дувалы наиболее богатых домов украсала лепнина из белого ганча, раскрашенного пе-

стро и ярко. Среди изящных переплетений листьев, стеблей и бутонов, дозволенных правоверным, частенько встречались изображения зверей, птиц и даже людей. Было совершенно очевидно, что пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) почему-то забыл просветить эти края, и души местных жителей до сих пор блуждают в потьмах, не зная истинной веры... Впрочем, они-то как раз считают, что в потьмах блуждают все остальные, а их души освещает лично Огнь Небесный. Ладно, да простит Аллах меня и гяуров-кабирцев, но с вопросами веры мы разберемся позже.

Ведь сказано: «У пророка Божьего из всех его добродетелей прощение обид есть именно та добродетель, на которую можно уповать с наибольшей уверенностью».

Вознесем упования!

Да и, само собой, нигде не видно устремленных в небо минаретов, столь привычных глазу. Здешние храмы — низкие, круглые, и есть подозрение, что немалая часть сих языческих капищ прячется под землей. Равно как и замыслы местных жрецов-хирбедов: даром, что ли, именно парочка святош сопровождала на тот свет мальчишку Суришара?!

Молодец, шах свежепомазанный, правильно Гургина приблизил...

А вот и городские ворота.

Да здравствует шахская охота — и прочь до поры до времени все другие мысли!

2

Охота удалась: дичи было вдоволь, и рука ни разу не подвела Абу-т-Тайiba; ехавшие сзади слуги везли в тороках целую стаю подстреленных птиц. В искусстве дворцовых поваров шах имел уже возможность убедиться, а предвкушение скорого ужина заставляло чрево бурчать.

От спин разогревшихся коней подымались облака пара, по телу разливалась сладкая истома. Вдбавок имелось еще одно обстоятельство для радости: когда во время охоты Абу-т-Тайиб намеренно оторвался от свиты, ускакав далеко вперед, никто не поторопился догнать шаха.

Свобода? — нет, просто дергаем узлы.

Пока.

Впереди уже виднелась арка ворот, когда Абу-т-Тайиб приметил у обочины какую-то девицу, уступившую дорогу кавалькаде с похвальной ревностью. Одного взгляда на пышно разодетых охотников ей вполне хватило: девушка, стесняясь, поспешила согнуться в поклоне, а затем прикрыла лицо передником. Одежда ее слегка задралась, обнажив стройные щиколотки, и этот жест развеселил поэта.

Абу-т-Тайиб подбоченился и с улыбкой продекламировал:

Что скрываешь ты, девица, под покровами одежд?
Дай же взгляду насладиться, не обманывай надежд!

Мое сердце — спелый персик, хочешь, режь,
а хочешь, ешь,
Я сгораю в нетерпеньи, охлади мой пыл, красавица!

Он тронул было поводья, собираясь ехать дальше. Но вместо этого застыл на месте, вновь придержав недовольно заржавшего коня.

Девица раздевалась. Совершенно спокойно, и без всякого смущения. Абу-т-Тайиб в недоумении покосился на своих спутников: мол, что это с ней?! Головой скорбна?! Но спутники, похоже, воспринимали поведение девицы как нечто само собой разумеющееся: гургасары без особого интереса наблюдали за обнажающейся девушкой, двое придворных беседовали вполголоса; Суришар вообще смотрел на него, Кей-Бахрама, дабы не пропустить момент, когда шах скомандует ехать дальше. Ни удивления, ни соленых шуток, ни ехидных ухмылок — ничего!

Поэт вновь перевел взгляд на девушку — та уже

успела раздеться полностью и теперь стояла перед шахом во весь рост, потупив глаза. Даже срамных мест не прикрыла ладонями. Ждала. Чего? Разрешения одеться? Приказа взять ее в шахский гарем? «Впрочем, что это я?!! — опомнился Абу-т-Тайиб. — Откуда ей знать, кто перед ней? На лбу же не написано: шах, мол... Интересно, у них тут женщины перед каждым встречным вельможей раздеваются, чтобы он их оценил?!!»

Девушка была весьма привлекательна, но сейчас поэту было не до томления плоти. Однако пора и честь знать. Надо подводить итог, а то ведь так и простоит до вечера голой!

И добро б летом!

Жалко, милая, что стар я, волосы проела плешь,
Ты — моя былая юность, гордая красавица!

За такой финальный бейт впору было вытянуть самого себя плетью, но красавица все поняла правильно. И принялась одеваться. Ни улыбки, ни обиды не отражалось на ее лице: словно она просто исполняла обыденный долг. Скажем, обед готовила или одежду стирала.

Шах пожал плечами и махнул рукой спутникам — поехали!

Уже подъезжая к воротам, он жестом подозвал к себе ехавшего сзади Гургина.

— У вас тут все девки такие бесстыжие?

— Желание великого шаха — закон, — напыщенно проговорил маг.

— Допустим. И даже можно припомнить сходную историю, которая произошла с Хасаном Кудрявым и юной фазариткой. Но откуда эта роза ваших цветников узнала, что я — шах?!

— Разве можно глядеть на солнце, не прищурясь? — прозвучал удивленный ответ. — И тем более не узнав светила?!

«Поговорили, — досадливо подумал Абу-т-Тайиб, посыпая коня вперед. — От души».

Перед глазами до сих пор стояла нагая девица, и чувствовать себя молодым было отчего-то неприятно.

3

Юный спахбед ехал позади шаха и не уставал тихо радоваться. Дважды его испытывали, и дважды он был слепей новорожденного кутенка! Уши Суришара сами собой краснели от стыда, когда он вспоминал об этом. Ведь Судьба ясно указала ему его место! На два крупна за спиной в минуты покоя и рядом в годину бедствий! А он, глупец, не внял знамениям — и только бесконечная доброта и мудрость Кей-Бахрама (да восславится его имя в веках!) спасли юношу от гибели. Более того: владыка лично вручил шах-заде кулах, пояс и перстень, приблизил к себе, оказав тем самым высочайшее доверие! Помнишь, неблагодарный: ты еще смел сомневаться в этом великом человеке, оспаривать его право на фарр и трон?!

Разве не узрел ты в Медном городе гнев Золотого Овна, провозвестника явления истинного венценосца?!

И все же, лучше позже, чем никогда! Его, Суришара, счастье, что новый шах оказался человеком с большим сердцем и широкой душой. Впрочем, что значит — *его* счастье?! Это счастье всего Кабирского шахства! Держава вновь процветает, смуты прекратились, подданные возрадовались и тugo подпоясались поясами служения, наверстывая упущенное за времена безвластия. Солнце, имя которому — фаррла-Кабир, взошло над землями, согревая души людей. Все это — лучшее доказательство того, что шахский кулах достался Кей-Бахраму по праву.

Хотя какие нужны доказательства зрячему?! Вон впереди едет владыка, чья меткость и крепость руки сегодня были несравненны — и сияние священного

фарра окружает его, подобно малому солнцу! Недаром же говорят, что шахский фарр — частица Огня Небесного...

Кей-Бахрам поднял руку, и вся процессия послушно остановилась.

— Этим путем мы уже ехали. Если взять от невольничьего рынка на северо-запад, мы доберемся до дворца?

— Конечно, владыка! Дорога получится длиннее на полфарсанга, но ко дворцу мы выедем.

— Не беда, что длиннее, — усмехается шах. — Должен же я познакомиться со своей столицей? За мной!

Они миновали ряды лавок, обогнули храм Огня Небесного, насквозь пересекли ремесленный квартал — и оказались на площади. Не на центральной, где были фонтаны в виде диковинных цветов, а на той, что в народе прозвали Судейской.

И поделом.

Здесь оглашались приговоры, после чего сразу, не теряя времени, вершилось правосудие.

Сейчас, к примеру, на площади шла казнь.

Очередных ловкачей с большой дороги, чья удача не вовремя вильнула хвостом, ждала грустная участь. Мелких воришек пороли, маститым грабителям рубили десницу, а душегубам-полуночникам маячили острые колья. Не слишком толстые — стыд терзать человека сверх должного!.. но и не слишком тонкие — чтобы сдохли, успев хорошенъко осознать перед смертью свою вину. Да и добрым молодцам урок: пусть смотрят на дружков. Авось призадумаются, прежде чем выходить на дикий промысел, почешут в затылках...

Один разбойник уже исходил кровавым хрипом на колу: баловень судьбы! — похоже, мучаться бедняге оставалось недолго.

Второй кол с насаженным на него преступником как раз опускали в заранее приготовленное углубление. Казнимый пока держался: скрипел зубами от

боли, но молчал. Ну-ну! Скрипи, герой, поглядим, надолго ли зубов хватит! За всю историю Кабира лишь разок случилось чудо, когда душегуб проторчал на казенном колу больше полутора суток, и отвалил в ад, так и не проронив ни звука.

Да и то, скорее всего палаческая сказка.

Зато с третьим приговоренным (видимо, главарем, ибо кол для него подготовили заметно толще, чем для двух первых) вышла заминка. Когда процесия въехала на площадь, расплескав конями ряды зевак, двое дюжих стражников пытались завалить детинушку, дабы палачи управились с колом. Но парень неожиданно вырвался, пнул оплошавшего стража ногой в живот — тот улетел с помоста спиной в толпу; плечом отшвырнул другого и попытался освободиться от сыромяти, опутавшей руки.

Пришлось стражникам-друзьям бросать кол на попечение заплечных и хвататься за копья. Но широкие жала миновали дерзкого: еще чего! — даровать преступнику легкую смерть?! Пусть и не надеется! Два древка с размаху обрушились на бока разбойника; тот пошатнулся, но устоял. Нырнув под очередной удар, парень кинулся на врагов, брыкаясь хуже дикого жеребца. Да, будь ремень на его руках податливей, выбил бы удалой душегуб у жизни последний фарт. А то и с собой кого-нибудь прихватил, в пекло.

Ах, ремень, сыромять моченая...

Палач ловко налетел на голого парня сзади, сбил с ног, навалился потной тушей... И мигом получил связанными руками в ухо. Они покатились, вынуждая стражей прыгнуть в стороны; и зеваки принялись орать во всю глотку, подбадривая дерущихся.

Когда еще увидишь подобное зрелище?!

— Кто этот буян? — осведомился вдруг Кей-Бахрам.

— Он разбойник, владыка, — брезгливо поджал губы Гургин. — К подобному отребью я испытываю лишь презрение.

— А мне нравится, — возразил шах. — Один, со связанными руками... Таких не на колья сажать, а в седло! Эй, Суришар, отличный бы вышел юз-бashi твоим «волчьим детям»! — цепляться за жизнь тоже уметь надо...

Суришар с обожанием внимал Кей-Бахраму. Вот достоинство шаха — сам доблестный воин, и чужую доблесть уважает! Пусть даже ее проявил презренный разбойник, воздев стяг мятежа над головой непокорства. Впрочем, нет, какой же он теперь презренный разбойник — разве шах высказался недостаточно ясно?!

Как и следовало ожидать, монаршая воля остановила побоище. Палач взмахнул тесаком, который минутой раньше успел выхватить, и узы лопнули. Разбойник проворно отскочил к краю помоста, готовясь защищаться и недоумевая: новая забава? везение? случай?! Эй, подходи-налетай, глотки перегрызу!

Суришар, улыбаясь, следил за парнем. Молодец! Хоть и не понял ничего, а молодец. Впрочем, в горячке боя, когда рвешь душу в клочья, это простиительно. И все же — странно...

Разбойник дернулся, словно от ожога, — и окаменел. Прямо так и окаменел, в теплом плаще с меховым подбивом, который кинул ему на плечи подоспевший десятник гургасаров.

— Пойдем, — «волчий сын» с уважением, но настойчиво взял парня под локоть, и тот, вконец растерявшись, не стал противиться.

Толпа предупредительно расступилась.

Суришар знал, что ему надлежит делать. Он кликнул нужного человека из свиты — и вот уже молодой спахбед подъезжает к шаху, почтительно протягивая владыке сотничьи знаки отличия: высокую шапку с венцом-кулахом и наборной пояс с ножнами кинжала.

— Изволь, мой шах...

— Что?! — хмурится шах, с изумлением глядя на поданные регалии.

Кей-Бахрам передумал?! Да нет, Суришар бы это понял сразу!

— Владыка даровал помилование этому человеку. Вот пояс и кулах для производства в юз-бashi, «главу сотни».

На мгновение лицо шаха удивительно меняется, и почти сразу его озаряет усмешка.

— А что, приятель? И произведу! Хайя! — жил в разбое, жил в набеге, как за пазухой у Бога, пусть судьба моя убога, нынче ж буду сотником! Давайте его сюда!

— Падай, ниц падай! — шипит «волчий сын» на ухо бывшему разбойнику. — Совсем голову потерял, да?! Это же сам великий шах Кей-Бахрам! Он милует тебя и производит...

До парня наконец доходит, и он неуклюже валился ниц.

Гургин, подъехав к шаху, что-то шепчет ему на ухо, но владыка только досадливо отмахивается, и до Суришара долетает обрывок возгласа:

— ...на себя посмотри!

После чего ошелевший от счастья разбойник получает кулах и пояс юз-бashi.

Суришар улыбается. Сегодня хороший день. И завтра будет хороший. Теперь всегда будет сплошной праздник.

Всю жизнь.

Шах-заде едет на положенном расстоянии, созерцая спину Кей-Бахрама, и улыбается.

4

— Нового юз-бashi — в мои покои. И подать нам ужин.

«Прости меня, Всевышний, но к твоим милостям привыкаешь быстро», — Абу-т-Тайиб поудоб-

нее устроился на тахте в ожидании гостя и ужина. Отметив, что гостя он ждет больше. Потому что до сих пор терялся в догадках: как могли палач и стражники сквозь гомон толпы услыхать его... нет, не приказ даже — так, мысли вслух? Что у них, уши слоновьи?! И, тем не менее: освобожденный от пут разбойник мигом оказался рядом, а верный (??!) Суришар нес в клюве пояс с кулахом. Ну, с регалиями ладно, небось все время за шахом это добро возят, на всякий случай; зато все остальное...

Очень странно. Колдовством попахивает! — или опять-таки заговором.

Е рабб, но тогда бородавчатый маг Гургин здесь точно ни при чем: старик явно хотел продолжения казни! С одной стороны, все ясно: советника языка кормит, а совет не производить разбойника в юз-бashi тургасаров был вполне разумным. Если бы не доводы, которые старик шептал на ухо Кей-Бахраму:

— Посмотри на его глаза, мой шах! Он же «небоглазый»! Нельзя...

Хирбеду, значит, «небоглазым» быть можно, а юз-бashi — нельзя? Разумеется, Абу-т-Тайибу было хорошо известно, что большинство голубоглазых от роду-веку — мошенники и плуты, и вообще люди ненадежные, спроси любого араба от Дар-ас-Салама до аль-Андалуса! Но приводить такой довод, да еще в делах государственных... на себя бы посмотрел!

О чём Кей-Бахрам и не преминул заявить упрямому старцу, заставив последнего прикусить язык.

Что же касается разбойника... Парень действительно понравился Абу-т-Тайибу. И не только тем, что сражался за свою жизнь почище обложенного охотниками барса. Поэт нутром чуял: разбойник может ему пригодиться. Это был человек, который не признал в нем шаха с первого взгляда! И участ-

тия в заговоре новый юз-бashi принимать никак не мог.

А значит, будет говорить правду.

Абу-т-Тайибу очень нужна была эта правда, какой бы она ни оказалась.

— ...Позволит ли... э-э-э... добра шаху навалом!

У входа распростерся давешний разбойник. Поэт обратил внимание, что новоиспеченный юз-бashi облачен уже в форменные шаровары и куртку-абу.

Пояс сверкал серебром, а шапку с кулахом он смущенно тискал в кулаке.

— Заходи, юз-бashi! Садись. Сейчас ужинать будем.

Парень встал, нацепил шапку на макушку и остался стоять на месте.

— Сюда иди, говорю, — рявкнул Абу-т-Тайиб, и это возымело действие: разбойник-сотник, не посмев ослушаться, осторожно примостился на тахте напротив.

Замер, глядя в пол и не зная, куда девать здоровенные, похожие на грабли руки. Такими только и грабить! Чем парень до последнего времени, по-видимому, и занимался.

— Как тебя зовут?

— Дэв... Ой! Не гневайся, твоё шахское величие! Худайбег я... Худайбег из Ширвана.

— Худайбег аль-Ширвани, значит. А Дэв — это, надо полагать, кличка?

— Кличка, твоё шахское... дружки прозвали.

— Разбойники, как и ты?

— Не, не как я. Я у них за курбashi был, — честно признался Худайбег, разведя ручищами.

Его, видать, самого изумляло: из курбashi на кол, с кола — в юз-бashi... был пожиже, стал погуще!

Чудны дела твои, Огнь Небесный!

— Грабили, значит?

— Грабили, — с охотой подтвердил сотник.

— Убивали?

— Бывало, — понуро кивнул Худайбег. — Я в разгуле с младых ногтей, первого своего в девять лет приколол, копьецом-то... старый курбashi — родитель мой. Ты, шахское твое, вели гулямам вернуть копьецо, оно мне по руке... А я теперь за тебя по пять вражин за раз нанизывать стану, ты уж не со-мневайся!

— Позволит ли великий шах внести ужин? — вкрадчиво мяукнули за дверями.

— Давно пора! — улыбнулся поэт. — Вноси, пока мы с голоду не померли!

«И когда это они фазанов успели зажарить?» — подивился он, наблюдая, как слуги проворно расставляют на дастархане многочисленные блюда, блюдца, блюдечки и великое множество чаш с кувшинами.

Подобным ужином можно было накормить до отвала человек восемь.

Когда слуги тихо удалились, прикрыв за собой двери, поэт, как и положено гостеприимному хозяину, первым разломил поджаристую лепешку.

Протянул часть Худайбегу:

— Ешь. И не бойся ничего. Не для того с кола снял, чтоб отравить. Нет шаха, нет душегуба — есть хозяин и гость. Понял, оглобля?!

Парень несмело улыбнулся и жадно впился зубами в предложенную лепешку. Взглянув в голодные глаза юз-бashi, шах подумал, что, может, слуги и не зря принесли столько еды!

Вскоре захрустели фазаньи кости, горячий жир потек по пальцам и подбородкам. Было отдано должное и молодой зелени, и уксусному супу с барбариесом, и форели в сброшенном соке граната — всего и не перечислишь! Добрались и до серебряного кувшинчика с крепкой настойкой. После второго

кубка лицо юз-бashi порозовело, парень расслабился и окончательно бросил стесняться.

Чего поэт и добивался.

Аппетит у юз-бashi оказался под стать кличке: дэв-великан помер бы от зависти, глядя на столь за-видную прожорливость! Однако всему в этом мире есть предел, кроме осведомленности и могущества Аллаха — и Худайбег удовлетворенно рыгнул, откинулся на подушки и замер с кубком в руке.

Пришло время беседы.

— Ну, приятель, а теперь поведай мне: за какие грехи едва на кол не угодил?

— Твое шахское... — В брюхе у парня громко за-бурчало.

— Мое шахское тебя уже помиловало. Отвечай!

— Гонца я твоего порешил. С этим... с фирманином о восшествии. Я ж не знал, что он гонец! Думал, кисет динаров возьму... а он, баран, за сабель-ку! Я копьем ширнул, стал обыскивать, тут грамотка и всплыла. А дружки мои (бывший душегуб разгорячился и даже хватил кулаком о стол, заставив посуду задребезжать) гвалт подняли, отродья трусливые! Что ты, кричат, наделал, сын шакала! Это я-то сын шакала, отвечаю?! Ты, ты! Зачем шахского посланца кончил? Не хотим из-за тебя, дурака, в пекло! — и всем скопом как навалятся!

Лицо парня пошло багровыми пятнами: от возбуждения и выпитой настойки.

— Ты действительно не знал, что гонца встретил? — с напускной строгостью поинтересовался Абу-т-Тайиб.

— Клянусь Огнем Небесным, не знал, твое шахское! Малахай с лисьим хвостом он, видать, потерял, а я ж не провидец!

— А твои дружки? Они что, провидцы? Или им не един финик: гонец, не гонец?!

— Дружки? — с подкупющей искренностью растерялся Худайбег. — Суки они, а не провидцы! Сам диву даюсь: гонца, кричат, порешил, за гонца нам

всем мука мученическая... а с чего взъярились, не ведаю!

Дыхание его участилось, стало хриплым; по лицу стекали капли пота.

— Истину говорю, твое шахское: не ведаю! Набросились они на меня, повалили... много их было, а то б я отбился. Связали по рукам-ногам, и к судейскому дому прямо под дверь кинули. Вместе с копьецом; а к древку писульку ниткой примотали: кто таков, мол, и за какие грехи! Нашелся один гад, грамотный... поймаю — удавлю!

Парня била крупная дрожь, пот по лицу тек уже ручьями, но поэт не придал этому значения, размышляя вслух:

— Значит, дружки тебя и повязали? Ох, врешь ты, приятель! Не водится такого промеж гулящими. Ножом пырнуть, если чем крепко не угодил — могут, но чтоб судье, с запиской... И за что? Ты шахского гонца не узнал, а душегубы за гонца горой; и меня ты не сразу признал, когда другие за фарсанг... Как мыслишь, юз-бashi? Сотник, что с тобой?!

Худайбег медленно заваливался на бок. Глаза его закатились, страшно сверкая белками, лицо было уже не красным, а лилово-синим, похожим на бычий пузырь. Бывший разбойничий главарь дернулся, упав с тахта на пол, высокая шапка с даренным венцом-кулахом отлетела прочь — и дыхание парня вдруг стало ровнее.

Однако сознание не вернулось.

«Отравили, дети ехидны! — вскочив, Абу-т-Тайиб едва не схватился за голову: столь очевидным было покушение на нового юз-бashi. — Фазаны! Начинили банджем!.. да нет, мы же чуть ли не из одной плошки! Хотя мало ли что ему могли подсунуть до того, как привести в мои покой!»

— Лекаря! Быстро! — раскатился по дворцу львиный рык.

Лекарь-хабиб морщил личико престарелого младенца, долго тряс куцей козлиной бороденкой, осматривая бесчувственного Худайбега. Принюхивался, прислушивался. Потом велел своему молодому ученику раздеть больного — и шах еще подивился, каким здоровенным оказался разбойник. Абу-т-Тайиб стоял рядом и с восхищением глядел на гору налитых силой мышц. Не зря парня Дэвом прозвали! Такому стражей кидать — что детям палые листья!

Впрочем, сейчас Худайбег был беспомощней дитяти, и козлобородый хабиб из кожи вон лез, стараясь привести сотника в чувство.

Не получалось.

Но все же кое-чего лекарь добился: когда парня раздели и растерли мазью, а в полуротый рот влили каплю-другую резко пахнущего снадобья, краснота покинула лицо юз-бashi. Он гулко вздохнул, пустил ветры, и болезненное забытье плавно перешло в здоровый сон.

— Пусть спит, — решил Абу-т-Тайиб. — Уложите его в покоях по соседству с моими, и чтоб кто-нибудь за ним присматривал!

Хабиб не посмел перечить, а приглядываясь за больным оставил своего ученика, заверив владыку: юноша достаточно преуспел в искусстве врачевания и в случае чего сумеет оказать помощь.

Наконец лекарь ушел, в покоях воцарилась благоговейная тишина, но шах еще долго не мог уснуть. Хотел было распорядиться прислать к нему одну из наложниц — но передумал.

Любви не хотелось; слишком много ее было вокруг, любви-то — обрыдло.

Неужели происки Гургина?! Не сумел уговорить шаха продолжить казнь — так отравить парня решил? Надо будет спросить Худайбега, когда очнется: не давали ли ему какой-нибудь еды или питья

перед визитом к шаху. И держать юз-бashi при себе, рядом, не отпускать ни на шаг — уморят ведь, твари верноподданные!

Наконец шах заснул, и ему приснился сон.

Он шел по длинному, нескончаемому коридору, а вдоль стен истуканами стояли люди — все, как на подбор, голубоглазые. И каждому шах вручал пояс, кулах и перстень, пояс, кулах и перстень, пояс, кулах и...

Крик.

Гулкий, протяжный, многоголосый.

Осколки неба вздрагивают в бойницах, отороченных черной плесенью; синь течет, выплескивается, заливает коридор, дворец, мир...

Шах оглянулся — и увидел. Те, кому он вручил знаки отличия, один за другим с хрипом валились на пол, изо рта у них шла кровавая пена, глаза тускнели, останавливались... Шах закричал, вплетя в общий крик и свою ноту — после чего проснулся.

Было утро, и Абу-т-Тайиб, мучимый дурными предчувствиями, заторопился проводить новоявленного юз-бashi.

Однако, к счастью, предчувствия оказались ложными. Растирая красные от бессонницы глаза, ученик хабиба доложил, что с пациентом все в порядке, он уже проснулся и чувствует себя хорошо.

«Слава Аллаху!» — пробормотал поэт, погнал ученика отсыпаться и шагнул в покой юз-бashi.

На Худайбеге были одни шаровары из синей ткани — он еще не успел до конца одеться. Узрев шаха, парень с грохотом лавины в горах пал ниц, но Абу-т-Тайиб мигом заставил его вскочить на ноги.

Незло пнул под ребра и скомандовал:

— Вставай!

— Хорошо спалось, твое шахское?.. — торопливо забормотал Худайбег.

— Лучше некуда. Ты-то как, сотник?

— Жив покамест, твое шахское! Жрать только хочу.

— Ну и славно. Одевайся. И без промедления ко мне — завтракать вместе будем.

— Ух ты! — просиял Худайбег, явно даже в мыслях не виня Абу-т-Тайиба за вчерашний приступ. — Ты, твое шахское, только намекни: я кому хошь ноги из зада-то повыдергаю!

Парень искренне старался хоть чем-то отблагодарить своего спасителя. Щенок. Да, душегуб и грабитель, но щенок. Радостный, открытый, разве что хвостом не виляет. Не было в нем тупой покорности и раболепия, а ухмылка вдруг напомнила Абу-т-Тайибу прошлую ненависть в глазах Суришара.

Обе были честными: и радость, и ненависть.

Разве что ненависть была, да сплыла, а радость — есть.

Абу-т-Тайиб направился к выходу из покоев. На пороге он оглянулся и, оборачиваясь, вспомнил, что это — плохая примета.

Как в воду глядел!

Худайбег успел накинуть куртку, подпоясаться, и сейчас как раз надевал шапку с кулахом. При этом лицо его было мокрым от пота, а на щеках начали проступать знакомые багровые пятна.

Ряды «небоглазых» вдоль стен, кулах, пояс, падающее тело...

— Снять! Быстро! Шапку скинь, я сказал! — Поэт еще не успел осознать до конца собственную догадку, а слова уже сами рвались из горла. — Теперь — пояс! Да не лишаю тебя своей милости, не лишаю! Снимай, Дэв! Ну что, полегчало?

— Полегчало! — изумленно шепчет юз-бashi, во все глаза глядя на своего благодетеля.

— Скажи слугам, пусть выдадут тебе другой пояс и шапку. Обычные. Будут упрямиться, передашь: воля шаха. И зайдешь попозже — шах желает поразмыслить. А эту... эту дрянь больше не надевай.

Абу-т-Тайиб хотел забрать регалии, но тут ему вспомнился скоропостижно скончавшийся судья, и он передумал.

— Не надевай, но и не выбрасывай. Пусть тут лежат.

И шах вернулся к себе, но спокойно поразмыс-
лить ему не дали.

На пороге возник слуга.

— Дозволит ли мне владыка говорить?

— Ладно, говори, шайтан с тобой. Что там еще?

— Хирбеди Нахид нижайше молит владыку об
аудиенции.

— Хирбеди Нахид? — Абу-т-Тайибу сразу вспом-
нилась юная голубоглазая жрица, так до конца и не
смирившаяся с тем, что новым шахом станет он,
чужак с того света.

Голубоглазая. Снова — голубоглазая...

— Я приму ее, — кивнул слуге Абу-т-Тайиб. —
Зови.

Глава восьмая,

*где используются новые способы наказания ослушников,
исследуется польза от подражания Харуну Праведному,
но по-прежнему никоим образом не освещается
удивительный факт, что если первый день года —
вторник, день Марса, то это указывает на многую
гибель людей, дороговизну злаков и малость дождей,
а также отсутствие рыбы и удешевление меда
с чечевицей; еще умножится надежд ослов,
а Аллах лучше знает*

1

— О красавица, про которую сказано: «Если поет
и плачет, то искушает, если же надушится и приук-
расится — убьет наповал!» Раскрой уста гранатовые,
предназначенные для речей сладких и приятных для
слуха — шах внимает тебе!

Замечательно! Абу-т-Тайиб разглядывал жрицу,
простершуюся у его ног, и получал истинное на-
слаждение. Даже в такой позе, долженствующей вы-
ражать крайнюю степень смирения, Нахид ухитря-
лась выглядеть дерзкой!

Талант!

Дар Божий!

Хотелось позвать Гургина, дабы маг тоже получил свою часть удовольствий; но поэт раздумал. Обойдется, упрямец. Нечего ему на девок пялиться. Наедине поговорим, нам посредники излишни...

— Ну, вставай, свет очей моих, вставай скорее!

Словно вихрь взбил песчаный смерч: девушка взлетела на ноги, плеснув кистями дорожной шали, — и наотмашь ожгла Абу-т-Тайиба плетью взгляда. После чего, как и положено рабе на аудиенции у владыки, свет очей скромно потупила взор.

Поэту даже показалось, что он слышит явственный скрип. Взор ни в какую не желал потупляться, а о скромности вообще не шло речи. Так ржавый ворот визжит, сопротивляясь насилию. Так упрямится под ветром старая акация. Так смотрит на захватчика пленный воин, и ноздри пленного бешено раздуваются от бессильной злобы. Глаза девушки сверкнули голубыми углами, обдав поэта ненавистью, откровенней которой может быть лишь плевок в лицо. И Абу-т-Тайиб мысленно поздравил себя: наконец-то перед ним человек, который его искренне ненавидит. До сих пор. Невзирая на перемены и изменения.

Ненавидит и не может скрыть чувств.

О счастье! Разговор обещал быть весьма занимательным.

— Не соблаговолит ли владыка ответить... Правда ли, что верховный хирбед Гургин получил кулах главного вазирга?!

Да, не очень-то ты, девочка, привыкла говорить с владыками. Смотришь прямо, говоришь прямо; там, откуда я родом, за один такой вопрос зовут плача и велят расстелить «ковер крови»! В лучшем случае, палок дадут. По пяткам. Знаешь, как это делается? Берется палка с ременной петлей посередине, некие прелестные ножки захлестываются сей петлей, а палка перекручивается — чтоб ремень как

следует врезался в щиколотки. Потом палка вздергивается к небу, а палачи берутся за гибкие средства вразумления... Но я обожду и с ковром, и с палками. Мне интересно, что ты скажешь дальше, хотя я и догадываюсь об этом.

Я отвечу.

— Вполне возможно, несравненная, вполне возможно. Все в воле Творца и шаха, хоть шах и ничто пред Господом миров.

Похоже, девочка, ты только-только приехала — вернее, примчалась! — в Кабир. И еще не знаешь, что Гургин великолепно обходится без кулаха и пояса. Это правильно, ни к чему тебе лишние сведения, вольный язык быстрей развязывается.

— Владыка! Во имя Огня Небесного — или, если хочешь, во имя Творца, которому ты поклоняешься... Не делай этого!

Мольба?

Клянусь низвержением идолов, мольба!

И едва ли менее искренняя, чем ненависть.

Взгляд «небоглазой» заплывает первыми каплями дождя, соленого ливня, которому только дай хлынуть на иссохшую землю! — ударит в тысячу плетей, запляшет по трещинам, вскрикивая от сладкой боли! Прости меня, девочка, или не прощай, если тебе так больше нравится, но я давно уже не боюсь вида женских слез, и ненависти тоже не боюсь, а вот ты боишься! И не за себя, а за мага с бородавкой.

Он мне руки лобызal, скорпионом ползal по коврам, а чем ты расплатишься за милость?

— Я предлагаю Гургину высокий пост, славу и почет. Неужели ты считаешь своего учителя недостойным славы? — Абу-т-Тайб всплеснул рукавами от притворного удивления.

— Ты убиваешь его! Это не слава и почет, это смерть, это хуже, чем смерть!..

Нахид осеклась и крепко-накрепко зажала ладошками рот. Поэт смотрел на девушку и думал, что

царства рушатся вот из-за таких: честных и открытых. Самый опасный сорт народа. Любовь, ненависть, долг и забота, а что в итоге? — сболтнут лишнее, и начинают каяться, когда уже поздно.

С лицемерами проще.

— Окружной судья Пероз умер, когда я *лишил* его должности, — медленно проговорил Абу-т-Тайиб. — Это я еще как-то могу понять. Но ты, красавица, утверждаешь, будто я убиваю Гургина, *назначая* его вазиром! Рассей же туман, застилающий мои очи! — и, может быть, тогда я изменю свое решение.

— Никогда, — листвой под ветром прошелестел ответ. — Ты чужак. Но даже будь ты природным кабирцем из шахского рода... Никогда.

— Ладно. Тогда сними шаль.

Хирбеди отпрянула, недоуменно хлопая ресницами.

— Я решил сыграть с тобой в старую игру властык. Если ты не захочешь отвечать на мои вопросы, за каждый отказ я заберу у тебя часть одежды. По моему выбору. И в конце концов отправлю восвояси.

Абу-т-Тайиб помолчал и добавил:

— Голой. Надеюсь, ты понимаешь, что я не шучу?!

Смерч взметнулся во второй раз, но сейчас поэт был готов. Он даже позволил себе рассмеяться, повернуться к бегущей Нахид спиной и пропаществовать к столу. Как ни в чем не бывало. С аудиенций правителей не убегают, когда тебе вздумается; особенно если у входа несут караул Яджудж и Маджудж, великаны мои замечательные! Грохот, стук, лязг, и когда Абу-т-Тайиб снова позволил себе обернуться — строптивая жрица стояла у запертых дверей.

Запертых, ясное дело, снаружи.

— Я сказал — шаль! — повторил поэт, лениво играясь с пеналом, найденным в башне. — Живо! Или ты предпочитаешь, чтобы я это сделал сам?!

Скомканная шаль полетела ему в лицо.

— Отлично. И не сверкай на меня глазками, я тебе не хворост, не вспыхну. Скажи лучше вот что... Не все «небоглазые» — жрецы, но все жрецы — «небоглазые». Я правильно понял?

Молчание.

— Сандалии! Будь добра, моя пери, сними сандалии — я хочу взглянуть на твои босые ножки!

Воплощенная Гордость стояла у дверей. Вот она гордо наклонилась, гордо ослабила ремешки сандалий и гордо запустила их, одну за другой, в голову владыки.

Первую сандалию Абу-т-Тайиб поймал на лету, а вторая и без того врезалась в стену.

— Умница. Надеюсь, ты понимаешь, что я могу отдать тебя гургасарам? Или велеть Суришару в моем присутствии объездить строптивую кобылицу?! Полагаешь, мальчик воспротивится?

Гордость по имени Нахид вздрогнула. Правильно, девочка, наш с тобой шах-заде не воспротивится. Если я прикажу, он выполнит приказ, и, возможно, даже с радостью.

Это еще один вопрос, на который я хочу получить ответ — но не у тебя.

Всему свое время.

— Значит, ваши тайны тебе дороже страданий Гургина и твоей собственной участии? Хорошо. Но когда я одеваю кулах на шах-заде, то мальчик сияет новеньkim динаром; когда я одеваю кулах на дряхлого мага, он брыкается, будто ишак, которому под хвост сунули чертополох — а потом являешься ты, и ужас плещет в твоих хорошенъких глазках! Зато покойный судья Пероз, чьи глаза благородно-карие, скоропостижно уходит к праотцам, едва я лишу его кулаха! Ты не хочешь объяснить мне все эти чудеса? Не хочешь, моя пери... Рясу! Снимай рясу или что там у тебя надето!

Ряса упала на пол. Руки девушки судорожно вцепились в изар — повязку на чреслах; Нахид справед-

ливо ожидала, что следом за рясой придет очередь изара. О, строптивая хирбеди была хороша, она была чудо как хороша в гневе и смущении, словно пленная тигрица! Маленькая грудь, нежней молодых листьев аргавана; стрелы ресниц трепещут, грозя обронить алмазы слез... что там еще? Аромат мускуса и амбры? Виноградинки бьют розу? — в смысле кончики пальцев трогают щеку?

— Только раз бывает праздник, только раз весна цветет, — поэт вольно закинул руки за голову и потянулся, смакуя слова великого Рудаки, — взор твой, пери, праздник вечный, вечный праздник в сердце льет! Ответь же мне скорей, любимая: кто я? Кто твой возлюбленный?!

— Тварь! — выплюнул рот Нахид. — Мерзавец!

— О-о-о! Замечательно! Раз в году блистают розы, расцветают раз в году — для меня твой лик прекрасный вечно розами цветет! Так кто же я еще?

— Сволочь! Палач!

— Я сгораю от счастья! Только раз в году срываю я фиалки в цветнике — а твои лаская кудри, потерял фиалкам счет! Нет, тут Рудаки что-то напутал, ведь фиалки синие, а кудри... ну да ладно! Еще! Кто я, моя любовь?!

— Червяк! Дождевой червяк! Проходимец!

— По-моему, тебе жарко в изаре... Велеть снять? Только раз в году нарциссы украшают грудь земли — а твоих очей нарциссы расцветают круглый год!

Абу-т-Тайиб вдруг прыгнул прямо через стол, забыв о возрасте и сане; он оказался совсем рядом с обнаженной девушкой, и пальцы когтями вцепились в бархатные плечи.

Лицо его треснуло провалом рта, и Нахид ясно увидела новые зубы на месте выбитых передних: острые, пока еще маленькие кусочки кости...

— Кто я!

— Собачий сын! .

— Еще!
— Мучитель!
— Еще!
— И еще... еще... Еще ты шах Кабира, Кей-Бах-рам, будь ты трижды проклят!
— Одевайся!
— Что?!
— Одевайся, говорю! И пошла вон! Вон!!!
Только тогда она заплакала.

Уже в галерее ее догнал окрик шаха. Ударил в спину, ухватил за край спешно накинутых одежд. Нахид обернулась, всхлипывая: проклятый чужак стоял на пороге своих покоев.

Рядом возвышались идолы-телохранители, слепые и глухие ко всему, кроме безопасности владыки.

— Извиняться не стану, — устало бросил шах, и девушка задохнулась: столько муки крылось в сказанным. — И вознаграждать не стану. Я получил ответ; мне достаточно. Прощай.

— Я ничего не сказала тебе! — крикнула Нахид, чувствуя, как голос предательски дрожит. — Ничего!

— Сказала. Одни говорят словами, другие — чем придется. Ты честно ненавидишь — и честно зовешь меня шахом. Ты раздеваешься иначе, нежели прочие женщины ваших благословенных земель. Это ответ. Пусть я не до конца разобрался в нем, но я разберусь. Обязательно разберусь. И не бойся за Гургина: он прекрасно обходится без кулаха. Прежде чем просить об аудиенции, тебе следовало бы встретиться с учителем лично. Уходи.

Девушка бежала по галерее, сгорая от стыда и гнева, а вслед неслось:

— Не цепями приковала ты влюбленные сердца — каждым словом ты умеешь в них метать огонь

и лед!.. огонь и лед! О златоуст Рудаки, слепец со зрячим сердцем! — как же хорошо ты знал женщин... Эй, постой! погоди! ты забыла сандалии!

И сандалии, брошенные сильной рукой, упали перед бегущей хирбеди.

2

Вечером посыльный ускакал в город с приказом: «Без главного советника не возвращаться!»

Гургин явился настолько быстро, что у поэта закралось подозрение: стариk все-таки настоящий колдун и примчался сюда в летающем кувшине. Или все это время торчал под дворцовыми воротами. Ждал вызова. А заодно подслушивал и собирал сплетни. Интересно, он успел переговорить со своей защитницей Нахид, оскорбленной в лучших чувствах?

И если да, то к каким умозаключениям пришел?!

Однако вдаваться в расспросы Абу-т-Тайиб не стал.

— Распорядись, чтобы мне принесли другую одежду. Караванщика или ремесленника средней руки, что ли... Да и сам переоденься. Мы отправляемся в город. Вдвоем, — поэт стоял над распростертым ниц стариком и ждал возражений.

Но возражений не последовало.

— Внимание и повиновение! — отозвался хирбед с пола, вскочил, как змей ужаленный, и вихрем умчался выполнять приказание.

«Виделся-таки с нашей красавицей, хитрец бородавчатый! — уверился поэт, гордо подкручивая ус. — Знает, что за упрямство бывает... а ну как раздуну, да не в покоях, а прямо на майдане!»

Бахвальство утешало, делая жизнь лжешаха вполне сносной. Но мудрецы полагают, что грешника Аллах сперва помещает в рай, дабы после геен-

на показалась несчастному во сто крат горше! Если мудрецы правы...

Возвращение мага избавило Абу-т-Тайиба от грустных мыслей.

Принесенная одежда оказалась выше всяческих похвал: добротный, но несколько поношенный чекмень, волчья джубба, похожий на воронье гнездо малахай с космами назатыльника; шаровары подшиты сзади кожей, для удобства в скачке, и растоптанные сапоги выглядят еще вполне крепкими...

Обувка пришлась как раз впору — Гургин пре-взошел самого себя.

Да и маг преобразился: лохматая бурка поверх засаленного казакина и куколь из войлока-стеганки делали его почти неузнаваемым.

Так и подмывало кликнуть стражу и бросить проходимца в зиндан.

— Молодец! — похвалил старца Абу-т-Тайиб, заворачивая в кушак шелковый кисет с горстью динаров.

Потом взгляд поэта скользнул по стене и мимо воли зацепился за тяжелый ятаган. Красавец клинок просто молил с ковра: возьми! Да и отправляться в народ безоружным (нож-засапожник — не в счет) хотелось мало. Я вам не Харун Праведный! Впрочем, у Праведного в спутниках ходил его любимый палач, а мы по бедности магов таскаем...

— Скажи, Гургин, многие ли видели этот ятаган? И знают, что он принадлежит шаху?

— Немногие, владыка. Сей ятаган вообще крайне редко покидает шахские покои.

— Очень хорошо. Значит, по нему меня не смогут опознать в городе?

— По ятагану — не смогут, — маг задержался с ответом, но Абу-т-Тайиб не обратил внимание на задержку.

Он бережно снимал оружие со стены. И думал,

что надо будет вызвать хорошего мечника: сбить с рукояти драгоценную мишуру.

Рубинам место в оправе перстней.

— Надеюсь, во дворце отыщется какая-нибудь неприметная калитка, посредством которой мы выпустим на волю скакуна нашей затеи?

— Разумеется, мой шах. И не одна.

— Веди.

* * *

Кабир встретил их вечерней сутолокой и гомоном.

Вздохнув полной грудью, поэт с радостью окунулся в родную стихию. Ему даже на миг показалось, что он гуляет по Басре, славной пальмовыми рощами; вот сейчас они выйдут на площадь Мирбадан, где придется ввязаться в очередной диспут с каким-нибудь тайным манихейцем-еретиком — а после доводов и поношений, где острота рифм служила порой лучшим аргументом...

Абу-т-Тайиб никогда не думал, что ему так будет недоставать всего этого.

Они с Гургином заходили в лавки, приценивались к товарам, причем поэт то и дело яростно торговался из-за какой-нибудь безделицы вроде бронзовой пряжки или вышитого кисета. Гургин больше молчал, лишь время от времени бросал язвительные реплики, хмуясь и норовя уйти — чем сбивал цену ничуть не хуже, а то и лучше Абу-т-Тайиба. Такой Гургин нравился поэту куда больше, и вскоре он проникся к старцу искренней симпатией: спутник из жреца получился хоть куда! За словом в сапог не лезет!

Как подменили человека...

Абу-т-Тайиб захлебывался от любопытства: новый город, новые люди, обычай — много ли увидишь и поймешь, проезжая по улицам со свитой? Совсем другое дело — надев личину, окунуться в во-

доворот жизни, захлебнуться им, впустить в себя! Поражало одно: общее вежество, будто не в толпе идешь, а на занятиях по грамматике сидишь. Никто локтем не толкнет, на ногу не наступит, не облает вслед...

Едва шах успел подумать об этом, как пропахший требухой мясник с серьгой в ухе налетел на него, чуть не сбив наземь.

— Неча под ногами путаться! — осклабился детина, дохнув перегаром, и поперся себе дальше, расталкивая прохожих.

На мгновение Абу-т-Тайибу почудилось, что грубость мясника показная. Впрочем, отчего бы ей и не быть показной?! Особенно если детина входит в число квартальных заправил, и сохранять лицо для него важней, нежели для шаха! Поэт ухмыльнулся, чем весьма изумил зевак, ожидавших драки, потер ушибленный бок и отправился дальше в сопровождении невозмутимого Гургина.

Чайхана, куда они ввалились заморить червячка, мало отличалась от своих басрийских и куфийских сестер. Чадный воздух был пропитан ароматами горелого масла, пряностей, чеснока и лука; обжигаясь, Абу-т-Тайиб глотал похлебку с мясом и хлебом, и она казалась ему вкуснее самых изысканных яств.

Даром, что ли, пророк сказал о такой похлебке: «Превосходство ее над иными кушаньями подобно превосходству моей младшей и любимой жены над прочими женщинами!»

Поэт отдыхал душой. Заговоры, интриги, тайны «небоглазых», почтительность и раболепие, сомнения без надежд и вопросы без ответов — все это осталось там, за стенами шахского дворца. Здесь же можно было вновь стать самим собой: бродягой-рифмоплетом, острозвоном и насмешником, забиякой, скорым на кулак и клинок, плоть от плоти этой шумной бессмысленной суety, имя которой — жизнь.

А смысл пусть другие ищут.

Ублажив чрево, они отправились дальше: проталкиваясь сквозь многолюдье центральных улиц, ныряя в кривые переулки, где воняло скисшим молоком, а покосившиеся дувалы в любой момент грозили обрушиться на головы редких прохожих, вновь выбирайсь в толчью торговых рядов, пересекая майданы и, подобно червю, вгрызаясь в самую сердцевину яблока по имени Кабир.

Абу-т-Тайиб чувствовал город, как собственное тело.

Стоило ли удивляться?.. да, наверное, стоило, но не хотелось портить вечер свободы.

И даже Гургин позволил себе усмешку, когда поэт прямо на людной улице обернулся к магу и в голос продекламировал:

Говорят, что есть рай, говорят, что есть ад;
После смерти туда попадешь, говорят,

В долг живем на земле, взявиши душу взаймы —
И надеждами тщетными тешимся мы.

Но, спасаясь от мук и взыскуя улад,
Невдомек нам, что здесь — тот же рай, тот же ад!

Золоченая клетка дворца — это рай?
Жизнь бродяги и странника — ад? Выбирай!

Или пышный дворец с изобилем палат
Ты, не глядя, сменял бы на драный халат?! —

Чтоб потом, у ночных засыпая костров,
Вспомнить дни, когда был ты богат, как Хосров,

И себе на удачу, себе на беду
Улыбнуться в раю, улыбнуться в аду!

Прохожие разразились восхищенными кликами, один подвыпивший рыбник даже стал зазывать Абу-т-Тайиба к себе, требуя воспеть его новую невольницу; а сам поэт отмахнулся от рыбника — и на всякий случай протер глаза.

За поворотом впереди мелькнули золотое руно и круто загнутые рога; тихое блеянье донеслось оттуда, цокнули копыта — и призрак исчез.

Стемнело. Кое-где зажглись масляные фонари, людей заметно поубавилось, зато объявились «Ночные псы» — сытые бородачи, по самый шлем преисполненные собственного достоинства.

— Спите спокойно, жители Кабира! — голосили они, вовсю тарахтя деревянными трещотками; мертвый восстал бы из гроба, окажись стражи близ кладбища.

Поэт решил не испытывать судьбу. Еще сочтут подозрительными... И спешно затащил Гургина в темный закуток между какими-то амбарами.

Стражники протопали совсем рядом. Остановились. Бросили соленое словцо в адрес женщин, пропетривавших на плоских крышах одеяла и ковры. Затем «Ночные псы» разразились громовым хохотом и отправились дальше.

— Разгильдяи, — шепнул Абу-т-Тайиб прямо в мосластое хирбедово ухо. — Скажи мне на милость, где таких олухов вербуют?! А прячься тут не шах с советником, а парочка душегубов?

Советник икоса глянул на своего шаха, глаза мага странно блеснули, но в темноте Абу-т-Тайиб не обратил на это внимания.

Они выбрались из укрытия и быстро пошли прочь. Скоро впереди послышались голоса, затянули песню — и поэт, не долго думая, зашагал в ту сторону. Люди веселятся? — отлично!

Безмолвная тень мага волочилась сзади, явно не собираясь препятствовать.

Выбравшись на пустырь, Абу-т-Тайиб сразу оценил, что за компания здесь собралась. На всякий случай он покосился на Гургина: не пощадить ли старца, мало привычного к ночной гульбе? Однако старец являл собой воплощение спокойствия — что само по себе было удивительно. Ибо вокруг костра, увлеченно плевавшегося в черноту неба огненными драконьими языками, сидели личности вполне одно-

значные. Таких зовут ловкачами, подразумевая под ловкостью нечто совсем иное, чем принято среди людей порядочных и уважаемых.

Вот только поэт никак не считал себя порядочным и уважаемым человеком. Особенно сейчас.

Поэтому и направился прямо к костру.

— Кого там нелегкая несет на ночь глядя? — проворчали навстречу; и отчетливо зашелестела сталь, покидая ножны.

— Нелегкая носит стражников и бражников, а мы покамест своими ногами идем, — осклабился Абу-т-Тайиб прямо в чью-то рябую физиономию, подходя ближе.

— Бражников, гришь? А нешто трезвый сюда сунется? — Рябой, наверняка снискавший славу местного балагура, решил не упускать случая поддержать репутацию.

От костра и дряхлой хибары неподалеку донеслись редкие смешки: опустить простофилю всегда занятно.

— Это ты прав, рябчик! — легко согласился поэт. — Как в деръмо пальцем! По твоей роже сразу видать — трезвый ни в жисть не сунется!

На этот раз хотят был куда громче: простофиля простофилей, а когда свой брат-плут в лужу ляпается, грех не засмеяться.

— Веселый человек к нам пришел, однако! — Рябой поправил тюрбан и как бы невзначай мазнул рукой по самострелу за поясом. — Видать, не простой ловкач-залетка, а предводитель! Садись, языкастый, гостем будешь. А дружок твой — он тоже весельчак вроде тебя?

— Вроде себя, — мрачно отозвался Гургин и поскреб ногтем свою замечательную бородавку. — Только я лучше молчать буду. А то умрете все. От смеха.

То ли старец так шутил, то ли имел в виду что-то сугубо личное — но больше Гургина не трогали и вопросов ему не задавали.

Совсем.

— Ну ладно, раз явились — с вас байка. О судьях, скрягах и лихих бродягах! Как у честных молодцов спокон веку заведено, — крикнули от хибary.

— А песня сойдет? — ухмыльнулся поэт.

— Песня? Эй, кочет, ты хоть кукарекать-то умеешь?

— А сейчас узнаем. Не пробовал еще! Кочет поет, как хочет — уселся б на кол, и то б не плакал!

Тут уж заржали в голос все.

— Это у тебя что за штука? — осведомился между тем Абу-т-Тайб у чернявого парня, который развалился рядом на вытертой кошме.

— Чанг. Вчера прямо с прилавка свистнул. Да только дребезжит, зар-раза! Выброшу, наверное... или продам. Олуху вроде твоей милости.

— А ну, дай взглянуть. Вдруг куплю!

Чанг оказался родным братом лютни, привычной поэту. Единственno для хиджазского пения был настроен ниже, чем следовало бы: в ритме «сакиль первый» приходилось излишне напрягать кисть, стараясь избегнуть упомянутого парнем дребезга. Но привередничать не стоило. Вор-музыкант поначалу с тревогой следил за пальцами Абу-т-Тайиба, когда те разом зажили собственной жизнью: умело подкручивали колки, пробовали строй, гуляли по ладам... Потом парень расслабился и даже восхищенно хмыкнул, ткнув рябого локтем в бок.

Рябой отмахнулся: не мешай, мол, дай послушать!

А Абу-т-Тайб задумчиво перебрал струны, — и вдруг, без всякого вступления, запел давнюю, сложенную им еще в Дар-ас-Саламе касыду, которая сейчас показалась более чем уместной:

Подобен сверканью моей души блеск моего клинка:
Разящий, он в битве незаменим, он —
радость для смельчака.

Долой тяжкие думы и тайные интриги! Долой весы и счеты, шахский венец и «небоглазых» упрямцев; в ад загадки Кабира!

Песня!

Пой, чанг, звени струнами, шепчи о былом, оставшемся там, за горами без названия и смертью без могильного тлена; о, должно ли скорбеть великой скорбью и печалиться великой печалью, если по свету еще гуляют слова, достойные быть произнесенными?!

Ремень, что его с той поры носил, — истерся,
Пора чинить,
Но древний клинок сумел и в боях молодость сохранить.

Так быстро он рубит, что не запятнать
его закаленную гладь,
Как не запятнать и чести того, кто станет его обнажать.

О ты, вокруг меня разгоняющий тьму, опора моя в бою,
Услада моя, мой весенний сад — тебе я хвалу пою!..

И в кругу костра, что мерцал живым светом, остались трое: Поэт, Песня и Слушатели — единое существо, поющее и внимающее.

Абу-т-Тайб знал, что нужно этим людям. Да он и сам не хотел сейчас ничего другого: песня, подобная неистовому скакуну с бешеным наездником на спине, рвала с его губ и со струн чанга — рвала и уносила вдаль, горячим ветром овеяя завороженные лица кабирских ловкачей. Горным камнем-падом грохотали копыта, насмешливо звенела сталь о сталь и золото — о золото; одинаково сладкими были кровь врагов и губы красавиц, а потом...

Ношу я тебя не затем, чтобы всех слепила твоя краса,
Ношу наготове, чтобы рубить шеи и пояса.

Живой, я живые тела крушу, стальной,
ты крушишь металл —
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!..

А потом песня кончилась, и только трещал за-
слушавшийся костер, да еще медленно гасли отзы-
вы.

ки дикого, необузданного напева — и так же медленно гасли глаза слушателей: они были там, в его песне, и им очень не хотелось возвращаться.

Счастливцы! — пой, Абу-т-Тайиб, и не думай о том, что ради возвращения позволил бы отрубить себе оба уха.

Да что там уши...

— Еще! Еще давай! — истово выдохнул рябой, готовый ради единого слова певца сунуть руку в огонь.

— Ну ты, Битый, закрой пасть! Не блуднику прижал: еще давай, еще давай... Кто ж тебе с пустым брюхом петь станет? — резонно заметил давешний голос от хибary, и поэту снова не удалось в темноте разглядеть говорившего.

От жидкой каши с овечьим жиром Абу-т-Тайиб отказался; зато ловко поймал ломоть хлеба и плеть вяленой бастурмы, красную от перца. Он всегда любил острое, хотя в последние годы и мучился изжогой по утрам. А чанг тем временем снова перешел в руки первого хозяина; верней, далеко не первого, и не вполне хозяина, но чего уж теперь! Тот тронул струны, удивленно прислушался, высунув язык, словно хотел чужой отзвук на вкус попробовать; и с робостью опустил ладонь на струны, гася их дрожь.

— Не, я пока обожду. А то потом тебе обратно строить придется: я по-твоему не умею, — честно признался парень, кладя чанг рядом с поэтом.

Абу-т-Тайиб кивнул и промолчал: рот его был набит сочным огнем и хлебом вместо песен.

— Добрый человек. — Слепой оборванец, чьи глазницы сплошь заросли диким мясом, выполз из-за спины рябого и ткнулся лбом в рукоять Абу-т-Тайибова ятагана. — И человек добрый, и песня добрая, и ножик — добрей некуда! У кого взял?

— У кого взял, тому он уже без надобности. Считай, по наследству достался, — буркнул Абу-т-Тайиб, нимало не погрешив против истины.

— Ну ты и плут, — отметили из темноты — как кулах с поясом выдали. — Что ж мы раньше про тебя-то не слышали? Чангиры с ножиками, да еще с болталом до пупа, а мы ни сном ни духом... Издалека, видать?

— Издалека, — кивнул поэт. — Из такого далека, что вам и не снилось!

— Из Оразма, что ли? — вновь полюбопытствовала темнота. — Или из Дурбана? Говор у тебя вроде дурбанский, певун, да меня не проведешь! Ты б не темнил, а?

— Это я темню? Сам в тени хоронишься — хоть бы показался!

— На меня глядеть, что на Огнь Небесный, — сухо ответила темнота. — Ослепнуть можно. Вон с тобой рядом один сидит, насмотревшись...

— Ты с ним не заводись, чангир, — зашептал на ухо Абу-т-Тайибу оборванец, плюясь и страшно дергая мертвыми глазами. — Это Омар Резчик, ему человека кончить — как тебе песню спеть! Только быстрее. Если он курбashi своего, Дэва-мальца, по первому же промаху властям сдал...

— Дэва-мальца? Я удивлен великим удивлением! У вас тут мальцы в курбashi ходят?!

— Ну ты и впрямь из Восьмого ада Хракуташа! Про «пятнадцатилетнего курбashi» не слыхал?!

Абу-т-Тайиб вспомнил могучую стать Худайбега и недобро сощурился. В сказку про «пятнадцатилетнего курбashi» верилось туго, здесь слепой врал без стеснения; зато все остальное заслуживало доверия.

— Омар Резчик, говоришь? — громко переспросил поэт. — Курбashi властям сдал, говоришь? Значит, такие у вас обычай? В хорошую же я компанию попал, только песни петь и осталось!

— Засунь язык в задницу, — бесцветно посоветовала темнота.

— Да я-то, может, и засунул бы... А вдруг ты завтра еще кого сдашь? Меня? Его? — Абу-т-Тайиб

ткнул пальцем в слепца. — Или его? — Он указал на невольно подавшегося в сторону рыбого.

Поэт уже забыл, кто он и что здесь делает. В темноте прятался человек, который спровадил на кол своего товарища. У «детей Сасана» за такие шутки кишки на локоть мотали; и хотя Абу-т-Тайиб давно покончил с обществом ловкачей, сейчас это не имело никакого значения.

— Ты решил поучить нас жизни, гость? — освежомилась темнота.

Не отвечая, поэт медленно поднялся на ноги и встал во весь рост.

— Ты хотел байку? О лихих бродягах? Тогда слушай. Это будет очень короткая байка — но тебе она наверняка понравится. В одном далеком шахстве шарили по дорогам веселые людшки, выпростав из-под плаща насилия руку грабежа. Собирали людшки дань с проезжающих: с кого звонкими монетами, с кого — шелком, с кого — жемчугом, а с кра-савиц — добрым поцелуем. И была разбойничкам всегда удача и везение, пока один дурак не подбил их сдать властям своего курбashi. В чем там загвоздка стала, не скажу, да только сказано — сделано! А удача сук не любит, она девка переборчивая... Сядут вскоре веселые людшки на толстые колья, а бывший их курбashi, помилованный шахом, придет в сотничье кафтане муками их любоваться! По душе ли тебе моя байка, Прячущийся-в-Темноте?!

— Ты глуп, гость. Мне не понравилась твоя байка. И ты мне не понравился.

Из темноты вылился человек. Через все его костистое лицо тянулся старый шрам, отчего один глаз человека постоянно щурился. Сальные пряди волос, перехваченные на лбу ремешком, густо падали на плечи — и, казалось, слегка шевелились кублом змей. Короткая безрукавка оставляла обнаженными руки незнакомца, сплошь покрытые вздутыми жи-

лами — и в левой руке человек сжимал узкую саблю-клыч. Ноги левши ступали вкрадчиво, по-кошачьи: вот он по ту сторону костра, вот он ближе; вот он рядом.

Клыч сверкнул без предупреждения. Абу-т-Тайиб привычно уклонился и, выдергивая из ножен ятаган, изумился мимоходом: древний клинок показался до неприличия легким, будто детская игрушка. А потом изумился еще раз: сабля Омара Резчика послушно ушла вбок, слишком послушно для левши с повадками матерого барса!

Дальше время удивления вышло: сталь зазвенела о сталь, пламя костра бросило кровавые отсветы на клинки, начавшие смертельную пляску — сзади кто-то вскакивает невпопад, и шахский ятаган живой гадюкой проворачивается в ладони, острием жалит за спину и чуть наискось; коготь клыча с визгом рассекает полу меховой джуббы, и ятаган на обратном взмахе врубается в человеческую плоть.

Левая рука черноволосого стала куда короче: на узкий клинок, кисть и часть предплечья.

— Уходим, — рявкнул поэт Гургину, и оба нырнули во тьму.

Их никто не преследовал — но тем не менее они бежали еще долго, пока дряхлый хирбед не начал задыхаться.

Только тогда Абу-т-Тайиб наконец перешел на шаг.

«Славно погулял! — криво усмехнулся он. — Старый конь строя не рушит...» И помрачнел. Врать самому себе не хотелось. Если даже забыть про слишком легкий ятаган, то все остальное...

Ну не мог, не мог Омар Резчик, которому что человека кончить, что своего курбаси сдать с потрошами, рубиться впол силы!

Не мог!

Или все-таки мог?! — дошло вдруг до Абу-т-Тайиба.

— Вы что тут все, сговорились?! — Брызжа слюной, поэт прошипел это в лицо Гургину, едва сдерживаясь, чтобы не схватить старца за глотку. — Издеваетесь, да?!

— Помилуй, владыка! — Обида мага была настолько искренней, что Абу-т-Тайиб невольно сделал шаг назад: получше рассмотреть советника. — Кому ж придет в голову издеваться над шахом?!

Нет, Гургин не притворялся.

— Тогда какого шайтана эта игра в поддавки?! Он же был, как ёвнух мухобойкой! Если б я сразу...

— Никто не смеет посягнуть на жизнь шаха Кей-Бахрама! — назидательно воздел палец старый жрец.

— Что?!?! Шаха?!?! Они все знали, что я — шах?!!

— Разумеется, — был ответный кивок.

— Но ведь я же... ведь мы же... — задохнулся Абу-т-Тайиб. — Откуда им знать?!

— Обладателя фарр-ла-Кабир за фарсанг узнает любой человек, если только этот человек не слепой от рождения и не слабоумный, — неторопливо и раздельно, как маленькому ребенку, пояснил маг.

— Но как?!?

— «И Златой Овен будет следовать впереди того мужа, носителя священного фарра, и сияние Огня Небесного будет окружать чело его...» — нараспев процитировал Гургин.

— Златой Овен? Этот проклятый баран?!

— Он самый, владыка.

— Выходит, у меня нимб вокруг лба? Как у святого пророка? — ехидно поинтересовался Абу-т-Тайиб. — А крыльев ангельских слушаем нету?!

— Воистину так, владыка. Нимб есть, а крыльев нет.

Маг и не думал шутить.

— Почему же я этого не вижу?

— Шаху невместно зреть собственный фарр. Зато его видят все твои подданные.

— Подданные... Значит, я — *настоящий* шах?!

Настоящий?!! — Абу-т-Тайиб все-таки не сдержался, ухватил старца за грудки, словно стремясь вытрясти из него вместе с правдой и душу.

— Настоящий, — прохрипел Гургин, и поэт беспомощно отпустил его.

— И все эти люди — на улицах, в чайхане, у костра... Тот мясник-задира, ловкачи: они все знали, что я — шах?!

— Знали, владыка!

— И все поголовно притворялись, что не узнают меня?!

— Они не притворялись, владыка, — казалось, маг донельзя удивлен, что Кей-Бахраму приходится объяснять столь очевидные вещи. — Шах желал насладиться прогулкой и беседой, оставшись неузнанным. А желание шаха — закон для подданных. Ты хотел, чтобы тебя считали обычным горожанином — тебя таковым и считали. Шах удивился, почему в толчее ему уступают дорогу — и тебя стали толкать, как и прочих; шах хотел общества подонков — и подонки приняли шаха как равного; шах захотел драки и крови предателя... Ты получил и то и другое. Омар Резчик действительно боец из бойцов: он сражался с тобой так, что ты поначалу даже поверили в серьезность его намерений. И теперь он наверняка горд: ведь руку ему отрубил не палач, а носитель фарр-ла-Кабир!

— Гордится... — простонал поэт, обеими руками схватившись за голову. — Он гордится! О Аллах, я, кажется, схожу с ума! Там был еще один, сзади. Я вроде бы зацепил его.

— Ты его убил, — просто ответил хирбед. — Тот парнишка, у которого ты брал чанг... Это был он.

— И он тоже не собирался ударить мне в спину?!

— Не собирался, мой шах. Он всего лишь встал.

— Значит... значит, они восторгались моим пением лишь потому, что я шах?!

Я дрался с ними все-

рьез — а они давали мне руки на отсечение?! И если бы я просто стоял, опустив ятаган — все равно ни один волос не упал бы с моей головы?!

— Ни один волос, — эхом отозвался Гургин. — У шаха не бывает врагов. Во всяком случае, живых.

— Не бывает врагов? А друзья у шаха бывают?! — Свистящий шепот грозил разорвать грудь и выплеснуться кипятком.

— У шаха не бывает друзей. Разве есть друзья у солнца в небе? У шаха есть только подданные, для которых воля владыки — закон.

— Подданные... — потерянно откликнулся Абут-Тайиб.

Внезапно глаза его вспыхнули.

— Врешь, старый скорпион! Будут у меня друзья! Будут! И враги будут! Сам говорил: на границе с этой... как ее... с Харзой! — участились набеги на наши... на *мои* земли! Мы выступаем завтра же! Шах я или не шах?!

— Шах, владыка. Фарр-ла-Кабир.

— Тогда я объявляю войну Харзе! Харзийцы — *не мои* подданные! У меня будут враги! Настоящие! И друзья будут... — чуть слышно закончил поэт.

И отвернулся, чтобы маг не видел его слез.

Он и сам плохо верил в собственные слова.

КАСЫДА О БЕССИПИИ

Я разучился оттачивать бейты. Господи,
смилуйся или убей ты! —
чиши допиты и песни допеты. Честно плачу.

Жил, как умел, а иначе не вышло. Знаю, что мелко,
гнусаво, чуть слышно,
знаю, что многие громче и выше!.. Не по плечу.

В горы лечу — рассыпаются горы; гордо хочу —
а выходит не гордо,
слово «люблю» — словно саблей по горлу. Так не хочу.

Платим минутами, платим монетами, в небе кровавыми
платим планетами, —
нет меня, слышите?! Нет меня, нет меня... Втуне кричу.

В глотке клокочет бессильное олово. Холодно.
Молотом звуки расколоты,
тихо влачу покаянную голову в дар палачу.

Мчалась душа кобылицей степною, плакала осенью,
пела весною, —
где ты теперь?! Так порою ночно гасят свечу.

Бродим по миру тенями бесплотными,
бродим по крови, которую пролили,
жизнь моя, жизнь — богохульная проповедь!
Ныне молчу.

Глава девятая,

в которой праведный гнев обрушивается на головы дерзких хургов, а шайтаны измываются над грешниками; которая вообще сплошь залита кровью и провоняла гарью — но имя пророка (да сохранит его Аллах и приветствует!) так ни разу и не упоминается здесь, хотя и он в свое время...

1

Опаленная адским жаром свора шайтанов металась в чаду пекла, нанизывая грешников на копьядерзких хургов, рубя наотмашь, швыряя раненых в жадную пасть огня. Крики отчаяния, бесполезные мольбы, визг мучителей, грохот копыт, гул вихрящегося пламени...

Преисподняя, нижний ее круг, где даже на деревьях вместо ветвей растут змеи, а вместо плодов — отрезанные головы.

Чуть поодаль, на вершине сопки, стоял сам Иблис-Противоречащий, бывший ангел Азазиил, предпочтя огнь своей гордыни сладости рая и близости Творца. Стоял, равнодушно наблюдая за муками грешников, виновных много меньше, чем он сам — и на обветренном граните лица падшего ангела, на челе его высоком не отражалось ничего.

Вы считаете, рок безнадежно силен? Но ведь нет ничего ни в одном из миров, что избегло бы участия мяса парного: стать жарким в полыханье вселенских костров!

Временами, в редкие минуты просветления, Абу-т-Тайибу всерьез казалось: он и есть Иблис во плоти. А там, внизу, в очередном хургском становище, вершат свою привычную работу его подмастерья-бесы: ржание, вопли, черные силуэты корчатася на фоне пожарища и кровавого диска закатного светила — чем не ад? Это длилось уже целую вечность, изо дня в день, почему-то всякий раз — на закате. Судьба? Подходит к закату очередной день — и подходит к закату чья-то жизнь.

Много жизней.

Изо дня в день.

На закате.

Противоречащий вершит суд неотвратимости.

За что он осудил этих людей? Какая разница?..

Не важно. Если напрячься, он наверняка сумеет вспомнить — но напрягаться больно, от этого лопаются виски, как у слонов в брачную пору, и голова идет кругом. Лучше принять выжженный путь безумия за единственно верный. Он, шах белостенного Кабира, возжелал смерти этих людей; и люди умирают.

Воля шаха — закон; будь они все прокляты — и воля, и закон, и шахский кулах!

...Поначалу память еще нашептывала, жужжала назойливой мухой: кочевники-хурги вторглись в кабирские пределы, захватили какой-то там скот, кого-то зарезали... Конь набега вытоптал чужой луг. Ерунда. Было, есть и будет. В ответ войска прочешут границу на десяток фарсангов вглубь, вразумят налетчиков, угонят часть табунов — и воцарится временное спокойствие. Никто не рассказывал об этом новому шаху, но Абу-т-Тайиб и сам прекрасно знал извечный ход вещей.

Но на сей раз кувшин бытия дал трещину. Подтягивать войска, методично прочесывать степь, гнать табуны и отары назад, на земли шахства?! —

слишком долго, а главное, абсолютно бессмысленно, с нынешней точки зрения поэта. Он не собирался плыть по течению. Он просто желал драться, немедленно, сейчас, завтра, вчера; и кровь предков ярилась в жилах, толкая на безрассудство.

Если бы кто-то вслух назвал Абу-т-Тайиба умалишенным, поэт бы с радостью согласился; но здесь пока не выросло языков, способных на столь вспиющую дерзость.

Он алкал войны. Настоящей войны, той правды меча, посредством которой обретают настоящих врагов — и настоящих друзей.

Не цели, но средства.

Шах еще даже не успел объявить о грядущем походе — а вся страна мигом пришла в движение. Войска стягивались к Кабиру едва ли не раньше, чем полководцы-спахбеды успевали получить шахский фирманс, народ в едином порыве приветствовал бравых вояк кликами радости; а на всех перекрестках славились мудрость и решительность Кей-Бахрама, собравшегося примерно наказать обнаглевших хургов.

Давно пора!

От всей этой шумихи поэт только раздраженно морщился и временами требовал от спахбедов невозможного; морщась вдвое сильнее, когда те до-скончально выполняли любой приказ.

Основную мощь Кабира испокон веку составляли полки латной пехоты — но Абу-т-Тайиб боялся окончательно сойти с ума раньше, чем пешцы подтянутся к границе с Харзой. И сделал ставку на конницу. Пяти тысяч отборных головорезов должно было вполне хватить для утоления первой жажды. Отряд выступил ночью, под покровом хранительницы тайн — и лишь несколько человек в Кабире были посвящены в замысел шаха. Пехота, отряды пращников и «волчьи дети» под предводительством рвавшегося в бой Суришара должны были двинуть-

ся вдогон утром следующего дня — чтобы соединиться с передовым отрядом у Арвана, малой приграничной крепостцы. А тем временем...

Это время не заставило себя ждать. Отпустив дракона своей ярости с привязи бесстрастия, шах не щадил ни себя, ни воинов, ни коней — и на четвертые сутки его всадники визжащими шайтанами обрушились на первое из становищ хургов.

Солнце клонилось к закату.

Как сейчас.

Только сейчас это было далеко не первое становище — какое по счету? какое?! не помню! — и везде повторялось одно и то же.

Огонь — и смерть на иззубренных клинках.

Сам шах не принимал личного участия в бойне. Он наблюдал. И изредка гнал в огонь гонца с коротким приказом. Перехватить бегущих. Взять человек десять живьем. Проверить: не укрылся ли кто во-он за тем холмом?

Все остальное воины знали сами, знали, нутром чуя волю господина, как свою собственную.

Они пришли сюда не грабить, и даже не карать. Они просто несли смерть. Всем. Даже женщин никто не насиловал — им вспарывали животы, едва покончив с мужчинами и подростками. Сразу. Не тратя драгоценного бальзами времени на удовлетворение зудящей похоти.

Великий Кей-Бахрам не хотел добычи, невольниц и золота — он хотел врагов.

И делал хургов — врагами.

Навсегда.

Впрочем, по приказу шаха дюжине пленных всякий раз оставляли жизнь. Им рвали ноздри, отсекали уши, ставили на лоб их же собственные клейма, которые хурги выжигали на шкуре лошадей — и отпускали. Даже конями снабжали, из захваченного здесь же табуна.

Чтоб быстрее могли добраться до Харзы. Чтоб

султан харзийский узнал из первых рук: шах Кабира пришел на эти земли, дабы сделать их своими!

Владыка хургов не согласен со столь мудрым и справедливым решением? — оспорь, светоч фарра!

Изуродованные посланцы уносились вдаль, быстро исчезая в сумерках, падающих на степь сизой стаей кречетов — а бойня продолжалась. Отары овец вырезались подчистую, воины жарили на кострах жирную печень, набивали мясом желудки и хурджины; воины ложились спать под открытым небом, чтобы наутро снова вскочить в седло и мчаться дальше, и снова: крики отчаяния, бесполезные мольбы, визг мучителей, грохот копыт, гул вихрящегося пламени...

Ночами Абу-т-Тайибу снилась отрубленная рука Омара Резчика; мертвая пятерня впивалась в горло, и поэт просыпался от собственного крика радости.

2

Становище догодало. Ветер рвал в клочья и отбрасывал прочь последние крики несчастных, лишь где-то все никак не мог прекратиться детский плач. Абу-т-Тайиб поморщился: плач раздражал. Почти сразу до его уха донесся (или это только почудилось?) влажный хруст, словно лошадиное копыто раздавило спелый арбуз; короткий всхлип ветра — и настала тишина.

Мертвая тишина; впору было заподозрить себя в глухоте.

— Примай полон, твое шахское! — Тишина лопнула знакомым басом, и могучий юз-бashi вывернулся из дыма.

За собой отставной душегуб, намотав на локоть конец веревки, волок с десяток ошалевших от ужаса хургов: узрев венценосного губителя, пленные разом пали ниц.

— С этими — как завсегда? — поинтересовался

Худайбег, опираясь на свое знаменитое копьецо, уже снискавшее ему немалую славу среди соратников.

Копье юз-бashi, которого Абу-т-Тайиб все чаще звал просто Дэвом, было под стать владельцу: толщиной с лапищу самого Дэва, длиной также раза в полтора больше обычного, оно завершалось огромным кованым жалом — близкой родней как меча, так и топора. Хоть колоть, хоть рубить, хоть буйволов глушить — если, конечно, силенок достанет орудовать сей оглоблей.

У Дэва силенок доставало. Даже с избытком. В бою юз-бashi был страшне, особенно когда, всласть окровянив жуткий наконечник, принимался охаживать врагов древком своего «копьца» — с легкостью ломая хребты и ребра. Глядя на спасенного им разбойника, Абу-т-Тайиб частенько поминал хашемита Али, зятя пророка (хвала ему!) по прозвищу Лев Божий. Согласно свидетельству очевидцев, в битве при Хайбаре с людьми Торы святой силач бился, используя вместо щита сорванные с петель ворота. Вот это под стать Дэву, хоть и грех равнять Божьего Льва с гуляющим язычником: ворота вместо щита, таран вместо копья, и — вперед!

Одно слово: Дэв. Силушка бычья, преданный, как собака — и тупой, как древко его же копья!

Тупой? Тогда почему одному лишь Худайбегу пришло в голову напрямик спросить у шаха: «Резать — это правильно, твое шахское, и пожечь остаточки правильно — чтоб ни им, ни нам... Но отчего добришком не поживиться? Вон, и табуны у них, и отары, и еще всяко-разно...»

Дэв никак не мог взять в толк, почему они пренебрегают богатой добычей. Но ведь остальных Абу-т-Тайиб тоже не посвящал в свои сокровенные помыслы! А воины в набеге мало чем отличаются от разбойников. Брать добычу — святой обычай: мечи стрелы и хватай, что цело! Приказ шаха? Да, конечно

но... Но почему удивился столь странному приказу один Дэв, отнюдь не блиставший умом — а остальные восприняли как должное?

Мифический фарр? Пусть так, пусть никто, кроме простака Дэва, не решился задать вопрос владыке — но ведь хотя бы удивление его приказ должен был вызвать? Должен. Косые взгляды за спиной, шепоток, попытку схоронить в хурдине золотишко или там блестяшку...

Ан нет! Ни-че-го!

Это раздражало Абу-т-Тайиба. Впрочем, в последнее время его раздражало многое; странные мысли и видения роились в мозгу, странные слова срывались с языка — и он гнал свой отряд от резни к резне, недоумевая: ну когда же харзийский султан не выдержит столь откровенного издевательства, когда же он двинет к границе свои полки?

Когда?!

— ...вишь, задумался... Эй, твоё шахское! С пленными — как завсегда?

— Валяй, Дэв, — кивнул Абу-т-Тайиб, барахтаясь в пучине видений и обрывков мыслей.

— Не нада завсегда! — вдруг приподнялся с земли один из пленников — толстый старик в халате из полосатого карбоса. Ветер трепал космы длинноющей седой бороды — точь-в-точь как у сказочных волшебников. Жаль, летающего кувшина в придачу к бороде у старого хурга не имелось. — Завсегда не нада! Моя выкуп дадут! Сто коней-хингов, вай! Двадцать коней-хингов, вай! Мой убивай нельзя!

— Встань, — бесцветно бросил поэт.

Старик с проворством безусого юнца вскочил на ноги.

— Говоришь, твоя нельзя убивай?

— Нельзя, моя солнце...

Деловито свистнул ятаган. Голова невезучего волшебника стукнулась оземь и покатилась вниз с

сопки: страшный мяч для страшной игры-човгана. Пленники вжались в прах земной — брызги кровавого фонтана окатили их, жгучие брызги, предвестники грядущей участи, когда впору будет позавидовать убитым. Тело старика еще некоторое время продолжало стоять, словно недоумевая — что это за напасть такая, вай?! — а затем мягко повалилось ничком перед венценосным убийцей.

Дэв расхохотался и пнул труп сапогом: тот перевернулся на спину, дрогнул на крутизне — и сполз вниз следом за головой, должно быть надеясь догнать недостающую часть.

— Сто коней-хингов одним ударом уложил, твое шахское, — с уважением буркнул юз-бashi, провожая взглядом труп.

— Я дал ему легкую смерть, — холодно прозвучало в ответ, и пленные разом возмечтали стать муряями, а еще лучше — пылинками в солнечном луче. — И знаешь, за что, мой глупый богатырь? Этот старик посмел судить о том, что можно и чего нельзя делать шаху. Заслужив тем самым честный конец. С остальными — как обычно. Резать уши, ноздри рвать — и в Харзу к султану гнать. Что же касается коней... коней я возьму сам! Сам! Если они мне понадобятся...

Голубые глаза отрубленной головы тупо пялились в небо; но сопка закрывала небосвод мрачной тушей — и в прядях бороды уже копошились насекомые.

3

Аромат бараньего жаркого мешался со смрадом горелой человечины — но это никому не портило аппетита. С другой стороны, и то и другое — попавшее в огонь мясо, только и всего. Возможно, пустынному гулю-людоеду как раз второе показалось бы ароматом, а первое — смрадом.

За время этого безумного похода все уже успели привыкнуть к такому смешению запахов, перестав обращать внимание на подобные мелочи.

Шах ужинал у костра вместе со всеми. Громко чавкая, он поглощал дымящиеся куски, вытирая за-саленные пальцы об одежду, и время от времени бросал короткие, почти неуловимые взгляды на своих воинов. Не взгляды — укусы песчаной эфы, за которой и глазом-то не уследишь!

Он видел одно и то же: искренняя радость, удовлетворение завершившимся боем, из которого живыми вышли все, да и раненых было немного. Обожание и преклонение перед ним, великим шахом, гениальным полководцем, ведущим их от победы к победе, грозой подлых хургов. В скачке неутомим, к врагам — беспощаден, ест с ножа, спит на земле, и воинская удача бежит за ним верной собачонкой! На такого шаха просто молиться надо!

Его воины, похоже, так и делали — только молча, про себя.

Преданные соратники? Или такие же несчастные марионетки, как он сам, ослепленные сиянием пригревшегося им фарра — и готовые теперь бездумно идти в огонь и в воду за его обладателем?

Кто они на самом деле?

Кто он, Абу-т-Тайб аль-Мутанабби?

Ответа не было, в висках колотились тысячи мягких молоточков, и поэт зверел день ото дня, отыгрываясь на несчастных кочевниках.

Раздавалась во мраке судьбы похвальба: «Ради шутки на трон вознесла я раба, а в придачу к венцу наградила проказой!» — и смеются над шуткой скелеты в гробах...

* * *

Гнедая степь грохочущей рекой текла к югу, в глубь харзийских земель. И казалось: нет такой

силы, которая способна остановить это конское половодье, прервать неукротимый бег тысяч копыт, сотрясавших дол на фарсанги вокруг.

Хурги спешили увести племенной табун подальше — но их было слишком мало, этих пастухов-воинов. А наперерез им и ведомому ими табуну уже неслись, разворачиваясь в лаву, без малого две тысячи всадников Абу-т-Тайиба, и расстояние между сверкающим кабирским серпом и гнедой рекой быстро сокращалось.

Гудела степь, радостно кричали в вышине стервятники, предвкушая скорую поживу — и пастухи слишком поздно поняли: с табуном им не уйти. Породистые аргамаки легки на ногу — но поди разверни живую реку вспять, заставь ее резко сменить русло, уходя прочь от вылетевших из-за сопок кабирцев!

Они не успевали. Если бы всадники Абу-т-Тайиба шли за ними вдогон — у кочевников еще имелся бы шанс уйти, пусть даже потеряв часть табуна. Однако налетчики мчались вперехват, и времени для маневра у хургов уже не оставалось.

С десяток наиболее сообразительных поспешили ринуться прочь, оставляя табун между собой и кабирцами, спасая свои жизни. Пусть уходят — сейчас не до них. Серп, сверкая металлом клинков, легко срезал редкую поросьль безумцев-храбрецов и начал уверенно обтекать головную часть табуна.

Невозможное свершилось.

Река всталла.

— Что ты там, мой Дэв могучий, о добыче говорил? — огласил степь буйный хиджазский напев. — Сей табун, подобный туче, мы отгоним к нам в Кабир! Пой, наш стан, в стенах Арвана! Жди пришествия султана — подоткнув полу кафтана, нас Харзиец возлюбил! Хайя!..

Отряд, гоня перед собой захваченную добычу, двигался быстро. Но без суэты и излишней спешки, которая, как известно, хороша лишь в двух случаях: при ловле блох и в постели чужой жены — да и то во втором случае необходимость спешки зачастую весьма сомнительна.

Если, конечно, муж не вернулся.

До Арвана было чуть больше суток пути, а Суришар с войсками ожидался дня через два, не раньше. Позади оставалась обезлюдевшая степь с язвами пепелищ; позади осталась дюжина налетов — и дюжина дюжин обезображеных хургов, отправленных гонцами к султану.

Впереди ждала война.

Абу-т-Тайиб жаждал ее, как жаждет глотка воды бредущий по пустыне путник, как влюбленный жаждет приникнуть устами к устам своей возлюбленной, как голодный барс жаждет крови и плоти молодого архара!

Поэт мерно покачивался в седле, пушистое разнотравье споро бежало навстречу — но глаза шаха видели сейчас иное. Временами ему казалось: он пестрым ястребом парит высоко в небе, и под ним проплывают города, сады, виноградники, желто-зеленые прямоугольники возделанных полей, и имя всему этому — Кабир.

Кабирское шахство.

А потом земля стремительно надвигалась, поэт сжался в седле, предчувствуя неминуемый удар, который расплещит его в лепешку — но гибель все медлила. Абу-т-Тайиб киселем растекался по всей этой земле, он был всем: камнем стен, травой на обочине, дорожной пылью, полями и лесами, виноградниками, городами и деревнями — он был живущими здесь людьми, всеми сразу!

Перед внутренним взором на миг возникла ясная картина: он вместе с фумэнскими рыбаками в каком-то селении на побережье Муала, где оказался

случайно, проездом, рассматривает только что выловленного спрута.

Фумэн? Муала? Где это? Что это?!

И тут же он сам ощутил себя спрутом — огромная скользкая тварь с великим множеством конечностей, спрут по имени Кабир, и одно из его щупальцев с жадными присосками устремилось сейчас дальше... на территорию Харзы! Многорукий гигант с шахским кулахом на голове таращил круглые глаза; и все тянулся, тянулся щупальце дальше — он, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, был одновременно и этим спрутом, и самим шахством, и тем щупальцем, которое упорно ползло к Харзе, пытаясь что-то ухватить — но это у него не получалось, добыча выскользывала, несмотря на присоски...

Потом была темнота.

— ...твое шахское, что с тобой?

Лицо. Озабоченное, встревоженное...

Дэв.

— Я не могу взять... не дается... — словно в бреду, бормочут белые губы.

— Эй, кошму сюда! И воды, воды, олухи!

Остатки одури уходят, глоток воды из бурдюка — и Абу-т-Тайиб легко вскакивает на ноги. Его чуть ведет в сторону, но тело быстро восстанавливает равновесие.

Смеркалось. Повсюду паслись лошади из угнанного ими табуна, лагерь был уже разбит, от костров тянуло дымом...

— Со мной все в порядке. Ужин. Потом выставить караулы — и спать. Завтра днем нам надо быть в крепости.

Этот череп — тюрьма для бродяги-ума. Из углов насмехается пыльная тьма: «Глянь в окно, неудачник, возьмись за решетку! — не тебе суждена бытия кутерьма!..»

Глава десятая,

в которой рассказывается история одного доспеха, море битвы выходит наконец из берегов, веселый безумец посягает на обладателя фарра, кто-то успевает, кто-то не успевает, но совершенно не рассматривается застольное приличие: брать малые куски и пореже смотреть на сидящего рядом!

1

Ночью его снова мучали кошмары. Проснувшись утром, поэт так и не смог вспомнить — какие именно, но смутная тень предчувствия окутывала душу кружевной кисеей.

Грядет день событий!

Абу-т-Тайиб всегда со вниманием относился к собственным предчувствиям, что не раз спасало ему жизнь. Поэтому, прежде чем взобраться в седло, он облачился в ратный доспех, который весь поход таскал за собой в тороках — ни разу еще не надев целиком.

С доспехом была связана история, достойная, чтобы о ней упомянуть.

Ехать на войну без доспеха было глупей глупого; да и не шахское это дело — рваньем отсвечивать. Однако броня владык на скорую руку не делается, здесь одна подгонка дорогостоящая! — а в оружейной не сыскалось лат по душе.

То ли Абу-т-Тайиб оказался излишне придирчив, то ли еще что...

Справедливо решив, что в этом вопросе от Гургина помочь ждать бессмысленно, поэт обратился к верному Суришару. И мигом выяснил любопытную подробность: оказывается, его предшественник, шах Кей-Кобад, как раз незадолго до смерти велел изготовить себе новый доспех. Жаль только, не успел примерить обнову — безвременно скончался на сто семьдесят девятом году жизни!

Слова о возрасте покойного владыки Абу-т-Тайиб, как обычно, пропустил мимо ушей. А вот что касается доспеха...

— Вызвать устада Коблана во дворец? — с полу-вздоха догадался Суришар. — Доспех-то ему заказы-вали...

И не угадал.

— Сам к нему съезжу. Вели подать коня!

Сказано — сделано. Через час шахские гургаса-ры уже громко стучались в дверь кузни.

— Ты, что ль, Коблан будешь? — Войдя в кузню, Абу-т-Тайиб едва не споткнулся о распростершего-ся ниц полуголого детину.

Видом детина более всего напоминал пустынно-го духа-марида, самого зверообразного из детей огня; ноги как мачты, руки как вилы, рот бурдюком, уши — створки ворот, и младенцы седеют при одном взгляде на это создание.

Говорят колдуны: строить — зови джинна; ру-шить — зови ифрита; умом тронулся — зови марида!

— Нет, владыка, устад Коблан...

— Ты? — Поэт лишь сейчас заметил второго ма-рида-близнеца, протирашего пол у корзины с опилками, золой и черным песком, даже на вид тя-желым, как чугун.

— Нет, владыка, устад Коблан...

— Устад Коблан — это я, ничтожный, да будет воспето в веках твое имя, о мой шах!

Абу-т-Тайиб огляделся в поисках третьего те-ла — и обнаружил у лохани с водой щуплого недо-ростка, почти карлика, чья плесть вовсю отражала пламя горна.

— Ты — кузнец?! — искренне изумился поэт.

— Прозорливость моего шаха безгранична, — ут-робным басом рокотнул с пола карлик, заставив воду плеснуть о края лохани, и поэт воспрял духом: неужто издевка?!

Увы, надежды оказались тщетны.

— Тогда вставай, кузнец. Ты-то мне и нужен. Показывай доспех, который делал для Кей-Кобада.

Доспех был хорош — поэт сразу так и прикипел к нему взглядом: начищенное до блеска зерцало с синеватым отливом, стройные ряды сияющих пластин, перемежающиеся на боках кольчужными вставками... Сразу видно: и сталь отличная, и работа славная!

— Шевелитесь, козье охвостье! — распекал тем временем карлик своих маридов, да так, что уши за-кладывало. — Эй, Мунир, Масуд, чтоб вам материнское молоко не впрок пошло! — живо за наручами, поножами, наколенниками... и шлем, шлем не забудьте, остолопы!

Кузнец скакал воробышком, возбужденно вертя в руках какую-то железяку с нашлепкой — привычка? волнение? все сразу?! Небось не каждый день к нему в кузню шахи захаживают! Абу-т-Тайиб пригляделся — и окаменел на месте: кузнец вертел в пальчиках изрядный костыль, который от Коблановой ласкимялся хлебным мякишем...

«Ишь, птенчик! — уважительно моргнул поэт. — Такому и молот с наковальней без надобности — разве что для ковки. А форму он какую угодно и руками выгнёт!»

Наконец перед шахом предстал весь доспех полностью: вороненые наручи с поножами, подбитые изнутри двойным лиловым бархатом, высокий прорезной шлем, латные перчатки...

Доспех оказался чуть великоват Абу-т-Тайибу. Исправить это было проще простого: вынуть с боков по ряду пластин, немного подогнать — всего ничего. Но кузнец заупрямился, заявив, что подгонит все одними застежками. Дескать, дурное дело — вынимать пластины.

Запас еще пригодится!

— Думаешь, разъемся на престоле? — усмехнулся поэт. — Ладно, делай как знаешь. До завтра спрашивайся?

— Непременно, мой шах, непременно! — Коблан уже деловито снимал мерки с венценосного заезжего. — Попомните мое слово: запас мошну не тянет!

И вот теперь Абу-т-Тайиб обнаружил, что запас действительно оказался не лишним! Разжирел он, что ли? Или, подобно сказочным богатырям, только в силу входить стал — на шестом-то десятке?!

Однако сейчас было не время размышлять о шутках судьбы. Верный Дэв помог шаху облачиться в латы, и поэт сам, без посторонней помощи, легко прынулся в седло — чему был немало удивлен. Он-то точно не Лев Божий, ему воротами не сражаться!

— За мной!

* * *

...Солнце близилось к полудню. Отряд Абу-т-Тайиба споро двигался по холмистой в этих местах степи, гоня перед собой захваченный табун — когда вернулся посланный вперед разъезд.

— У крепости идет бой, мой шах!

2

Здесь рубились не полудикие степняки — Абу-т-Тайиб понял это сразу, выехав на вершину сопки и взглянув из-под руки на разгоравшееся у стен Арвана сражение. Харза решилась наконец ударить в ответ на дерзкий вызов! И сейчас султанские полки штурмовали пограничную крепость Кабира.

Цель была достигнута.

Вот он, враг — настоящий! Не зря пылали становища, не зря уродовались посланцы, не зря руки по локоть купались в крови: игра в поддавки окончена, и сияние фарра, истинное или мифическое, вряд ли согреет души озверевших хургов! Ишь, каким ско-

пищем явились, чисто саранча! Впору радоваться, что три с лишним тысячи его бойцов сейчас находятся вместе с арванским гарнизоном в стенах крепости... Главное — пробиться к ним и дождаться подхода Суришара с основными силами.

— Худайбег!

— Я здесь, твое шахское!..

— Берешь полутысячу и скакешь в обход. Пройдешь вон по той лощине и ударишь штурмующим в бок, прямо напротив ворот. Задача — вызвать панику и прорваться к воротам. Ясно?

— Ясно, твое шахское! Да мы их...

— Выполнить!

Спустя мгновение Дэва уже не было рядом.

— Хаджир! — подозвал поэт другого юз-бashi. —

Берешь свою сотню и гонишь на их лагерь табун с северо-запада. В бой не вступать — порубят. Пустить коней на палатки и присоединяться к нам. Мы ударим сразу вслед за Худайбегом. Действуй, сотник!

— Радость и повиновение, мой повелитель!

Грохот конских копыт вновь заставляет степь качнуться лихим бубном. Подбирающееся к зениту солнце щурится, глядя на чудеса внизу: гнедой потоп заливает местность! И кажется: волшебные тулпары под предводительством святой аль-Борак, крылатой кобылицы Господа миров, сами идут в атаку — ибо далеко не сразу можно различить в арьергарде табуна всадников Абу-т-Тайiba.

Сражение приостанавливается, повисает в мертвой точке; хурги начинают разворачиваться на встречу неожиданности... И этим не замедлили воспользоваться защитники крепости, на что и рассчитывал поэт. Пращники на стенах дружно взмахивают ремнями, и град свинцовых лепешек окатывает харзийских воинов, основательно проредив их ряды.

Миг замешательства, гортанные выкрики команд, часть конницы хургов устремляется в лоб та-

буну: остановить, развернуть двумя крыльями, не дать смять лагерь — и замешательство взрывается удалым гиканьем, когда из лощины вырывается полутысяча кабирцев во главе с ревущим Дэвом, который вращает над головой свое жуткое копье-дубину!

Словно кровавый ветряк пошел вразнос, перемалывая людей в страшную муку. До ворот еще далеко, но Худайбег и его люди уверенно движутся к вожделенной цели. Конечно, сейчас хурги опомнятся, увидят, что врагов совсем мало, и тогда...

И тогда придет очередь Абу-т-Тайиба!

Уже пришла.

— За мной!

Крепость бросается навстречу, и за спиной слышен тяжелый топот без малого полутора тысяч всадников.

Время ожидания кончилось.

Настало время крови.

Харзийцы все же успевают развернуть боевые порядки, подставляя спины под увесистые гостинцы Арвана; мало, мало на стенах пращников! И ядра, похоже, на исходе...

Впрочем, это уже не важно.

Первого хурга, шаражнувшегося в сторону от железного демона, Абу-т-Тайиб достает походя, вихрем несясь мимо — чтобы безумным дровосеком врубиться в чужой строй.

Последнее, что он успевает заметить краем глаза: дюжина всадников на дальней сопке, и один из них мановением руки шлет гонцов к войскам. Султан! Султан Харзы! Шлем владыки хургов отблескивает на солнце, сгущаясь расплавленным золотом вокруг головы, а потом Абу-т-Тайибу становится не до шлемов, султанов и сияния.

Стальные заросли вокруг кипят смоляным варом, искаженные, залитые кровью лица, туки человеческого мяса валятся наземь справа и слева; меются кони — те, что успели потерять своих седоков;

остальные, дико хряя, пятятся к крепости, понуждаемые сидящими на них хургами. Сдвигаются круглые щиты, плюясь в просветы кривыми всплесками сабель — но тяжкий ятаган шаха сносит и ломает ветки ядовитого кустарника, обходя щит, вгрызается в живую плоть...

Е рабб!

Мгновение передышки. Под копытами коня — мертвцы. Впереди — вогнутый полумесяц хургского строя щетинится копейными жалами.

Стоят.

Ждут.

Копья? Почему он до сих пор жив? Даже легендарный Антара, Отец Воителей, не сумел бы в одиночку отбиться от...

Один? Почему — один?! Где его воины?! Откуда эта тишина? Беззвучно раскрываются рты, перекошенные криком, беззвучно переступают копыта коней, металл немо ударяется о металл...

Мгновение — и лавина звуков погребает слух под собой.

Битва продолжалась. Но он действительно остался в одиночестве: шаху дали прорваться вперед, увлечься боем — и кольцо хургов сомкнулось вокруг него. Кабирцы отчаянно рвались на выручку к повелителю, угодившему в ловушку — но их порыв расплескивался кипящими брызгами о заслон Харзы.

— Живым взять хотите? — Кривая усмешка клещами палача раздирает рот. — Или вы, дети ехидны, тоже...

Последняя мысль страшней возможного плена, но высказать ее вслух или просто додумать до конца Абу-т-Тайб не успевает. Из гущи врагов выламывается безумный смех. Хочет все — земля, небо, иgrenевый скакун, лихой боец в седле, полумесяц секиры над головой бойца... Смех рушится на поэта искрящимся водопадом, разом вышибая из головы лишние размышления. Хорошо хоть, сама голова на

плечах осталась — вовремя пригнулся да за повод дернул!

Этот весельчак определенно не собирался брать его живым!

О счастье! Да буду я выкупом за тебя, враг до мозга костей, подлинный, высшей пробы, не безликая толпа, не искусный лицедей, покорный шахской воле — бесшабашная смерть-смех во плоти!

— *Веселись в горниле боя*, — оскал выворачивает челюсти, превращая лицо в морду хищника; и властная рука бросает коня в сторону.

— *Хохочи, не чуя боли!* — ятаган скрежещет по оплечью хурга, взвизгивая от бессильной ярости и предвкушения скорой поживы.

— *Пока ты в земной юдоли*, — игреневый буран мечется вокруг, плеща в глаза смертельной луной на ущербе, но радость встает навстречу утесом проклятых гор без названия; звон, лязг, смех... бой.

— *Не найти тебе покоя!* — хруст, истошное ржание, горячий фонтан брызжет алой пеной, и земля кидается навстречу Абу-т-Тайибу. Мир кувыркается халифским шутом, громада всадника нависает над головой, и тело само перехватывает поводья у оплошавшего рассудка...

Он поднимается, озираясь. На земле бьются два визжащих жеребца — его чубарый, чья грудь распахнута ударом секиры, и игреневый харзийца, с подрубленными бабками.

Коней жалко.

Но смех-смерть уже на ногах, и секира весело пластила воздух ломтями — ближе, еще ближе, еще... Стальной ураган, безумная круговерть, ятаган на миг приникает к ущербной луне, сбрасывая ее прочь с небосвода; рывок вперед, вплотную — и наотмашь, тяжелой латной перчаткой с зажатой в ней рукоятью.

В висок.

Харзийца спас шлем. Добрый остроконечный шлем из посеребренной стали, подбитый изнутри кожей, с узким налобником, пластинчатыми нащечниками и кольчатой бармицей, прикрывавшей шею. Все это, до самой мельчайшей детали, разом вспыхивает перед взором Абу-т-Тайиба — пока шлем падает на землю и катится по вытоптанной траве, а сам харзиец, оглушенный ударом, медленно оседает у ног шаха, выронив страшную секиру.

Склоняясь к противнику, забыв, где он и кто он, поэт до рези под веками вглядывается в прозрачные глаза парня — ища в них крупицы жизни, боясь потерять единственное существо, рядом с которым Абу-т-Тайиб наконец ощутил себя живым, настоящим, прежним...

И еле успевает вернуться на грешную землю из пустыни «Я», как называют суфии тайные глубины души.

Хурги деловито спешиваются.

Они идут к нему, выставив перед собой копья.

И, снося ятаганом первый выпад, отсекая наконечник второго копья, рубя в ответ, Абу-т-Тайиб не сразу понимает: все эти удары предназначаются *не ему!*

Хурги собираются добить своего оглушенного товарища.

— Е рабб! Дети ехидны! Он же ваш!

Заслонив упавшего собой, Абу-т-Тайиб подхватывает с земли оброненный кем-то шамшер, длинный и кривой; и теперь рубит с двух рук, не давая детям ехидны прикончить собрата по оружию. Солнце изумленно щурится с неба: хищные жала мелькают над самой землей, тщась поразить лежащего, а вокруг смешливого харзийца мечется шах Кабира, плеща в перекошенные лица сталью, каким-то чудом успевая, успевая, успе...

В воздухе свистят арканы.

А явившегося следом воя поэт уже не слышит.

— За мной, «волчьи дети!» Фарр-ла-Кабир!

Оглушительный вой стаи был ответом.

Лава гургасаров выплеснулась из-за холмов.

Широкогрудые, мощные кони, все, как на подбор, вороные; волчьи шкуры поверх тускло отблескивающих лат, волчий оскал зубов, волчьи высоверки клыков-клинов — всадники в этот миг действительно походили на сорвавшуюся с цепи свору оборотней, готовую разорвать в клочья все и вся, что попадется им на пути!

А за их спинами уже разворачивали строй тяжелые латники — гордость Кабира.

Суришар сделал невозможное: он пришел на день раньше.

Рвать на себе волосы и, обезумев, клясться в неизбежности своей мести он будет позже.

Глава одиннадцатая,

которая повествует о рыжих котятах и зайцах с кисточками на ушах, о великой пользе от сношений, о беседах меж обладателями фарров, но никоим образом не упоминает о том, что если бы Аллах (велик он и славен!) не запретил вина, то не было бы на лице земли ничего, что могло бы заступить его место

1

— Султан ждет вас, мой господин!

— Я жег становища твои, — голос Абу-т-Тайиба был тишиной пересохшего колодца, пустой и бесстрастной. — Я убивал детей и женщин, я гнал коня, топча шатры, шатры твоих отцов и братьев. Смеясь в седле, я пил вино над пирамидой хургских трупов, и дол смеялся мне в ответ, и небо, и земля — а люди, былые люди, без голов считались падалью, и только! Я — бич твоих земель; я — бич,

которым хлещут без разбору, будь прав ты или виноват, будь горд или исполнен страха!.. я — Божий гнев. Или иначе: я — гнев, но самого себя, холодный гнев фарр-ла-Кабир, бессмыслица монаршой воли, огонь из зябкой пустоты, которую я ненавижу. Что скажешь, хург?

— Султан ждет вас, мой господин!

— Ударь меня! Ударь, иль будь навеки проклят! Молчание.

Еще с минуту Абу-т-Тайиб вглядывался в лицо конвоира, в скуластое лицо с кожей, навсегда потрескавшейся сетью мелких морщин; так глядит безумец на дохлую рыбу, ожидая ответа на вопрос о смысле жизни. Затем поэт страшно рассмеялся, всплеснул руками и шагнул вперед.

Малиновая сарапарда — загородка из воловьей кожи, скрывающая от досужих глаз шатер султана, — распахнулась перед ним.

Шатер оказался палаткой. Да, богатой, островерхой, увенчанной сияющим на солнце шишаком, с пурпурными разводами по снегу войлока трех юрт, сдвинутых вместе. Но палатка есть палатка. Даже если рядом возвышается бунчук: древко кроваво блестит, смоляные косы перевиты блестящими жгутами, и на каждом завязано по три узла. Абу-т-Тайиб ожидал иного. Золотых столбов, что ли? — а шест-опора, на худой конец, пусть будет из слоновой кости. Пусть будет, молча согласился сам с собой поэт; пусть будет все, чего душа пожелает, а чего не пожелает, пусть тоже будет. Он не считал себя сумасшедшим. Просто ему было хорошо в пуховой облачности, в спокойствии без прошлого и будущего; ему было хорошо в плenу.

Привычно.

Полог оказался откинут, стража отсутствовала, и из темноты палатки доносилось еле слышное урчание. Абу-т-Тайиб пожал плечами, прежде чем окунуться в темноту; лгунья! — на поверку она оказа-

лась достаточно светлой. Лампады, вешие птицы Хумай с фитилями в клювах и брюхом, полным зиггитового масла, висели в углах, гоняя шелковые тени от стены к стене. А на ковре, чей орнамент то и дело всплескивал серебром нитей, сидел человек — играясь с котенком. Рыжим, непривычно крупным и лобастым. Котенок кувыркался, ни в какую не желая дать почесать себе живот; четыре лапы вовсю били по воздуху и по руке человека, но когти выпускались еле-еле, чтобы не испортить игру.

Вокруг головы человека, звездной пылью падая на узкие плечи, светился нимб.

Абу-т-Тайиб заморгал. Затем протер глаза. Нет, нимб никуда не делся: мерцал себе ночным небом пустыни, и в свечении то и дело пробегали багряные сполохи. Когда человек повернул голову, нимб дрогнул, пропал на мгновение, но сразу объявился снова — и багрянец сменился тусклой синью.

Сабельным металлом.

— Я счастлив видеть брата моего отца, — сказал человек с нимбом.

Котенок фыркнул и ударил лапой: ему хотелось играть дальше.

Абу-т-Тайиб оглянулся через плечо. Нет, никакого брата чужого отца за спиной не стояло. И вообще никого не стояло.

— Э-э-э... кого счастлив видеть мой господин? — осторожно поинтересовался поэт.

— Если бы Кабирское шахство было ровней Харзе, я бы звал тебя братом, — человек с нимбом отвернулся и ловко ухватил котенка за шкирку. — Но это не так. Поэтому я зову тебя дядей. Входи, дядюшка, входи... и брось величать меня господином. Особенно наедине. Меж обладателями фарров это не принято.

Мерцание нимба усилилось, в нем замелькали игравые огоньки, и котенок кубарем полетел в даль-

ний угол. Жалобно пискнув, зверек забился под кошму; лишь изумруды глаз сверкали оттуда.

— Входи! — повторил человек с нимбом.

Абу-т-Тайиб медлил. Если все происходящее до сих пор представлялось дурным сном, то сейчас сон окончательно превращался в кошмар. В видения-лабиринт, откуда нет выхода, а в каждом укрытии ждут святые халифы прошлого с ореолами вокруг чела, готовясь кривыми ногтями вцепиться тебе в глотку. Поэт поднял руки и тщательно ощупал собственную голову: тюрбан, повязанный взамен отобранного шлема, волосы, уши, затылок...

Все как обычно.

— Он слегка отдает в голубизну, — человек с нимбом не без интереса наблюдал за братом своего отца. — А внизу похож на кольчужный назатыльник. Только длиннее.

— Кто?

Пройдя вперед, Абу-т-Тайиб уселся на ковер и скрестил ноги. В конце концов, не все ли равно, как разговаривать со святыми плодами воображения: стоя или сидя? Особенно если ты — брат их отца, да простятся ему былые прегрешения...

— Фарр-ла-Кабир. Я видел его однажды: сорок лет назад. На переговорах относительно спорных земель между Кабиром, Харзой и Дурбаном. Я тогда впервые встретился с Кей-Кобадом, твоим предшественником. С тех пор он совсем не изменился.

— Предшественник?

— Фарр.

— И тебя, сын моего брата, о котором я скорблю всякий час и всякую минуту — тебя это не удивляет?

— Что фарр остался прежним? Ничуть. А тебя?

Поэт вдруг резко вскочил на ноги. Едва ли не бегом он пересек палатку и вновь оказался у выхода. Никто не остановил его, не преградил дорогу; Абу-т-Тайиб остановился сам и долго смотрел на султанский бунчук.

К сожалению, тихое блеянье ему не почудилось.

Под красным шестом сидел баран, и пальцы солнца тихонько перебирали драгоценное руно. Вспышки бегали от шерстинки к шерстинке, от завитка к завитку, крутые рога отягощали мощный лоб, и одна мысль о кебабе из этого вожака стад казалась кощунственней, нежели идея осквернения могилы пророка (да благословит его Аллах и приветствует!). К бараньему боку тесно прижался заяц, длинноухий бегун, чей мех отливал шафраном. Морда зайца была вытянута больше обычного, на кончиках ушей трепетали серебряные кисточки, а круглые плошки глаз горели знакомой зеленью — кошачьей.

Хищной.

— Там баран, — прошептал Абу-т-Тайиб, забыв обернуться. — Клянусь чернилами и каламом; клянусь днем Страшного Суда и укоряющей себя душой, ибо воистину человек всегда остается в убытке! Там баран!.. и заяц.

— Это мой заяц, — брюзгливо заметил человек с нимбом. — Отойди, не раздражай его. И меня. Всегда помни: ты у меня в пленау! Значит, веди себя соответственно. Как подобает венценосному шаху Кей-Бахраму фарр-ла-Кабир.

— Заткнись, призрак! Наваждение, умолкни! Я — поэт аль-Мутанабби! Я — злосчастный неудачник, я лежу в песке пустыни, видя сны о шахском троне, о великой благости и нече, о насмешке злого рока, о презрении Аллаха! Я — ничтожный из ничтожных, я мечтаю, чтобы ныне, присно и вовеки на своя вернулись круги ложь и правда, боль и сладость, богохульство и святыни; я хочу огня геенны, что и в бездне не остынет!

Человек с нимбом восхищенно цокнул языком.

— Если бы я умел так играть словами, — спросил он у котенка под кошмой, — разве я хотел бы быть султаном Харзы, Баркуком зу-Язаном?!

Котенок согласно мяукнул.
Он тоже не очень-то хотел быть кошачьим властыкой.
Он хотел игры и молока.

2

Баркук-Харзиец томился от скуки.

Это началось давно, и самые надежные снаидебя бессильны были изгнать гостью-самозванку. Во рту всегда было кисло, оскомина сводила челюсти ужасной зевотой, и даже искусно приготовленный ка-вардак — жаркое с морковью, бататами, айвой и еще Лунный Заяц знает, с чем! — казался пресной лепешкой. Драгоценности тускнели, едва на них задерживался глаз, и все чаще перстни летели в отходящую яму, а серьги с ожерельями раздаривались кому ни попадя. Травля барса не веселила, роскошь одежд утомляла, а песнопения льстецов вгоняли в сон.

Посещения гарема стали реже, будто капель за-тихающего ливня, пока не прекратились вовсе. Смуглянки с Дубанских равнин, гибкие дочери хургских степей, светловолосые лоулезки, купленные за большие деньги, — все они маялись в бассейне Сорока Девушек, утешая себя противоестественными ласками и сладостями. Царственный супруг не призывал их к себе, презрев искусство неги. Упрекнуть султана в том, что его мужская природа изжила сама себя, мог только умалишенный, но...

Жен постигла грустная участь еды, перстней и одежд: Баркук сперва стал кривиться, после — раздаривать, а там и вовсе забыл.

— Расскажи мне о пользе сношений, — как-то велел он личному знахарю, в надежде от пользы перейти к желанию. — Расскажи без утайки. И я набью твой рот жемчугами, а потом подарю юную не-

вольнице из Кимены, чьи бедра округлы, а нрав кроток. Я слушаю.

— Поистине, в совокуплении великие достоинства и похвальные дела! — возопил ободренный знахарь, уже представляя себе округлые бедра вкупе с кротким нравом, а лучшего сочетания трудно себе представить. — Оно облегчает тело, наполненное черной желчью, успокаивает жар страсти, веселит сердце и гонит прочь тоску, но умножать число сношений в дни лета и осени вреднее, нежели в дни зимы и весны!

— Отлично, — Баркук велел позвать сразу трех жен и заставил красавиц плясать перед ним и знахарем, вертя животами. — Продолжай, о кладезь знаний! И поведай мне теперь о вреде сношений.

— Частые сношения ослабляют зрение. — Во рту у знахаря разом пересохло, он опустил глаза долу, дабы не видеть искушающей пляски, и хрюплю затарапорил: — От них рождается боль в спине и голове, а особенно опасно сношение с больной или старухой! Берегись, берегись сношений со старухой: это — одно из дел убийственных!

Баркук вздохнул. Танец жен утомлял, дурак-знахарь утомлял еще больше, и надежды на развлече-
ние улетучивались рассветной дымкой. Рот знахаря был честно набит жемчугами, невольница отошла в его владение, доведя нового хозяина до удара всего лишь за два месяца; а сам султан набрал было в гарем с дюжину старух — вдруг запретное разгонит тоску?!

Старухи надоели почти сразу.

И все чаще вспоминалось Харзийцу: степь, за-
клятая Степь Бойцов, куда после долгих мытарств в горах без названия их привели жрецы Лунного Зайца. Их — восьмерку взыскующих трона, близких и дальних родичей умершего на днях Джалаля зу-
Язан, обладателя фарра. Метелки дикого овса вдруг расступились перед ними, и серебряные кисточ-

ки чутко затрепетали на ушах небывалого зайца. Шафрановая шкурка мелькнула совсем рядом, потом дальше, еще дальше, спелым абрикосом являясь в травах — и хурги ринулись вдогон, горяча коней.

А солнце над ними желтело старым динаром, шло пятнами и рытвинами, больше напоминая луну, безумную луну, которой вздумалось средь бела дня прогуляться по небосводу.

Таково было Испытание. Они зимним бураном мчались по степи, не видя ничего, кроме вожделенной цели, мало-помалу разъезжаясь в разные стороны, топча этот простор, окоем без конца-краю; их было восемь, и зайцев было восемь, нет! — не было, их стало восемь, о чем не стоит поминать всуе, а потом молодой Баркук наотмашь хлестнул добычу камчой, в кончике которой была зашита капля-свинчатка — и едва успел отпрянуть: оскаленная морда зайца хищно бросилась ему в лицо...

Он сидел на взмыленном коне, изумленно моргая, а перед ним на коленях стояли жрецы.

Обратно в Харзу вернулся султан Баркук зу-Язан.

Один.

Да! — все чаще теперь приходила на ум Баркуку далекая Степь Бойцов, дикая гонка за призраком мечты, терзая его долгими ночами до самого утра. И все чаще он вспоминал их: своих братьев и дядьев, окунувшихся в бешеную скачку, в горький аромат полыни, чтобы сгинуть без вести. Где вы теперь, лишенные трона и родины?! — наслаждаешься козлодрианием в Верхнем Мире? скрежещете зубами в Восьмом аду Хракуташа, искупая грех гордыни?! скитаешься вне цели и смысла, в горах без имени, в мирах без названия?! Где вы теперь? И кто из нас более счастлив: вы, скитальцы-горемыки, или я, великий султан, носитель фарр-ла-Харза?!

Кто из нас больше приобрел и кто больше потерял?!

Баркук не знал ответа; в последние годы не знал.

И тогда он принялся расспрашивать жрецов Лунного Зайца, призывая их к себе. И тогда он по крохам собрал подобие истины, мертвое чучело, чтобы смотреть на него в минуты скуки, смотреть и утешаться гнусным словом «необходимость». И тогда он возликовал великим ликованием, когда соглядатаи из Кабира-белостенного донесли... нет, не о смерти шаха Кей-Кобада, славного воина и мудрого политика.

Соглядатаи донесли о странном: о восшествии на престол чужака без роду-племени, вопреки старым обычаям, но согласно воле фарр-ла-Кабир.

Баркуку даже показалось на миг, что это один из восьмерых его родичей вернулся домой, покинув тайные дороги. Глупости? — разумеется, глупости. Но плащ скуки упал с плеч султана, и ворона раздражения перестала вить гнездо под его чалмой. Новый шах Кабира полновластно воцарился в султанских мыслях, и думать о нем было забавнее, нежели слушать рассказы о песьеволовцах или ведьмах-алмасах. Что есть песьеволовец? — человек с собачьей башкой! А тут чужак: думает по-другому, видит иначе, дышит невпопад... вот кому счастье! Из праха в шахи! Небось млеет сейчас от радости: сказка кончилась, не начавшись. В смысле, враги побеждены, пути завершены, вкушай довольство, пока не придет к тебе Разрушительница наслаждений и Разлучительница собраний — а это случится ох как не скоро!

«Да, не скоро», — вздохнул султан.

И кинул в рот горсть соленого миндаля.

Когда с границ пришли донесения о сожженных становищах, Баркук поначалу не обратил на них особого внимания. Так было, есть и будет. Пограничные племена, белобаранные хурги, вечно устра-

ивали налеты на кабирские селения и городки, ища себе славы, а племени — богатства. Это мало препятствовало торговле и не мешало добрососедским отношениям. Раз-два в год со стороны Кабира выдвигалась тяжелая пехота и отряды пращников: железным гребнем солдаты прочесывали окраинную степь, напоминая алчным хургам о необходимости платить по счетам; после чего следовало время затишья. И опять — торговля, налет, возмездие...

Все как у людей.

Но в донесениях проскочила тревожная нотка: в степь пришла не пехота гарнизонов, мастерица оцеплять водопои и учинять ночные налеты. В степь пришли всадники, и этот вихрь едва ли не стремительней хургской лавы! Вдобавок во главе гостей стоит шах Кей-Бахрам собственной персоной.

Баркук с интересом приподнял бровь. Сам шах? С каких это пор карательные меры возглавляются лично венценосцами? Прочь, сука-скука! Жизнь приобретает вкус и цвет! Да что вы говорите?! Жгут и рубят без разбору? Женщин и детей?! Ночной гро-зой валятся на голову, живут в седлах, забыв о сне и покое? И даже не желают взыскивать убытки?! — просто жгут и рубят, жгут и рубят...

Лунный Заяц, до чего интересно!

Воистину:

Пускай нашей крови потоки текут,
Пусть груды погибших горами встают,
Пусть рушатся скалы и небо на нас —
Спины не покажем в решительный час!

...вскоре из Харзы выступили конные полки. Вел их султан Баркук зу-Язан, вел впервые в жизни, мечтая о встрече с бешеным шахом Кабира. И чувствовал себя молодым: не телом, нет, ибо до сих пор гнул и ломал верблюжьи подковы.

Молодым душой.

Султану было восемьдесят четыре года.

— Восемьдесят четыре? — недоверчиво переспросил Абу-т-Тайиб, разглядывая собеседника. Высокие скулы, так живо воскрешающие в памяти лицо давешнего конвоира, кожа отдает желтизной, напоминая слоновую кость, но морщины не тяготят лба, и губы свежи, как у юноши. Взгляд прямой, любопытный, словно Баркук хочет проникнуть в тайные мысли поэта, и «гусиные лапки» у краешков глаз намечены еле-еле робкой кистью возраста. Жилистые руки спокойны, лежат на коленях, но чувствуется: дай им волю — взлетят, метнутся, ударят кошачьими лапами! И впрямь: то ли Аллах заткнул уши раба своего затычками непонимания, то ли султан решил вволю поиздеваться над пленным...

— А что тебя удивляет? — в свою очередь поинтересовался Баркук-Харзиец. — Да, восемьдесят четыре, подобно тому, как восемьдесят четыре добродетели определены нам судьбой. Пребываю в расцвете сил. Вон, Джалал зу-Язан, прошлый владетель моей державы, умер в двести десять лет, а императору Мэйланя — тому и вовсе сейчас под три века будет. Ну, мэйланьские Сыновья Неба вообще долгожители... Есть ли смысл в шахе или султане, когда срок их правления короче жизни мотылька? Ведь владыка должен сиять поколениям! Там, откуда ты пришел, иначе?

Абу-т-Тайиб задумался. Сразу вспомнились Аббасиды: первый халиф, основоположник династии, пробыл у власти четыре года, зато благочестивый аль-Васик — целых двадцать шесть; знаменитый Харун Праведный радовал подданных около полувека; но буйн аль-Мунтасир удержался в седле повелителя правоверных четыре месяца.

А еще был Ибн-ал-Мутазз, прославленный поэт, но неудачливый заговорщик, прозванный «халифом-однодневкой»...

— У нас иначе, — твердо ответил поэт. — У нас совсем иначе, а тебе, племянник, я не верю.

Племянник, годящийся (если признать его слова истинными!) в отцы поэту, звонко расхохотался.

— И не надо! Не верь, дорогой мой! Все-таки я был прав, стократ прав, мечтая о встрече с тобой! Ты другой, ты не знаешь вещей простых, как муравьиное крылышко, и скука бежит от меня, едва я вступлю с тобой в беседу! Скажи лишь: тебя не заботило, что ты — шах — в пятьдесят лет способен гнать коня день и ночь напролет, изматывая опытных воинов, вдвое моложе тебя?! Мои люди докладывали мне о твоих набегах, когда ты менял расположение лагеря быстрее молнии! На твоем лице я вижу шрамы, а в кудрях — печать седины; ты признаешь мою правоту, когда это окончательно перестанет тяготить тебя!

Абу-т-Тайиб потянулся и взял горсть орехов. Разгрыз один, выплюнул шелуху и принялся жевать ядрышко. Жевать зубами, наполнившими его рот — так новые бойцы приходят на смену погибшим ветеранам. Потом он провел большим и средним пальцами левой руки по носу: от седловины к крыльям. Провел еще раз; и снова. Давняя привычка, но укороченный на фалангу средний палец сейчас был заметно длиннее.

И на конце его стало образовываться нечто вроде ногтя.

Впору было сознаться: Баркук ткнул его мордой в реальность, в ту реальность, которую поэт упрямо игнорировал.

Безумие? — ах, если бы... Он ведь честно полагал, что приметы возраста окончательно перестанут тяготить его лишь вне сей земной юдоли. Да и кто бы на его месте полагал иначе?! Аллах, мне страшно поверить, что впереди еще полтора века жизни, счастливой жизни с нимбом вокруг чела и благоговением душ людских!.. Все тебя узнают, словно ты — беглый клейменый каторжанин, все подыгрывают

тебе на доске бытия, подыгрывают честно, с радостью, с искренним ликованием!..

Но отчего же игроку больше всего на свете хочется смешать фигуры и запустить ими в эти сияющие лица, в трепет и благоговение?

— О, где лежит страна всего, о чем забыл? — Абу-т-Тайиб сам плохо понимал, что бормочет вслух, со ртом, набитым горькой ореховой мякотью, с сердцем, набитым горькой мякотью сбывшихся надежд. — В былые времена там плакал и любил, там памяти моей угасшая струна... Назад на много дней мне гнать и гнать коней — молю, откройся мне, забытая страна!..

Тонкие руки Баркука ожили: тронули бритый подбородок, огладили вислые усы и строго погрозили котенку, когда тот вознамерился было покинуть укрытие.

— Последняя любовь и первая любовь, мой самый краткий мир и самый длинный бой, повернутая вспять река былых забот — молчит за пядью пядь, течет за прядью прядь, и жизнь твоя опять прощается с тобой!..

— Еще! — прошептал Баркук-Харзиец, молитвенно складывая ладони. — Еще, прошу!

— Дороги поворот, как поворот судьбы; я шел по ней вперед — зачем? когда? забыл! Надеждам вышел срок, по следу брешут псы; скачу меж слов и строк, кричу: помилуй, рок!.. на круг своих дорог вернись, о блудный сын!..

Абу-т-Тайиб вдруг резко умолк, костяшки сжатого кулака побелели — и внутри, в темнице каменной хватки, треснули орехи. Пальцы разжались, терпкий аромат ударил в ноздри; по лицу Абу-т-Тайиба струился пот, будто каждая пора обернулась кувшином святого Хызра, источая влагу. В последнее время он все чаще и чаще искал убежища в звуках и ритмах, вывязывая из слов подобие временно-

го ослепления — но возвращаться обратно тоже становилось все труднее и труднее.

— Отчего умер Кей-Кобад, мой предшественник?

— От старости. Таково заключение ваших хабибов.

— Пускай! Я сошел с ума и верю тебе! Значит, былому шаху еще полагалось жить да жить!

— Полагалось. Но пути фарра неисповедимы. У меня есть только догадки, и я попробую поделиться ими с тобой.

— Как делятся нищие горстью хлебных крошек?!

— Нет. Как делятся Баркук фарр-ла-Харза с Кей-Бахрамом фарр-ла-Кабир. Твой предшественник накануне смерти стал тяготиться титулом шаха...

— О, я его понимаю!

— Ничего подобного. Ты даже меня сейчас не понимаешь — куда тебе понять чаяния потомственного владыки?! Особенno если сей владыка втрое старше тебя и вдвое — меня. Кей-Кобад решил стать шахиншахом, царем царей! И нашел для этого самый простой и краткий путь... во всяком случае, так ему казалось. А об остальном ты узнаешь у своих советников — я лишь намекнул тебе, где искать.

— Простой и краткий? Советники мне не нужны, милый племянник. Я знаю сей путь — путь за воеваний!

— Что?

— Война — лучший способ царю стать царем царей... или падалью. Армады кабирцев предают огню Харзу, потом рушатся стены окрестных столиц — и Кей-Кобад громоздит на своей макушке дюжину кулахов разом! Я прав?!

Баркук вскочил и запрокинул голову к войлочному потолку. Спустя мгновение дикий хохот сотряс палатку, и Абу-т-Тайиб тупо воззрился на пляшущего султана.

— Клянусь Лунным Зайцем! Даже юродивому не могла бы взбрести в голову этакая идея! Тогда выходит, что я могу велеть отрезать тебе голову, после обрушить хургов на кабирские полки, лишенные воинского духа; через месяц я сижу в твоей столице и величаюсь Баркук фарр-ла-Харза и фарр-ла-Кабир! Каково?!

— Что тут смешного? — обиженно спросил поэт.

— Все! Все, мой милый дядюшка! Ты до сих пор не понял: твое государство — это ты! Ты сам, собственной персоной, и это нельзя отнять силой или хитростью, это нельзя изменить никаким способом, доступным людям! Убей я тебя — и глупый Баркук получит не просто мертвца-шаха. Он получит мертвое государство, у которого с Харзой общая граница! Он получит труп под окнами собственного дома! Пытаясь завернуть в единственный плащ сразу двоих, я порву плащ и останусь голым под проливным дождем! И если я помешаю кабирским хирбедам заново провести Испытание, освятив нового шаха сиянием фарр-ла-Кабир...

Баркук устало сел и сделался очень, очень серьезным.

— Я помешаю совершить погребальный обряд; я помешаю наследнику покойного вступить в права наследования, и мертвая держава останется мертвой. Наместники, подобно шакалам-мародерам, разорвут труп на дурно пахнущие куски, орды нищих и беженцев червями хлынут через границы... догадайся куда? На мои земли! Начнется резня — а она начнется, уж поверь мне! Часть белобаранных хургов, отравленных миазмами гниения, мигом откочует на ваши пустоши, а сияние моего фарра туда не распространяется... Ладно, хватит. Надеюсь, ты и так поверишь мне: иметь под боком гниющего мертвца — дело весьма хлопотное.

— И поэтому твои бойцы не поднимали на меня руку в бою?

— Да. Ибо убить чужого владыку — грех больший, нежели изнасиловать собственную мать. За него нет прощения здесь, и нет прощения там, в Верхнем мире Ош-Тэрген.

— Выходит, я не сумел приобрести врагов?

— Врагов? Не сумел.

— И друзей я не сумею приобрести?

— Друзей? Никогда. У таких, как мы, не бывает друзей. У нас есть подданные. Мы даже между собой связаны узами иными, нежели дружба; мы связаны необходимостью. Боюсь, я разочаровал тебя?

— Нет. Ты меня убил.

— Глупости. Через три дня твой спахбед начнет переговоры, угрожая мне нашествием, я покочевряжусь для приличия и отправлю тебя обратно. С почестями. Живехоньского-здравехоньского. Понял?

— Понял. Именно это я и имел в виду.

Глава двенадцатая,

где звенит сталь и крякают утки, многие вопросы приходят к разрешению, отчего жизнь становится еще запутанней, но о том, что в день Страшного Суда неверные будут пресмыкаться ниц, верные будут ходить прямо, а благочестивые смогут лететь на белых верблюдах с седлами из чистого золота — об этом даже не вспоминается, что греховно само по себе

1

...оны врут!

Они все врут: и желтолицый Харзиец, и хитроумный Гургин, и дерзкая хирбеди, и однорукий Омар Резчик — врут словами, наготой, ударом, всем телом врут, всем делом; домом и дымом, лестью и местью, они притворяются, потому что иначе впору кинуться головой в омут!

«Конечно, — успокаивающе нашептывает ветер в уши. — Ты прав: они коварны, они лживы, они...»

Замолчи!

Ты тоже врешь!

Узорчатые пятна лишаев лежат на боках камней, одуряющее пахнет сухая полынь, и упругий конский волос растет из земли вместо ковыля. По измятому войлоку степи ползают тьмы насекомых — взблескивая жвалами и панцирями, изрыгая струйки сизого дыма, ставя походные муравейники, копошась, копошась...

Хоть бы один косой взгляд! Хоть бы один... Нет, они кланяются — враги кланяются, те самые хурги, которых ты топтал копытами своего коня, воздев знамя бессмысленной жестокости! Ненавидеть можно равного, можно — высшего, ненавидеть открыто или втихомолку; но нельзя ненавидеть символ державы, или даже не символ — державу целиком, со всеми ее реками и солончаками, городами и селами, солнцем над горами и дождевым червем на куске дерна! Аллах, смилийся, скажи, что я ошибся, что это бред, горячечный бред, или лучше — смертный сон... Аллах, ну что тебе стоит? Да, я частенько пропускал время утренней молитвы, и время молитвы вечерней я пропускал тоже, я пил вино и зло шутил шутками недозволенными — но зачем же награждать таким страшным образом?

Изгой, подонок, выпавший из гнезда птенец... шах.

Мой предшественник умер, возжелав стать шахиншахом. Самоубийство — тягчайший грех, ибо душа дана нам временным залогом от Господа миров, как гласит Книга Очевидности, а самовольно распоряжаться чужим имуществом никто не вправе. Но если очень захочет стать царем царей, то может быть... Они все сошли с ума! Гниющий труп под окнами дома?! Ха! Если не путь завоеваний, то где, в каких тайниках отыскал злосчастный Кей-Кобад способ из шаха превратиться в шахиншаха, не расширяя границ государства? Просто сказать на майдане: я — владыка владык? Сказать,

чтобы благополучно преставиться на следующий день... от старости.

От старости, прожив два обычных жизненных срока?!

Е рабб, они все врут, они сумасшедшие, а я давно уже превратился в мумию, в сухую падаль под песчаным мавзолеем!

Е рабб...

Пленный государь невозбранно шляется по вражескому лагерю: остановите меня! пригрозите мне! отберите ятаган, висящий у меня на боку! верните меня в палатку, под стражу!

Дождитесь, я сбегу!

«Беги, — издевается ветер, щекотно приникая к уху. — Беги, Кей-Бахрам, по степям, по горам... беги...»

Озерный берег густо покрыт кустами тальника, не давая суховею коснуться влаги обжигающей дланью. В высоких камышах крякают дуры-утки, и синь неба опрокидывается навзничь в свежесть и прохладу, синь неба, синь глаз упрямой Нахидхирбеди — о люди с глазами этого цвета, подлейшего из подлых! Что скрываете вы за невинной голубизной взора? Какие тайны прячутся в бочагах ваших черных душ... глупец! «Небоглазый» Дэв простодушней дитяти, даром что с младенчества в разгуле, а «небоглазый» Гургин хитрей Иблиса — что между ними общего? Комарье вьется вокруг, истекая малиновым звоном, и в звоне рождается сперва лязг металла, вскрик боли, а потом являются слова, чужие слова, где есть все — и лязг, и вскрик, и твердость:

— Во имя справедливости, я прошу у полкового бунчука крови этого отродья шакалов!

— Да будет так! — гремит ответ многих глоток.

И смех.

Страшно знакомый смех, он пенится бурой на-кипью, запекшшейся кровью, смех встрыхивает реаль-

ность, как бродяга — стаканчик с игральными kostями; самозабвенное веселье безумца за шаг до вечности.

Они все здесь повредились рассудком... все!

По плечу хлопает узкая ладонь. Это Баркук, султан Баркук: незаметно подойдя сзади, он ухмыляется и тычет пальцем перед собой.

— Я же сказал тебе, брат моего отца: поднять руку на чужого владыку — грех больший, нежели изнасиловать собственную мать. А ты не верил... Этому молодцу еще крупно повезло: он падет в честном поединке, искупив содеянное. Ты явился полюбоваться, брат моего отца?

Смех вторит сказанному; вторит эхом, отголосками запредельности.

И утки крякают в камышах.

2

Две дюжины вооруженных хургов угрюмо столпились на берегу.

Папаха каждого — из черного каракуля в мелких завитках.

— Я... прошу... крови...

Перед хургами — копейное древко бунчука вонзилось в землю, и лошадиный хвост слабо шевелится от ласки ветра. В двух локтях за бунчуком — мертвец в кольчатом доспехе, разрубленный от ключицы до пояса; поодаль лежит еще один труп, без головы. Голова в папахе из черного каракуля откатилась почти к границе воды, и любопытный рачок щипает клешней странную штуку.

Между убитыми, шатаясь, стоит молодой боец с тяжелой секирой в руках. Рубаха из белого карбоса-хлопчатки заправлена с напуском в короткие, до колен штаны; поверх шерстяных чулок натянуты щегольские сапожки, вышитые по голенищам мел-

ким бисером. Правый рукав изрядно подтекает багрянцем, и еще ухо — оно висит на полоске кожи, страшной серьгой касаясь плеча. Боец смеется взахлеб, берет ухо за мочку и коротко дергает. После чего отшвыривает кусок собственной плоти прочь, и бывшее ухо шлепается в прибрежную грязь.

Хургов передергивает от этого смеха, но крайний воин с саблей наголо уже идет к одноухому.

Мягко, вкрадчиво... убивать идет.

Или умирать.

— Ар-Раффаль, — говорит султан Баркук и, видя непонимание на лице Абу-т-Тайиба, уточняет: — Это парни секири у него так прозвали. Ар-Раффаль, «Улыбка Вечности». Думаю, еще троим улыбнется, по меньшей мере — пока они его завалят. Давай об заклад биться: на каком однополчанине наш бешеный Утба кончится? Я говорю, что еще трое; а ты?

Абу-т-Тайиб сглатывает горькую слону. Он только что узнал бойца в белой рубахе. Это его удары едва не прикончили поэта в свалке близ крепости, это над ним шах Кабира бился с хургами, шалея от бессмыслицы происходящего, не давая своим прикончить своего. Что, шах, значит, все зря? Там не добили, здесь довершат? Бьемся об заклад, Баркук? — я говорю, что он умрет, так или иначе, сейчас или позже, на пятом или шестом противнике, но умрет!

Ставлю весь Кабир, будь он проклят!

Что говоришь ты? А, ты соглашаешься: да, конечно, он умрет... Он поднял руку на шаха. Я понимаю, лучше бы он изнасиловал свою мать или запек в чуреке новорожденного младенца! Я понимаю...

Еще плохо соображая, что и зачем он делает, поэт быстро идет вперед, к секире, сабле и бунчуку.

— Остановитесь!

Смех плещет в лицо, но бешеный Утба остается

на месте. А хург с саблей даже отступает на шаг, не забыв поклониться в пояс кабирскому владыке.

Пленнику.

— Кто смеет убивать шахского побратима?! Мы смешали свою кровь на поле боя, отныне и навсегда этот человек — мой кровный брат! Отдайте его мне или деритесь с нами обоими!

И ятаган покидает ножны, бросив отблески на окровавленный полумесяц секиры ар-Раффаль.

— Ты понимаешь, что делаешь? — тихо спрашивает Баркук-Харзиец.

Спрашивает так, как если бы они были здесь вдвоем: фарр-ла-Кабир и фарр-ла-Харза.

— Нет, — улыбается поэт. — А что, это важно?

— Для меня — важно, — улыбается в ответ султан. — Потому что у меня не было возможности помиловать Утбу, а ты мне эту возможность подарил. Я — твой должник, брат моего отца.

И уже в полный голос:

— Все слышали? Великий шах Кей-Бахрам осенил своего побратима блеском царственного фарра, и короста позора оставила полковой бунчук! Да будет так!

Бешеный Утба смеется и падает на одно колено.

— Тебе нужен пес, мой шах? — спрашивают хотят, секира и рубаха в пятнах крови. — Пес, чтобы спать у двери и грызть твоих врагов? Если да, то возьми меня.

— Мне не нужен пес, — Абу-т-Тайиб подходит близко-близко и долго смотрит на того, кто осмелился напасть на запретную дичь; на того, кто умирал за это весело и легко. — Вокруг и без того слишком много псов, готовых спать и грызть. Мне нужен ты.

Глаза у бешеного Утбы голубые.

Прозрачно-голубые; и там, в талой воде, искрятся безумные пузырьки смеха.

Он был дальним родичем султана Баркука по материнской линии; очень дальним, но как и все потомки чресел Язана Горделивого, имел право иметься Утбой зу-Язан. Впрочем, упрямый Утба зачем-то нарек своего первенца именем великого предка, а себя — не зу-Язан, а Абу-Язан, то бишь «Отец Язана». Что это должно было означать, не знал никто, похоже, включая и самого шутника; но открытой крамолы здесь не наблюдалось, а к странным поступкам Утбы все давно привыкли.

Еще с позапрошлого года, когда султан, вняв уговорам матери, призвал родича ко двору.

Любимец женщин, Утба дарил старух долгими беседами, а молодых — пылкими ласками, но истинной любовью он любил только свою секиру, доставшуюся ему в наследство от отца. Редкое оружие для коренного хурга, тяжелая ар-Раффаль в руках Утбы становилась проворней змеиного жала и красноречивей площадного сказителя. Мало кто успевал достойно отвечать на ее вопросы, и султан Баркук часто приходил глядеть на воинскую потеху, когда веселый Утба Абу-Язан давал волю себе и отцовской секире.

Осенью юный фаворит принес клятву на стали и огне, став есаулом в полку «Вороноголовых» — личной султанской тысяче головорезов.

Почти сразу начав смеяться.

Едва осиную талию Утбы охватил складчатый кушак, где была вышита вязь полкового девиза, едва буйную голову увенчала папаха из черного каракуля, как жемчужина странного веселья сверкнула в перстне его жизни. Красавицы, за три фарсанга благоухающие вэйскими духами, делились тайнами; и в их тайнах мужская неутомимость, неистовствуя на ложе, смеялась знакомым смехом. Двор султана прикусывал языки удивления зубами сдержанности:

на аудиенциях и приемах послов хохотал он, веселый Утба Абу-Язан, а Баркук лишь увеличивал свое благоволение к весельчаку. Лекарей брала тихая оторопь — когда бритва целителей погружалась в плоть раненого есаула, он смеялся в лицо боли, смеялся в голос, до слез, и боль в ужасе отступала.

Однажды некий раб Лунного Зайца явился к султану Баркуку незваным и бросил шапку преклонения к подножию трона.

— Отошли Утбу куда-нибудь подальше, — если опустить многочисленные восхваления, вот что осталось от речи служителя веры. — Если ты хочешь ему добра, освободи его от службы и избавь от необходимости быть рядом с тобой. Или хотя бы просто — освободи. Пусть Утба снимет папаху и развязет кушак. Мой султан! — сделай это, пока не поздно.

Когда же Баркук потребовал объяснений, уста советчика запечатала печать молчания.

Клинок султанского гнева готов был вырваться из ножен, но рука благоразумия остановила порыв: именно этот раб Лунного Зайца сопровождал молодого Баркука через горы без имени в Степь Испытания.

Служитель веры ушел с миром, но султан пренебрег его мнением.

А Утба смеялся.

Пока не кинулся в горячке боя на кабирского шаха — что верней палаческой удавки грозило привести сей смех к естественному завершению.

* * *

Когда Утба заснул — как и обещал, на пороге шатра, в обнимку с секирой — Абу-т-Тайиб еще долго сидел на кошме, перебирая в горсти последние события.

Голубые глаза Дэва закрылись бы навеки, не сними с него поэт сотничьей шапки. Веселый Утба

оставался жив, нося харзийские знаки служения власти, но назвать его рассудок здоровым означало соврать. Одно покушение на жизнь чужого шаха, запретное для любого хурга... И еще маг Гургин — этот отказывался от кулаха истовей, чем Иблис (да будет его имя вечно проклято!) отказывался кланяться Адаму. Где-то здесь крылся ключ к потайным сундукам, где-то здесь бродили призраки, ухмыляясь мертвыми оскалами; но спрашивать об этом у Баркука не имело смысла.

Зря, что ли, дерзкая Нахид обмолвилась:

— Ты чужак. Но даже будь ты природным кабирцем из шахского рода... Никогда.

Полагаю, рабы Лунного Зайца тоже не балуют султана лишними откровениями...

Интересно, есть ли предел верности здешних жителей олицетворению их же собственной державы? Какие запреты нужно преступить, какие заповеди опровергнуть, чтобы Омар Резчик всерьез посягнул на помазанного владыку, чтобы кочевой хург восстал... да что там восстал! — просто обиделся на своего султана! Ну пусть хоть вполголоса признает некий поступок владыки частично ошибочным! Что для этого надо?! Сжечь хургова деда, велеть гургасарам изнасиловать вольного Омара, помочиться на их алтари... Что??!

Абу-т-Тайиб боялся признаться самому себе: то существо, которое молча вставало внутри его рассудка, расправляя шипастые крылья — оно было готово испытать терпение кабирцев великим испытанием.

Он никогда не был излишне мягок, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, но эти люди вокруг... они не люди!

И значит, можно все.

Кто дерзнет разгадывать помыслы Вседержителя? — а он, бродяга-певец, не хочет быть живым божеством, не хочет даже не потому, что большего кощунства трудно и придумать...

Вы даете мне все, и, когда я роняю поданное, вы
нагибаешься, чтобы вновь подать мне — все.

Спасибо, не надо.

Я возьму сам.

4

— …а ежели я тебя, не спросясь, копьем
ширну?

— Слушай, человек-гора, совсем башку крысы
выели?! Сказано тебе: вон иди… шах почивать изво-
лят!

— Нет, ты ответь мне, хургова твоя рожа: а ежели
я все-таки копьем — и пройду?

Смех.

— Пройдет он… Одна половинка пройдет, зато
другая здесь останется! Видал секирку? Она таким
речистым живо укорот дает…

— Ох, хург, не будь я посол… Тоже мне, караул-
беги выискался, держи-хватай!

— Он посол! Сходи к озеру, на харю свою глянь,
посол! Бараний мосол! Оглоблю вместо копья при-
способил и туда же!

— Ох, сдается мне, хург, ты меня обидеть норо-
вишь…

— Эй, там! — рявкнул Абу-т-Тайиб, еще не до
конца покинув равнину сновидений. — Заткнулись
бы, что ли?

— Твое шахское! — радостно возопили из-за по-
лога, да так, что у поэта мигом заложило уши. —
Я тебя спасать иду, а этот пустосмех дорогу загора-
живает! Ты мне прямо скажи, твое шахское: ширять
его копьем или погодить маленько?

— Дэв? — Подскочив на груде стеганых одеял,
которую хурги именовали курпачой, Абу-т-Тайиб
спешно принял натягивать шаровары.

Ноги никак не хотели попадать в штанины, о ку-

шаке и вовсе забылось в горячке, но через минуту голый по пояс шах Кабира уже стремглав вылетел наружу.

Врезавшись в широкую и горячую скалу, на поверхку оказавшуюся Дэвовой грудью.

— Ты, шахское твое, брось мотаться-то паленым зайцем! — буркнул сотник-разбойник, мигом срывая с себя плащ и заботливо укутывая им поэта. — С утраца ветreno, не ровен час, прохватит тебя... а плен — не мамка! Ослаб, чай?!

Рядом смеялся Утба, опервшись на свою неизменную секиуру.

Абу-т-Тайиб отстранился от могучего юз-бashi и принялся разглядывать пришельца. За истекшие дни Худайбег, казалось, стал еще больше: подрос, заматерел, обзавелся брюхом площадного борца-пахлавана — что, впрочем, не делало его малоподвижным. Удивляло еще и другое: чудовищно воло-сатая грудь, выпиравшая из-под распахнутого чекменя. Прямо чащоба дремучая; давным-давно в Куфе один невольник-саклаб рассказывал поэту о таких чащобах в его родной сторонке. Да и лоб юз-бashi выпятился несуразно, брови нависли горными утесами, ероша поросль можжевельника и аргавана; а под утесами зияли два небесных колодца.

Глаза Дэва, лучившиеся искренней заботой.

— Мой шах, позволь рабу задать вопрос! — Веселый Утба крутанул секиуру, брызнув зайчиками с полуулунного лезвия. — Это твой шут? И дозволена ли для меня его жидккая кровь?

— Да уж не жиже твоей, — проворчал Дэв, вполоборота скосясь на нахала. — Слыши, твое шахское, может, мне в нем дырок понаделать? Или башку отвернуть, как куренку? Ишь, выдумал: шут...

Абу-т-Тайиб повернулся сразу к обоим задирам и посмотрел сперва в одни голубые глаза, а потом в другие, такие же голубые.

Смешливые огоньки боевого безумия мало-по-

малу зажигались в первых; забота во вторых исподволь сменялась тихой безмятежностью пропасти, где крик — и тот тонет без следа.

— Прекратить свару! И любить друг друга, как меня самого! — строго приказал поэт. Гоня шальную мысль: если правы Гургин и султан, то окажись на месте этих двоих люди с глазами карими, черными или какими иными, приказа вовсе не потребовалось бы. С полузвука уловили бы, вникли, расстарались... возлюбили бы не за страх, а за совесть!

Нагая девица у обочины шахской дороги.

Плачущий Суришар.

Отрубленная рука Омара Резчика.

Кланяющиеся хурги, чьи становища он жег; и безнаказанность в бою.

Эти двое, «небоглазые» изгои, чья жизнь была безрассудно выкуплена у пекла им, Абу-т-Тайибом аль-Мутанабби, — их сопротивление его приказу было стократ дороже любого послушания.

И свершилось: страшное веселье стало покидать голубизну взгляда Утбы Абу-Язана, а затем сомкнулась пропасть взора Худайбега аль-Ширвани по кличке Дэв.

Неохотно, не до конца — и все же, все же, все же...

Где ты, дерзкая ослушница Нахид-хирбеди?

Почему не рядом?

Почему?!

* * *

Уже готовясь к отъезду — маг Гургин в качестве главы посольства превзойдет самого себя, а султан Баркук отпустит пленного с почестями и без выкупа — Абу-т-Тайиб вспомнит рассказы слепца о «пятнадцатилетнем курбаше».

И напрямик спросит у Дэва:

— Сколько тебе лет?

Могучий юз-бashi задумается, неуверенно трижды покажет шаху растопыренную пятерню, а потом еще один согнутый палец.

— Кажись, столько, твое шахское... А что?

Рядом рассмеется Утба Абу-Язан.

КАСЫДА О ПОСЛЕДНЕМ ПОРОГЕ

Купец, я прахом торговал; скупец, я нищим подавал,
глупец, я истиной блевал, валяясь под забором.

Я плохо понимал слова, но слышал, как растет трава,
и знал: толпа всегда права, себя считая Богом!

Боец, я смехом убивал; певец, я ухал, как сова,
я безъязыким подпевал, мыча стouстым хором,

Когда вставал девятый вал, вина я в чашку доливал
и родиною звал подвал, и каторгою — город.

Болит с похмелья голова, озноб забрался в рукава,
Всклокочена моя кровать безумной шевелюрой;

Мне дышится едва-едва, мне ангелы поют: «Вставай!»,
Но душу раю предавать боится бедный юрод.

Я пью — в раю, пою — в раю, стою у жизни на краю,
Отдав рассудок забытью, отдав сомненья вере;

О ангелы! — я вас убью, но душу грешную мою
Оставьте!.. Тишина. Уют. И день стучится в двери.

Глава тринадцатая,

в которой повествуется о жабах и богомолах, о странных взглядах и худых делах — но об условиях молитвы, как-то: чистота членов, прикрытие срамоты, наступление должного времени, обращение в сторону кыбы и стояние на чистом месте — обо всем этом не упоминается даже словечком!

1

... Человек сидел на берегу пруда и смотрел, как охотится большая бурая жаба, сплошь покрытая склизкими бородавками.

Жаба терпеливо ждала. Только тяжело вздыхающие бока выдавали ее, не давая спутать с одним

из таких же бурых, поросших плесенью камней, разбросанных вокруг. Жаба ждала. И человек ждал.

Они дождались: неосторожный кузнец с треском упал на берег пруда, на свою беду решив покинуть спасительные заросли травы.

Дальше все произошло быстрей гнева Аллаха — кощунственное сравнение, но много ли знают земноводные твари о кощунствах?! Жаба выплеснулась колодезной водой, когда сверху малыш-шалун сбросит увесистый булыжник; она мигом оказалась на пол-локтя левее — и коротко плюнула языком. Кузнецик исчез, как не бывало, а человек счастливо рассмеялся.

— Я — это ты! — булькнул он, клокоча горлом. — Я — тоже жаба! Большая-большая жаба...

В этот момент они были действительно похожи.

Человек резво подпрыгнул, плюхнулся задом на берег, явно намереваясь раздавить бородавчатую охотницу — но не тут-то было! Жаба оказалась все же проворней; теперь она шумно шлепала прочь по мелководью, грузно поводя боками и костеря на своем жабьем наречии человека со всей его родней до четырнадцатого колена!

Человек хитро улыбнулся и погрозил жабе пальцем.

2

Дождь. Сыплет и сыплет, и нет чтоб ливень — прошел и схлынул; плетется бездомным бродягой, никуда не торопясь, а когда весь выйдет — никому не ведомо. Мокро отблескивают серые спины каменных плит, мелочь капели собирается вместе и стекает по остроконечным шлемам выстроившихся во дворе стражников. «Ночные псы» мокнут, сырость заставляет набухать трещотки за кушаками, шлемы и прочее железо потихоньку ржавеет от скуки этого однообразия: грязного, пустого, зябко-

го — а перед строем мечется человек-жаба. Ему-то, жабе, хорошо: дождь — самое что ни на есть жабье время; зато остальным каково?

А никаково! Стоят, смотрят, не кривятся, не расходятся. Все идет, как от веку положено — чего кривиться, чему радоваться? Служивое дело малое: скомандовали «Стройся!» — бегом в строй, и стой, пока не услышишь: «Р-р-разойдись!» А дождь себе дождем — небось не сахарные, не растают!

Перед строем застыл однорукий змеевласец — новый Владыка Ночи, под чьим началом теперь будут служить все эти люди. Предыдущий Владыка Ночи, лишенный звания без объяснения причин, стоит тут же, в позорной позе, и двое рабов охаживают его нагайками.

Значит, так надо.

Так должно быть.

Человек-жаба вприпрыжку движется вдоль замершего строя, заглядывает в лицо очередному стражнику... Что-то он там ищет, в складках и морщинах, в темной глубине глазниц — ищет, не находит, плюет на спину одной из плит, и вот он уже переместился дальше; миг — и жабий взгляд испытующе щупает лицо другого... но снова не находит искомого.

Жаба скачет дальше.

И дождь — дальше...

Тот же крепостной двор, тот же дождь, те же мокнущие под дождем стражники. Только бывший Владыка Ночи, получив свою долю битья, уже встал в общий строй — а его преемник не стоит столбом, расхаживает взад-вперед, подкручивая единственной рукой тонкие сабельные клинки усов и искоса оглядывая «псов».

— Ну что, дермо чаушиное, выкормыши песчаных ведьм, думали век службу катать верблюжьим

катышем? — хлещет по лицам плеть-голос змеевласца. — Наели брюхо, срамоты не видать! Когдато таких, как вы, звали «быстрорукими»... Ха! Нищий быстрее хватает подачку, чем вы — воров да разбойников! Впрочем, подачки вы тоже хватать успеваете... Ничего, за мной не залежится: готовьтесь к правежу! Не будь я Омар Резчик! Сегодняшний дозор — ко мне, остальным разойтись. Свободны.

Человек-жаба припал к высокому парапету. Сквозь желтоватую листву лоз, тесно оплетающих парапет, блестит лишь один выпученный глаз, который вряд ли кто-нибудь сумел бы разглядеть снизу.

Болезненный интерес сквозит во взгляде. Ощущаются лица «псов», чутко ловится каждое произнесенное внизу слово. Позади стоит молодой Волчий Паstryрь. Он смотрит мимо, думая о своем, но когда глаза его мимо воли скользят по раскорячившейся, распластавшейся по парапету фигуре — в этих глазах мелькает легкое недоумение.

И еще — преданность.

Наконец человек-жаба ударили парапет кулаком и молча двинулся прочь.

Ожидание не увенчалось результатом.

Кузнецик ушел.

3

Высокие, гулкие своды. Мрак прячется по углам, копится под потолком, в нишах — пролитые чернила, сурьма... тюрьма для света. И редкие пасынки солнца, которым так одиноко и страшно в длинной пустоте коридора, трепещут, мечутся, всплескивают рукавами...

Тишина.

И вдруг: хлопанье дверей, топот ног, невнятная скороговорка приглушенных голосов. Мрак спешит просочиться туда, дальше, за поворот, взглянуть,

что там происходит; обрывки света испуганно перелигиваются... ждут. Их время пришло: мрак в испуге отшатывается назад, за угол, потому что там, дальше — свет, там нет места пролитым чернилам! А пасынки солнца оживленно передают друг другу то, что успели увидеть наиболее везучие из них.

Восседающий на подушках человек-жаба — золоченый халат в мельчайшую полоску заляпан пятнами жира, расстегнуты пуговицы из узелковшелка, наружу вывалилось волосатое брюхо, которое человек-жаба время от времени почесывает с видимым удовольствием.

Вокруг — люди. Почтительно застыли у стен, склонились пред жабой, распростерлись ниц...

Кваканье.

— Это наш новый мустауфи, то бишь казначей — будь проклят ваш пехлевийский язык вкупе с вами, безмозглыми! Мы повелеваем! Подать нам пояс, кулах и перстень!.. Что? Неграмотный? Кто неграмотный — ты?! Ах, ты и есть новый казначай... Приставим к тебе дабира-помощника. Грамотного. А старого казначея — в зиндан!

Один из людей на полу — грязный худой оборванец с бельмом на левом глазу и редкими седыми прядями, зализанными поперек плеши. Он восторженно принимает из лап человека-жабы перечисленные регалии. Собственная неграмотность его более не страшит. Тем временем двое телохранителей, по знаку Волчьего Пастыря, подхватывают с пола благообразного старичка в синей кабе-однокветке; старичка уволакивают прочь. Бедняга висит в мертвой хватке провожатых, и на лице его написано полное смирение.

А еще — понимание.

Человек-жаба обводит присутствующих взглядом, таращит буркалой. Он ждет, он пытливо ищет на лицах присутствующих — чего?! Нет, не находит и, икнув, отсылает всех прочь.

Удаляются шаги.

Скрип закрываемых дверей.

Тишина.

И зябко ежатся, оглядываясь по сторонам, комочки живого света. Им страшно. Им жалко благообразного стариичка, который безропотно отправился во тьму зиндана, даже не попытавшись сказать хоть слово в свое оправдание.

Но у них, у живых и теплых пасынков солнца, никто не спрашивает их мнения.

А жаль.

4

Жаба на лошади — то еще зрелище, но человеку-жабе на это, по-видимому, наплевать. А все остальные отчего-то не спешат хохотать, хватаясь за животы, хрюкая, сгибаясь пополам и указывая пальцами на сию несуразицу. Жаба на лошади! Ха-ха-ха! Отчего же вы не смеетесь,уважаемый? А вы? И вы? Неужели не смешно? Ну, как хотите.

А жаба тем временем едет дальше.

В сопровождении Волчьего Пастыря, да еще хмурого дылды-старца с бородавкой под носом, похожего на седого богомола; да еще десятка «волчьих детей».

Едет.

Дальше.

Вдруг человек-жаба дергает лапой, и вся кавалькада разом останавливается.

— Погляди-ка, какие у нас здесь красавицы! — расплывается в ухмылке жабий рот. — Нет, это, конечно, богохульство и непотребство, да простит меня Аллах, всемилостивый и всемогущий — но нам нравится, что здесь женщины не закрывают лица! Эй, Волчий Пастырь, вон тех двоих — во дворец. И еще вон ту, толстую. Да-да, именно ее... Е рабб, красавицы, вы нам по душе! Все. Вы замужем?

Да? Все трое? Отлично! Эй, кто-нибудь там, найдите их мужей — грех разлучать семью! Мужья тоже пойдут с нами!

И снова — короткие, быстрые взгляды, мелькающие жабьего языка: туда-сюда, туда-сюда... не уследишь.

Ничего. Ничего не может ухватить взгляд-язык, ничего из той добычи, о которой мечталось; и, разочарованный, взгляд втягивается обратно.

Едут.

Дальше...

* * *

— Ты, ты и ты. Шаг вперед! Молодцы! Хорошо несете службу! Вот вам поощрение — по красавице каждому. Приступайте. Прямо здесь и сейчас. Эй, мужья! Встать у стены и следить: чтоб ваши жены остались довольны! Если что не так, подскажете нужную ухватку...

Скрип двери.

Удаляющиеся шаги.

Но вот человек-жаба останавливается — и, крачущись, бесшумно возвращается обратно. Припадает глазом к тайной прорези в двери.

Смотрит.

Он все еще надеется увидеть.

Что?

Ну уж во всяком случае совсем не то, что творится в оставленных им покоях. В тронной зале, где обычно происходят собрания представителей четырех сословий. Теперь же здесь троица молодых гургасаров рьяно удовлетворяет томно стонущих красавиц. Ту, вон ту, и еще ту, толстую. Да-да, именно ее... Рвение «волчьих детей» вполне объяснимо; стоны красавиц тоже удивления не вызывают — небось мужья-тюфяки их не часто балуют! Но вот эти самые мужья-тюфяки, которые стоят у стены и вре-

мя от времени подсказывают гургасарам нужную ухватку...

Вот это уже ни в какие ворота не лезет! Даже в дворцовые. Ни гнева, ни слез обиды, ни мятежа — ничего!

Вежливая заинтересованность.

Человек-жаба отворачивается и медленно, нога за ногу, плетется прочь по коридору.

— Ква... — бормочет он себе под нос. — Ква...

5

— Вставай, старая развалина. Поговорим.

Они вдвоем: старец-богомол и человек-жаба. Богомол почтительно ждет, и наконец жаба соизволяет булькнуть:

— У нас долго не доходили руки до вашей бого-противной веры — но пора искупать грехи. Готов ли ты встать на путь истинный?

— Владыка осведомлен о Предвечной Истине? Он желает зажечь в сердцах неразумных детей своих ее огнь?

— Ишь, загнул... Да, желает!

— Слово владыки, отмеченного благодатью Огня Небесного, — закон. Я внимаю с благоговением. Чего ждет от меня и рабов своих владыка?

Человек-жаба на мгновение теряется. Похоже, он ожидал совсем другого: споров, пререканий, теософского диспута, в конце концов; злобы ожидал — пусть даже тайной, скрытой от глаз, но вполне ощущимой.

Что же ты, седой богомол?!

Кваканье:

— Во-первых, необходимо возгласить: «Нет бога, кроме Аллаха, единого, не имеющего товарищей; Мухаммад — раб и посланник Его, и пророк мой; правоверные — мои братья, и добро — мой путь».

— Это мудрые слова, — серьезно кивает бого-

мол. — Возглашаю: «Нет бога, кроме Аллаха, единого, не имеющего товарищей; Мухаммад — раб и посланник Его, и пророк мой; правоверные — мои братья, и добро — мой путь». Хоть я и не знаю, кто такой этот Мухаммад и что означает Аллах. Может быть, это одно из имен владыки?

— Не богохульствуй, проклятый зиндик! — Человек-жаба явно раздражен. Кузнецик попался гнилой. Безвкусный. Жабе не нравится такой кузнецик. Жабе вообще все не нравится...

— Будь проклят мой дерзкий язык! — соглашается покладистый богомол, скребя бородавку. — Но что еще надлежит делать мне, невежественному? Каковы обязательные правила новой веры?

— Обязательные правила таковы, — нехотя квакает человек-жаба. — Провозглашение от чистого сердца того, что ты уже произнес; вознесение молитв; раздача милостыни; пост в Рамадан; и паломничество к священному храму Аллаха для тех, кто в состоянии его совершить. Для начала достаточно. Позже я дам дополнительные указания. А пока дождеви все это до сведения жрецов.

— Радость и повиновение, мой повелитель!

Жаба угрюмо смотрит вслед богомолу.

Караван верблюдов-дней неторопливо брел через пустыню Вечности с востока на запад. Огнь Небесный, сотворенный Аллахом, припекал все жарче, на деревьях начали распускаться листья, свежие весенние ветры выдували из улиц и переулков человеческих душ хлам, скопившийся там за долгую зиму — и как-то раз человек-жаба, слепой к весне и глухой к переменам, решил взглянуть на плоды своих усилий.

— Когда начинается утренняя молитва? — без всяких предисловий поинтересовался он у богомола, вызванного в его покой ни свет ни заря.

- Через полчаса, владыка, — без запинки ответил с пола старец.
- Отлично. Мы желаем посмотреть.
- Владыке угодно посетить главный храм?
- Нет, не главный! Меня не проведешь... — бормочет узкогубый рот, плюясь пеной. — Какой-нибудь захудалый храмишко, на окраине города, до которого можно добраться за эти полчаса.
- Радость и...
- Знаю, знаю! — обрывает богомола человек-жаба. — Собирайся, поехали!

Жарко горит огонь на старом алтаре, освещая ряды коленопреклоненных горожан, и гулко разносится под сводами голос хирбеда:

— Нет бога, кроме Творца, единого и не имеющего товарищей!

«Хитрые гяуры... — ворочаются жабьи мысли. — Или уже не гяуры?»

— Нет бога, кроме Творца... — нестройно вторит толпа.

— И возжег Творец в небе Огнь Небесный, дабы осветить души детей своих...

Человек-жаба молча скачет к выходу, где в ожидании милостыни толпятся нищие.

— Паломники отправились в путь еще десять дней назад, мой повелитель, — деловито сообщает в спину богомол.

— Какие еще паломники?!

— Те, которые двинулись к священному храму Творца, именуемого Аллахом! — поясняет старец. — Как и было предписано: те, кто в состоянии совершить паломничество...

«А ведь дойдут же! Дойдут, найдут, поклонятся — и обратно вернутся! Интересно, а если приказать добыть луну с неба?...»

В голове возникает ночной небосвод: сиротли-

вой, голый... и жабий рот кривится, как от хинной горечи.

Нет, проверять решительно не стоит.

Злость жжет душу. Одним прыжком жаба возносится в седло и хлещет коня камчой.

«Ква!..ква...» — зло отдаётся в висках конский топот.

6

...Свадьба была в самом разгаре. Жених, в халате алого шелка, в высокой шапке с меховой опушкой, восседал рядом с пышногрудой невестой; и звенели золотым дождем мониста новобрачной. Молодые не сводили друг с друга глаз, а за огромным свадебным столом тем временем провозглашались здравицы: естественно, за здоровье жениха и невесты, за здоровье родителей жениха и родителей невесты, отдельно — за будущих многочисленных детей жениха и невесты; помянули также всех присутствующих и отсутствующих родственников и друзей жениха с невестой, потом раза три подряд выпили за какую-то никому не ведомую тетушку Шамсу...

— Веселятся, — булькает себе под нос человек-жаба, придержав коня и глядя через низкий дувал на шумное застолье. — Кто смеет веселиться, когда сердце наше в печали?!

Глаза его недобро сощурились.

— Открывай ворота, Волчий Пастырь!

Незапертые ворота с треском распахиваются, и кавалькада въезжает во двор.

— Отрубить ему голову, — звучит кваканье, а палец тычет в жениха, повалившегося ниц одним из первых. — Действуй, Волчий Пастырь.

Тот, кого назвали Волчьим Пастырем, проворно соскачивает с коня, волочит не сопротивляющегося

жениха к человеку-жабе, вытаскивает из ножен саблю...

Короткий свист.

Голова жениха летит под копыта жеребца, на котором восседает жаба.

Глазки с желтыми, нездоровыми белками пытливо рыщут по лицам гостей, задерживаются на одном, на другом...

Что-то меняется в жабьей морде, когда взгляд упирается в пару голубых озер на знакомом лице. И — в такую же голубизну глаз другого человека, стоящего рядом.

Это не гости; это — свои.

Оба спешились и стоят плечом к плечу.

— Невесту — на кол. Ты — выполнять! — Жабий палец упирается в первого из двух голубоглазых.

Смузенный великан переминается с ноги на ногу.

— Ты уж прости, твое шахское, но это... не стану я!.. вот.

— Что? Не станешь? — Противоестественная радость выхлестывается вместе с кваканьем. — Забыл, каково самому на колу сидеть?! Освежить память?!

— Не забыл! — набычясь, повторяет великан, крепче сжимая в руках-граблях огромное копье, больше смахивающее на дубину. — Да только... За что ее? Ну, меня ладно, я плохой...

— Утба! — выплевывает чье-то имя жабий рот.

— Здесь я, — звучит ответ второго обладателя голубых глаз.

— Обоих на кол! Выполнять!

Утба недвигается с места. И вдруг начинает хотать. Безумно и искренне — так, что стоящие рядом потихоньку отодвигаются в стороны, а морда человека-жабы меняет брезгливое выражение.

Она совсем меняется, эта морда.

От жабьей — к человеческому лицу.

— Что со мной? Где я? — спрашивает Абу-т-Тайб аль-Мутанабби, прежде чем потерять сознание.

Глава четырнадцатая,

где маг и правитель ведут мудрые беседы, в ходе которых поднимается часть завес над шахами, фаррами, вседозволенностью и ее ограничениями, а также обсуждаются внезапные смерти — но ни словом не упоминается о том, в чем состоит загадка «небоглазых», будь они хоть жрецами, хоть разбойниками!..

1

— И что еще успела натворить эта жаба?!

Голос предательски дрожал, и пришлось отогреваться ароматом красного чая — поднеся к губам млечно-бледный фарфор пиалы, изготовленной в далеком Мэйлане. Мэйланьские драконы сладо-страстно вились вдоль краев, мэйланьские горы смыкались вокруг мэйланьского озера, зеленоватой глади с прожилками из чистого лазурита; и перевевался через борт лодки плешивый рыбак, намеченный еле-еле, слабыми мазками; рыбак, естественно, был тоже мэйланьский. Страна на том конце торговой дороги Барра, где, по уверениям Баркука-Харзийца, правят некие Сыновья Неба, которые вообще долгожители, даже по сравнению с местными носителями фарра!.. фарр... фарфор... камфа-ра...фар-р-рсанг...

Горло поэта заржало, и сейчас ржавчина осипалась со стенок гортани, делая голос хриплым, а слова — шершавыми, как обломки ракушечника.

Тем временем Гургин продолжил неторопливый рассказ: о перестановках во дворце и среди городских властей, о смещениях и назначениях судей, Владык Ночи и прочих чиновников, о фаворитках и

фаворитах, что вынырнули невесть откуда или, наоборот, без причины подверглись опале; о реформе культа Огня Небесного и паломниках, сгинувших на просторах новой веры... Лишь о последней казни во время свадьбы дряхлый маг умолчал. Абу-т-Тайиб был благодарен ему за это — во-первых, ни к чему ворошить грязь до самого донышка, а во-вторых... Увы! — он и сам помнил все: катится под конские копыта голова жениха, вокруг стенами вечной тюрьмы смыкаются внимательные, сочувственные (но не осуждающие!!!) лица родственников, лица гостей, лица, лица... — и, наконец, двойное голубоглазое «Нет»! Комар, кузнец, добыча, которую страстно алкал все эти месяцы человек-жаба, попалась наконец на язык; но сколь мерзок был вкус ее, нежданной добычи, совсем не той, о какой мечталось!

Обижали в детстве жабу: мама-жаба обижала, бабка-жаба обижала, папа-жаба обижал, и родня над жабой ржала, жабью мерзость обнажала, словно в грудь ее вонзала сотню ядовитых жал... Жаба, что ж ты не сбежала? Никому тебя не жаль...

Абу-т-Тайиб так и не смог до конца осознать, что человеком с жабьей ухмылкой и буркалами на выкате был он сам! То есть умом, конечно, понимал — но сердцем принимать отказывался. Наотрез. Да, истинный правоверный на вопрос: «Где находится разум?» должен благочестиво ответить: «Аллах бросает его в сердце, и лучи разума поднимаются в мозг, утверждаясь там!» Но вместо лучей из сердца поднималась смрадная гниль. Пепел сожженных хургских становищ, вонь потрохов казненных, липкая сладость улыбок тех, кого довелось осчастливить внезапной милостью; зловонная клоака вместо души, обиталище скорпионов и мокриц — а над всем этим сияние фарра, святой нимб, видный издалека!..

Не лучше ли было спать высущенной мумией под песчаным мавзолеем? — или это все-таки сон,

страшный сон, где низкие становятся высокими, и нет кары безумней!

— ...вот, собственно, мой шах, и все ваши основные деяния за последние три месяца!

Судя по выражению лица мага, деяния были явлением вполне обыденным и закономерным. Или хитрец с бородавкой кое о чем умолчал? Ну и ладно! Если он умолчал, а я не помню — так тому и быть.

— Деяния! — Усмешка наполнила рот горечью; захотелось плонуть. — Называй вещи своими именами, старец! Не бойся, я не отправлю тебя за это на кол и не надену силой кулах с поясом. Я уже пришел в себя; хотя минута отрезвления заслуживает тысячи проклятий. Не хочешь? Забыл такие слова, как мерзость, паскудство, бесчинство? Ну, отвечай: забыл?!

— Деяния шаха — это деяния шаха! — упрямо поджал губы Гургин и, похоже, едва удержался, чтобы в очередной раз не почесать свою замечательную бородавку. — Они не бывают достойными или недостойными. Шах вне добра и зла, света и тьмы, справедливости и сумасбродства. Он — шах.

— Еще скажи: Бог! — выкрикнул Абу-т-Тайиб, искренне надеясь, что Господь миров все-таки покарает своего раба за кощунство; и покарает немедленно.

В ад, в геенну, куда угодно...

— Сказать? — осведомился маг. — Или мой шах не ждет ответа?

2

Они сидели во дворе Гургинова дома: если от угловой башни Аль-Кутуна свернуть направо, облезая по широкой дуге ремесленный квартал Джаджар-ло, то вскоре подъедешь к воротам, за которыми и обитает мудрый хирбед, делатель владык. Обитает в свободное время от разных затей, до-

стойных описания в «Тысяче сказок» — ну зачем, зачем ты заставил меня выйти из проклятой пещеры Испытания?!

Или ты и впрямь не заставлял?

— В чем ты состоишь, моя божественность?! — издевательски рассмеялся поэт, загоняя подлые мысли куда подальше. — В том, что впереди дурака-балагура скакет баран и превращает в баранов всех моих подданных? В тупых, покорных баранов, готовых идти за вожаком на бойню, согласных перерезать глотку себе, своей матери, сестре, жене, ребенку — стоит лишь шаху бровью повести?.. О Аллах, всемилостивый и милосердный, спасибо Тебе, что Ты не дал моим нечестивым мыслям свернуть в этом направлении раньше и проверить то, что сейчас произнес мой поганый рот! Ведь я мог... Еще день назад — мог! Спасибо Тебе за Твою милость, Всемогущий!

Маг терпеливо ждал, пока шах закончит общаться с Господом, медленно прихлебывая чай из своей пиалы.

Ма-аленькими глоточками.

— Дело не только в этом, мой шах, — заговорил он, когда поэт умолк. — Это лишь следствие, но не причина. Следствие того, что ты — обладатель священного фарра, частицы Огня Небесного; или синзошедшей на тебя благодати Творца, если тебе так больше нравится!

Гургин явно увлекся и теперь говорил почтительно, но без подобострастия; таким он нравился Абу-т-Тайибу гораздо больше.

— Это его сияние согревает твоих подданных, побуждая их с радостью выполнять шахскую волю. Заметь, владыка: с радостью, с радостью и пониманием. Они ведь не глиняные идолы, оживленные мерзкой волшбой; они — живые люди, со всеми добродетелями и пороками, присущими живым! Хочешь, я пролью бальзам на твою больную совесть? В последние месяцы ты, о мой шах, был не вполне

собой. Ты был больше, чем ты есть, и меньше, чем ты есть... Ты был священный фарр-ла-Кабир во плоти.

— Этот ореол... эта светящаяся гнилушка заставляла меня творить мерзости?!

— Я этого не сказал, мой шах. Конечно, ты не был слепой марионеткой в невидимых руках фарр-ла-Кабир — но... Такое происходит с каждым шахом. Сначала фарр перестраивает тело владыки, делая его более прочным, сильным и долговечным, нежели обычная плоть человеков. Ты мог заметить это на себе: молодость вернулась к моему шаху, у тебя прорезались новые зубы взамен сгнивших старых, в руках добавилось силы, тебя вновь стали интересовать женщины — и даже когда-то отрубленные пальцы начали отрастать, подобно хвосту ящерицы. Я прав, владыка?

— Да, все верно. — Абу-т-Тайиб только что пролил себе на колени свой чай; к счастью, напиток уже успел остывть.

Горбун-слуга — кажется, единственный слуга в доме Гургина — решился приблизиться. На подносе он тащил две пиалы побольше, до краев наполненные «белым супом»: кислое молоко, пряный творог, рейхан, кинза, иная зелень, перец, соль...

Обычная закуска перед началом трапезы.

На блюдце в углу подноса лежали фисташки и ломтики сушеных дынь: для аппетита.

— Не забудь о спутниках владыки, — бросил слуге Гургин. — Они небось проголодались больше нашего и вряд ли захотят начинать с супа!

С собой Абу-т-Тайиб взял всего двоих: Утбу и Дэва. Он больше никого не хотел видеть. И в первую очередь — преданного Суришара. Все время мешалось: человек-жаба приказывает... Нет. Думать об этом не хотелось.

— ...А потом фарр-ла-Кабир принялся испытывать рассудок шаха, — как ни в чем не бывало продолжил маг, кидая в рот сладкий ломтик. — Его

сердце, его душу: на что способен новый владыка? Сумеет ли быть жестоким и безжалостным, если придется? Хитрым? Изворотливым? Ведь государство не может колебаться и мучиться сомнениями, стоя на краю пропасти — да не случится такого никогда!

— Душу? — с ужасом выдавил поэт. — Испытывать?!

— Не беспокойся, мой повелитель, душа твоя с тобой, и ничего ей не сделалось, — Гургин едва заметно улыбнулся. — Вы испытывали друг друга: ты, государство и фарр-ла-Кабир... и в то же время вы испытывали сами себя, будучи единым целым. Жестоко? — не спорю. Но рождаться можно только так: в крови и нечистотах. Последнее Испытание завершилось — ты его выдержал. Вновь став самим собой: шахом белостенного Кабира.

— Утешил! — прохрипел поэт, закашлялся и принял молча хлебать «белый суп».

Маг последовал его примеру.

— Ну, допустим, — буркнул через некоторое время Абу-т-Тайиб, успев покончить с супом и отчасти уняв разброд в мыслях (насколько это вообще представлялось возможным). — Допустим, мой собственный нимб, шайтан его забери, испытывал меня. Испытал. Выяснил, что я гожусь для управления страной. Или для олицетворения этой страны. Как там говорил Баркук-Харзиец? «Твое государство — это ты! Ты сам, собственной персоной...» Он прав, старец?

— Воистину прав, мой шах! Мудры были слова султана...

— И вот теперь Кабирское шахство сидит у тебя в гостях, пачкая бороду простоквашей и обрезками кинзы?!

— И снова правота твоя неоспорима, о мой шах!

— Я прав, Баркук прав... — а кто лев?! Ладно, шучу... Тронусь я скоро с вами, маг ты мой замечательный, и вы все тронетесь со мной — если, конечно

но, правота наша и впрямь неоспорима! Ладно, это потом, — шах разговаривал сам с собой, и старый хирбед не осмеливался прерывать владыку. — Но ответь: почему же тогда фарр-ла-Кабир, баран златой, терпел мои выходки?! Ведь это же во вред государству — наказать невиновного, унизить знатного и возвысить безродного, назначить казначеем проходимца, а Владыкой Ночи — бывшего душегуба?! Куда ж баран смотрел, а, старец?! Я своими руками укладывал державу в гроб-табут, а значит — и себя самого, носителя фарра! Что-то тут у тебя не сходится, маг!

И Абу-т-Тайиб победно усмехнулся, глядя на Гургина в упор: мол, подловил я таки тебя, старый брехун!

— Здесь нет никакого противоречия, мой шах, — серьезно ответил маг, отставив пиалу. — С того момента, как назначенный тобой избранник принимает из твоих рук кулах и пояс, он становится верным слугой шаха и фарр-ла-Кабир. Верным не за страх, а за совесть. Отблеск благодати фарра ложится на него, подобно отсвету Огня Небесного, сияющего над нами, и человек этот начинает исполнять возложенные на него обязанности с должным тщанием. Это может получаться у него лучше или хуже, в зависимости от умений, навыков, опыта и природных склонностей — но он будет честно стараться выполнить свою работу! Даже если глупый судья неверно рассудит какую-либо тяжбу или нечистый на руку казначей украдет кисет динаров — от этого ведь государство не рассыплется? Дихкане не перестанут сеять рис или просо, а затем снимать с полей урожаи; стражники будут по-прежнему нести свою службу, купцы — торговаться, налоги — так или иначе поступать в казну... Там, откуда ты пришел, иначе? Там нет воров-казначеев, а если есть, то державное здание мигом рушится? Там владыки не украшают колья невиновными; а когда украшают, то шатается

их трон?! Горы ведь стоят, несмотря на то, что часть их плоти выветривается! И даже не качнется...

— Значит, я могу творить все, что мне заблагорассудится — и на государство это никак не повлияет?!

— Воистину так, мой шах! Ты можешь казнить и миловать, смещать и назначать, требовать для себя любых мыслимых и немыслимых удовольствий или ходить в ру比ще, питаясь хлебом и водой, — это твое личное дело. Пока тело шаха здорово, а разум ясен, с государством ничего не произойдет. Ведь государство — это ты! — как исключительно верно заметил владыка Харзы!

Владыка Харзы... что-то такое он говорил, этот скучающий восьмидесятичетырехлетний султан, выглядевший моложе пятидесятилетнего шаха Кабира... что-то...

— Что угодно? А если я, к примеру, из шаха захочу сделаться шахиншахом?

Гургин поперхнулся супом.

А сердце поэта гулко ударило в груди.

3

— Прошу тебя, владыка, оставь такие шутки, — заискивающе попросил маг. — Хорошо?

— А почему бы владыке и не пошутить? — В притворном удивлении Абу-т-Тайиб изогнул левую бровь луком. — Или скажем иначе: а вдруг владыка и не думал шутить? Может, ему снится по ночам венец царя царей? А? Ты побледнел, Гургин? Тебе плохо? Я говорю запретное, да? Значит, все-таки не все дозволено шаху? Чего-то и ему нельзя? Фарр-ла-Кабир не позволит — или есть причина попроще? Ну, говори! Язык проглотил?

— Фарр-ла-Кабир, — чуть слышно прошептал Гургин.

— Хорошо. Я тебе верю, старик. А теперь — рас-

сказывай, каким образом вознамерился стать шахиншахом мой предшественник, Кей-Кобад, и отчего он в итоге умер?

Гургин с трудом перевел дух, прокашлялся и заговорил:

— Кей-Кобад действительно вознамерился стать шахиншахом, владыка. Для этого он задумал... вернее, ему подсказали следующее: разбить Кабирское шахство на четыре больших удела, каждый из которых будет пограничным. Затем наместников-марзбанов этих уделов должны были провозгласить шахами, а их повелителя Кей-Кобада — соответственно шахиншахом, царем царей, как верно заметил мой повелитель.

— Ловко. Но глупо, — усмехнулся Абу-т-Тайиб, впервые в жизни сталкиваясь со столь странным способом расширения власти. — Какой же это умник ему сию чушь присоветовал? Уж наверняка не ты, мой благоразумный Гургин! Ладно... Значит, мой предшественник решил уподобиться он-бashi, которого производят в юз-бashi — но командовать он продолжает все тем же десятком. Зато звучит куда величественнее: сотник! Или шахиншах. И какую цель он преследовал, мой предшественник? Просто гордыню потешить хотел? Вряд ли...

— Воистину прозорливость владыки не имеет границ, — пробулькал маг, неприятно напомнив былую жабу. — Разумеется, доподлинно теперь никто не знает, что именно собирался предпринять Кей-Кобад. Однако же с определенной достоверностью можно предположить, что предшественник теперешнего владыки готовился расширить пределы Кабирского шахства!

— Ну да! — чуть не подпрыгнул Абу-т-Тайиб. — Султан Баркук убеждал меня, что у вас это дело невозможно; и даже любезно объяснил почему! А теперь ты утверждаешь...

Шах умолк, выжидательно глядя на своего советника.

— Султан Баркук не лгал тебе, мой шах! Он просто опустил единственный случай, когда завоевания все же возможны. Если фарр правителя, захватывающего земли соседа... как бы это поточнее сказать?.. ярче и горячей, нежели фарр соседа. Да будет мне позволено взять пример, приведенный моим шахом: как сотник выше десятника!

— Как шахиншах выше шаха, — задумчиво проговорил поэт. — Что ж, не так уж глупо, как может показаться на первый взгляд. Сшить халат с запасом, затем начать толстеть... И что помешало Кей-Кобаду осуществить замысел?

— Смерть, — коротко ответил Гургин. И, взглянув на поэта, явно ждущего продолжения, пояснил:

— Видимо, фарр Кей-Кобада оказался под угрозой из-за шахского замысла. Все живое хочет жить: во имя сохранности державы фарр убил своего носителя.

И Кей-Бахраму, наследнику хитроумного Кей-Кобада, достался многозначительный взгляд.

Поэт долго сидел, задумавшись.

— Ладно, пошли спать, — пришел он наконец к вполне логичному выводу.

*Глава пятнадцатая,
обильная плодами поэтического воображения, явлениями
призраков и битвами героев, но втайне мечтающая о
совсем ином: где вы, описания превосходных ковров,
ласковых, пышных, нарядных, с затейливым рисунком,
с яркими красками — где же вы, сии перлы?!*

1

*...Ночи плащ, луной заплатан, вскользь струится
по халату, с сада мрак взимает плату скорбной ти-
шиной — в нетерпении, в смятении меж деревьев бро-*

дят тени, и увенчано расстене бабочкой ночной... Что нам снится? Что нам мнимся? Грезы смутной вереницей проплывают по страницам книги бытия, чтобы в будущем продолжаться, запрокидывая лица к ослепительным жар-птицам... До чего смешно! — сны считая просто снами, в мире, созданном не нами, гордо называть лгунами тех, кто не ослеп, кто впивает чуждый опыт, ловит отдаленный топот, кто с очей смывает копоть, видя свет иной!..

Ива, наемная плакальщица, скорбно встряхивала ветвями; и кутался в темный плащ сафеддор, белый тополь, боясь поддаться на уговоры ветра, — бесстыже плеснуть траурной мантией, обнажив серебристую подкладку.

Дувал обступал двор со всех сторон, верблюжьими горбами выпятившись к драгоценной канители небес, осыпая с гребня своего репейник и колючую траву, придавленные плоскими камнями — зимние дожди спотыкались об этот своеобразный заслон, не рискуя размывать глину. Все-таки правильно было заночевать у Гургина, вместо того чтобы возвращаться во дворец, где каждая стена напоминает тебе о проклятии шахского венца!.. правильно. Правильно было выйти во двор, покинув духоту спящего дома, выйти одному, без свидетелей, спутников, без телохранителей, без ничего, с нагой душой, открытой всем ветрам! Сесть в зыбкой тени аргавана, который люди Евангелия называют иудиным деревом, сесть на сколоченной из досок софе, опуститься на грубый палас поверх циновок из резаного камыша... забыться в тишине.

Глупо надеяться, что вывезет кривая, что выжмешь звук из треснувшего дугара! Тени оживают и, оживая, начинают делиться на молодых и старых... вон еще одна скользит во тьме. Женщина. Кажется, женщина. Течет, струится, вот она у двери из груше-

вого дерева, вот, не брякнув кольцом, внутри... Госпожа Вторник, покровительница прях. Кому еще марой бродить по дворам, заглядывать в дома, в лица сонных обитателей? — не блудница же явилась к хирбеду по тайному зову! Прости, добрая госпожа Вторник, здесь тебе не сыскать достойных награды, здесь лишь спит дряхлый маг, прикорнул у порога его слуга-лентяй, да еще храпят вовсю в «верхней комнате» лихой Утба с могучим Дэвом; и еще здесь, во дворе, не спит шах Кей-Бахрам... Эй, Бахрам небесный, Пламень-в-Красном-Шлеме, чего уставил-ся на меня, будто не я, а ты трижды проклят Аллахом?!

Ну ладно, смотри, пока со стыда не сгоришь.

...Пес под тополем зевает, крыса шастает в подвале, старый голубь на дувале бредит вышиной — крыса, тополь, пес и птица, вы хотите прекратиться? Вы хотите превратиться, стать на время мной?! Поступиться вольным духом, чутким ухом, тощим брюхом? На софе тепло и сухо, скучно на софе, в кисее из лунной пыли... Нас убили и забыли, мы когда-то уже были целою страной, голубями, тополями, водопадами, полями, в синем небе журавлями, иволгой в руке, неподкованным копытом... Отгорожено, забыто, накрест досками забито, скрыто за стеной.

Тень госпожи Вторник легко движется по айвану — открытая веранда сама ложится под ноги призрака, огибает гостью резными колоннами, осторожно нависает ошкуренным тополем стропил... Эй, покровительница прях, ты еще надеешься обнаружить здесь умелую мастерицу? А бывший поэт тебя не устроит? — я тоже когда-то умел играть с куделью слов, когда меня не обступали стены, через плечо заглядывая по-соседски... Эй, тени, сюда!

Не стесняйтесь, тени! Я так давно с вами не беседовал...

Госпожа Вторник беззвучно взлетает по шаткой лестнице на крышу — туда, где окнами на улицу размещена бала-хана, «верхняя комната», подпертая с наружной стороны косыми сваями. Улыбка течет по губам медовой патокой — до чего ж упрямые эти призраки-покровители, все ищут, рыщут... Небось жила тыщу лет назад такая пряха, что и после смерти угомониться не может: сестер-рукодельниц выискивает, целует стертые пальцы, кладет на веки по пушинке — от слепоты, а то ведь бывало: после иной работы свету в глазах изрядно убавлялось! Ар-гаван осыпает стручки — на голову, на грубый палас, на землю, и кажется, что в мире не осталось больше ничего, совсем ничего, и с утра мало что изменится...

...Жизнь в ночи проходит мимо, вьется сизой струйкой дыма, горизонт неутомимо красит рыжей хной... Мимо, путником незрячим сквозь пустыни снег горячий, и вдали мираж маячит дивной пеленой: золотой венец удачи — титул шаха, не иначе! Призрак зазывалой скачет: эй, слепец, сюда! Получи с медяшки сдачу, получи динар в придачу, получи... и тихо плачет кто-то за спиной. Ночь смеется за порогом: будь ты шахом, будь ты Богом — неудачнику итогом будет хвост свиной, завитушка мерзкой плоти! Вы сгниете, все сгниете, вы блудите, лжете, пьете... Жизнь. Насмешка. Ночь.

— Эй, красавица, ты слушаем не меня ищешь?!

И смех.

Это Утба. Проснулся. К маре цепляется. Такому что госпожа Вторник, что святая пятница, что песчаная алмасты — была бы мякоть, чтоб ухватиться, да раковина для тайной жемчужины. Дикий осел

весной, и тот Утбе позавидует... Вот сейчас разбудит Дэва, тот ему по шее накостыляет, чтоб не орал!.. Дэв у нас молоденький, ему здоровый сон важней любой бабы на свете, а о лепешке с мясным фаршем и говорить нечего — за кусок удавит. Дэв молодчина, странно, что не просыпается... Кусты громоздятся размытыми валунами, ветки сафеддора на ветер ропщут — когда привыкаешь общаться с тенями, с людьми становится значительно проще... Сидишь на софе, наблюдаешь: никому до тебя дела нет, и тебе ни до кого нет!

— Эй, кра...

Смех усиливается, звенит бубном-дойрой, в нем проскальзывают странные нотки — не на ложе смеяться таким смехом, а в бою, в самом пекле, но велик ли спрос с Утбы Абу-Язана, особенно в отношении его удивительной веселой души?!

Что-то лязгает в бала-хане, лязгает глухо, на грани слышимости, и почти сразу ночь рвется пополам коротким треском — будто мертвая ветка акации наконец решила свести счеты с этим миром. Трещит, падает, ударяется об пол цельным стволом, и эхо испуганным вором мечется по всему дому, заставляя в ответ дребезжать утварь, а кольцо в двери — колотиться о доски, возвещая о прибытии незваного гостя.

Рев оглушает на миг, забивая уши тополиным пухом. Он рушится сверху, с небес, рев хмурого горного великаны, в пещеру которого забрались мелкорослые воры, да вдобавок еще и нагло сожрали все запасы сыра! — а теперь он раздваивается, этот утробный рык, как раздваиваются голоса опытных певцов, чтобы слиться воедино разным напевом... Дверца «верхней комнаты» слетает с петель и, заячьей скидкой проскакав по крыше, рушится во двор; щепки сыпятся градом, одна из них больно впивается в бедро, и боль отрезвляет.

Что происходит?!

Два тела выкатываются из бала-ханы, двое страшных любовников, стремящихся к последнему экстазу; на миг зависнув у края, они валятся вниз следом за выбитой дверью, и даже страшный удар о край дворового арыка не заставляет их ослабить хватку. Дно арыка красно от водорослей, и там, в мутной жиже, копошатся два зверя, два охотника, ни один из которых не желает признать себя добычей.

— Твое... твое шахское! Беги! Бе...

Огромная тень госпожи Вторник взмывает вверх, правая рука ее уродливо толстая, словно к предплечью приникла змея с отогнутым в сторону кончиком хвоста; рука падает вниз, и крик обрывается, чтобы миг спустя поползти стоном:

— Беги... твое шах...

Прыжок.

Прямо с паласа, с камышовых циновок, с дошатой софы, из покоя и усталости. Арык принимает шаха в липкие объятия, но и госпожа Вторник не удержалась на ногах: внизу хрипло стонет Дэв, и это хорошо, раз стонет, значит, жив, а пальцы призрака ищут горло, ищут самозабвенно, истово, мокрыми червями роясь в бороде — размахнуться не удается, и приходится бить коротко, всем весом, на слух, локтями, коленями, пока убийца не перестает содрогаться под этими ударами.

Тишина.

— Т-твое... она Утбу... кончила...

Смех.

Страшный смех звучит с крыши, от рваного проема дверей бала-ханы.

Там стоит на коленях Утба Абу-Язан, безуспешно пытаясь встать, отсвечивая фиолетовым пузырем вместо левой половины лица — но «Улыбка Вечности» намертво зажата в его руках.

Полудохлый пес готов грызть.

— Да что тут мудрить, твое шахское?! Где мое копьецо? — я ее, тварюку, сам в Восьмой ад Хракуташа отправлю!

Косой взгляд через плечо — даже не взгляд, а так, намек, и Дэв, избитый, изломанный, но непокоренный Дэв замолкает.

На софе Гургин возится с пострадавшим Утбой: хвала Аллаху, лицевые кости целы, и быть вскорости хургу прежним красавцем! А гул в башке — не червь в кишке, погудит и стихнет, чему там трястись-трескаться, когда отродясь никакого добра не водилось... Лекаря престарелый хирбед отказался звать наотрез, и Абу-т-Тайиб до сих пор сmakовал это открытое неповиновение «небоглазого».

Да еще вертел в руках странную штуку, оружие госпожи Вторник: кинжал не кинжал, напильник не напильник — прямой граненый бруск вместо клинка, а чудная гарда-лепесток отогнута в сторону и продлена вдоль тупых граней.

Таким убить — это еще очень постараться надо...

Впрочем, на отсутствие старания жаловаться было грешно. Ребра болели до сих пор, дышать приходилось вполгруди, и оставалось лишь удивляться отсутствию серьезных переломов. Славно повозились в арыке, ах, славно! — будто десятка два годков с плеч скинули...

— Эй, твое шахское! Она опять ремни грызет... у-у, стерва!

За спиной, на крыше, Гургинов слуга возился с выбитой дверью бала-ханы. Стучал молотом, звякал клемшами — на место ставил. Со стороны улицы доносились вопли добровольных подсказчиков. Ясное дело, всякий знает, как лучше, особенно когда язык чешется... Ворота подсказчики не ломились; да и городские стражники явиться поостереглись. То ли прыткая весть о шахе-госте успела доскакать до

нужных ушей, то ли над фарр-ла-Кабир, как над вестовым костром, с недавнего времени подымался столб дыма до небес: здесь я, люди добрые, кыш подале!

А может, дом Гургина испокон веку пользовался дурной славой, и всем было известно, что сюда ломиться — себе дороже.

Вздохнув, Абу-т-Тайиб повернулся к госпоже Вторник.

И долго смотрел, не отводя взгляда; хотя видит Господь миров, зажмуриться ему сейчас хотелось больше всего.

— Когда настанет Великое Событие, кого-то возвысят, кого-то унизят, — слова Книги Очевидности сами поползли с языка дождевыми червями, и святотатственный образ вдруг показался единствен-но верным. — Когда земля содрогнется, будет вас три вида...

— Что? — поднял голову Гургин, заканчивая перевязку; и еле слышно засмеялся Утба, усмотрев в вопросе мага нечто свое, достойное веселья. — Ты сказал: три вида, мой шах?!

— Но сколь же тяжко несчастным, которых поразило несчастье! Им место в пламенном огне и кипящей воде, во мгле темной и черном дыме, который ни приятен, ни красив. Будёте вкушать вы горькие плоды древа зеккум; будете пить, как жаждущие верблюды. Мы судили, чтобы между вами царила смерть, а мощь наша велика, и да будет так!

«Мы судили...» — шепнули бескровные губы мага.

«...а мощь наша велика», — истово кивнул Дэв.

«Да будет так!» — не произнеся ни слова, подвел итог веселый Утба, на миг став серьезным.

— Скажут несчастные избранным: «Погодите, чтоб мы немного взяли от света вашего!» И ответят им: «Возвратитесь и ищите себе свет». И тогда воз-двигнется между ними стена, внутри будет милость,

снаружи ее — страдание. И кричать будут те, что снаружи: «Разве не были мы с вами?!»

Абу-т-Тайиб еще раз повторил:

— Разве не были мы с вами?!

И присел на корточки перед госпожой Вторник.

Вислые плечи бугрятся узлами мышц, и сила эта, чуждая мощь, вынуждает сутулиться, плотнее вжимать костистый затылок, а нежно-розовые бурдюки грудей тяжко болтаются из стороны в сторону. Руки жиловатые, как у незабвенного Омара Резчика, только раза в два толще, с неприятно большими ладонями. Кривые ноги подогнуты под себя — словно обезьяну учили правильно сидеть на кошме, да так и недоучили. Лохмотья висят, как на огородном чучеле, и видно меж прорехами: тело густо покрыто рыжей шерстью, местами свалявшейся в липкие колтуны. Голени ободраны, и бока ободраны, и еще правая щека; лиловые кровоподтеки украшают те места, куда пришли локти и колени разъяренного шаха, и дыхание вырывается с болезненным присвистом — нет-нет, да и стон слетит с губ, вывороченных губ дикого зинджа.

Узкий вал лба сильно подался вперед, нависая над переносицей, уже начавшей мало-момалу проваливаться сама в себя, безобразно выпятив снизу кабаньи ноздри. Височные кости утолщены, торчат странными наростами, будто грозя обратиться в скором времени бараньими рогами; желваки на скулах катаются. И лишь в глубоко запавших глазах, в двух заброшенных колодцах, налитых дурной кровью, — лишь там плещет еще знакомая дерзость, неукротимая голубизна былой Нахид-хирбеди.

Больно всматриваться.

Разве не были мы с вами?!

— Нахид-хирбеди больше нет, мой шах. Мы отлучили ее от служения еще в тот день, когда Омар Резчик потерял руку от твоего ятагана. Она сошла с ума; она требовала невозможного. Нахид-хирбеди больше нет, мой шах; есть Нахид-дэви, женщина-чудовище. И я взышу с храмовых стражей строгим взысканием: они не имели права проморгать бегство этого... существа.

— Невозможного? Чего именно требовала она?

— Исправить ошибку, вернее, то, что она полагала ошибкой. Провести тайное Испытание и помазать на престол нового шаха. Не безумие ли: два солнца на одном небе могут привести к концу света, но к благоденствию они вряд ли приведут!

— Два солнца...

— Да, мой шах! Я пытался уговорить ее отказаться от еретических замыслов, но Нахид упорствовала. Жаль: я любил ее больше, чем отец — младшую дочь, дитя его старости.

— И ты обратил ее в дикую тварь?

— Я?! Обратил?! Насильно сделать человека дэвом выше сил смертного, мой шах! Можно лишь самому вступить на порочную стезю... Это был ее выбор, и только ее — поэтому я велел следить за бывшей хирбеди, и едва мне донесли о первых изменениях, приказал взять ее под стражу. Увы, нынешней ночью она бежала...

— Ты врешь, маг! Я чую колдовство!

— Тогда посмотри на спасенного тобой разбойника, мой шах. Не найдешь ли сходства? Один удар Нахид-дэви опрокинул Утбу, бойца из бойцов, в беспамятство; но твой Дэв сражался с ней на равных дольше, чем сумел бы любой человек!

— И опять ты лжешь! Я бился с ней, и победа осталась за мной, за человеком!

— Я не лгу тебе, мой шах. Просто ты тоже не человек... уже не человек. Ты — живое воплощение

фарр-ла-Кабир. Ударь кулаком по столу — стол треснет. Возьмись с любым пахлаваном за пояса — долго ли продержится борец против тебя? Я, например, умру от одной твоей оплеухи. Раскрой глаза, мой шах, и ты увидишь...

— Но мой юз-бashi не превратился в чудовище! Да, он тugoумен, да, простоват... и похож, похож, ты прав! Но мало ли таких же плосколобых великанов на белом свете?

— Немало, мой шах. В основном они живут в Мазандеране, Краю Дэвов, куда стекаются отовсюду — если, конечно, не погибнут в пути. А твой юз-бashi... Он всегда при тебе, всегда рядом, а близкое присутствие носителя фарра сдерживает окончательное превращение человека в дэва. Не останавливает, но сдерживает. Иначе быть бы уже Дэву... впрочем, нет худа без добра. Думаю, в таком случае он с легкостью разорвал бы бешеную самку в клочья.

— Самку?!

— Я говорю о Нахид-дэви.

— Врешь! Ты должен был сказать не «превращение человека в дэва»! Превращение «небоглазого» в дэва! Я прав?!

— Прости, мой шах, и дозволь затворить уста. Власть шаха безгранична, а я — твой советник... Но еще я — верховный хирбет; я — «небоглазый». И не вправе произносить вслух запретное. Замечу лишь, что Утба Абу-Язан, подаренный тебе султаном Баркуком, тоже «небоглазый»; но он — человек. Хотя и смеется чаще обычного, получив из рук султана знаки служения; хотя и безумен в битве. Видишь, ты был прав, вняв моим уговорам и не надев на глупого Гургина кулах вазирга! Поверь, мой шах, я и так сказал тебе гораздо больше, чем следовало бы...

— Тогда хотя бы ответь мне, что это за странный кинжал приволокла с собой твоя бывшая ученица? Или здесь тоже скрыта тайна за семью печатями?

— Ничуть, мой шах. Хирбедам запрещено про-

ливать кровь, но защищать свою жизнь в случае необходимости дозволено каждому. В Мэйлане это оружие зовут — дзюттэ. Одно из значений: «Десять Рук». Им можно закрыться от удара чужого клинка, можно... ну, Утба способен лучше меня рассказать, что можно им сделать — ведь это его нож был сломан «Десятью Руками», и его лицо пострадало от столкновения. Думаю, Нахид-дэви отобрала дзюттэ у одного из храмовых стражей или украла в кладовке. Еще один промах, мой шах, и поверь: виновные понесут строгое наказание! Хвала небу, что в храме не хранилось более опасного оружия...

— Хвалы будешь возносить потом. Слышишь меня?.. ладно, не спеши падать ниц. Гургин, ответь хотя бы: есть ли способ вернуть Нахид прежний облик?!

— Трудно сказать, мой шах. Во всяком случае, я такого способа не знаю. Мазандеран, Край Дэвов, хранит множество тайн — среди них, возможно, нашелся бы если не способ, то хотя бы совет... А я знаю лишь одно: находясь рядом с тобой, Нахид-дэви будет катиться в пропасть медленнее, гораздо медленнее; но, находясь рядом с предметом ее ненависти, она будет катиться в пропасть быстрее, гораздо быстрее! Эти два коня разорвут ее вместо того, чтобы вывезти в безопасное место! Это все, что я знаю; и все, что могу сказать тебе. Прости, мой шах.

— Прощаю.

4

...я посмотрел в лицо дряхлого мага и увидел: губы его трясутся, а блеклая голубизна взгляда подтекает летним дождем.

Слепым дождем.

Потом я посмотрел на аргаван. Под иудиным деревом сидел Златой Овен и скалился мне в лицо.

— Вы даете мне то, чего я не хочу, — сказал я им:

барану, магу, Нахид-дэви, слуге на крыше, небу над крышей и солнцу в небе. — А в том, чего хочу, отказываете. Спасибо, не стоит трудиться, благодетели...

Я улыбнулся и закончил:

— Я возьму сам.

* * *

Нет мудрости в глупце? И не ищи.
Начала нет в конце? И не ищи.
Те, кто искал, изрядно наследили,
А от тебя следов и не ищи...

КНИГА ВТОРАЯ

ЗОЛОТОЕ РУНО

А еще спустя два года владыку Абу-т-Тайiba хотели провозгласить шахом — но он отказался. Тогда его хотели провозгласить шахиншахом — но он снова отказался. Ибо царским званием был титул шаха, шахиншахом же звали царя царей, но эмиром в самом первом значении этого слова на языке племен Белых гор Сафед-Кух — эмиром звали военного вождя, полководца, первого среди воинов.

И воинский титул был дороже для аль-Мутанабби диадемы царя царей.

Он пред врагами честь свою
И шпагу не сложил,
Он жизнь свою прожил в бою,
Он жизнь свою прожил.

Гони коней, гони коней! —
Богатство, смерть и власть,
Но что на свете есть сильней,
Но что сильней, чем страсть?!

*И. Бродский.
«Баллада Короля»*

КАСЫДА ОТЧАЯНЬЯ (написанная в стиле «Бади»)

От пророков великих идей до пороков безликих людей.
Ни минута, ни день — мишура, дребедень, ныне, присно,
всегда и везде.

От огня машрафийских мечей до похлебки
из тощих грачей.
Если спросят: «Ты чей?», отвечай: «Я ничей!»
и целуй скукожизнь горячей!

Глас вопиющего в пустыне
Мне вышел боком:
Я стал державой, стал святыней,
Я стану Богом,
В смятены сердце, разум стынет,
Душа убога...
Прощайте, милые:
я — белый воск былых свечей!

От ученых, поэтов, бойцов, до копченых
под пиво рыбцов.
От героев-отцов до детей-подлецов — Божий промысел,
ты налицо!

Питьевая вода — это да! Труп в колодце нашли? Ерунда!
Если спросят: «Куда?», отвечай: «В никуда!»;
это правда, и в этом беда.

Грядет предсказанный День Гнева,
Грядет День Страха:
Я стал землей, горами, небом,
Я стану прахом,
Сапфиром перстня, ломтем хлеба,
Купцом и пряхой...
Прощайте, милые:
И в Судный День мне нет суда!

Пусть мне олово в глотку волют, пусть глаза
отдадут воронью —
Как умею, встаю, как умею, пою; как умею,
над вами смеюсь.

От начала прошлись до конца. Что за краем?
Спроси мертвца.
Каторжанин и царь, блеск цепей и венца —
все бессмыслица. Похоть скопца.

Пороги рая, двери ада,
Пути к спасению —

Ликуй в гробах, немая падаль,
Жди воскресенья!
Я — злая стужа снегопада,
Я — день весенний...
Прощайте, милые:
Иду искать удел певца!

Глава первая,

*на пространствах которой едут путники, течет кровь,
несутся заревые кобылицы и маячат вдалеке чудной
Мазандеран, но напрочь отсутствует подробное описание
плова по-самаркандски, с добавлением курятины
и черного гороха.*

1



ыжая кобылица зари, плеща гривой, стремительно неслась в небо. Словно хотела навеки вырваться из пределов Восьмого ада Хракуташа, где бродит в стенах Ушаственный демон У, играя закопченным молотом. Говорят, однажды он не выдержит и грохнет страшным орудием о три опорных кольца мира, заставив землю подпрыгнуть молочной сывороткой в лохани, когда о посудину споткнется нерадивая хозяйка. Закружится Вселенная на ржавом вертлюге, вихревые небеса стаей кречетов рухнут вниз, когтя все сущее — и рассмеется демон У, встряхнет волосатыми ушами, видя страшное дело рук своих и своего молота.

К счастью, это будет не скоро; но и зарю тоже можно понять — кому охота ночи коротать в таком гнусном месте?!

Несись, рыжая, тешь себя несбыточными надеждами, пока есть еще время, пластайся в яростной скачке над башнями Кабира и Хаффи, дворцами Оразма и Фумэна, масличными рощами Кимены и хмурыми замками Лоула, виноградниками Дубанских равнин и озерами Верхнего Вэя — гони!..

...человек у ночного костра невесело ухмыльнулся. Поворотил угли палкой с завитком на конце, похожим на вытянутую букву вав; и в ответ иные буквы зарделись, заплясали в очнувшемся пламени — мим, даль, ха, зод, нун... я стал землей, горами, небом... я стану прахом... Заревая кобылица пока что существовала лишь в воображении человека, до бега ее оставалось не меньше трех часов, а реальность была совсем иной: костер пугливо стреляет языками во все стороны, мрак подкрадывается на бархатных лапах, топчась у кольца света — и залихватский храп спутников вторит хору цикад.

Отчего ж не спать, когда сегодня последняя ночь покоя и безопасности? Последняя ночь в предгорьях Малого Хакаса, где каждое селение так и норовит наизнанку вывернуться, а превратить хлеб-соль в кебаб-вино... Дальше небось, в безымянных горах-то, встречать будут по одежке, а провожать по загривку. О Совершеннейший Благотворитель, если б хоть одна тварь всерьез поверила, что я жажду покинуть их рай горячей, чем грешник стремится вынырнуть из смолы кипящей и скрежета зубовного! Не верят. Е рабб, улыбаются; морды воротят... пусть их.

Здесь иначе не умеют, прав Гургин.

Человек в забывчивости хлестнул палкой по углям, и сноп искр был ему ответом. На миг почудилось: светляки, огненные брызги складываются в подобие кругорогой головы, и хищные клыки склятся в насмешке из-под вывороченных губ барана. Златой Овен подмигнул правым глазом, налитым кровью, и исчез — как не бывало.

Может, и впрямь — не бывало. Мудры были гяуры Эллады, когда придумывали свои богопротивные истории; и их мраморные идолы до сих пор смотрят на мир бельмами без зрачков. Смотрят, молчат, думая о славных временах джахилий, Эры Невежества, когда всякий был сам себе божком или героем, а Аллах (слава Ему!) попустительски глядел

на земные забавы сквозь пальцы. Человек плотно зажмурился, чтобы не видеть бараньей ухмылки, если та решит явиться снова, и вспомнил слепого невольника-сицилийца из Тира. Гамхар... нет, Гаммар, Гаммар-безглазец, способный часами бубнить бесконечные муаллаки о дальних путешествиях и славных битвах. Еще тогда человек полюбил слушать о невезучем Язане ибн Эсане, возжелавшем сесть на отчий трон — а выкупом за царский кулах назначили Золотое Руно, сокрытое в далекой Стране Огней. Небось бедолага Язан тоже мечтал о слепоте телесной, когда заплатил за драгоценную шкуру великой платой: гибелью друзей, детей, родичей, уходом жены-колдуны, одиночеством, и, наконец, подлой смертью под обломками собственной галеры!..

Эй, Язан ибн Эсан, друг мой, брат мой по несчастью, возможный пращур владык Харзы, чад Язана Горделивого — слышишь ли меня в аду, где тебе самое место?! Я тоже иду за Золотым Руном, собрав вокруг себя героев и магов, всех, кого смог собрать; только я сам, собственными руками освежаю этого проклятого барана, живьем содрав с гадины его замечательную шкуру! — а после еще и зашарю тушу на вертеле, полью гранатовым соком, дам хорошенъко подрумяниться...

Слышишь?!

Я са-а-ам!

Храп на миг прервался, самый большой из спутников человека недовольно заворочался во сне, фыркнул по-конски — и перевернулся на другой бок.

Глядя на него, человек почесывал переносицу, водя пальцами от седловины к крыльям, и думал о потерях.

Подлинных и мнимых.

Этого спутника он мог потерять дважды: в самом начале безумного царствования, реши он проехать

во дворец иным путем, возвращаясь с охоты — и в самом начале пути за Золотым Руном.

Реши человек... а, решай не решай, счет все равно идет на минуты везенья!

Как тогда.

2

...день прошел в бесплодных разговорах. Абу-т-Тайб старался пореже смотреть на Нахид-дэви, на то чудовище, которым обратилась дерзкая красавица; и вечером опять не поехал во дворец. Здесь же и заночевал, в доме старого хирбеда. Опять. Словно ждал чего-то... продолжения? знамения? подсказки?! В кладовке у Гургина обнаружились цепи, замечательные такие цепи с разомкнутыми обручами на концах, и по краям обрущей были пробиты отверстия для дужек замков. Замки, кстати, валялись рядом с цепями и вызывали доверие одной своей величиной.

Спрашивать, зачем магу понадобилось хранить эти игрушки, Абу-т-Тайб не стал. Просто следил, как Утба с Дэвом заковывают ночную убийцу поверх ремней, и без того тесно опутавших мощное тело; а потом обождал, пока пленницу не спустят в погреб и не захлопнут крышку.

Сторожить вызвался Дэв, и поэт был рад предложению юз-бashi. Кроме того, парень люто казнил себя, что не сумел остановить гостью, что владыке пришлось спасать оплошавшего пса, рискуя собственной жизнью...

Дэв абсолютно не умел скрывать своих чувств.

Абу-т-Тайб хлопнул парня по плечу, отчего могучий юз-бashi изрядно качнулся, велел Утбе сменить караульщика часа через два после полуночи — и вскарабкался по хлипкой лестнице в бала-хану.

Ночевать в саду, на свежем воздухе, расхотелось напрочь.

Ночью ему снились удивительные сны: виноградные лозы прорастали на груди вместо волос, ступни впивались в землю корнями вековых чинар, из глаз струились горные водопады, разбиваясь о скалы колен, и гром в отдалении блеял насмешливо, заставляя пальцы рук сжиматься в кулаки. Поэт пытался крикнуть, и горло, кажется, даже рождало какие-то звуки — шум осыпи, плач младенца, кряканье уток... Вся эта разноголосица ширилась, множилась, дребезжала треснутым кувшином, и в итоге опять превращалась в блеянье.

Он проснулся в холодном поту. И долго глядел во тьму, заставляя себя забыть, забыть, забыть... понимая — не выйдет.

А потом внизу послышался глухой удар и звук падения тяжелого тела.

Дверь бала-ханы никак не желала открываться, слуга-горбун поработал на славу (или попросту запер снаружи, согласно указу мага и во избежание нежелательных визитов). Чертыхаясь, Абу-т-Тайиб ударил плечом — сведя на нет всю работу и заботу горбуну. После чего кубарем скатился по лестнице, босиком угодив прямо в розовый куст; но проклятия замерли на языке.

Над бесчувственным Дэвом склонился Утба и, тихо смеясь, перевязывал обрывками своей рубахи лапы сотника.

Рядом, у бортика дворового хауза-водоема, валялось Дэвово копье.

— Это я его оглушил, — подняв голову, хург увидел шаха в одном полотняном изаре на чреслах; но перевязки не бросил. — Он себе жилы ножом резал, дуралей... Хорошо хоть не глотку! На левой успел, а как за правую взялся, так я и вышел. Кричать побоялся: владыка спит, еще разбужу, напугаю... да и чего зря горло-драть? Эту громадину разве криком остановишь? Подхватил его копьецо, махнул сплеча — и оглоблей по затылку! Таких лучше в забытьи

перевязывать... безопаснее. Я вот себе чуть плечо не вывернул, копыщем орудия...

Видимо, сочтя объяснения исчерпанными, Утба хихикнул и снова вернулся к прежнему занятию.

Приблизясь, Абу-т-Тайиб обнаружил, что Дэв стал еще больше. Или чудится?.. да нет, ровно матерый буйвол! И лоб еще дальше выпятился, а виски и вовсе отвердели, круглятся двумя раковинами; так скоро рогов дождемся. Что ж это тебе в голову стукнуло, кроме собственного копья, безмозглый ты мой душегуб, мальчишка сопливый; с каких радостей ты себя жизни лишать вздумал?! Спасибо Утбе, подоспел, выручил...

— Сбежала! Хозяин, она сбежала! Повелитель, скорее!

Вопил горбун.

Подкравшисьтише мыши, слуга первым делом спустился в погреб — и теперь голосил оттуда трубой ангела Израфия, первый звук которой есть предвестник Судного Дня, второй есть знак истребления, а третий — зов на Суд!

— Сбежала! Ай, беда! Ай...

Со стороны флигеля уже спешил Гургин, похожий в своем шафрановом плаще на предвестника зари — правда, очень костлявого предвестника; но поэт успел раньше мага. Он нырнул в погреб, отпихнул горбuna прочь, к штабелю кадок, и долго смотрел на порванные ремни и цепи с разомкнутыми звеньями.

Воображение ясно рисовало бегущую прочь Нахид-дэви, укraшенную обрывками сыромяти и браслетами с замками. Даже шутить по этому поводу не хотелось; а другого способа успокоить рассудок Абу-т-Тайиб не знал.

— С тобой все в порядке, мой шах?

— Все, все... — Зачем-то прихватив одну цепь, Абу-т-Тайиб выбрался наверх и сунул добычу старцу. Тот повертел цепь в руках, подергал, даже понюхал; затем уныло встопорщил бороду.

— Увы, мой шах, добыча иной раз рвет силки.
Это известно всякому охотнику.

— Пусти меня! — Дикий рев заглушил слова мага. — Пусти, хург! Дай сдохнуть! Пусти!..

Очнувшийся Дэв, вскочив на ноги, отшвырнул спасителя прочь — и впрямь, буйвол сбрасывает дикую кошку, сдуру вцепившуюся вожаку стад в загривок! Он был воистину страшен сейчас: порождение буйной фантазии сказителя, исчадие ада, охваченный бешенством исполин... несчастный подросток, «пятнадцатилетний курбashi», которого продали и предали все на свете, и в первую очередь — он сам.

— Твое... твое шахское! Убей меня! Убей! Это я... я ее выпустил... Я зверь! Я тварь дикая! Тварь!

— Самка, — тихо бросил Гургин из-за спины, подойдя к поэту вплотную. — Он почуял самку и не сдержался. Казни меня, мой шах — я должен был предвидеть...

Но Абу-т-Тайиб не слышал слов мага. Все будет потом: слова, объяснения, оправдания и заслуженная кара — а ныне оставался лишь Дэв, слезы на волосатых щеках и голубая боль в двух распахнутых колодцах, в двух ямах, пересохших от засухи дикой вины.

— Молчать! — Впору было удивиться: свистящий шепот Абу-т-Тайиба разом пресек покаянный вопль самоубийцы, как тонкое лезвие ножа рассекает надвое кожаную полосу. — Тварь? Да, тварь! Поэтому что руку на себя поднял! Потому что жизнь ни в грош не ценишь — а она не твоя, эта жизнь, она моя, слышишь, моя! Я тебя с кола снял, я и посажу, когда захочу, а до тех пор живи и помалкивай! Е рабб! Бить станут — живи; выть станешь — живи; гнить станешь — живи!!! В нечистотах, в бездне горя, в штормовой пучине моря, с молниями в небе споря, хоть подохни, а живи! Сын мой, брат, мое подобье, моей прихоти отродье — в прошлом, в бу-

дущем, сегодня, вой от боли, а живи! Понял! Отвечай, сын шакала: понял??

— Не-а... — еле слышно рокотнуло в ответ, и Дэв без сил шлепнулся на софу. Запястья его, туга перевязанные Утбой, белели в предрассветной серости двумя голубями, но оперение птиц мало-помалу маралось изнутри бурой грязью. — Прости, твое шах... шахское — ни бельмеса не понял! Окромя что в деръме, а жить-таки придется... Ладно, буду жить. Да только не больно-то хочется; ты уж не серчай, шахское твое...

Утба подошел к понутившемуся исполину и обеими руками взъерошил его густую шевелюру.

Они славно смотрелись рядом: стройный хург, любимец женщин, и чудовищный юз-бashi, отставная гроза больших дорог.

— Я тебя тоже один раз спас, — рассмеялся бешеный подарок харзийского султана. — Только что. И запомни: посмеешь еще раз без разрешения в пекло сбегать — из котла достану и обратно приволоку. За уши. Ты меня знаешь, я слов на ветер не бросаю. Дай-ка правую лапку, дубина, — туже перетянути надо...

И Дэв повиновался.

3

Человек у костра встал. Подошел к самому большому из своих спутников, долго смотрел на него; потом принес второе верблюжье одеяло и укрыл им великана, заботливо подоткнув края.

Вернулся обратно.

Повертел в руках палку с завитком на конце, похожим на вытянутую букву вав. Вав, мим, алиф... Из ущелья донесся порыв ветра, костер с радостью заплясал навстречу незваному гостю, и динар луны недовольно обратился к земле искусанным краем.

Скоро встанет солнце и пойдет колесить путями светил, от одних пределов к другим. Скоро костру превращаться в пепелище. Скоро... Человек улыбнулся. Откуда-то, из черных провалов невозможного, родился бейт:

— Магриб есть Магриб, и Машрик есть Машрик,
и им не сойтись никогда,
Пока не сойдутся небо с землей в минуту Господня Суда...

Бейт вышел странным. Человек готов был поклясться, что никогда не сочинял его. И никто не сочинял; во всяком случае, из известных человеку поэтов. При чем тут Господень Суд, и уж тем более Магриб и Машрик, то бишь Запад и Восток? На ум приходил лишь вислоусый магрибинец, коварный западянин, явившийся к славному Ала-ад-Дину с целью завладеть волшебной лампой. Больше ничего путного на ум не приходило, кроме воспоминаний о собственном учителе грамматики, уроженце Машрика. Так прямо и встало в памяти: гнусавое бормотанье:

— В языке благородных существует три части речи: имя, глагол и частица, причем категория имени включает все склоняемые части речи... А теперь, дети осла, мы пойдем вкушать полуденный сон! — ибо сказал пророк (да сохранит его Аллах и приветствует!): «Соблюдайте полуденный сон, поскольку лишь шайтан в полдень не спит!» Вам ясно, тупицы? Только шайтан... охо-хо-хо...

Где ты теперь, старенький грамматик, знаток падежа «джерр» с окончанием на краткий гласный «и», а также падежа «насб» с окончанием на краткий гласный «а»? Жив ли? Вкушаешь ли сон полуденный? — или ждешь решения у райских ворот, попивая воду заоблачной реки аль-Каутер, сладкую как мед, холодную как снег и прозрачную, как хрусталь?! Утешает ли тебя то, что, войдя в пределы рая, ты станешь ростом в тридцать локтей, подобно нашему пращуру Адаму, и вновь войдешь в первую

пору мужества?! Или тебе в раю будет недоставать детей осла и категории имени, включающей в себя все склоняемые части речи? О, откликнись — где ты?

И где я, твой непутевый ученик, трепанный жизнью больше, нежели кусок бычьей шкуры — голодной собакой; косноязычный поэт, хромой бродяга, шах Кабира, и после смерти обреченный не знать покоя?!

Где я, ответьте, кто я?!

И из темной дали, из песчаного самума и морока тайной пещеры, из безвозвратно утерянного прошлого донеслось гнусаво:

«Аль-Мутанабби... эй, Абу-т-Тайиб, чтоб тебе пропасть и не найтись! Забыл, где находишься?! А ну-ка живо изложи мне основы метрики Халиля Басрийского! Не знаешь? Не помнишь?! О, я всегда говорил, что ты глупее риджля, того растения, чьи корни вечно подмывает вода рек! Только и годен, что рифмоплетствовать, позор рода...»

Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби еще раз улыбнулся и ткнул в костер палкой с завитком на конце, похожим на вытянутую букву вав.

Уймись, огонь!

Мы могли оказаться в этом месте и пробудить тебя к жизни; мы могли свернуть правее или левее; мы могли вовсе не покидать пределов Кабира...

Нет.

Не могли.

И снова заворочался под двумя одеялами самый большой из спутников поэта.

* * *

...допрос Дэва оказался делом сложным; и даже не потому, что Абу-т-Тайиб, если говорить честно, побаивался вкладывать персты в открытые раны, как поступал у людей Евангелия один из апостолов пророка Исы.

Просто Дэв почти ничего не помнил.

Кроме запаха. Густого, сладкого, мускусного запаха, от которого кружилась голова и сладко ныло в паху. Руки помнил, чужие руки, они шарили тут, и еще вон тут... только перед этим он спускался... или не спускался? Забыл, твое шахское, ты уж не серчай на дурня, зверюка я тупая... а руки — помню. Чужие, а ближе родных. И свои руки помню: рвал я что-то, в клочья рвал, драл со всей мочи, а оно противилось попервах, а там и лопнуло; тут рученъки мои клятые гнуть принялись. Звенья цепей; или не звенья, ты прости, шахское твое, плохо мне, и до того плохо, что удавиться бы — да ты не велишь, и Утба ругается! Слыши, Утба, брось смеяться-то, я ж вижу — тебе невесело, а мне-то как невесело, хоть на луну вой! Хорошо мне было, твое шахское, понимаешь?! — так хорошо, что сейчас едва вспомню, и в пот бросает, только от того еще больнее жить, славное ты мне наказание, шахское твое, выдумал — жить и помнить, помнить и жить...

Вскоре Дэв заснул. Прикорнул у софы обиженным ребенком, сунув кулак под волосатую щеку; засопел утробно, иногда всхлипывая и булькая горлом.

Абу-т-Тайиб стоял над ним и вспоминал, как минутой раньше сказал могучему юз-бashi:

— Что ж ты прежде-то помалкивал, сынок? Я б тебе баб этих, гурий райских, дюжину отвалил! Настоящих баб, горячих, гладких — что ж ты молчал, а?!

— Настоящих не хотелось, твое... — уже задремывая, буркнул Дэв. — Гладких... и раньше, в шайке, не... не хр-р-р...

Утба перестал смеяться.

Встал рядом, плечом к плечу, как еще ни разу не становился; и вздохнул.

— Нахид-дэви сбежала в Мазандеран, мой шах, — Гургин сидел на приступочке и вертел в руках цве-

ток гиацинта. Впурь было поблагодарить мага за эту вольную позу, ибо раньше он никогда не садился в присутствии шаха, если на то не поступало отдельного разрешения. А сейчас как почувствовал, хитрец с бородавкой: нет лучшего лекарства Абу-т-Тайибу, чем дружеская простота. — Они все бегут в Мазандеран, в Край Дэвов. Нюхом чуют, куда идти. Хоть Железный Гвоздь из небесной сферы выдерни, хоть стороны света напрочь перепутай — дойдут, найдут... если в пути не сгинут.

— Мазандеран? — машинально спросил поэт. — Где это?

И выяснил для себя много нового. Оказывается, по одним свидетельствам, Край Дэвов располагался непосредственно за островом, населенным змеями величиной с верблюда, которые с утра до вечера восклицают: «Нет бога, кроме Аллаха, единого, не имеющего товарищей; Мухаммад — раб и посланник Его, и пророк мой; правоверные — мои братья, и добро — мой путь!» Едва Абу-т-Тайиб успел заподозрить Гургина в издевательстве, как прозвучали иные свидетельства. Согласно им, в поисках Мазандерана следовало миновать ущелье Вак-Вак, где камни в виде голов злобных дружей и их крик: «Вак! Вак-Вак!» сводит с ума каждого путника; после чего ты попадал в долину, где земля из шафрана, а вместо дров в кострах горит какуллийское алоэ. Но многие предполагали, что Край Дэвов не имеет к этому ущелью с долиной никакого отношения, а искать следует земли Халита и Малита, двух существ, совокупляющихся хвостами, в результате чего и появляются на свет змеи, скорпионы и дэвы-чудовища.

— Хватит, — устало бросил поэт, когда речь дошла до Ворот Слияния Двух Морей. — Так бы сразу и сказал: куда идти, мол, не знаю. И никто не знает: восток ли, запад, Машрик, Магриб — все едино!

— Чего ж знать-то? — Сонный Дэв привстал, не

открывая глаз, и отчетливо махнул рукой в сторону юго-западной стены города. — Тудыть надобно... я ж сказывал — запах...

И опять захрапел.

— Говоришь, нюхом чуют? — оскалился Абу-т-Тайиб. — Хоть Железный Гвоздь из небесной сферы выдерни, хоть стороны света напрочь перепутай — дойдут, найдут?

— Если в пути не сгинут, — безнадежно повторил маг, уже догадываясь, что замыслил шах Кей-Бахрам, самый беспокойный правитель за всю тысячелетнюю историю Кабира.

4

Новая охапка сушняка рухнула в зубы костру. Огненный язык мигом принялся вылизывать добычу, и Абу-т-Тайиб отсел подальше: жарко. Там и вовсе встал. Прошелся к выюкам поклажи. Взял шахский ятаган, которым бился под Арваном, наполовину извлек из ножен, полюбовался прожилками стали, узором тяжкого клинка... Резными накладками из слоновой кости полюбовался, которые отынне украшали рукоять вместо драгоценной мишуры. Он просто не мог оставить оружие во дворце. Выглядело предательством. Так и мерещилось: это не ятаган, это он, поэт-неудачник, веками болтается на ковре, покрываясь невидимой глазу гнилью; это он в битвах рубит, зная — сопротивления не будет, ответного удара не будет, не будет ничего, что сделало бы ятаган подлинным мечом боя, а не игрушкой-украшением или тесаком мясника.

Ношу я тебя не затем, чтобы всех слепила твоя краса,
Ношу наготове, чтобы рубить шеи и пояса.

Живой, я живые тела крушу, стальной,
ты крушишь металл —
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!..

Нет.

Оставить ятаган во дворце, как были оставлены шахский кулах и пояс, казалось совершенно невозможным.

Да и то сказать: проклятие шахства мало зависело от наличия или отсутствия кулаха — даже без них Кей-Бахрама узнавали по ореолу фарра; а иногда — непосредственно по Златому Овну. Оставляй, не оставляй... О Аллах, как же трудно было отвязаться от названого сына, от Волчьего Пастыря, от мальчишки Суришара! Поэт твердо решил не брать с собой в поход на Мазандеран никого, кроме «небоглазых» — тех выродков, которые (это он уже понимал ясно!) не умели видеть сияния фарра. Но Суришар вбил себе в голову, что должен грудью прикрывать владыку от опасностей. Шах-заде и без того корил себя, что в битве под Арваном допустил пленение шаха; в своем упрямстве он дошел до невозможного — почти до открытого сопротивления. И Абу-т-Тайб втайне надеялся, что все-таки, все-таки...

Надежды оказались тщетными.

Суришар утомонился и склонил голову пред желанием повелителя.

Оставшись в Кабире в качестве временного наместника; и при разговоре с глазу на глаз вдруг припомнил занятную подробность. Оказывается, когда хирбеды возили юного шах-заде к пещере Испытания, Гургин проговорился относительно красавицы-хирбеди. Дескать, не один он, старец бородавчатель, уже бывал до того в безымянных горах — Нахид тоже бывала! Задумайтесь, мой государь: с чего бы это молоденьким жрицам кататься туда-сюда по святым местам, будто места эти не святые, а самые что ни на есть грешные, и жрицы не жрицы, а гулены непутевые? На хмурых великанов ездила смотреть? На гулей-людоедов с их боевым петухом?! На храм идола Сарта, попирая ногами веру истинную, владыкой на днях подаренную?!

Прими во внимание, отец названый!

Абу-т-Тайиб принял; и все равно отказался брать Суришара с собой.

Единственное, что шах-заде позволил себе, а поэт не препятствовал, — это проводить обожаемого владыку до границы с Малым Хакасом. Где развернул своих гургасаров обратно, а они поехали дальше: сам Абу-т-Тайиб, мрачный Гургин, рядом с которым веселый Утба смотрелся и вовсе пустосмехом — а за ними ехал молчаливый Дэв, примостив поперек седла свое любимое копьецо, уже прозванное злопыхателями «Сестрой Тарана».

Многие добавляли: «Родной сестрой...»

Иногда Дэв пинал конские бока каблуками и вырывался вперед. Он долго втягивал ноздрями воздух, вертел огромной головой, и вид у него в такие минуты был — хоть сразу в сказку. Потом метания прекращались, исполин наконечником копья указывал путь; и все без лишних вопросов следовали туда, куда обращалось жало «Сестры Тарана». Впрочем, и помимо Дэвова нюха были свидетели пути Нахид-дэви в Мазандеран — только в их историях бывшая хирбеди звалась Красной Дэвицей, кровавой ведьмой.

Дихкане, чей хлев ночью оказался разрушен, а молочная буйволица утащена невесть куда.

Пастухи, чьих овец пожрало волосатое чудовище, предварительно задушив троих матерых катьярцев — собак, в одиночку бравших волка.

Охотники, сдуру возомнившие себя легендарными богатырями; двух таких богатырей родичи успели оплакать, припадая к останкам, а третьего Красна Дэвица уволосила с собой, и тело бедняги найдено не было.

Рыбаки из селений на берегу мутной Сузы, отдавшиеся легким испугом и пропажей корзин с частью дневного улова.

Красна Дэвица шла в Мазандеран, и по ее сле-

дам, повинуясь копью бывшего душегуба и воплям пострадавших, шел шах Кабира.

Абу-т-Тайиб и сам плохо понимал, зачем он это делает; верней, не хотел признаться самому себе, что есть причина и кроме скрытой вины перед беднягой Нахид. Как-то Суришар обмолвился, будто за пределами Малого Хакаса живут тупые горцы, которых Огнь Небесный наградил слепотой.

В смысле, они не видят божественной благодати фарра.

Е рабб, не счастье ли, не великая ли милость: оказаться вместе с тремя «небоглазыми» в окружении тупых горцев, лишенных этакой благодати?

Глава вторая,

*где невозможное становится возможным, небывалое —
бывалым, незримое — вполне зримым, и даже слишком,
но абсолютно не приводится знаменитое изречение
пророка (да благословит его Аллах и приветствует!):*

*«Самый великий враг твой — душа твоя,
которая меж твоих боков!»*

1

— ...Нам точно сюда, Дэв? — в третий раз переспросил поэт.

Ну не нравилось ему это ущелье, не нравилось — хоть навали вместо скал сахарных леденцов-кандов, а все равно с души воротит! И ведь понимал же: скорее всего Дэв прав, им именно сюда — до сих пор Худайбек ни разу не ошибся в выборе пути; и другой дороги все равно нет, разве что назад; все он понимал, упрямый поэт, все принимал и хмурился грозовой тучей, потирая седловину носа заново выросшими пальцами.

Может быть, потому что не было другой дороги, и не нравилось Абу-т-Тайибу это ущелье.

— Сюда, твое шахское, сюда. Чую я... — в третий раз повторил Дэв.

Утба криво усмехнулся, вызывающе подбоченясь в седле — дескать, нам-хургам хоть в Верхнюю Степь, хоть в Нижнюю Крепь, все едино!.. а Гургин промолчал. Магу тоже не нравилось ущелье, до ломоты в костях, до душевной дрожи; но он, как и шах, понимал — другого пути все равно нет.

Поэт помедлил еще чуть-чуть.

Тропа раненым барсом уползала вниз, в вечную сырость сумрака. А над ней смыкались дверными створками, отсекая небо, серо-желтые зубцы скальной крепости, и широкие трещины скалились ухмылками черепов, щерили гнилые клыки: поезжайте, слякоть человеческая, поезжайте! А мы посмотрим сверху и посмеемся — как-то вы отсюда выберетесь?!

Абу-т-Тайиб мотнул головой, отгоняя стаю на доедливых слепней-мыслей, уже готовых оформиться погребальной элегией, и решительно направил свою кобылицу в ущелье.

Та шла неохотно, то и дело косясь на безрассудного седока — но шла.

— Вперед, Наама! — строго крикнул поэт, и кобылица прибавила шагу; а в ревности она не уступала своей незабвенной тезке из тех песков, куда не было возврата.

Скалы лениво росли вверх, возносясь на голо-вокружительную высоту, промозглая тьма сгущалась вокруг, так и норовя стать тьмой кромешной; уши закладывало, отчего поминутно приходилось сглатывать слюну, вязкую, как после доброй порции насыпая, тертого табака с пережженной известью, золой и конопляным маслом. Гулко отдавались от щербатых стен удары копыт о тропу, наполняя теснину грохотом: словно не четверо, а добрая сотня всадников двигалась сейчас в расселине, поражаясь собственной дерзости и с опаской поглядывая на тяжкие громады над головой — а ну как оползень или лавина?!

Не уйти ведь, хоть наизнанку вывернись...

Кони боязливо фыркали, пугаясь рева дальних, невидимых отсюда водопадов, скользили копытами по гладкому, словно отполированному камню, приседали на задние ноги — в итоге всем четверым пришлось спешиться, ведя дальше животных в поводу.

Они миновали середину ущелья; верхушки скальных разломов начали потихоньку отползать прочь, в стороны, край солнечного диска приподнялся над южной оконечностью хребта, превратив теневые склоны в мириады взглядов «небоглазых» — такой голубизной вдруг вспыхнули они; тропа стала шире...

— Что языки проглотили?! — обернулся Абу-т-Тайиб к примолкшим спутникам. — Вон за тем поворотом можно будет вновь сесть в седла. Кажется, сподобил Аллах (славен Он!) выбраться из этой шайтановой задницы!

В ответ шайтан, как и подобает Противоречащему, отродью непослушания, издевательски пустил ветры.

И грохот камнепада ударил в уши, мигом прочистив их лучше любого сглатывания.

Угловатые глыбы гневом Господним обрушились сверху, с совершенно безобидного на первый взгляд карниза. В первое мгновение все растерялись, но промедление грозило гибелью, не забыв об этом уверить со всей определенностью. Огромный обломок упал и раскололся, забрызгав крошкой сапоги Абу-т-Тайиба: не обернись поэт, желая подбодрить своих спутников, сделай еще шаг вперед — и пришлось бы кабирским хирбедам срочно искать замену безвременно раздавленному шаху!

Сюда б небось и поехали: в безымянные горы, пещеру Испытания искать!

Истошно заржала кобылица Наама — чтобы тут же рухнуть на тропу с перебитым хребтом, разделив печальную судьбу арабской тезки. Видать, неудач-

ное имя хуже злой судьбы, висит гирей, на дно тянет...

— Под скалу! Быстро! — с неожиданной властью рявкнул Гургин.

Камни продолжали с грохотом валиться на тропу, погребая под собой уже двух мертвых лошадей (вьючная не вовремя шарахнулась в сторону, почти сразу сломав ногу, а там и шею). К счастью, вся четверка путников, сдержав насмерть испуганных животных, успела вжаться в шершавую нишу, переводя дух и пережидая смертоносный базальтовый ливень. Дэв, морщась, трогал окровавленное плечо — его таки успело зацепить краем. Кому другому после такой ласки пришлось бы хвастаться десятком переломов, а Худайбег только гонял желваки на скулах да хрипло цедил сквозь зубы кипяток разбойничьей ругани. Ну, рассадило сгоряча; ну, кривоточит; ну, больно — понятное дело, не халат с шахского плечика, а лохмотья с собственного...

Ерунда, в общем.

Грохот камнепада стих так же внезапно, как начался. И в оглушительной тишине, затопившей теснину ватным обвалом — даже кони бросили ржать, словно прислушиваясь, — стал отчетливо слышен шорох осыпи мелкого щебня.

Остатки убийственного ливня? — ничуть не было!

Кто-то спешно спускался к ним по узкой расщелине, уходившей вверх совсем рядом.

2

— Это она, — с мертвым спокойствием, почти отрешенно, бросил Дэв.

— Она? Нахид? — не удержался Абу-т-Тайиб.

— Говорю — она, твое шахское, — юз-бashi угрюмо кивнул, поудобнее перехватывая любимое «кольецио».

— Мастерица западни рыть... умница, — хмуро подытожил Гургин, бочком отодвигаясь подальше от расщелины.

И правильно сделал: нечего старику в драку лезть — толку, как от свиньи святости, а пришибить могут запросто!

Волосатый комок ярости, рыча камышовым котом-подранком, шлепнулся сверху — и проворно отпрянул, когда в небесной сини взгляда Красной Дэвицы, в мечущей молнии вышине отразился блеск трех лезвий: «копьеца» Худайбега, секиры Утбы и шахского ятагана.

Существо, бывшее некогда юной Нахид-хирбиди, попятилось — и Абу-т-Тайиб отчетливо увидел, что превращения бывшей жрицы продолжились. Из-под грязных лохмотьев, оставшихся от одежды, клочьями торчала рыжая шерсть, руки и ноги бугрились просто ужасающими узлами мышц, которым, пожалуй, иной лев позавидует; да и в лице (если только это еще можно было назвать лицом) появилось нечто звериное, хищное: переносица просела еще больше, выворачивая ноздри наружу, верхняя губа вздернулась, обнажая желтоватые клыки...

Абу-т-Тайиб смотрел, не в силах оторвать взгляда. Так зачастую неожиданное, странное уродство завораживает нас больше самой совершенной красоты. Поэт не испытывал отвращения или страха — он с удивлением поймал себя на жалости, обжигающей жалости, каленом железе в сердцевине души. Где ты, дерзкая порывистая девчонка, которую я испытывал большим испытанием, под звон строк великого слепца Рудаки?! Навеки ли погребена под жуткими буграми мышц и рыжими космами Красной Дэвицы?! Неужели ничего нельзя сделать?! Неужели тебе не быть прежней — и правильней будет отпустить тебя с миром в проклятый Мазандеран, где прячутся хищные ответы на вопросы, так и норовя загрызть любопытного?!

Е рабб, что же делать?

Но оказалось, что пока Абу-т-Тайиб предавался бесплодным рассуждениям, верный Дэв уже начал действовать. Правда, действовать по-своему: осторожно, стараясь не спугнуть, он приближался к Нахид, бормоча что-то ласково-успокоительное, вроде:

— Не боись, махонькая! Не боись, говорю... Дэв не обидит, Дэв хороший!.. и ихнее шахское — хорошее, и даже Утба ничего, а что топор у Утбы, так мало ли, хорошее — оно завсегда хорошее, хошь с топором, хошь с кулаками... Ну иди, иди сюда!..

При этом Худайбег, как бы ненароком, перекрывал Красной Дэвице путь к отступлению.

Нахид-дэви слушала воркотню приближающегося исполина, склонив набок косматую голову и то и дело настороженно зыркая в сторону остальных путников. Дэва она, похоже, совсем не боялась, несмотря на его «копьецо», которое Худайбег умудрялся держать так, что древко «Сестры Тарана» перегораживало чуть ли не пол-ущелья.

По лицу Дэва стекали крупные капли пота, багровые пятна простирали на щеках; это напоминало преддверие приступа, того, былого припадка, когда на спасенного душегуба впервые надели сотничий пояс и кулах. Только сейчас Абу-т-Тайиб осознал, насколько парню тяжело в эту минуту. Внутри него пробуждался от спячки молодой дэв-самец, увидевший рядом вожделенную самку, которой, возможно, уже однажды обладал. «Хорошо мне было, твое шахское, понимаешь?! — так хорошо, что сейчас едва вспомню, и в пот бросает, только от того еще больнее жить, славное ты мне наказание, шахское твое, выдумал — жить и помнить, помнить и жить...» Самке грозила опасность — ее надо было спасать от людей, уводить подальше... Но Дэв-человек, Худайбег аль-Ширвани, «пятнадцатилетний курбashi» и преданный пес шаха Кей-Бахрама, из

последних сил сдерживал просыпающегося в нем самца, вцепившись в зверя невидимыми руками, выполняя свой долг, пытаясь задержать беглянку. Сейчас к Нахид приближались они оба — дэв и человек, хищность и преданность, похоть и долг, на-мертво слитые в одном теле, отталкивая друг друга в сторону — и все больше становясь друг другом, все больше, все...

— Худайбег, опомнись! — Вопль вырвался из груди Абу-т-Тайиба сам собой, непроизвольно; а в следующее мгновение стало ясно, что поэт зря это сделал!

Нахид-дэви затравленно дернулась при звуке его голоса, вжалась бугристой спиной в скалу — и скала неожиданно поддалась, потекла каменной лавой, киселем, жидким маревом, серой пеленой тумана...

Нахид с чавкающим всхлипом ушла в скалу, в глубь камня, и Худайбег, забыв обо всем, кинулся за Красной Дэвицей. Зыбкое озеро, возникшее на месте шершавого базальта, легко пропустило Дэва, смыкаясь за ним Иблисовым издевательством — а кинувшийся следом Утба налетел на несокрушимую крепость, упал и зашипел гадюкой по-харзийски, сидя на тропе и машинально растирая ушибленное колено.

Абу-т-Тайиб осторожно приблизился.

Нет, скала не застыла окончательно. Сейчас ее поверхность походила на мутное зеркало, по которому время от времени пробегала легкая рябь, как по озерной глади от дуновения ветра.

Худайбег и Нахид-дэви были там, внутри.

Внутри?

3

Абу-т-Тайиб взгляделся внимательнее и охнул от изумления. Там, дальше, по ту сторону зыбкой пропоны, простирался целый мир, и мир этот был до

били знакомым: бескрайнее море песка, вздымаемого застывшими волнами барханов, чахлые кустики верблюжьей колючки, выцветшая окалина небосвода со слепящим бельмом солнца в зените...

А потом поэт увидел дэвов. Теперь он хорошо представлял себе, какими должны будут стать Худайбег и Нахид, когда их превращение завершится.

Эти трое казались великанами даже по сравнению с юз-бashi и хирбеди-расстригой! Если Нахид, и особенно Худайбег, еще были вполне похожи на детей Адама, то эти скорее походили на потомков племен Ад и Самуд, истребленных Аллахом за непомерную гордыню. Утесы сдвинулись со своих исконных мест, самум во плоти решил прогуляться в компании себе подобных, встали на дыбы слоны в течке (разве что без хоботов, и уши поменьше; а так — слон себе и слон, хоть нынче на погрузку!)...

Или это кисель сошедшей с ума скалы искажает очертания?!

Или это я рассудком тронулся?!

Три дэва встретили Нахид буквально с распростертыми объятиями — и Красна Дэвица поспешила укрыться за их могучими фигурами; так ребенок, убегая от старших мальчишек, прячется за спины родителей. Утесы в серых колтунах неторопливо пришли в движение, оборачиваясь навстречу бегущему к ним Худайбегу; один из дэвов раскорячился, нагнулся, поднял валун размером с добрую конскую тушу — и в этот момент за гигантами взметнулась пыль, блеснули малые зарницы...

Абу-т-Тайиб не видел и не слышал ничего вокруг себя, прикипев взглядом к прозрачной стене, за которой события вдруг понеслись вскачь. Он знал, чувствовал, что бессилен прорваться туда, домой, в выжженную зноем пустыню, в Степь Копьеносцев, бессилен что-либо изменить — он просто стоял и смотрел. Не ведая, что совсем рядом Гургин торопливо бормочет какие-то молитвы-за-

клиниания; что Утба, на удивление серьезный, забыв об ушибленной ноге, помогает хирбеду разжечь ритуальную жаровенку, неизвестно откуда извлечённую старцем. Гургин и Утба торопились — явно не успевая... чего не успевая?

Куда не успевая?!

Поэт не знал этого. Он стоял и смотрел как завороженный.

Откуда-то из-за спин дэвов вывернулся всадник — уккаль плещет на ветру, тонконогий пегий скакун брызжет пеной, узкий шамшер в руке грозит смертью всему живому, будь ты враг, будь ты джинн, будь ты ангел Божий! Всадник радостно оскалился (Абу-т-Тайибу даже не пришло в голову удивиться: как такие подробности удается рассмотреть на немалом, надо сказать, расстоянии); и клинок шамшера указал на шарахнувшуюся прочь Красну Дэвицу. Каменные дэвы задвигались... тот, что с валуном, выпрямился... сабля повисла в воздухе над головой Нахид...

Звуков поэт не слышал: они глохли, не проникая сквозь призрачную вуаль. Но от яростного рева Худайбега, казалось, дрогнула сама земля — и в том, и в этом мире! Всадник замешкался всего на мгновение, но этого неуловимого мига Дэву хватило, чтобы одним огромным прыжком оказаться рядом и, еще в полете, не успев коснуться песка, насквозь пронзить бедуина своим чудовищным «копьем»! Сабля выпала из руки кочевника, а Дэв, взмахнув копьем с насаженным на него человеком, отшвырнул труп далеко в пустыню.

Страшная картина замерла, превратясь в творение безумного скульптора-гяура — а потом от ближайших барханов к дэвам ринулись всадники.

Тут уж двуногие слоны не оплошали. Пригодился и чудо-валун, подобранный одним из них; у другого обнаружилась суковатая дубина совершенно неимоверных размеров — куда поболе Худайбего-

вой «Сестры Тарана»! Третий же, похоже, всецело полагался на собственные кулаки — и не без оснований! Нашлось дело и для расстриги-хирбеди; но, вопреки здравому смыслу, основной боевой силой в этой пятерке оказался Худайбег аль-Ширвани, весьма похоже изображая ветряк, уже знакомый Абу-т-Тайибу по битве под Арваном. Только ветряк этот сам гнал во все стороны кровавый хамсин, ветер гибели, чьи порывы жарко секут песчаной пылью живую плоть, и унесенные ветром тела бедуинов рушились в песок, щедро орошая его багряным соком, а души возносились...

В общем, уже не важно — куда; тем более об участии душ один Аллах (слава Ему!) ведает!

И лишь один бедуин замер поодаль, не участвуя в битве. Сидя на вороном коне и уперев в землю древко длинного копья, человек сей, лет уже немалых и лицом черный (хотя и посветлее коня), застыл эбеновым изваянием, устремив невидящий взгляд в одному ему ведомую даль — и до поэта не сразу дошло, что человек смотрит *на него, Абу-т-Тайиба Аль-Мутанабби!*

Бедуин видел! Видел сквозь немыслимую толщу фарсангов и событий его, Абу-т-Тайиба — и, на мертво застряв меж «возможно» и «невозможно», поэт увидел себя глазами незнакомца.

Колдовское марево делало очертания искаженными, расплывчатыми — и мнилась бедуину внутри туманного кокона громада кряжистой фигуры, окруженнная сияющим ореолом! Воистину порождение огня, царь джиннов и владыка дэвов явился сюда, дабы наслать на вольные племена своих жутких слуг с руками-граблями, слоновыми ногами и глотками, реву которых завидуют львы в пустыне!

Таким видел его замерший в седле бедуин, и зрелище это сковало темнокожего всадника по рукам и ногам; братом-двойником застыл и сам Абу-т-Тайиб, наблюдая за битвой по ту сторону магичес-

кой преграды. А бой продолжался, вскипал кровавой пеной, и нападавших становилось все меньше и меньше: копья с легкими саблями попросту ломались о гранитную плоть великанов-дэвов, в то время как любой достигший цели удар чудовищ оказывался роковым.

Бедуины сражались с дэвами. Люди, возможно, даже земляки или соплеменники Абу-т-Тайиба — с косматыми чудовищами. Но, странное дело — сейчас поэт всем сердцем желал победы именно чудовищам; потому что на стороне чудовищ сражался верный Худайбег, и там же была Нахид, которой поэт все еще надеялся каким-нибудь чудом вернуть человеческий облик; да и остальные три дэва пальцем не трогали кочевников, пока те сами не решили посягнуть на чужую жизнь!

Сомнительно, чтобы влияние пресловутого фарра простирилось и по ту сторону шайтановой скалы; дважды сомнительно, что небеса вняли пожеланиям шаха Кей-Бахрама — но факт налицо: все пятеро дэвов были до сих пор живы. Ни один из них не был даже серьезно ранен, в то время как ряды атакующих стремительно таяли.

Неожиданно темнокожий всадник очнулся, вскинул свое копье и с места рванул в галоп. Он явно решил наконец принять участие в сражении, все больше походившем на бойню. Глаза воителя загорелись бешеным огнем, эфиопские губы расплзлись, выплевывая слово за словом — и вдруг Абу-т-Тайиб услышал.

Услышал!

О, меня счастливей нету! Я, как звонкая монета,
Как небесная планета, вечной славе обречен!

По отцу я — лев пустыни, племенных шатров святыня,
А на кличуку «Сын рабыни» отвечать привык мечом!

Вместе с чеканными, яростными бейтами на Абу-т-Тайиба обрушился шум боя: коñское ржание, топот копыт, звон стали, рев дэвов, крики раненых

ных... Но поэт не вслушивался, не вглядывался — он перебирал чужие слова, как нищий перебирает горсть медяков, не в силах поверить случайному богатству. Где-то он уже слышал подобные строки, двустишия со слегка старомодной рифмовкой, откуда-то они были известны человеку по имени Абу-т-Тайб аль-Мутанабби!..

А потом время стихов закончилось, и наступило время крови, и тишина вновь отсекла битву от поэта невидимой стеной.

Черный всадник налетел на Дэва, ударив его на всем скаку копьем в грудь. Абу-т-Тайб закричал — и поперхнулся собственным криком: копье сломалось гнилой тростинкой. Дэв в ответ отмахнулся своей оглоблей, но всадник оказался умелым поединщиком: он успел уклониться, одновременно заставив кривую альфангу покинуть ножны. Казалось, все кончено: сейчас голова Худайбега кубарем покатится в песок, на радость бедуинам; однако в последний момент толстенное древко Дэвового «копьца» непостижимым образом оказалось на пути альфанги — и синяя сталь разлетелась в куски.

Бедуин резко подал коня назад, развернулся и поскакал прочь — а за ним последовали остальные уцелевшие кочевники. Их оказалось совсем немного.

Вскоре всадники скрылись за барханами, и Абу-т-Тайб наконец перевел дух. В голове прочно засели те два байта, которые выкрикнул бедуин с явной примесью эфиопской крови. Поэт был уверен, что уже слышал их раньше, и теперь надо вспомнить, обязательно вспомнить... Почему-то это казалось ему очень важным. Но память-насмешница изворачивалась скользким угрем, выскальзывала из хватки рыбака-разума — а дэвы тем временем, проводив всадников тяжелыми взглядами и коротко посоветавшись между собой (использовались в основном жесты, но Абу-т-Тайб все равно так ничего и не

понял), дружно побежали вразвалочку к призрачной завесе.

Вместе с Худайбегом и Красной Дэвицей.

Абу-т-Тайиб невольно посторонился, спеша убраться с пути великанов — но первый из каменных дэвов вдруг свернулся в сторону, воздух вокруг него задрожал, потек молочной сывороткой — и дэв исчез как не бывало! Следом за ним исчез второй, третий, Нахид-дэви...

Последним, виновато оглянувшись, скрылся Худайбег.

Почти сразу колдовской кисель, сквозь который смотрел поэт, начал быстро уплотняться, твердеть; и вот перед шахом со спутниками — обычная скала, какой она была от сотворения мира и до того момента, когда началось все это Иблисово наваждение!

Вот только ни Нахид, ни Дэва в ущелье уже не было.

— Опоздал, гори оно Огнем Небесным! — сокрушенno выдохнул Гургин и плонул с досады, чего раньше за почтенным старцем никогда не водилось.

* * *

...Звезды ободряюще подмигивали сквозь прорехи ночного покрыва, таинственно мерцали красивые глаза углей под толщей седого пепла, вторя звездам из недр угасающего костра — а Абу-т-Тайиб все сидел и сидел, вперив невидящий взгляд в темноту.

Но видел он не костер, не небо и не смутные тени возвышавшихся кругом скал. Перед взором поэта вновь и вновь распахивалась желтая, покрытая рябью барханов пустыня, выжженное безжалостным солнцем блеклое небо, глупый, бессмысленный бой — и припавший к шее коня чернокожий бедуин-полукровка, с губ которого срываются строчки, стрелы, бейты восхваления:

...По отцу я — лев пустыни, племенных шатров святыня,
А на кличку «Сын рабыни» отвечать привык мечом!

Е рабб, как же я мог забыть?!

Антара Абу-ль-Фаварис, гордость славных времен джахилийи, Отец Воителей, от одного имени которого содрогались стены Рума! Антара ибн Шаддад, сын шейха абситов от рабыни-эфиопки, раб по происхождению, воинской доблестью заставивший гордого отца включить чернокожего ублюдка в племенную родословную! Антара-Губошлеп, великий боец, взбалмошный герой, живая легенда Бену Абс — и прославленный в веках поэт, чья муаллака была подвешена на священной Каабе, певец, которому сам Абу-т-Тайиб временами завидовал черной завистью; черной, как кожа бросившегося в атаку бедуина; черной, как кожа легендарного Антары, которому принадлежали эти стихи!

Тот, с кем мечталось ехать бок о бок в походе и набеге, с кем имело смысл состязаться в красноречии и остроте копья... сбылись мечты глупца!

Но как же страшно и как же странно сбылись они, о Аллах, всемилостивейший и милосердный! — не лучше ли было мечтам оставаться мечтами, жизни — жизнью, а смерти — смертью, и только смертью?!

Конечно, отчаянный бедуин вполне мог попросту цитировать бейты своего любимца и кумира... Мог. Только вряд ли. Абу-т-Тайиб хорошо знал по себе: если в бою и находит на человека красноречие — то это его, только его слова и рифмы, они сами вырываются из неведомых глубин души вместе с молниеносными ударами, несущими смерть.

Тут уж не до цитат, даже если цитата — к месту...

Опять же, Антара Абу-ль-Фаварис, судя по сохранившимся описаниям, был чернокож, сухощав, пылок нравом до самой старости и всегда возглавлял отряды бедуинов в многочисленных набегах и стычках. Да и черный орел на копейном значке...

символ Бену Абс. Абу-т-Тайиб напряг память и тихо, нараспев, продекламировал строки из книги «Сират Антара», которую уже не первый год писал его старый знакомец аль-Асмаи, собирая по крохам легенды, предания, стихи...

Многие куфийцы и дар-ас-саламцы утверждали единодушно: сказителя аль-Асмаи прекрасно помнили их деды и прадеды, этого плешивого хитреца трижды хоронили при великом стечении народа (первый раз — за шестьдесят семь лет до рождения самого Абу-т-Тайиба), анекдоты про пута аль-Асмаи давным-давно сделались достоянием крылатой молвы — а он все нарушал запрет пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) на вино и составлял свою «Сират Антару»!

Утверждая, что герой его повествования, Антара Абу-ль-Фаварис, прожил шесть сотен лет, а ему, певцу, негоже отставать — и, значит, книгу аль-Асмаи закончит (когда бы вы думали?) к пятисотлетию бегства Мухаммада, юбилею правоверных!

Помнишь ли, старый приятель, свои удивительные заверения; помнишь ли и эти строки?

«...и вдруг, когда они приблизились к долине Сарих, перед ними появились пятеро великанов такого огромного роста, как будто они были из проклятого народа Ад и Самуд. Большеголовые, пучеглазые, рты у них были огромные, ноги — как корабельные мачты, а руки походили на вилы. И рычали те великаны подобно грому, а видом напоминали разъяренных львов...»

...но не успел Гадбан, сын Антары, закончить свою речь, как налетел на него один из страшных великанов и ударил его копьем в грудь, и оно вышло, сверкая, из его спины. А потом он поднял Гадбана на копье и бросил вниз, и Гадбан остался недвижимым на лице земли...

...очнувшись наконец, Антара налетел на первого

из пятерых великанов и ударил его копьем в грудь, но копье сломалось. Тогда Антара выхватил меч из ножен и ударил им великана — но меч отскочил и согнулся. Тогда Антара в страхе повернул коня...»

Все сходилось почти в точности, а что не сходилось — так за столько лет сказители и переврать могли!

Ведь, если верить легендам, неистовый Антара слагал бейты и ходил в набеги еще задолго до рождения пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!) — более пяти веков тому назад!

О, меня счастливей нету! Я, как звонкая монета...

Глава третья,

в которой один шах встречается с другим шахом, спасая последнего от злобного барака, дэвы-используются в качестве выночных лошадей, а вокруг тем временем происходит немало странных вещей, но при этом остается совершенно непонятным, где все-таки находится этот пресловутый Мазандеран, куда в итоге попадают путники!

1

...и тогда Имр-уль-Кайс спросил Антару:

— О Отец Воителей, скажи мне, сколько ты знаешь названий и прозвищ меча?

И Антара ответил:

— Слушай и запоминай, что я скажу: он называется Меч, Беда, Суровый, Повелитель, Прямой, Гибель, Смерть, Блеск росы, Быстрый, Великий, Острый, Полированный, Блестящий, Благородный, Посланец смерти, Вестник гибели, Ветвь, Покорный, Лезвие, Прекрасный, Бодрствующий, Горделивый, Решающий, Нападающий, Послушный, Ровный, Режущий, Кончина, Судьба, Честный,

Верный, Начало, Конец, Разящий, Гнев, Плачущий кровью, Рассеивающий горе, Мужественный, Закаленный, Отсекающий, Синий, Цветущий, Возвеличивающий, Стирающий, Разделяющий, Чудо, Истина, Путь, Разящий героев, Друг, Заостренный, Отточенный, Кровавый, Защитник, Светлый, Услада очей, Уплата долга, Проливающий кровь, Губительный, Товарищ в беде, Владыка змей, Жаждущий — вот немногие имена и прозвания меча, о Имр-уль-Кайс!

И тогда Имр-уль-Кайс, прозванный Скитающимся Царем, спросил Антару:

— О Отец Воителей, а какую именно муаллаку, сложенную тобой, ты хочешь подвесить в святом месте?!

И Антара ответил:

— Слушай и запоминай слова мои!

После чего возопил гласом громким, душу потрясающим и нанизывающим сердце на острый вертел:

Подобен сверканью моей души блеск моего клинка:
Разящий, он в битве незаменим, он — радость для смельчака.

Как струи воды в полыханье огня, отливы его ярки,
И как талисманов старинных резьба, прожилки его тонки.

А если захочешь ты распознать его настоящий цвет,
Волна переливов обманет глаза, будто смеясь в ответ.

Он — тонок и длинен, изящен и строг; он —
гордость моих очей,
Он светится радугой, он блестит, струящийся, как ручей...

Но тут Отца Воителей прервали самым бесстыдным образом.

— Эй, уважаемый! — вдвоем громче певца заорал Абу-т-Тайб, потрясенный таким вопиющим безобразием, от которого волосы на теле вставали дыбом. — Да-да, ты, эфиопская твоя мать! Что это ты распеваешь, я тебя спрашиваю?! Это же не твоя муаллака, это моя касыда! Наловчились, понимаешь, чужим языком похлебку плямкать; мало того — еще

и померли во тьме язычества, так и не узнав истинной веры, а туда же...

— А ты, собственно, кто такой будешь? — без особого интереса осведомились Отец Воителей и Скитающийся Царь.

— Я?! Я кто такой?! Это вы кто такие, похитители чужих бейтов?!

— Ты его знаешь? — обратился Имр-уль-Кайс к Антаре Абу-ль-Фаварису, как если бы они были наедине.

Чернокожий отрицательно покачал головой: впервые, мол, вижу наглеца!

И тут Абу-т-Тайб не выдержал...

* * *

— ...Просыпайся, владыка, у нас гости!

Знакомый голос весело звенит над ухом, хургский акцент отзывается секирной сталью — и поэт не сразу понимает: где он, и что с ним? Ведь минутой раньше они со славным Антарой Абу-ль-Фаварисом и Скитающимся Царем, помирившись и исполнившись вдохновения, вели изысканный поэтический диспут, приговорив на троих кувшин запретного вина, затем баловались иджазой — поэтическим состязанием, где следует по очереди импровизировать строку за строкой на заданную тему; а после весело рубили каких-то наглецов, осмелившихся помешать беседе трех поэтов и требовавших от златоустов облобызать копыта вонючего барана...

Сон?!

Увы, всего лишь сон, воплощение самой заветной из грез; видимо, поэтому, открыв глаза, Абу-т-Тайб еще долго путался в домыслах: проснулся он уже, или виденье продолжается, лишь непредсказуемо изменив свои очертания?

Вокруг стенами злополучного ущелья нависали серые, пегие, рыжие утесы, сплошь поросшие мхом, шерстяным лишайником, космами и колтунами;

проморгавшись, удалось обнаружить на вершинах утесов жутковатого вида скалы-головы, не то чтобы совсем нечеловеческие, но...

«Дэвы!» — дошло наконец до поэта.

И вот как раз в проклятый Аллахом момент просветления, когда оная мысль озарила разум Абу-т-Тайиба, окончательно изгоняя остатки сна, кто-то растолкал в стороны утесы дэвьих тел — и перед поэтом возник сияющий Худайбег аль-Ширвани собственной персоной.

Поэту показалось, что могучий юз-бashi за время отсутствия заматерел окончательно, надбровные дуги еще больше выперли вперед, лоб навис над переносицей сторожевой башней — хотя времени-то прошло всего ничего! Но перед ним, вне всякого сомнения, был Дэв, причем довольный, как блудливый кобель после случки!

— С добрым утрецком, твое шахское! Ты эта... извиняй, что я пропал пропадом! — Дэв виновато потупился и обеими лапами стал рьяно чесать шерсть на груди. — Зато теперь нам до этой твоей... Маздай-Дыра, да? Или как ее? (Дэв за все время пути так ни разу и не смог произнести правильно слово «Мазандеран».) В общем, тут рядышком! Парни отведут!

И Худайбег гордо кивнул на столпившихся вокруг дэвов.

А парни закивали кошмарными головами: все, мол, верно, отведем!

— Это ты уродов привел? — осведомился поэт, тщетно пытаясь схватить разбегающуюся отару мыслей. — Зачем?

— Ну... привел дихканин чауша, а тот его когтем за задницу... они и сами шли! Говорят, мол, к шаху хотим! — нашелся наконец Худайбег. — Любим, мол, ихнее шахское, но странною любовью! Шах — хорошо!

— Ясное дело, хорошо! — буркнул Абу-т-Тайиб, поднимаясь на ноги и с недоверием оглядывая

толпу великанов. — Особенno когда жареный шах, на вертеле. Или тущеный, в подливе из фиников с черемшой.

В мозгу так и вертелось пьяным бредом: валуны размером с коня, бойня, гибель бедуинов...

— Зачем обижаешь, твое шахское?! — возмутился юз-бashi, от огорчения вырывая пряди волос и осыпая ими повинную голову. — Зачем такое говоришь, а?! Парни тебя любят! Все! Живьем любят! Как я!

Дэвы, которые явно прислушивались к разговору, опять согласно закивали: все, мол, верно, любим, как он! — и один из гигантов даже робко дотронулся до шаха пальцем, словно проверяя: настоящий ли? не поддельный?! Но тут же, вместо того чтоб и на зуб попробовать, боязливо отдернул руку — словно боясь ожога.

Проклятье! — неужели фарр и у дэвов душу выворачивает?!

Стоило тогда бежать за семь фарсангов машущу хлебать...

Замерев рядом в почетном карауле, Утба настороженно рыскал взглядом по сторонам, не выпуская из рук свою любимую секиру. Зато Гургин был совершенно спокоен, всем своим видом показывая: «Все самое плохое, что могло случиться, уже случилось, мой повелитель! Так о чем теперь беспокоиться?!»

— А-а-а-а!!! Мой, мой фарр! Отдай, плут!

Сперва прозвучал вопль: ни дать ни взять, коту хвост подошвой сапога оттоптали.

Затем откуда-то из-под ног дэвов ужом вынырнул носатый карлик, облаченный в засаленную, но, несомненно, дорогую, кабу — синюю с золотым шитьем; кроме кабы, на карлике были драные шаровары, цветастый тюрбан и остроносые кауши, в которых не по горам — по собственной спальне перед женами расхаживать!

При ближайшем рассмотрении карлик оказался отнюдь не карликом, а вполне обычным (касательно размеров) мужчиной; это если сравнивать не с тупыми исполинами, а с Абу-т-Тайибом, которого сей горлопан был ниже всего на полголовы!

Что же касается поведения, то тут обычным дэвьего шута назвать было никак нельзя.

Язык не поворачивался.

— Фарр! Мой фарр! Вор! Держи вора! — Лунным Зайцем запрыгал «карлик» вокруг поэта, не подходя, однако, слишком близко.

— Юродивый, что ли? — покосился на него Абу-т-Тайиб.

И решил пока не отвечать на странные выходки повредившегося умом незнакомца.

— Кто этот Аллахом обиженный? — вполголоса поинтересовался он у Худайбега.

Юз-бashi лишь пожал плечищами: мол, живет здесь, в этой самой Манзан-Дурак, а кто такой — откуда мне знать?

Впрочем, ответ прозвучал.

Ответ внятный, доступный вся кому, знакомому с человеческой речью; если только не принимать в расчет, что голос хирбеда Гургина звенел от напряжения и был готов в любой момент лопнуть.

— Это Кей-Кобад, мой повелитель, — сказал маг. — Это бывший шах Кабира.

2

Поначалу Абу-т-Тайибу показалось, что он ослышался.

Или Гургин свихнулся, устав от злоключений и потрясений.

Или...

— Я — Кей-Кобад! — гордо подтвердил носатый «карлик», выпятив грудь и снизу вверх, но в некотором смысле свысока оглядывая своих чудовищных

приятелей. — Я не бывший! Я — шах! Вот мой фарр! — И он указал на Абу-т-Тайиба обличающим жестом; так купец указывает городскому судье на воришку, который стянул с прилавка отрез шелка на глазах у дюжины свидетелей. — Вор! Ты его украл! Верни немедленно! Мы повелеваем!

И тут поэт захочат. Захочат так, что веселому Утбе впору было позавидовать; он смеялся, утирая выступившие на глазах слезы, сотрясаясь всем телом, сгибаясь пополам и сладко похрюкивая, подобно нечистому животному свинье.

— Да забирай, забирай его к шайтановой матери! — с трудом пробилось сквозь смех. — Забирай! Если знаешь, как, — поэт мгновенно стал серьезным, — бери! Я отдаам, мне не жалко! Бери! Ну?!

— Кей-Кобад знает! Знает! Он возьмет! — В руке отставного шаха серебряной рыбкой объявился острый кинжал. — Возьмет!

Юродивый шагнул ближе, Утба угрожающе поднял секиру, готовясь рубить без пощады, — и вдруг тот, кто называл себя Кей-Кобадом, разом переменился в лице. На нем отразился детский, насмерть обиженный страх; человек попятился, заслоняясь рукой, будто от нестерпимого сияния тысячи солнц, и едва не выколол себе кинжалом глаз.

Но смотрел он при этом не на поэта и не на Утбу, а на что-то, находившееся позади них.

— Не надо! Не надо-о-о!!! Уберите... уберите его от меня! Не хочу!

Старый трюк.

У «детей Сасана» на такое не ловились даже сплюивые плутишки.

И тем не менее, даже не потому, что рядом стоял верный хург, а сам плохо соображая — зачем он это делает, Абу-т-Тайиб обернулся.

Глянув туда, куда указывал «карлик».

И увидел одного, хорошо знакомого поэту барана. С блестящим руном — и однозначно вызолочеными (или действительно золотыми?) рогами.

Баран в грозном нетерпении бил раздвоенным копытом о камень, воинственно пригибал лобастую голову — и всячески демонстрировал намерение броситься на юродивого.

— А ну, прекрати мне это! — рявкнул поэт на наглого барана, понимая, что выглядит сейчас ничуть не лучше юродивого с кинжалом.

Баран скосился на Абу-т-Тайиба налитым кровью глазом, упрямо мотнул башкой и проблеял кучу бараньих возражений, явно не соглашаясь с шахским мнением.

— А вот я тебя сейчас на сикбадж пущу!.. — озлился поэт и потянул из ножен ятаган. — Эй, Утба, у нас там уксуса нет? — а то я баранинкой разжился!

Подобный оборот дела пришелся барану не по вкусу, и он, обиженно тряся курдюком, поспешил скрыться в ближайшей расщелине. Только тогда поэт обернулся к предполагаемому Кей-Кобаду — но «карлик» тоже успел за это время ретироваться и прятался, по-видимому, за надежной крепостью дэвых спин.

— Ну что, твое шахское, собираемся? — как ни в чем не бывало поинтересовался Худайбег.

Поэт взглянул на мага, уже справившегося с первым потрясением; но Гургин только вскинул острый подбородок. Мол, не хирбедово дело: шахам указывать, куда имходить, а куда — нет.

— Нахид там? У твоих парней?!

— У них, родимых, твое шахское! — Худайбег радостно заулыбался, совсем войдя в роль «пятнадцатилетнего курбаси». Талант у парня, дар Божий — сперва душегубами заведовал, теперь чудищами горными... кто на очереди?

— Этот человек — действительно Кей-Кобад, мой... э-э-э... мой предшественник? — Абу-т-Тайиб подошел к Гургину вплотную.

— Правота моего шаха неоспорима! Да, это он, о владыка, это он...

— ...который безвременно скончался почти год назад в возрасте ста семидесяти девяти лет? — с явной издевкой закончил Абу-т-Тайиб.

— Воистину скончался. Хотя сам я лично не присутствовал при его смерти, — чуть замявшись, ответствовал старец. — Но свидетелей и очевидцев было больше чем достаточно, и у гробницы Кей-Кобада по сей день служатся поминальные молебны!

— Значит, лично не присутствовал? Ладно, старый хитрец, об этом у нас с тобой разговор еще будет — и очень скоро. А пока... Худайбег!

Звать юз-бashi Дэвом при его «парнях» было как-то... неприлично, что ли?

— Здесь я, твое шахское! — преданно рявкнул Худайбег, отчего у Абу-т-Тайиба мигом заложило уши.

Будто опять по ущелью шел.

— Мы отправляемся в Мазандеран. Говоришь, тут недалеко?

— Рукой подать, твое шахское! Меньше чем за полдня дойдем.

— Вот и славно. Тогда распорядись, чтоб они, — поэт хозяйски указал на дэвов, и те слаженно закивали, задвигали жуткими головами, — взяли часть нашей поклажи. А то лошадей у нас теперь на две меньше...

— Есть, твое шахское! — И Дэв принял рьяно отдавать распоряжения. А обросшие шерстью утесы его не только понимали, но даже слушались!

Е рабб, путь в Мазандеран оказался изрядно веселее, чем предполагалось вначале...

Из-за скал доносилось блеянье — там возмущалася жизнью Златой Овен.

Но на глаза не показывался.

Что с него возьмешь — скотина!

Где вода, как кровь из раны, там пути к Мазандерану;
 где задумчиво и странно — там пути к Мазандерану,
 где забыт аят Корана, где глумится вой бурана,
 где кричат седые враны — там пути к Мазандерану.
 Где, печатью Сулаймана властно взяты под охрану,
 плачут джинны непрестанно — там пути к Мазандерану,
 где скала взамен айвана, и шакал взамен дивана,
 где погибель пахлавану — там пути к Мазандерану.
 Где вы, сильные? Пора нам в путь по городам и странам,
 где сшибаются ветра на перекрестке возле храма,
 где большим, как слон, варанам в воздухе
 пустыни пряному
 мнится пиршество заран; где в седло наездник прянет,
 и взлетит петля аркана, и ударит рог тарана,
 и взорвется поле брани... Встретимся в Мазандеране!

* * *

Как вскоре выяснилось, косматым носильщикам придется тащить *всю* поклажу путников — лошадям, уцелевшим после нападения Красной Дэвицы, дэвы уже успели благополучно свернуть шеи, посчитав животных своей законной добычей. Абу-т-Тайиб долго цокал языком, глядя на болтающиеся тряпками конские головы: этакой силище да иное бы применение!

— Зачем они это сделали, Худайбег? — тихо спросил поэт. — Лошадей не любят?

— Добытчики! — Худайбег многозначительно возвел очи горе, словно это должно было все объяснить.

И поэт не стал спорить: добытчики так добытчики.

Однако сделанного не воротишь, а коней не оживишь — так что по-любому пора было двигаться в путь. Поклажу и конские туши дэвы распределили между собой, после чего Худайбег всем и каждому строго наказал: в сторону не отходить и ничего дорогой не терять.

А то ихнее шахское шибко осерчает.

Дэвы слушали, кивали — и все норовили притолкаться поближе к поэту: прикоснуться легонечко, поглазеть, просто стать рядом столбом и замереть блаженно. Причин к беспокойству не имелось: интерес дэвов был явно не кулинарный, а, наоборот, самый что ни на есть почтительный и благожелательный.

«В меду я извалялся, что ли, что они ко мне, как мухи, липнут? — дивился Абу-т-Тайиб, шагая в середине растянувшейся по горной тропе вереницы дэвов (а было их тут десятка полтора) рядом с Утбой и Гургином. — Е рабб, если и извалялся, то уж никак не в меду... мухи тоже не на один мед слетаются!»

Предполагаемый Кей-Кобад больше на глаза не показывался; прятался где-то среди дэвов, которые, судя по всему, считали юрода за своего.

Когда мир вокруг *мигнул*, Абу-т-Тайиб невольно вздрогнул. Вспомнилась нервная дрожь бытия на перевале близ пещеры Испытания — повторение? совпадение? видение? Может быть, сейчас они снова попадут в окрестности Медного города?

...где вода, как кровь из раны, там пути к Мазандерану;
где задумчиво и странно — там пути к Мазандерану...

Они шли по селению. Брошенному? Временно оставленному? Какому?! Аккуратно сложёные один на другой большие плоские камни, поддерживаемые большими плоскими досками. И те и другие — серые. Здесь так живут. Невысокие загоны из жердей для злобных мохнатых коз, привезенных невесть откуда, — загоны на крохотных, отвоеванных у скал участках. Загоны, похожие на дома, и дома, похожие на пещеры; несмотря на поросшие мхом крыши, несмотря на собранные из каких-то фантастических обломков дерева двери, и большая часть дверей не заперта и скрипит, покачиваясь на ветру.

Камень, скука и запустение. Царство камня. В городе тоже камень, но — обтесанный, отшлифованный, приглаженный, с узорами и орнаментами. Здесь же камень дикий, непричесанный, подобный окружающим скалам, и поэтому дома выглядят по рождением гор, своим, родным; неказистые с виду, они прочны и способны противостоять не только зимним ветрам, но и нередким землетрясениям. Дома вросли в скалы, и горы приняли их вместе с людьми, живущими под приземистыми заросшими крышами...

А где люди?

Почувствовав замешательство шаха, головной дэв обернулся и, с явственным скрипом двигая огромными челюстями, проскрежетал:

— Муаз-Тай-Ра!

И обвел лапой окружающие горы: будто странное слово, сделанное из жести и кашля, родной брат дурацкого словечка «Мазандеран», все объясняло.

Абу-т-Тайиб кивнул в ответ и стал глязеть по сторонам.

Дескать, нас на мякине не проведешь!

Горы вокруг были вроде прежние — и в то же время другие. Осыпающиеся под действием воды, ветра и времени, источенные и выеденные неведомыми камнеточками, эти хребты дышали терпким ароматом древности, а дальние вершины, увенчанные снеговыми тюрбанами, терялись в туманной дымке.

— Сафед-Кух, Белые горы, — пробормотал поэт себе под нос, припомнив очень похожие вершины, виденные им в Хуресоне.

Они шли дальше.

...где забыт аят Корана, где глумится вой бурана,
где кричат седые враны — там пути к Мазандерану...

Тропа неспешно извивалась меж выветренных скал, и иногда в просветах открывались близкие пески — прибежище наглой смерти и робкой

жизни. Ветер уныло лизал барханы, оплавляя их желтыми сыпучими струйками, ветер грустно по-свистывал в сухих ветвях колючника, как делал это уже многие тысячи лет — пустыня, что с нее возьмешь? Все та же монотонная песня, те же пологие барханы — нет, не те, конечно, но такие же... И неровная цепочка волчьих следов, быстро заносимая песком. Сколько их, эфемерных следов жизни, засыпал ветер на своем однообразно-бесконечном веку? Считай не считай — собьешься... Да и не только следы, а зачастую и иссущенное солнцем тело со стекленеющими глазами, в завершение цепочки зыбких ямок — ветер давно привык к этому и равнодушно скользил мимо.

Пустыня...

Абу-т-Тайиб пригляделся в смятении — и ему показалось, что он различает крупного волка с притороченным к спине выюком, бредущего из последних сил по раскаленной солнцем сковороде. Возможно, это был обман зрения, мираж, каких поэт в свое время немало насмотрелся в Аравии, а может... Впрочем, после событий этих безумных месяцев Абу-т-Тайиб устал чему-либо удивляться.

Он просто мысленно пожелал волку удачи, будь вольный зверь марой или явью, и двинулся дальше.

...где, печатью Сулаймана властно взяты под охрану,
плачут джинны непрестанно — там пути к Мазандерану,

Когда мир мигнул снова, Абу-т-Тайиб моргнул в ответ. Ему явственно почудились крылатые тени стальных птиц ада, расплескавшие синь над головой; но это уж точно были миражи — мелькнули и исчезли, даже разглядеть толком ничего не удалось!

А горы тем временем сами собой сошли на нет (хотя еще минутой раньше конца-краю им не было видно!) — и вскоре под ногами путников оказалась сперва каменистая, а затем обычная, старая знакомая — пустыня.

Вереница дэвов уверенно топала вперед, оставляя за собой бесформенные вмятины следов, и в тот момент, когда поэту в очередной раз стало мере-щиться, будто он начинает узнавать места — те самые, где вчера бился с гигантами чернокожий Антара и его люди...

Абу-т-Тайиб остановился как вкопанный; и все последовали примеру шаха.

У самой подошвы очередного бархана из-под песка выглядывала чья-то нога. Куфийский сапог, еще сохранивший приметы былого щегольства бывшего хозяина: шагреневая кожа, высокий и тонкий каблук с внутренним изгибом, носок тоже загнут, но наружу, и кисточки слабо шевелятся по краю голенища.

Поэт свернул с пути, протоптанного идущими впереди дэвами, и решительно направился к бархану-мавзолею.

Некоторое время он стоял и молча смотрел.

Потом обернулся к сгрудившимся за спиной исполинам.

— Копайте!

Он был уверен, что его послушаются.

Так и случилось.

Человек — вернее, оставшаяся от него мумия — неплохо сохранился. Фаланги пальцев, покрытые серым шелушащимся пергаментом, все еще сжимали кривой машрафийский меч, синюю сталь, за которую платят блюдами динаров оружейникам Йемена; на лице застыла жуткая усмешка, предсмертный оскал, обнажая гнилые пеньки зубов, часть из которых покойник потерял еще при жизни.

Судя по всему, человек лежал в песчаной могиле уже давно. Ну и пусть спит дальше. Недостойно правоверного глумиться над останками.

А в данном случае — недостойно вдвойне.

— Заройте его обратно, — бросил поэт и, пока

дэвы усердно трудились, заново погребая мертвца, едва слышно шептал слова молитвы.

— Кто это был? — решился нарушить скорбное молчание Гургин, когда они наконец продолжили путь. — Кто это был, мой шах? Знакомый? Друг? Земляк?

— Я, — просто ответил Абу-т-Тайиб.
И зашагал быстрее.

...где бессильны все старанья на пороге умиранья,
и последней филигранью отзовется мир за гранью;

где скала взамен айвана, и шакал взамен дивана,
где погибель пахлавану — там пути к Мазандерану.

Как и обещал Дэв, они шли путями неисповедимыми, пока солнце не перевалило за полдень. Впрочем, Абу-т-Тайиб теперь ни в чем не был уверен — ни во времени суток, ни в солнце, мерившем горбатый небосвод заячьей скидкой, подло нарушая заведенный Аллахом порядок. Да что там солнце, время, минуты и часы?! — пожалуй, сейчас поэт вообще затруднился бы ответить, какой ныне стоит на дворе век от бегства пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!). И на каком дворе? Кабирском? Дар-ас-Саламском? Медногородском? Мазандеранском? Или еще каком...

После встречи с собственным трупом, мирно спавшим в песках пустыни, что-то сдвинулось в голове поэта, и он сомневался во всем на свете — одновременно будучи готовым поверить во что угодно. Что он находится в раю. Или в аду. Или в стране джиннов. Или перенесся в эпоху легендарной джихилий.

Я никогда не рождался?!
Верю.

За время их дальнейшего пути соринка еще дважды или трижды попадала в глаз миру — Абу-т-Тайиб уже перестал обращать внимание на подобные мелочи. Пустыня вновь сменилась горами, и дэвы вдруг забеспокоились, с опаской зыркая по

сторонам. Вскоре из-под очередной каменной осыпи наполовину выглянул обглоданный костяк странной твари; судя по толщине костей и плоскому черепу с вызывающими уважение клыками, а также по сохранившимся кое-где остаткам чешуи, опасения великанов были небезосновательны. При встрече с обладателем такого черепа могло не поздоровиться и дэву! Так что, когда мир благожелательно мигнул снова и дэвы успокоились, Абу-т-Тайиб облегченно вздохнул вместе со всеми.

За лаврами драконоборца он отнюдь не гнался.

Потом справа открылась степь, бескрайняя степь хургов, или не хургов, но там паслись честные кони и возле юрт курились честные костры; а еще одинокий всадник несся по одуревшей от полуденного зноя степи. Белый растрепанный хвост мотался из стороны в сторону, привязанный под наконечником его короткого копья с красным древком; лицо под высоким чешуйчатым шлемом окаменело в безразличии ко всему, кроме бьющейся под копытами земли; и бурая пыль степей, зловещая пыль дурного вестника, некоторое время еще гналась за распластанным конем и, не догнав, покорно опускалась, оседала, растворялась в потревоженном покое...

Где вы, сильные? Пора нам в путь по городам и странам,
где сшибаются ветра на перекрестке возле храма,

где большим, как слон, варанам в воздухе пустыни
пряном
мнится пиршество заране; где в седло наездник прянет...

А потом они пришли!

Вот еще недавно все двигались по дну очередного ущелья, бока теснины скрыли от взоров и степь, и пустыню — или что там сейчас лежало у подножия этих бесконечно меняющихся гор?! — и вдруг перед ними гостеприимными створками дверей-скал распахивается обширная котловина, по дну которой весело журчит речушка-подросток.

Отвесные стены, окружавшие котловину, были изрезаны грубо вырубленными в скалах каменными ступенями. А выше темнели десятки и сотни темных нор, напоминавших ласточкины гнезда. И до поэта не сразу дошло: это расстояние морочит ему голову, играя злую шутку.

Ласточкины гнезда?! Входы в пещеры имели от двух до пяти человеческих ростов в поперечнике!

Жилища дэвов.

Пещерный город.

Легендарный Мазандеран.

...и взлетит петля аркана, и ударит рог тарана,
и взорвется поле брани... Встретимся в Мазандеране!

— А вот и эта самая Дыра, твое шахское! — радостно сообщил верный Дэв, возникая рядом. — Видал, сколько их тут — дыр-то этих?!

КАСЫДА ПРИЗРАКОВ

Ветер в кронах заплакал, берег темен и пуст.
Поднимается якорь, продолжается путь.

И бродягою прежним, волн хозяин и раб,
К мысу Доброй Надежды ты ведешь свой корабль —

Где разрушены стены и основы основ,
Где в ночи бродят тени неродившихся слов,

Где роптанье прибоя и морская вода
Оправдают любого, кто попросит суда.

Где забытые руки всколыхнут седину,
Где забытые звуки огласят тишину,

Где бессмыслица жизни вдруг покажется сном,
Где на собственной тризне ты упьешься вином,

Где раскатится смехом потрясенная даль,
Где раскатится эхом еле слышное «Да»...

Но гулякой беспутным из ночной немоты,
Смят прозрением смутным, не откликнешься ты —

Где-то, призраком бледным, в черноте воронья,
Умирает последней безнадежность твоя.

Глава четвертая,

где шаха приветствуют дэвы во всем своем разнообразии;
а также выясняется, сколько может собраться шахов
в одном отдельно взятом Мазандеране, но ни словом
не упоминается о том, почему одни дэвы похожи
на людей, а другие — на чудовищ, и можно ли вернуть
последним человеческий облик?

1

...Протяжный, оглушительный, душераздирающий и еще шайтан знает какой вопль огласил котловину. Поначалу Абу-т-Тайиб невольно вжал голову в плечи. Однако, видя, что сопровождающие его дэвы обращают на вопль меньше внимания, чем змея — на шорох собственной чешуи, поэт тоже успокоился.

И стал оглядываться по сторонам в поисках источника жуткого звука.

Не ангел ли Израфиль трубит?!

— Дэв Вайдос с вершины древа кличет, — пояснил Худайбег-благодетель, когда слух наконец вернулся к поэту и бархатные затычки в ушах рассосались сами собой. — Вайдосит, значит. Это у них всегда так, твое шахское! Когда народишко... ну, дэвов, значит, собрать надо... Залазит и орет. Вот.

— И когда ты все это узнать успел, проныра? — поинтересовался Абу-т-Тайиб.

К этому моменту он как раз углядел столетнюю чинару у распадка. В ветвях дерева действительно устроился какой-то дэв, и теперь черной тушей ворочался в гнезде, явно прикидывая: не «завайдоситься» ли снова?

— Так ведь месяц, почитай, у них проторчал-то, твое шахское! — заморгал голубыми глазищами верный юз-бashi; и поэт не стал с ним спорить.

Даже переспрашивать не стал: здесь явно могло твориться все, что угодно! Мигающий мир, неведомые страны, свихнувшиеся дни-оборотни, так и но-

ровящие прикинуться месяцами, собственный труп под барханом...

А тем временем из пещер уже выбирались сутулыые неуклюжие фигуры и вразвалочку брели на встречу гостям. Впереди неслось десятка два детей: на удивление обычных, человеческих малышей, ничем не напоминающих взрослых чудищ.

Дэв-на-вершине-древа подумал, хрюплю прочистил глотку — и не стал вопить во второй раз.

Зачем? — все и без того были в сборе.

Как и следовало ожидать, дети добежали первыми. Запрыгали козлятами вокруг Абу-т-Тайиба, словно рядом не было ни Утбы, ни Гургина, а дэвов-добытчиков и подавно!

— Твоя — шах? — серьезно поинтересовался ви-
слощекий карапуз лет пяти, больно ткнув пальцем в живот Абу-т-Тайибу.

— Моя шах, — развел руками поэт.

— Второй шах, второй шах! — радостно загалдела детвора, а карапуз почему-то насупился и стал ковыряться в носу.

— Старый Олмун-дэв говорил: так не бывает! Шах должен быть один! — заявила вдруг худенькая девушка постарше, лет тринадцати, затесавшаяся в толпу детей.

Девушка как девушка — угловатая, подобно многим подросткам, длинные черные косы свисают ниже пояса, родинка на скуле, и голубые глаза чуть ли не светятся со смуглого личика... Поэт долго смотрел на девушку, недоумевая: зачем он это делает? Почему взгляд упрямо и бесстыже ощупывает хрупкую фигурку?!

Что ищет?

А потом он понял, понял резко и сразу: обнаженные руки и босые ноги девушки покрывала шерсть.

Золотисто-коричневый мех, короткий, словно подстриженный.

Это было по-своему даже красиво, но красиво не по-человечески!

— Так я один и есть, — попытался улыбнуться мохнатой девушке Абу-т-Тайиб.

Улыбка вышла кислой.

— А Кей-Кобад? — Брови обладательницы золотистой шерстки двумя голубками взмыли на лоб.

— А он светится! — уверенно сообщил карапуз, вынув палец из носа. — Он живая и светится!

После чего снова ткнул поэта в живот: словно железным штырем приложился.

— Светится! Шах! Настоящая! На нас светится!

— Старый Олмун-дэв говорил: настоящий шах светится. Кажется, я вижу... — задумчиво проговорила девушка, вглядываясь в Абу-т-Тайиба едва ли не пристальней, чем за минуту до этого он сам вглядывался в нее.

И от ее испытующего взгляда поэту сразу сделалось неуютно.

Как раньше — от присутствия Нахид.

Тем временем начали потихоньку подтягиваться и взрослые дэвы с дэвицами. Процессия замедлила ход, безнадежно увязая в толпе — а обитатели Мазандерана все шли, ковыляли, бежали; и Абу-т-Тайиб, которого, казалось, уже невозможно было чем-либо поразить, не уставал дивиться тому, что видел вокруг.

Дэвы-добытчики, старые знакомцы, были словно с одной формы леплены: кряжистые исполины, раза в два повыше обычного человека, и бугры мышц страшно выпирали на их мохнатых телах, иногда в самых неожиданных местах.

Но, так или иначе, они были похожи друг на друга.

Здесь же... Здесь, в Мазандеране, дэвы были разными. И «разные» — еще очень мягкое словцо! У кого-то, как сказала однажды сгоряча первая жена Абу-т-Тайиба, было «семь пядей во лбу, и пяди эти загибались бараньими рогами»; да-да,

именно рогами, самыми настоящими, так что впору было уверовать: перед тобой шайтан из шайтанов! Или родной дядя Золотого Овна. Зато дружки рогача, ростом ему по плечо, были при этом настолько массивны, что иной слон гляделся рядом с ними изящной лебедушкой. Иные мазандеранцы щеголяли розовыми крысиными хвостами, суставчатыми ногами, напоминающими лапы саранчи; а у трехчетырех имелись зачатки кожистых крыльев. У одного дэва из задних рядов крылья оказались вполне развиты, и он все время подпрыгивал, желая получше рассмотреть гостей, с треском распахивал свое сокровище и зависал над толпой, гнусаво каркая. А вскоре вперед протолкался дэв-горбун, чья шелущаяся кожа настолько походила на чешую, что поэт заподозрил родство горбuna с давешним драконом, чей костяк они видели по дороге.

Грудастые дэвицы приветливо скалили желтые клыки, растягивали до ушей жабьи рты, махали шаху лапами (кто — когтистыми, кто — с перепонками), шушукались между собой, маслено подмигивая. Дэвы-самцы одобрительно ворчали, стараясь протолкаться поближе; и в то же время они вели себя осторожней лекаря у ложа опасно больного — как бы ненароком не зашибить гостя, не обидеть, не покалечить...

«Е рабб, это же дети! Взрослые дети!» — пришло на ум Абу-т-Тайибу.

К немалому изумлению поэта, среди толпы разномастных чудищ попадались и обычные сыны Адама. Впрочем, у Абу-т-Тайиба не было времени как следует рассмотреть их — а ведь та девушка с первого взгляда тоже выглядела вполне...

Толпа возбужденно гудела, но общий хор звучал искренней радостью, неподдельным, доброжелательным восторгом, что никак не вязалось с обликом страхолюдин.

Наконец дэвы расступились, и вперед вышел

плечистый стариk, запорошенный снегом седины с головы до ног — поскольку он-то мохнат был немоверно, и даже шерсть на животе заплетал в щегольские косички.

Зато одежду не носил по вполне понятным причинам; опирался же мохнат на клюку, способную затмить славу Худайбегова «копьца».

«Наверное, это и есть «старый Олмун-дэв», — догадался Абу-т-Тайиб.

Сотни пар голубых глаз уперлись в седого дэва — и он заговорил. Вполне членораздельно, хотя и с определенным усилием:

— Ты — наш гость, шах. Тебе здесь будет хорошо. Живи с нами — и нам тоже будет хорошо. Сейчас тебе покажут жилье — самое лучшее. Дворец.

В толпе дэвов произошло некое движение, и перед Олмун-дэвом возник давешний «карлик» — всклокоченный, с безумными глазами, брызжущий слюной.

— Лучшее жилье — мое! Мое!!! Дворец — мой! И еда! И женщины! И фарр — это мой фарр! Он его украл! Вор! Вор!!! Скажите ему, чтоб отдал! Я, я шах, а не он! Великий шах Кей-Кобад! Я! Я!

Седой дэв спокойно ждал, пока Кей-Кобад умолкнет, сорвав голос. Что и случилось в самом скором времени; после чего Олмун отстранил «карлика» и заговорил снова, роняя тяжелые, веские камни слов — словно приговор оглашал.

Впрочем, так оно и было.

— Шах должен быть один. У него — фарр. Я вижу. Он — шах. Ты — теперь нет. Тебе дадут пещеру. Еду. И женщину — одну. Дворец для шаха, гарем для шаха. Для настоящего. Все. Так будет.

— Спасибо за гостеприимство! — криво усмехнулся Абу-т-Тайиб. — Ну что ж, показывайте ваш дворец.

Поэту было тошно. Отобрать последнюю радость у несчастного безумца, чей фарр и трон ты уже при-

своил — пусть даже не по своей воле? Променять дворец в Кабире на дворец в Мазандеране? Что ж, сам виноват! Ты хотел разобраться — давай, вороши тайны, и не жалуйся, если среди облезлых шкур прошлого окажутся блохи или сонный скорпион!

И, оглохнув от приветственных кликов, сквозь которые визгливо прорывалось изредка: «Вор! Он украл мой фарр! Мой дворец! Мой...», — Абу-т-Тайиб последовал за Олмун-дэвом, ковылявшим впереди.

Пещерный город приближался.

2

...Абу-т-Тайиб шагнул под шершавые своды «дворца», освещенные рваным пламенем факелов — и не сумел сдержать улыбки: понятия о роскоши у дэвов были весьма своеобразные.

Пол, как и положено в покоях любого уважающего себя дворца, устилали ковры. Самые разнообразные. Самые пестрые. Самые... самые. С орнаментами и без. С рисунками и чудными узорами. Вперемежку с циновками и одеялами — лишь бы пoyerче! И уложено все это добро было по меньшей мере в четыре-пять слоев; зато уж тут дэвы постарались — хоть краешек каждого, а все равно был виден.

Вот, мол, сколько у нас ковров — как песка в пустыне!

Одно слово: навалом!

Из-за этого пол шел волнами, и ходить по нему было весьма затрудительно, а про «важно шествовать» вообще речи не шло: Абу-т-Тайиб спотыкался чуть ли не на каждом шагу.

На стенах, в зажимах из меди и бронзы (полосы металла, причудливо покореженные лапами мазандеранцев) чадила сотня факелов. Жирная копоть оседала на потолке, на сосульках сталактитов, а

также на подвешенных к ним разнообразнейших предметах: курильницах, кальянах (четыре штуки, и все испорченные), женских подвесках, фонариках из крашеной бумаги и прочей дребедени, зачастую совершенно неизвестного поэту назначения и происхождения.

За поворотом пещеры обнаружился балдахин из нежно-розового атласа. Наверняка похищенный из будуара знатной францской дамы (довелось поэту ловить сладкие мгновения и в таких местах). От балдахина вниз свисала плетеная штора, а по обе стороны ее застыли двое дэвов-близнецов в кожаных шароварах.

И с умопомрачительного вида железными палицами в руках.

При виде шаха дэвы — близкие родичи кабирских Яджуджа и Маджуджа — выкатили глаза, всем своим видом изображая немереную преданность и почтение.

Абу-т-Тайиб хмыкнул, раздвинул штору, шагнул под балдахин...

И застыл на пороге соляным столбом.

— Сим-Сим, закройся! — только и сумел выговорить он.

Во-первых, посередке зала стоял трон. Огромный, блестящий, черный, как кожа дикого зинджа (похоже, из полированного базальта). Сиденье его, где свободно могли уместиться три Абу-т-Тайиба аль-Мутанабби, было застлано облезлой шкурой тигра. Вторая такая же шкура лежала у подножия трона. Сбоку к престолу жалась хромая тахта, словно ища покровительства, а дальше имелось обширное ложе с ворохом разнообразных мехов поверх него. Кругом же в живописном беспорядке, играя красноватыми бликами от вездесущих факелов, валились блюда, кувшины, чаши, кубки, большие и маленькие ларцы со шкатулками, светильники, груды одежд... сокровища короче.

На ближайшей из таких груд красовалось золотое блюдо, а на блюде гордо сиял здоровенный сапог.

Один.

Подозрительно знакомый: с гнутым каблуком, с кисточками по голенищу... разве что обе ноги поэта свободно могли уместиться в этом сапоге, и еще осталось бы место для парочки пеналов.

Сапог, по-видимому, тоже должен был быть один, символизируя уникальность шаха.

За то время, пока Абу-т-Тайиб с нескрываемым интересом рассматривал свое новое обиталище, он обнаружил два-три задрапированных коврами юоковых прохода — но решил исследовать их позже.

Умеренность и еще раз умеренность; если хотите жить долго и счастливо.

Через минуту он сидел на троне.

— Твоя — шах? — спросил Абу-т-Тайиб сам себя.

И грустно ответил, ткнув пальцем в собственный живот:

— Моя — шах, будь моя трижды проклят! И светится...

Ожидавший у входа Олмун-дэв закивал косматой головой.

* * *

Остаток дня поэт провел в трудах праведных.

Поужинал в обществе Гургина, Дэва и Утбы (лепешки местного изготовления и овечий желудок, фаршированный зеленью — по всему видать, лучшее, что могли предложить им дэвы). Распорядился, чтобы его спутников разместили во «дворце» — места на всех хватило с избытком. Отправил Худайбега подыскать сносное жилище для несчастного «карлика» — Абу-т-Тайиб чувствовал себя изрядно виноватым перед бывшим шахом. Затем с помощью Утбы и вернувшегося Худайбега (местных жителей

привлекать не хотелось) навел хоть какую-то видимость порядка в «тронной зале». Хотел было прогуляться по окрестностям на сон грядущий — но, выбравшись из «дворца», выяснил, что снаружи уже стемнело.

А внутри, внутри-то, едва Абу-т-Тайиб вернулся и совсем уж собрался завалиться спать...

3

— Гарем шах!

Дэв-страж просунулся за полог, радостно объявил эту восхитительную новость — и исчез раньше, чем Абу-т-Тайиб успел спохватиться и возгласить запрет.

Увы! — в залу гурьбой, счастливо визжа, повалили девицы.

Вернее, дэвицы!

Совершенно обалдев, Абу-т-Тайиб сидел на своем ложе дурак дураком, а перед ним колыхалось море волосатой плоти. Некоторые дэвицы были одеты в цветастое тряпье, долженствующее изображать обольстительные наряды; но большинство, кроме собственной шерсти и чудных украшений, одеждами пренебрегли. И с готовностью демонстрировали шаху свои прелести, заставляя Абу-т-Тайиба содрогаться от вида дэвичьих тел.

— Повелитель выбирай! Мы — танцевай, повелитель — выбирай! — тигриным басом проворковала одна из дэвиц и добавила неясно к чему:

— Шах и мат!

Тут же из-за полога невпопад громыхнул бубен, ему надтреснуто вторили струны расстроенного барбара — и под эту дикую, первобытную мелодию дэвицы закружились вокруг поэта.

А у поэта в ответ не замедлила закружиться голова.

«Пусть дурна, пусть страшна, пусть сама сатана, —

если хватит вина, будет мужу жена!» — вспомнился Абу-т-Тайибу старинный бейт времен джахилийи, когда дар лоз еще не был провозглашен запретным.

Сейчас поэт был готов удавить остроумного автора собственными руками. Ведь сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует!): «Женщина вам пашня, пашите ее как угодно!» Вот она, пашня, согласная на все — паши ее как угодно, беспутный бродяга! Для того ли менял одну пашню на другую, для того ли уходил из Кабира, чтобы прийти в Мазандеран?! Чего же ты хочешь на самом деле, почему шарахаешься, когда тебе несут на блюде все блага мира, почему отшатываешься и вопиешь гласом громким:

— Я возьму сам! Вы слышите — са-а-ам!..

Бубен стучал все яростнее, сбивался, не успевая за приятелем, барбар-семиструнка — и великанши, одна за другой, припадали к стопам шаха, преданными собачьими глазами заглядывая ему в лицо снизу вверх: «Возьми меня! Неужели я тебе не нравлюсь?! А я?!»

И столько ожидания, столько надежды, столько страстной поволоки было в этих глазах, что всякий раз у Абу-т-Тайиба только и хватало силы, что отрицательно покачать головой. Он переводил взгляд на следующую красотку и молил Аллаха о малом: чтобы все это светопреставление поскорее закончилось и утомившиеся дэвицы убрались восвояси. Е рабб, ну не делить же постель с одной из них! Они не виноваты в своем уродстве, они искренне хотят доставить ему удовольствие, но это же выше человеческих сил!..

«А как на моем месте поступал безумный Кей-Кобад?! — вдруг обожгла шальная мысль. — Неужто...»

Вот очередная дэвица с надеждой корчится у ног привередливого владыки, который ни в какую не желает «выбирай». Поэт собирается с духом — и

взгляд его вдруг проваливается в бездонную синь глаз той, что когда-то звалась Нахид-хирбеди!

— Нахид! Ты?

Абу-т-Тайиб отшатнулся, сжав виски ладонями: вот и добралась до него бывшая жрица! Тайно затесалась в гарем — и теперь наконец сведет счеты с ненавистным бродягой, оскорбившим ее великим оскорблением!

Но Нахид медлит рвать и метать. С детской обидой она смотрит на него, моргает длинными ресницами — последним, что осталось от прежнего облика, кроме цвета глаз. Мгновения тянутся и тянутся, обволакивая поэта вязкой патокой — и он с ужасом видит: глаза расстриги-хирбеди полны любви.

До краев.

Ни капли былой злобы и ненависти, ни клочка звериной ярости — ничего этого больше нет в двух голубых колодцах.

Нахид умерла. Навсегда. Узнала ли она его? Одному Аллаху ведомо! Но сейчас она явилась к нему за тем же, что и остальные — чтобы шах взял ее на ночь!

Она хочет этого!

— Нахид... ты... узнаешь меня? — шепчет поэт, и слова текут через душу крутым кипятком. — Ты помнишь: «Только раз бывает праздник, только раз весна цветет... взор твой, пери, праздник вечный, вечный праздник в сердце льет...» Ты помнишь?

Поначалу на оплывшем, бездумном лице девицы не отражается ничего. А потом... Широкие вывороченные губы ползут в стороны, вдавленный нос морщится, у рта залегают складки... Нахид улыблась! Повелитель заговорил с ней! Это хорошо! Это очень хорошо! Значит, она ему понравилась! Он хочет ее!

Та, что раньше звалась Нахид-хирбеди, протягивает косматую лапу и осторожно касается бедра владыки. Корявая ладонь ползет дальше...

— Не-е-ет!

Ладонь в недоумении останавливается.

— Нет, Нахид, не надо... — Стон рвет глотку, сердце, душу; расплавленным оловом течет по горлани, и боль от подлинного ожога кажется благословением Господним. — О, теперь я понимаю: тогда, когда ты пришла просить за своего учителя, когда я издевался над тобой, заставил раздеться — я ведь хотел тебя! Я мужчина, Нахид, я обычный мужчина, я хуже многих; но теперь... Прости меня, девочка, я не могу. Не могу! Уходи! Убирайся вон!

Отчаяние расплескалось под сводами пещеры, дрогнул хлам, свисающий с потолка — и только тут до существа, тупо глядевшего на безумного господина, дошло, что повелитель не хочет ее!

Глаза бывшей хирбеди мгновенно набухли слезами, и несчастная дэвица, вскочив, с обиженным воем бросилась к выходу.

А Абу-т-Тайиба несло половодье бессильного бунта.

— Уходите! Уходите все! Оставьте меня в покое!

На мгновение все застыло, мелодия оборвалась, запоздало ударил бубен — и тоже смолк в испуге.

А потом дэвицы, дружно вторя Нахид своими рыданиями, устремились прочь. Сейчас они больше всего походили на толпу насмерть обиженных детей, которых ни с того ни с сего наказал и прогнал сердитый отец.

— Вы не виноваты... Вы хотели, как лучше. А я... Простите меня... — глухо бормотал поэт, упав на ложе и зарывшись лицом в ворох пушистых шкур.

Он сам не заметил, как заснул.

Посреди ночи он проснулся от слабого движения рядом. Протянул ладонь, огладил теплую шерстку... То существо, что находилось вместе с ним под одним одеялом, немедленно придвинулось с готовностью, так что поэт не замедлил ощутить

маленькую упругую грудь, гибкие плети рук — обычных, человеческих, тонких рук.

Девичьих рук.

Только покрытых шелковистой, приятной на ощупь шерсткой.

Горячее тело приникло к нему, и дальше все получилось само собой... Он так и не понял: было это сном или очередной шуткой судьбы? Любовь выглядела нереальной, зыбкой сказкой, и даже сладость в конце оказалась спокойной и мягкой, без томных стонов или звериного рычания.

Тишина.

И покой.

...Но вот она приходит ниоткуда, и всем забытым переполнен кубок: любовь, дорога, море, паруса... Боясь шагнуть с привычного порога, ты перед ней стоишь, как перед Богом — и все-таки не веришь в чудеса.

«Я сам, — бормочешь ты сухими губами. — Я... сам...»

* * *

Наутро рядом с поэтом никого не оказалось.

Вскоре принесли завтрак. Как выяснилось, принести заодно и воду для утреннего омовения дэвам в голову не пришло, а садиться за дастархан нечистым поэт не пожелал.

И отправился к ручью, не дожидаясь, пока дэвы догадаются исправить свою оплошность.

Студеные брызги мигом прогнали остатки сна вместе со всеми ночных призраками — и поэту даже стало немного жаль, что это были всего лишь грэзы.

Впрочем, думать так ему было спокойнее.

Он поднялся, намереваясь вернуться во «дво-

рец», позавтракать и приступить к осмотру места, куда забросила его Судьба...

Лицом к лицу столкнувшись с давешней девушки-подростком.

«Старый Олмун-дэв говорил: настоящий шах светится. Кажется, я вижу...» Загадочный взгляд больших голубых глаз; угловатая фигурка; гладкая шерстка золотится на предплечьях...

— Меня зовут Фарангис, — она легко проскользнула мимо него и стала наполнять кувшин.

А он стоял и смотрел. На нее.

Фарангис.

Было?

Не было?

Глава пятая,

повествующая о времени и его кознях, об искренности хирбедов и детских скороговорках, но даже краешек завесы не приподнимается над тем, что случилось с безумным владыкой в пещере Испытания

1

Здесь было тихо и покойно, если не считать вечного смеха воды, с беспечностью ребенка кувыркающейся в теснине русла. Два кизиловых деревца прятали в кронах алые огоньки — плодам еще не пришло время вдоволь нальяться кисло-сладким соком; рядом с кизилом самозабвенно, ничего не оставляя на потом, чахоточной девицей цвела мушмула, и презрливо косился на глупышку старый вояка-шиповник, крутя кукиши завязи.

Они противоречили друг другу: кизил, мушмула и шиповник — противоречили лепестками и плодами, временем цветения и временем зрелости, но что может быть непротиворечивым в Мазандеране, в Краю Дэвов, куда идешь соринкой в глазу мира, от уголка к уголку, сквозь непрерывное морганье — пока не вылетишь наружу??!

«Вот где славно умереть, — вдруг подумалось Абу-т-Тайибу, — умереть и быть похороненным. И чтоб ветер осыпал на могилу пригоршни лепестков, а река смеялась... Е рабб, хоть бери и ложись, не дожидаясь отведенного срока!»

Относительно идеи ложиться в гроб немедленно у поэта имелись определенные сомнения. Ты ляжешь, черви дружно примутся за работу, а потом ангел Джибраиль с интересом выяснит в своде записей: вот он, покойничек-гулена, шляется невесть где и невесть с кем! Престолы задницей протирает, подданных смущает дурацкими выходками; джинны с дэвами в него пальцами тыкают, в красавца... О Аллах! — имя первому адскому слою Джаханнам, и уготован он слушникам из правоверных, умершим без покаяния; имя же второго слоя — Лаза, и назначен он неверным; третий слой, аль-Джахим, погребает племена Яджуджей и Маджуджей, а также идолопоклонников страны Синду; имя четвертого слоя ас-Сайр, и он открыт для почитателей Иблиса; пятый, Сакар, для еретиков-зиндиков; в шестом, в аль-Хутаме, взывают к своим заступникам люди Торы и люди Евангелия; в седьмом же, в аль-Хавии, стонут лицемеры!

А для вот таких бездельников, которых сперва изрядно носило по обитаемой четверти земного круга, а теперь носит по остальным трем четвертям, лицом к лицу сталкивая с собственными мумиями и чудищами-хирбеди, — для такого отребья какой слой ада назначен, о Совершеннейший Благотворитель?

Восьмой?

Двадцать восьмой?

Или нет нам ада, но нет и рая...

— О, где мои тысяча огненных гор? — забывшись, нараспев выкрикнул Абу-т-Тайиб. — Где под каждой горой семьдесят тысяч огненных долин, а в каждой долине семьдесят тысяч огненных городов,

а в каждом городе семьдесят тысяч огненных домов, а в каждом доме семьдесят тысяч огненных комнат, а в каждой комнате семьдесят тысяч огненных ложей, а на каждом ложе семьдесят тысяч способов пытки? Где вы? — неужели здесь, во мне, и никуда не деться мне от вас?!

Смех был ему ответом.

Из колючей глубины шиповника высунулась сначала растопыренная пятерня, пошевелила крохотными пальчиками — и скрылась обратно. Минутой позже кусты раздвинулись, и наружу выбралась голенькая девчушка лет пяти, вся измазанная в глине, как если бы Господь миров только что создал ее из сего праха земного.

Следом за местной Евой вылезли два чумазых Адама-трехлетки, созданные, по всей вероятности, из Евиных ребер.

Вон они, ребра девичьи, торчат решеткой, все наперечет: два, шесть, двенадцать...

А было четырнадцать.

Абу-т-Тайиб еще вчера обратил внимание: детей в Мазандеране имелось мало, но к вящему удивлению поэта, все они выглядели детьми человеческими. Разве что легко обходились без одежды, мало заботясь о прикрытии срама. Вот и эти малыши: чисто ангелочки! — щеки румяные, кожа (если отмыть!) белей, чем у невольницы-саклабки, голубые глазенки лучатся озорством...

В кого вырастете, ангелочки?

Неужто в ифритов с ногами, как корабельные мачты?!

— Шк-р-раа! — вдруг скрежетнула девчушка, уподобясь павлину в брачный сезон. — Шкур-ра!

— Шкура? — переспросил поэт, сам дивясь: сижу у речки, с «дэвочкой» о пустяках болтаю... — Какая шкура?

Девчушка стукнула себя по макушке кулачком, что должно было означать непроходимую тупость собеседника.

— Гаорка! — поправила она, тыча пальцем в дядю, которого судьба обделила понятливостью. — Шкура-гаорка!

— Скороговорка! — догадался поэт, и был вознагражден радостными ужимками, которым позавидовали бы мартышки в чаще. — Ты решила, что я скороговорку выкрикиваю?

— Ага! — Девчушка шлепнулась на землю, оба Адама мигом подскочили к предводительнице и стали искасться в ее пышных кудрях, отталкивая друг друга. — Шкура-гаорка давай!

— Так я ведь шах! — усмехнулся Абу-т-Тайиб малолетней нахалке. — Негоже шаху низкими забавами баловаться!

— Про шах давай! — Ева была непреклонна. — Шкура-гаорка про шах!

Пришлось славному мастеру рифм и ритмов поднапрячься.

— Э-э-э... То ли шах я, то ль ишак, то ли шум в чужих ушах, то ли вышивка на шелке, то ли щука в камышах! Ну-ка, повтори!

Оглушительный галдеж был ему ответом. Три детских глотки вовсю шипели, щелкали и скрежетали молоточками чеканщиков, розовые язычки мелькали, облизывая замечательную «шкура-гаорку про шах»; в итоге все остались чрезвычайно довольны друг другом.

— Еще! Еще давай, шах-ишак! Давай про дэв!

— Плакали по дэвам девы: «Где вы, дэвы? Дэвы, где вы?! О, в воде вы! О, в беде вы! В пекле на сковороде вы!»

— Еще! Еще про дев!

— Отвечали дэвы девам: «Заняты мы, девы, делом — обещал полночный демон снять по утренней звезде вам!»

— Еще!

— Ах вы, негодники! Вот вы куда удрали!

Из-за кизила вывернулась женщина, обычная женщина, моложе самого Абу-т-Тайиба лет на двад-

цать пять и вполне годящаяся поэту в жены. Три попки были тут же отшлепаны, три носа вытерты, каждое дитя получило по своей доле упреков за побег; и женщина, рассыпаясь в извинениях, потащила детей прочь.

— Стой! — закричал ей вслед Абу-т-Тайиб. — Стой, погоди!

Приказ был выполнен в точности: женщина остановилась, согнувшись в нижайшем поклоне.

Нет, бесталанный шах Кабира остановил няньку отнюдь не из желания поинтересоваться: что делает обычная женщина в Мазандеране? Абу-т-Тайиб уже успел встретиться здесь с добрым сотней невольниц, от юных пери до старух с седыми космами, которых дэвы натаскали отовсюду — прибираться, готовить пищу и рожать вот таких голубоглазых ангелочеков. Здесь не таилось ничего удивительного: еще в сказках никого не изумляло, когда дикий ифрит с дурным нравом предъявлял права на красавицу из человеческого рода.

Удивительным было иное: нянька ругала детей на чистом арабском, с легким налетом йемамского акцента.

— Давно тебя выкрали? — на том же языке, заново приоравливаясь к родному звучанию, поинтересовался поэт. — Ну говори, не бойся: давно?

Маленькая слезинка выкатилась из уголка глаза и споро покатилась по щеке няньки-невольницы.

— Давно, мой господин! Летом восьмой год будет. Мы с братом выехали из Каира по делам семейным, а тут — ифриты... брата разорвали, а меня...

— Из Кабира?! — Разочарованию поэта не было предела.

— Нет, господин мой! Из Каира, столицы Египта.

— В Египте нет такой столицы — Каир! Во всяком случае, при мне не было...

— Ну как же нет! Я ведь не какая-нибудь зама-

рашка, я дочь известного равия, собирая стихов, я грамоте обучена! Каир — столица, основан величими Фатимидами... Мы туда из Йемамы перебрались, с отцом и братом, а в Йемаму — из Хадрамаута!

— Славного беговыми верблюдами, — машинально уточнил Абу-т-Тайиб. — Земляки, значит... Дважды земляки: ты из Каира, я из Кабира! А когда, говоришь, Фатимиды этот ваш Каир заложили?

И был вознагражден ответом:

— В триста пятьдесят восьмом году лунной хиджры, мой господин! Отец еще записал: «О первый камень Каира! — два года прошло со дня смерти Абу-ль-Фараджа Исфаханского, составителя «Книги Песен», и дважды два — со дня кончины великого поэта Абу-т-Тайиба аль-Мутанабби! Быть тебе, Каир, градом стихотворцев!»

— Ты уверена? — осторожно переспросил поэт.

Так и встало в памяти: бархан и торчащий из него сапог.

Куфийский, с кисточками по краю голенища.

Больших денег стоит... стоил.

— Абсолютно, мой господин! Я же дочь равия... Мой отец составил наилучшее собрание касыд аль-Мутанабби и сатир Ибн Суккары; мы потому и в Каир переехали, что у тамошних равиев сохранился малоизвестный вариант «Касыды о мече»!

— Ладно, ступай, — поэт безнадежно махнул рукой, присел на камень и долго любовался, как ветер ерошит крону кизила.

Вдоль берега речки мчались трое детей, и вслед за ними спешила невольница-нянька, похищенная ифритами Мазандерана из окрестностей Каира, столицы Египта.

Города, основанного Фатимидами спустя четыре года после смерти одного малоизвестного поэта.

Е рабб, не удивиться — удавиться бы!.. да не поможет.

Наверное...

— Мой шах хочет побыть в одиночестве?

— Твой шах хочет... ничего он не хочет, твой шах. Садись, Гургин. Видел: дети бегут?

— Видел, мой шах! Бегут, дай им Творец здоровья и судьбы получше, чем у родителей...

— И то, что все дети — «небоглазые», тоже видел?

— Не слепой... Да и каким им еще быть, мой шах?

— Знаешь, Нахид отказалась раскрыть мне тайну «небоглазых»... Глупая! — это у нее с того дня уродство в рост пошло?

— Нет, мой шах. Это началось у Нахид-хирбеди еще у пещеры Испытания, когда она возражала мне. А в рост пошло, когда на твоей голове воссиял шахский кулах. Ну и дальше-больше...

— А у Худайбега все началось, когда он в разгул ударился?

— Увы, мой шах, разгул здесь мало что значит. Грабил бы себе твой любимец купцов да носильщиков паланкинов, глядишь, и по сей день слышали бы мы о славном курбаши Худайбеге! Просто Худайбеге, человеке, разбойнике, каких двенадцать на дюжину... Это он сборщика податей, видать, убил; или на столичного чиновника руку поднял.

— И что?

— Когда «небоглазый» живет обычной жизнью, не противореча власти, человеческое в нем сильней чуждого начала. Он просто лишен благодати: не видит земными глазами ореола шахского фарра и не слышит блеяния Золотого Овна.

— Как Дэв, который не признал во мне владыку там, на Судейской площади?

— Да, мой шах.

— Как Утба, когда кинулся на меня, обуян боевым безумием?

— Да, мой шах.

— А если «небоглазый» подымает руку не на шаха, а на чиновника, на того, кто получил должностной кулах...

— Подымать руку не обязательно. Власть есть власть, а сияние кулаха наместника или судьи есть частица сияния кулаха владыки — который, в свою очередь, частица Огня Небесного. Обычному человеку даже в голову не придет укрывать зерно от уплаты податей. «Небоглазый» может укрыть — и с этого часа в нем просыпается дэв. Ты видел, как это происходит, мой шах! Проходит время — и новому дэву один путь: в Мазандеран. Если, конечно, он не будет убит ранее...

— Людям с голубизной взора можно жить, как все — человеком; можно жить по-своему — дэвом; что еще, Гургин?

— И можно сойти с ума, приняв на себя должностной кулах. Сияние фарра выжжет нам мозг, обратив в чудовище не видом, но рассудком! Поэтому я молил тебя избавить старого дурака от тяжести венца безумия!

— И поэтому Утба, став есаулом султанских телохранителей, начал смеяться невпопад? А Дэв падал в обморок, надев шапку юз-бashi?!

— Правота моего шаха...

— Знаю — неоспорима. Только ответь мне: почему Утба до сих пор в своем... почти в своем уме? И почему Дэв становился чудовищем гораздо медленнее, нежели Нахид?!

— Близость султана, мой шах, для Утбы Абу-Язана... а для Дэва — сперва отроческая незрелость, а после еще и близость моего шаха! Присутствие обладателя фарра сдерживает окончательное превращение «небоглазого» в дэва или сумасшедшего. Нам, чей взор дурен от рождения, опасно быть в сиянии власти; нам опасно быть против сияния власти — но если это произошло, то нам лучше быть около власти. Около тебя, мой шах, ибо государст-

во — это ты, как правильно заметил Баркук-Харзи-ец! Так предопределено от начала веков, мой шах, и от нас это не зависит. Смешно! — любой из дэвов тянется к тебе, мой шах, ибо твое близкое присутствие вновь тащит на поверхность человека, утонувшего в трясине гиганта-урода; они, бывшие мятежники, бывшие слепцы, сейчас готовы душу за тебя положить на алтарь... Любой дэв стал бы самым законопослушным кабирцем, хургом, кименцем, он бы падал в ноги любому обладателю кулаха — но люди не примут их обратно! Разве что с единственной целью: рассажать на колья...

— Это не смешно, Гургин. Это страшно.

— И опять правота моего шаха неоспорима. Это не смешно; а я — старый дурак. Потому что советник, давший Кей-Кобаду совет: как сделаться шахиншахом...

— Я слушаю.

— Это был я, мой шах.

3

ПОВЕСТЬ ГУРГИНА, ВЕРХОВНОГО ХИРБЕДА КАБИРА-БЕЛОСТЕННОГО, О ТОМ, ЧТО БЫЛО И ЧЕГО НЕ БЫЛО С НИМ, С ШАХОМ И СО СТРАНОЙ.

...во вторую декаду месяца Фравардин, посвященного Фравашам — душам усопших предков; во вторую декаду месяца поминальных молитв и благочестивых помыслов — о вечное небо! — меня призвал к себе солнцеликий Кей-Кобад, шах кабирский...

Нет, не так.

Иначе.

Знаете, как в Малом Хакасе лишают ведьм колдовского дара? Старуху сажают в круг из пяти костров, и в летний полдень, окружена чистым огнем, она должна сорок раз назвать вслух имена сорока

демонов-прислужников. Потом ведьму приводят в чувство, на пятом костре жарят печенку черной суки, насаживают эту печенку на колючую веточку терновника — и кормят женщину поганой едой. После трапезы прочищая ей глотку оной веточкой и заставляя извергнуть съеденное вместе с даром к ведовству. А дальше главное: в течение месяца не кормить ведьму курятиной и на закатах обливать ключевой водой.

Иначе обряд придется повторить.

Хирбеда-отступника подвергают сходному очищению. Разве что вместо пяти костров становятся пятеро жрецов Огня Небесного, пятеро «небоглазых» высшего посвящения; вместо имен сорока демонов-прислужников грешник может твердить все, что ему угодно, или вовсе молчать; а вместо терновой веточки душу отступника прочищают колючим разумом Пятерых.

После этого кисель, бывший человеком, отправляют доживать свой век в тайные капища, укрытые от Огня Небесного.

К Нахид-хирбеди таких мер не применялось. Зачем мучить понапрасну? — ее ведь просто пытались уберечь от греховного поступка, от глупости и ереси; но она свято хранила тайны хирбедов, зная, что всякий хирбед — «небоглазый», но не всякий «небоглазый» — хирбед; и еще зная, что молчание — тоже испытание.

Впрочем, речь сейчас не о Нахид.

Когда мы вернемся в Кабир-белостенный...

Нет, не так.

Иначе.

Если мы вернемся в Кабир-белостенный, я добровольно явлюсь в Судилище Огня и отдамся в руки братьев моих — я, верховный хирбед Гургин, отступник и злоумышленник. Ибо не имел права говорить с обладателем фарра о тайнах «небоглазых», о сущности дэвов и должностного безумия; ибо еще жива меж нас память о шахе Заххаке-змее-

носце, который приказывал трижды на день корить себя мозгом юношей и дев с голубыми глазами.

А теперь можно и сначала.

Во вторую декаду месяца Фравардин, посвященного Фравашам — душам усопших предков; во вторую декаду месяца поминальных молитв и благочестивых помыслов — о вечное небо! — меня призвал к себе солнцеликий Кей-Кобад, шах кабирский. Явившись перед очи владыки, я пал ниц и внимал его велениям. Но на этот раз шах долго молчал, а потом сказал удивительное.

— Держава моего легендарного предка, Кей-Джамшида, — сказал владыка, — простиралась от масличных рощ Кимены до барханов Верхнего Вэя. Это так, хирбед Гургин?

— Это так, мой шах, — отвечал я с благоговением. — Кей-Джамшид был повелителем мира, и фарр его являлся своему обладателю в виде святой чаши, откуда Кей-Джамшид обеими руками черпал благодать.

— Почему же нынешние времена — лишь слабое подобие прошлых? — спросил владыка.

Я пожал плечами. Что отвечать? Что Кей-Джамшид возгордился сверх меры и стал черпать из чаши не обеими руками, а ведрами и черпаками? Что святая чаша от гнева раскололась на сотню кусков, и каждый кусок обратился в отдельный фарр — кабирского Золотого Овна, Лунного Зайца Харзы, Синего Тура Лоула, мэйланьского Голубя-Мяо?..

Вряд ли владыка хотел услышать от меня то, что прекрасно знал сам.

— Пора вернуть величие прошлого, — Кей-Кобад расхаживал по покоям, не глядя на меня. — Пора склеить чашу моего предка Джамшида! Пора шахский кулах превратить в диадему царя царей! И ты поможешь мне в этом, верховный хирбед Гургин, поможешь... Я приказываю: через месяц ты явишься в эту залу и изложишь мне способ осуще-

ствить великий замысел! Проклятье, я головой со-
гласен рискнуть ради желаемого!.. я жду тебя, Гур-
гин, я жду тебя через месяц...

Уже в дверях меня догнали последние слова
Кей-Кобада.

— Это приказ, хирбед! — сухо бросил владыка в
спину раба своего, скорее подчеркивая, чем напо-
миная.

С того часа мне кажется: шах кабирский знал
больше, чем говорил. Видимо, меж хирбедов сыс-
кался-таки отступник, приоткрывший Кей-Кобаду
краешек завесы над тайнами «небоглазых». Ведь
словами «это приказ!» шахставил меня в безвыход-
ное положение! — а шахи редко произносят вслух
такие слова, ибо любая их прихоть — и без того при-
каз. Ослушайся я Кей-Кобада, откажись искать
нужный способ — это означало бы, что некий Гур-
гин, человек с голубыми глазами, воспротивился
воле обладателя фарра, воле олицетворения держа-
вы!..

Вскоре среди дэвов Мазандерана вполне мог
явиться еще один, плохо помня о своем звании вер-
ховного хирбеда.

Предложи я способ наугад, без должного разуме-
ния и надежды на успех — пусть надежды куцей,
будто заячий хвост! — шах погиб бы страшной смер-
тью, пытаясь накрыть одним плащом двоих, пытая-
ясь стать вдвое больше, а вместо этого разрываясь
пополам...

С нового Испытания вернулся бы новый шах; но
что решил бы Златой Овен относительно неудачли-
вого советчика Гургина?!

Относительно того человека с голубыми глазами,
чей совет на миг подвел Овна к краю пропасти?!

Вскоре среди дэвов Мазандерана... впрочем, об
этом я уже говорил.

Время шло.

Я долго думал.

Подобно сапожнику, пытающемуся из одной за-

готовки стачать две пары сапог; подобно цирюльнику, норовящему из редких прядей на подбородке старца соорудить пышную бороду в завитках; подобно матери, которой нужно одной лепешкой на-кормить ораву сыновей.

Я очень долго думал.

У меня имелся в запасе целый месяц; много, крайне много, если ты обучен думать.

Да, султан Харзы был прав, указывая новому владыке Кабира, где искать! Шах Кей-Кобад действительно вознамерился разбить страну на четыре удела, официально назвав каждого наместника-марзбана — шахом, а себя — царем царей! Безумие? Чушь? Возможно...

Если не пройти заново путем размышлений глупого Гургина.

Вот они, осколки чаши Джамшида, фарры держав: овен, голубь, заяц... Но где же видано, чтобы зайцы охотились на голубей, а туры наполняли чрево бараниной?! Огнь Небесный распорядился единственно правильным образом; фарры не были способны стать друг другу врагами или соперниками.

Но приказ Кей-Кобада... приказ воина... приказ волка!

Я решил превратить Овна в волка.

И мой совет Кей-Кобаду был волчьим советом, попыткой научить шаха есть сырое мясо, не поперхнувшись. В качестве первой добычи предполагались наместники четырех уделов — частицы собственно-го кабирского фарра. Безопасно; наивно; удивительно! — но волчица приучает детей к мясу исподволь, таская в логово то овечью лопатку, то полевую мышку... лопатку надо грызть, мышку надо душить, а там черед дойдет и до серьеznой травли.

После обеда само собой у шахиншиха, у царя царей Кобада должна была возникнуть любовь к свежатине.

Или хотя бы — привычка.

А сияние фарра, после того как Златой Овен поглотит собственные частицы, должно было стать — хищным.

Я не видел иного способа склеить чашу Кей-Джамшида.

Совет пришелся владыке по душе. Он искренне пытался облагодетельствовать меня, предлагая открыть для умницы-Гургина свою сокровищницу; он щедро жертвовал на храмы и приближал хирбедов сверх меры. Одновременно Кей-Кобад заказал себе банный доспех, новые латы для новой славы и собирался буквально на днях объявить о реформе обустройства державы.

А я все чаще ловил себя на недостойном хирбеда возбуждении.

Мне стало интересно: прав ли я?

Можно ли на самом деле превратить Золотого Овна в Серого Волка?!

Когда возбуждение достигло предела, я увидел сон — хотя обычно сплю без сновидений. Символ кабирского фарра сидел напротив меня и смотрел в упор налитыми кровью глазами. Ничего не предпринимал; просто сидел и смотрел. Будто раздумывал: что следует со мной делать? Или иначе: что следует делать со мной за то, что я собирался сделать с ним, Золотым Овном? И баранья морда ухмылялась мне в лицо зловещим оскалом.

Волчьим.

Мы, хирбеды, путем долгих усилий приучаем себя видеть образ державного фарра; не так, как все, но мы его видим, в отличие от простых «небоглазых».

В эту ночь я проклял дар виденья.

На следующее утро меня вновь призвал к себе владыка Кабира.

— Мне снился Златой Овен, — без обиняков сообщил он. — Ему по душе избранный мной путь. Дело за малым: перед началом нового пути я должен опять пройти через пещеру Испытания. Один, без спутников и соперников. Войдет не шах-заде, но

шах; выйдет не шах, но шахиншах. Ты поедешь сопровождать меня.

— К пещере Испытания ездят два хирбеда сопровождения, — я низко поклонился, недоумевая. Воля Золотого Овна показалась мне по меньшей мере странной. Но разве не было странным все, задуманное нами?!

Шах презрительно поморщился.

— Лишние уши, лишний язык, мой Гургин... Говорят, у тебя есть ученица? Молоденькая глупышка? Возьми ее.

Так Нахид впервые оказалась в горах без названия.

Вопреки обычаю: хирбедов сопровождения избирает не воля шаха, а Совет служителей Огня Небесного — но Совет согласился с моим предложением.

Мы легко добрались до пещеры Испытания, и Кей-Кобад вошел внутрь.

Я и Нахид ждали его у выхода до самого заката.

А потом еще — от рассвета до заката.

А потом еще.

И на ум раз за разом приходило возвеличивание легендарного Кей-Джамшида, чья гордыня не уступала его же мудрости, а мудрость была беспределна:

Теперь шахиншах полновластный наш — ты,
Хоть солнце зашло, месяц ясный наш — ты.
Всю землю пусть воля твоя покорит,
А имя на арках дворцовых горит!

Мы ждали напрасно.

Шах исчез; и лишь из темной глубины пещеры эхом доносилось насмешливое блеянье.

Спустя неделю ожидания мы отправились домой.

...едва успев пересечь кабирские пределы, мы с Нахид окунулись в траур. Окна наместнических дворцов были занавешены синим атласом, меж дихкан царило смятение и растерянность, и хирбеды

трижды на день возносили молитвы за упокой шаха Кей-Кобада.

Безвременно скончавшегося от старости.

— Когда умер шах? — спросил я у первого же гонца, которого узнал по лисьему малахаю. — Когда?!

Из ответа я выяснил, что великий шах умер больше двух месяцев тому назад, не покидая перед этим своего дворца.

Для нас с Нахид прошло около трех недель; для кабирцев — для них срок был совсем иным.

Вернувшись в столицу, я немедленно встретился с братьями-хирбедами. Многие из них были очевидцами похорон и в один голос утверждали: да, хорошили именно Кей-Кобада. Я посетил мавзолей владыки, долго стоял у гробницы... из углов насмехалась пыльная тьма.

Все вокруг честно похоронили владыку, все прекрасно помнили и заключения лекарей, и момент кончины, и траур; все прожили больше двух месяцев, день за днем, минуту за минутой...

Прожили?

Нет?

Тогда я впервые задумался об истинном и ложном.

Можно ли отыскать различие?.. наверное, нельзя.

Я оплакал Кей-Кобада и наш дерзкий замысел. Я велел Нахид молчать даже под пыткой; и она повиновалась. И когда из всех претендентов на фарр и трон остался один Суришар, его поехали сопровождать двое: я и Нахид.

Совет не стал возражать.

Мне хотелось вновь оказаться у пещеры Испытания. Мне все время казалось: умерший и оплаканный шах ждет нас там, ждет, еженощно мучаясь насмешкой Золотого Овна... тщетные надежды. У пещеры никого не было, и Суришар вошел внутрь.

А вышел ты, мой будущий владыка; и я видел сияние вокруг твоего чела, как умеют это видеть лишь хирбеды высшего посвящения.

Я не рискнул противоречить воле фарр-ла-Кабир.

Замечу лишь, что входят в пещеру Испытания многие, а выходит — один. Никому не известно, куда деваются остальные и где отныне лежат их пути. Возможно, кто-то из предков моего нового владыки был отмечен благодатью фарра, и она сказалась в его потомке; возможно...

Возможно все.

Даже то, что невозможno.

Я понимаю: мои слова может подтвердить лишь Нахид, но, к сожалению, она теперь уже ничего не станет подтверждать.

Нет под горбатым небосводом суда, где рассматриваются свидетельства дэвов..

Вот он, здесь, в удивительном месте — бывший шах Кей-Кобад, заново посетивший пещеру Испытания, чтобы вместо обретения титула шахинshaха потерять свой собственный фарр!

Но и он ничего не сможет подтвердить: он безумен. Даже меня он не узнает, и только таскается следом неотвязной тенью. Умоляет поговорить с вором, укравшим его фарр, умоляет вернуть прежнее имущество бедному уроду...

Мне жаль его.

Я не знал, что так бывает.

Глава шестая,

исполненная стонов и воплей, мудрых раздумий и горьких терзаний, но от этого никак не проясняются правила игры в мейсир — когда игральные стрелки называются частями верблюжьей туши, после чего они мечутся с определенным смыслом и значением

1

— ...Потерять собственный фарр, надеясь его увеличить, — задумчиво повторил Абу-т-Гайиб. — Нет, не тревожься, мой бдительный Гургин! —

меньше всего на свете мне хочется поменяться местами с Кей-Кобадом. Даже с Кей-Кобадом лучших времен, владыкой владык, которому даже в страшном сне не могла бы привидеться доля нынешнего «карлика». Мне претит участь венценосного раба при Златом Овне, заседланного мерина под рогатым седоком — но участь безумца меня тем более не прельщает! И все же, все же... Если есть способ избавиться от сияющего проклятия Овна — то, быть может, есть и способ оставаться при этом в своем уме? Ах, Кей-Кобад, гордый Кей-Кобад, скорый на решения и поступки! Будь в моих силах хоть на миг вернуть тебе ясность рассудка, чтобы ты рассказал... Ведь ты хотел совсем иного, нежели хочу я! Не в этом ли ответ? Что скажешь, хирбед?

— Я не знаю, где кроется ответ, мой шах. Но я на коленях молю тебя: не иди путем Кей-Кобада! Это пагуба и ересь — тягаться со Златым Овном! Ты можешь пропасть, погибнуть, сойти с ума, как твой несчастный предшественник — а Кабир вновь покинет благодать Огня Небесного! Я не желаю зла ни тебе, ни своей стране...

— Верю. Но я — плохой шах! Меня тяготит шахский кулах и фарр, тяготит восторженная покорность моих подданных, покорность искренняя, честная, и оттого еще более ненавистная! Знаешь, Гургин: там, откуда я пришел, я иногда втайне мечтал о венце султана или халифа — но я никогда не мог подумать, что этот венец мне вручат просто так, даром: садись и владей нами! Нет! Я не желаю подарков от какого-то барака, пусть хоть и трижды Златого! Свободный человек, я не люблю, когда мне швыряют подачки — будь то кусок лепешки или диадема царя царей! И если в своих мечтах я надевал на голову венец владыки — в этих мечтах я всегда брал его сам! Понимаешь — сам! Своими руками и мечом! И никак иначе. Е рабб, ведь сто раз слышал от сказителей: юноша является в неведомый край, ему на плечо садится голубь или ворон — и

местные жители мигом возводят юношу на трон! Слышал, смеялся, но никогда не мог себе представить весь ужас случившегося... Представил. Гургин, меня тошнит вашей сказкой!

Гургин угрюмо молчал. Понимал: спорить бесполезно. И даже не потому, что слово шаха — закон для подданных...

— Вышел бы из меня достойный правитель или не вышел — одному Аллаху ведомо; но не здесь, и не *так*. Мы чужие друг другу: я и мой фарр. Значит, рано или поздно, нам придется встать лицом к лицу... вернее, лицом к бараньей морде.

Поэт саркастически хмыкнул, видимо ясно представив себе эту замечательную встречу.

— Мы сойдемся на узкой дорожке. И дальше отправится восвояси лишь один; или оба — но в разные стороны. Впрочем, на такой исход я мало надеюсь!.. И еще, положа руку на сердце: боязно встречаться в темноте, вслепую. Ах, если бы Кей-Кобад хоть краешком намекнул мне, что случилось с ним там, в пещере Испытания! Проклятье! Я сам поговорю с ним! Мне удастся... обязательно удастся...

И, не договорив, Абу-т-Тайиб проворно вскочил на ноги.

— Как будет угодно повелителю, — развел руками Гургин. — Возможно, моему шаху удастся то, что не удалось глупому старому хирбеду.

Старец еще долго сидел и глядел вслед своему владыке.

Так, как будто видел его впервые.

2

«Карлика» Абу-т-Тайиб нашел в достаточно просторной и сухой пещере, указанной ему верным Дэвом. В шершавом сумраке теплился робкий ого-

нек лучины, и огрызок света испуганно вздрогнул, едва в проходе возник силуэт незваного гостя.

Груда ветхих одеял на каменном выступе защевелилась, и из ее глубин возникли борода и один глаз.

Борода была всклокоченная, а глаз — левый.

Голубой.

— Вор, — вяло сообщила борода. — Все украл. Больше ничего нету.

Борода с глазом вновь спрятались под одеялами, и оттуда послышалось то ли сопение, то ли всхлипы.

Абу-т-Тайиб с трудом заставил себя приблизиться к импровизированному ложу былого повелителя Кабира, к услугам которого были бесчисленные множества лож совсем иного свойства; вдобавок, воняло в логове отставного шаха нестерпимо. Но иного выхода не было. Поэт присел рядом с ложем на корточки и, собравшись с духом (во всех смыслах), заговорил:

— Обижаешь, Кей-Кобад, не вор я. Скорее уж жертва, подобно тебе. Все у меня отняли, все, что имел, обобрали до нитки, а взамен твое тряпье всутили: фарр, и дворец, и гарем — век бы я этого добра не видел! Смотри, друг, брат, товарищ по несчастью: на колени перед тобой встал, винюсь — хоть и нет моей вины, а винюсь! Сегодня же с тобой местами поменялся бы, да не знаю — как? Подсажи, а?! Ведь без фарра не видать тебе дворцов с гаремами, как своих ушей; пропадешь ни за медный фельс, подобно бакылю-тупице... Что скажешь, шах?

И умолк в ожидании, будто дитя неразумное уговаривал.

Сопеть под одеялами перестали.

— Отдай! Отдай! Сейчас отдавай, ворюга! — глухо донеслось из-под одеял.

— Подсажи, как?!

Молчание.

— Ну, хочешь, во дворец пойдем? Еды прикажем

натаскать, женщин привести? И все — тебе! Одному тебе! А ты только расскажешь...

Одеяла вихрем взметнулись к потолку пещеры, так что поэт, невольно отшатнувшись, чувствительно приложился к полу многострадальным крестцом.

— Пошли! — Кей-Кобад был уже на ногах и в нетерпении запрыгал вокруг Абу-т-Тайiba. — Пошли, ворюга! Сейчас!

— Сию минуту, — покладисто согласился поэт.

Однако у самого входа во дворец-пещеру произошла заминка. «Карлик», за минуту до этого гордо вышагивавший впереди поэта, вдруг взвизгнул, будто змей ужаленный, и резво отпрыгнул за спину Абу-т-Тайiba.

— Нет! Ловушка! *Он* там! Опять! Опять есть будет!

— Кто? — недоуменно обернулся к нему Абу-т-Тайib; и почти сразу до его слуха из глубины «дворца» донеслось приглушенное блеянье.

— Баран, что ли? — догадался поэт.

— Он! Золотой! Огнем жжет! Не хочу!

— А ну, приятель, будь мужчиной! — Ухватив бывшего шаха левой рукой за ворот (чтоб не сбежал), Абу-т-Тайib правой потянул из ножен ятаган. — Вот мы его, рогатого!

Ятаган с раздражением взвизгнул, упираясь, но Абу-т-Тайib пренебрег этим, как пренебрег и страхом «карлика»; и с клинком наголо двинулся вперед.

Если проклятый баран и угнездился во «дворце», то при появлении двух шахов успел куда-то спрятаться. Оглядевшись, Кей-Кобад вскоре успокоился. А когда по приказу Абу-т-Тайiba дэв-слуга расстарался насчет еды — здоровенное блюдо жареной требухи с неизменными лепешками — то «карлик» и вовсе забыл про страх, с жадным чавканьем набросившись на кушанье.

Огненными бабочками трепетали на стенах

языки факелов, тьмой кромешной клубилась под потолком копоть, масляно отблескивали по углам медь и бронза — а посреди всего этого набивал рот горелыми потрохами бывший шах Кабира. Владыка, хотевший большего и потерявший все, отчего сейчас ему хватало для радости малого — незатейливой стряпни мазандеранцев. И сидел рядом, глядя на предшественника и не притрагиваясь к пище, словно был он в доме врага и за трапезой врага, владыка нынешний; и еще угрюмо молчал неподалеку исполинский черный трон. Кто восседал на нем в былые дни? Для каких великанов предназначался он, сгусток полированного мрака, пустующий сейчас...

Пустующий?

Как бы не так!

Кей-Кобад, оказывается, был не настолько поглощен едой, чтобы не замечать ничего вокруг. «Карлик» сразу уловил, как изменилось выражение лица нового шаха — и не замедлил проследить за его взглядом.

Глаза Кей-Кобада мгновенно полезли на лоб, безумец вскрикнул — и подавился, отчего лицо его мигом налилось опасной синевой.

На тигриной шкуре поверх трона вольготно разлегся давешний баран. И теперь Златой Овен с высокомерным неодобрением наблюдал за людьми, словно раздумывая: а не кликнуть ли стражу, не приказать ли вышвырнуть вон обоих наглецов?

— Ну ты, шаурма недорезанная! — изумился Абу-т-Тайиб, мимоходом хлопая Кей-Кобада по спине (еще задохнется и помертвей ненароком!). — Словно обнаглел, скотина!

Остатки требухи, секундой раньше вставшие безумцу поперек глотки, изверглись наружу вместе с громким кашлем; а поэт не замедлил использовать кувшин, удачно подвернувшийся под руку, не по его прямому назначению.

Угодив промеж рогов, метательный снаряд разлетелся в черепки, а баран только обиженно бебекнул, соскочил с трона и поспешил укрыться в одном из боковых проходов.

— Лучше рассказывай по-хорошему, — решил поэт сменить подход к упрямому собеседнику. — Все, все рассказывай, до конца! А то ведь он от тебя не отстанет! Сам видишь. А вместе, глядишь, и придумаем что...

Он сам не верил в собственные слова. Ему было невыразимо стыдно обманывать несчастного, помочь которому в силах разве что Господь миров — но Абу-т-Тайиб должен был знать: что стряслось с Кей-Кобадом в подлой пещере Испытания!

Как ни странно, угроза возымела действие.

Лицо безумца на какой-то миг приобрело почти осмысленное выражение; Кей-Кобад наморщил лоб, мучительно пытаясь сбраться с мыслями.

— Темнота... — Уста «карлика» родили хрип, и Абу-т-Тайиб замер, стараясь не пропустить ни единого слова. — Свет... жжет! Бежать! Бежать! Не-е-ет! — заорал вдруг Кей-Кобад дурным голосом, заставив поэта подпрыгнуть от неожиданности.

— Не-е-ет!

И, обеими руками вцепившись в собственные волосы, безумец ринулся к выходу.

3

...позади остались края каменной чаши, подпирающие небо, источенные жилищами дэвов; позади остались серебристый плеск ручьев и чахлые огороды (отсюда они смотрелись драным лоскутным одеялом); позади осталась горная осыпь, которой, казалось, не будет конца — и под сбитые сапоги Абу-т-Тайиба, устав прятаться от назойливого бродяги и решив сдаться на его милость, легла узенькая тропинка.

Куда ведешь, тропа?

Какая разница, дуралей?! — иди, пока идется...

Поэт уходил.

В горы.

Куда глаза глядят.

На душе скребли шакалы и гадили в потаенные уголки, не пропуская даже самого укромного. Дерьмо, все дерьмо — и собственная душа, взятая под залог у Аллаха, тоже. Не хотелось никого видеть: ни старого мага, ни верного Худайбега, ни вечно смеющегося Утбу, ни почтительных уродов-мазандеранцев...

Хочу быть один! — вы слышите?!

Оди-и-ин!!!

И — не получалось.

От себя не уйдешь. От себя, своего проклятия и искаженного ужасом лица безумного Кей-Кобада, которое насмешливым призраком маячило впереди.

Закрой глаза — маячит.

Ослепни... не поможет.

Как же тебя выкрутили мокрой тряпкой, гордый шах, задумавший из барана стать волком, как же тебя измочалили, прежде чем заново вышвырнуть в мир из пещеры Испытания! Что сделал с тобой Златой Овен, прежде чем сорвать с чела сияющий ореол власти — вместе с твоим рассудком?!

Молчишь?

Не скажешь?

Теперь сам вижу — не скажешь. Ни мне, ни своему бывшему горе-советнику, и никому другому на этой грешной земле. Разве что Аллаху, когда предстанешь перед ним на Страшный Суд. Только Всеведущему ни к чему твои откровения — он и так знает все. А пока ты здесь, на земле, ты останешься всклокоченным безумцем, чей язык горазд лишь ерунду молоть да требуху облизывать...

И никто ничего уже не расскажет, не объяснит глупому поэту, не откроет глаза — поздно. Чего ты добился, несчастный? Узнал тайну «небоглазых»?

Узнал. Радуйся! Пляши от счастья! Чем поможет тебе эта тайна? Вернуть прежнюю Нахид? Не дать Худайбегу окончательно превратиться в чудовище? Самому избавиться от клейма Золотого Овна? Чего ты добился, прах земной? Хотел попасть в Мазандеран? — ты здесь. Пытался сбежать от поданного тебе на блюде Кабирского шахства? — в итоге тебе на блюде поплоше преподнесли страну дэвов. Где тебя тоже величают шахом и, дабы угодить, вышвыривают в рвань и темень несчастного юрода, лишая его последней радости в этой жизни.

А тайны?.. тайны остаются тайнами, и пора бы уже понять: хоть волком, хоть бараном, а придется идти, куда жизнь ведет!

Не хочешь?

Гордый?!

Ну и подавись своей гордостью...

* * *

Тропа вильнула хвостом, угловатая скала послушно уступила Абу-т-Тайибу дорогу, и поэт увидел, что дальше пути нет, и уступчивость скалы здесь ни при чем.

На тропе, словно восстав из-под земли, стояли четверо дэвов: рогатый исполин и трое приземистых громадин, об которых и носорогий зверь аль-каркаданы с разбегу лоб расшибет.

— Дорогу! — зло ощерился поэт. — Дорогу их шахскому величию!

Он двинулся вперед, набычясь и сжимая кулаки — но дэвы, в отличие от покладистой скалы, отнюдь не спешили уступать дорогу их шахскому величию. Стояли, переминались с ноги на ногу, сотрясая твердь.

Молчали.

И не уходили.

— Оглохли, уроды?! Прочь!

Абу-т-Тайиб подступил вплотную к рогачу и не-
двусмысленно положил ладонь на рукоять ятагана.

— Назад ходи, — неожиданно тоненьким голосом проблеял местный шайтан. — Сюда нет. Назад.

— Ах ты, дитя блуда... — начал было Абу-т-Тайиб, до половины обнажая клинок; и вдруг осекся.

Ведь мечталось, до боли мечталось, меряя шагами покой кабирского дворца: эй, люди — оспорьте, возразите, ну хоть просто взгляда не отводите! Вот же оно! Открытое неповинование! Да, конечно, дэвы — не люди... уже не люди — но не этого ли ты хотел, хотел едва ли не более страстно, чем свою первую женщину?! И едва желаемое возникло пред тобой, как ты впадаешь в ярость, хватаешься за ятаган... Или Златой Овен успел тайно проникнуть в твою душу, в твое сердце и разум, превратив их в собственный хлев, исподволь делая былого поэта шахом, владыкой до мозга костей, принимающим радостную покорность и бездумное раболепие как должное?!

Что с тобой, поэт?!

— Назад ходи, — тупо повторил рогач.

Абу-т-Тайиб пожал плечами и медленно побрел обратно. Подчиняться было легко и сладостно. Может быть, там, дальше, расположена какая-нибудь дэвская святыня? Капище? Запасы на зиму? Впрочем, важно другое: оказывается, дэвы не столь покорны шахской воле, как люди! Ну почему, почему тупые чудища способны на то, чего не могут обычные смертные?! Ах да, они же — «небоглазые»... бывшие. Уходить, уходить отсюда, уносить ноги, из Кабира, из Мазандерана, из нового бытия — в пещеру Испытания, в Медный город, в пустыню, под бархан, куда угодно!

Не могу больше!

До ушей Абу-т-Тайиба долетел шорох щебня, и поэт резко обернулся.

Дэвы тащились следом, держась шагах в тридцати позади.

— Да оставьте вы меня в покое! Я хочу побыть один! Один — понятно?! — рявкнул он и прибавил шагу, что на каменной осыпи, до которой он уже успел добраться, было весьма небезопасно.

Дэвы малость отстали, но продолжали следовать за ним. И лишь когда осыпь кончилась, поэт, оглянувшись, не обнаружил за спиной молчаливой свиты. Или стражи? Кто его знает. Дэвы растворились в скалах, и на мгновение Абу-т-Тайибу почудилось: это ожившие утесы заступили ему путь там, на тропе — а теперь вновь застыли в неподвижности, вернув себе прежний облик.

Из котловины слабо взметнулся чей-то голос, прянул в небо и почти сразу оборвался, сбитый влет.

Поэт остановился.

А там — побежал.

4

— Расскажи все, — тупо повторил дэв-стражник и потянулся за дымящейся головней. — Шах прикажи — расскажи все. Говорить.

И неловко ткнул головней в голый бок существа, привязанного к чинаре.

Пленник отчаянно закричал, на губах его выступила грязная пена; и он обмяк.

— Да что ж вы делаете, отродье ифритов?! Прекратить немедленно!

Абу-т-Тайиб буйволом расплескал толпу уродливых зрителей, мало заботясь о разнице в размерах и силе. Свистнул ятаган, с тупым стуком разрубив ветви и глубоко ранив старую чинару, после чего несчастный «карлик» без сознания свалился прямо на руки владыке Кабира и Мазандерана.

Поэт беспомощно огляделся и увидел спешащего к нему Гургина.

— Гургин! Вовремя ты! Тащи скорей воду, масло и чистую ткань!

— Уже несу, мой шах!

— Хорошо, займись этим бедолагой...

Окончательно убедившись, что пострадавший Кей-Кобад находится в надежных руках, Абу-т-Тайиб обвел собравшихся вокруг дэвов таким тяжелым взглядом, что великанов, казалось, должно было вогнать по пояс в землю.

— Зачем? — очень тихо спросил поэт.

От этого тихого голоса любого обычного человека прорвал бы мороз по коже.

Однако шкура дэвов была куда толще обычной.

— Говорить не想要, цволачы! Мы пытай, — гордо заявил дэв-стражник, и на его плоской физиономии отразилось искреннее недоумение.

Мол, разве и так не понятно?

— Что он должен был сказать? — Ярость клокотала в груди, подступала к глотке, и поэт с трудом сдерживался, чтобы не выплеснуть ее наружу звериным рыком и стальным вихрем ятагана, рубящего в куски все и вся.

— Все. Все сказать, — уверенно ответствовал стражник.

— Что — все? — Ярость слегка отодвинулась, уступая место недоумению — едва ли менее искреннему, чем у стражника. — Что ты несешь, тутика?!

— Все. Шах дворец говори: «Рассказать все». По хорошему проси, потрохами корми, с собой сажай. Цволачь не想要. «Не-е-ет!» кричать, — дэв говорил медленно, с трудом подбирая нужные слова. — Я на ухо ловкий, сам слышать. Я цволачь лови. Пытай. Чтоб говори все — как любимая шах хотела! Вот.

— Они хотели, как лучше, — еле слышно шепнул

Гургин, покрывая ожоги несчастного зигировым маслом.

— Я понимаю, — таким же шепотом ответил магу поэт.

Дэвы стояли. Ждали. Чего? Может быть, благодарности за проявленное рвение?

— Не надо его больше пытать. Слышите? Не надо! — как маленьким детям, по складам, произнес Абу-т-Тайиб, обращаясь к дэвам. — Идите. Мы сами справимся.

Дэв-стражник некоторое время еще топтался на месте и, так и не дождавшись похвалы, обиженно затрусили прочь.

Вслед за ним начали с явной неохотой расходиться остальные.

Поэт обернулся к Гургину.

— От меня одни беды, — горечь жгла грудь, спирала горло, насквозь пропитывала слова, перед тем как выплюнуть их наружу комками мокроты. — Я всем несу только зло. Рука Омара Резчика; молодой вор-чангир; хурги; жабьи выходки в Кабире; Нахид, ставшая из-за меня чудовищем; и вот теперь — безумец, у которого я отнял все! Хватит! Я был другим, не хорошим, не плохим; это проклятый фарр, да сожжет он сам себя, это поганый баран — вот кто сделал меня людоедом! Все, старики. Завтра мы уходим отсюда. Мы идем в пещеру Испытания! И будь что будет! Я больше не могу жить с этим!..

Унылое блеянье послышалось совсем рядом, и поэт, вертя головой, не сразу понял: блеет Кей-Кобад, так и не прия в сознание.

5

Солнце нежными пальцами огладило горбы дальнего хребта, белизну зубчатой гряды; и снег вершин, не в силах сдержать восторга, в ответ взо-

рвался изнутри нежнейшим золотом, тихим пламенем сердцевины. Небо стало еще прозрачнее, наливаясь отчаянной голубизной, лес на склонах встретил праздник ответными брызгами зелени, и бока утесов вплели в этот фейерверк свою, темно-бурую ноту.

Безудержная сила разлилась в воздухе — пей, мечтающий стать героем, черпай обеими горстями, пластай ломтями и набирай про запас, без стеснения!

Ну же!

* * *

— …здесь, здесь он, родимый, — одышливо бормотал себе под нос Гургин, цепляясь за шершавый, весь в узлах и шишках ствол выродка-можжевельника; и минутой позже маг продолжил упорно карабкаться вверх по склону.

Впереди всех.

Следом за ним обезьяной прыгал ухмыляющийся своим грезам Утба, готовый в любой момент поддержать старого хирбеда, если тот вдруг оступится на крутизне. Тщетны старания, хург! — Гургин ни разу не оступился: кряхтел, бормотал всякую ерунду, но лез в гору с упрямством потомственного ишака.

— Где — здесь? — в очередной раз поинтересовался Абу-т-Тайиб, вытирая пот ладонью и шипя от боли: соленая влага разъедала ссадины. — Кто — здесь? Куда ты завел нас, Айван ибн-Сасан, проводник адов?!

— Здесь он, мой шах! Ал-Ребат, тайна из тайн, чье имя меж сведущими означает...

— Да знаю я, что означает Ал-Ребат! — взбунтовался поэт. — Уж получше тебя! Тебе-то откуда такие словечки известны?!

Ал-Ребат на родном языке поэта означало до-

словно «междуместье», то пространство, что лежало между стенами крепости, внутренней и внешней.

Промежуток, так сказать.

— Мне? — Маг выбрался на скальный уступ, сплошь поросший чахлой травой, но от вопроса шаха едва не свалился вниз. — Мне как раз ясно, откуда: я — хирбет... Точно, здесь. Чуешь, Худайбег?

— Чую, — согласно кивнул Дэв. — Здесь он, скорпион его закусай! Этот, который промеж, твоё шахское...

И помог взобраться на уступ Нахид-дэви, с глупой улыбкой таращившейся по сторонам.

Разумеется, бросать в Мазандеране кого-либо из своих спутников поэт не собирался — да они бы и сами не остались. Даже Худайбег, доведись ему выбирать. А вот насчет Нахид... относительно бывшей хирбеди Абу-т-Тайиб долго колебался. Помочь несчастной он вряд ли сможет; среди людей ей теперь не жить — а здесь, в Краю Дэвов, она по крайней мере своя! Оставить? Или все-таки надежда есть? Одному Аллаху ведомо, что случится, когда он во второй раз войдет в пещеру Испытания... Надеяться оставалось лишь на чудо — но разве не за чудом, пусть страшным, чуждым, непредсказуемым чудом, шел он, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби?

Разве не чудо все, случившееся со мной, беспутным рифмоплетом; и, клянусь бородой святого Хызра, не о таких чудесах молил я Господа миров!

Сомнения поэта неожиданно разрешил Гургин.

— Бери ее, мой шах, — уверенно заявил маг. — Лишний дэв нам очень даже понадобится.

— Зачем? — удивился Абу-т-Тайиб.

— Дорогу прокладывать, — буркнул Гургин, и поэт не стал пускаться в дальнейшие расспросы. Даже извинений за случайную грубость слушать не стал. Может быть, эта таинственная дорога завалена

оползнем? Тогда дэвская сила Нахид действительно окажется кстати...

А тащить с собой местных исполинов поэт хотел меньше всего.

Выступили на рассвете, едва золотая кровь солнца легла на клыки южных вершин. Заспанная Нахид, поднятая Худайбегом прямо с убогого ложа, счастливо пялилась на вожделенного шаха и все старалась придвигнуться к нему поближе, побыть рядом, чуть ли не потеряться об поэта!

О своей недавней обиде она уже и не вспоминала, а о давней ненависти — и вовсе...

Абу-т-Тайиб же честно старался смотреть мимо бывшей хирбеди. Иначе перед внутренним взором чередой сменялось: что было и что стало! Оставалось лишь кусать губы от бессилия и остервенело карабкаться на склон.

Но, может быть...

Ради этого призрачного «может быть» они и лезли сейчас в гору в поисках загадочного Ал-Ребата.

Междуместья.

Промежутка.

Выхода к пещере Испытания.

6

Тупик.

Перед ними высились скала — отвесная голая Башня Молчания, на верхушке которой еретики-огнепоклонники оставляют своих покойников на живу стервятникам.

Стена без каких бы то ни было признаков расселины, пещеры или замурованного входа.

— Ну и? — Абу-т-Тайиб злобно полоснул мага взглядом, тщетно пытаясь сдержать кипящий вал бешенства. — Сим-Сим, открайся, это мы, сорок разбойников?

Если б не почтение к сединам...

— Ал-Ребат здесь, мой шах! — Смущение было неведомо верховному хирбеду Кабира. — Сейчас начнем уговаривать. Я думаю, с двумя дэвами, если они возьмутся как следует... Помнишь ли ты ущелье, где Нахид устроила засаду? И ее бегство от преследования?

— Прямо через скалу?! — дошло наконец до Абут-Тайиба.

— Именно так, мой шах, именно так. Ну что ж, приступим.

Гургин отобрал у Утбы хурджин, извлек из него плоскую жаровенку в виде солнечного диска с лучами — правда, больше жаровенка походила на краба. И принялся разводить огонь, бормоча себе под нос разную чушь на неизвестном поэту языке. Прозрачными змейками закурился прянный дымок, робко потянулся к скале, как тянется к блуднице юноша, впервые ощущивший томление плоти; вот нежные пальцы тронули одежды из сланца и базальта, распахнули полы, лаская упругую кожу, сглаживая выступы и неровности; вот любовный пот заструился по телу скалы, копясь в заповедных островках мха — скорее! отклиknись! утоли!

О-о, надежда моя!

Дряхлый хирбед поднялся во весь рост, забормотал громче, вскрикивая весенним павлином; голос мага постепенно набирал силу...

Худайбег, словно завороженный, уставился на скалу, и Нахид-дэви последовала его примеру, ворча сытой львицей. Так они и стояли: высокий седой старец над пылающей жаровней — а по бокам два могучих дэва, плавя взглядами скалу-недотрогу. Очертания каменной шлюхи дрогнули от страха, чуждого горам, испытанного ими впервые; скала зашаталась — не подчиниться ли? — поплыла расслабленной наложницей в бассейне гарема, жадно вдыхая волшебный дымок, сама становясь дымом, туманом, дурманом...

Абу-т-Тайб с Утбой невольно подались вперед. И в этот момент жаровня волчком отлетела в сторону, брызжа от злобы искрами и раскаленными угольками. Гургин осекся на полуслове, бывшая хирбеди и силач юз-бashi разом отвернулись от скалы — что стряслось?! — и скала вздохнула с облегчением.

Тупик.

Мертвый тупик, и никаких туманов.

Блудница отказалась.

Перед Гургином стоял давешний рогач-великан, явившийся незваным прямо из второй скалы, рядом; и выпученные глаза со странной скорбью глядели на мага сверху вниз. Рогач постоял еще с минуту, затем подошел к скале Ал-Ребат и уселся перед ней на корточки, мыча песню без слов.

Но за минуту до песни... это он пнул ногой жаровенку.

Он.

— Что ж ты делаешь, шайтан рогатый! — Абу-т-Тайб первым обрел дар речи. — Пшел отсюда, дубина!

Дэв замычал вдвоем громче.

Гургин еле держался на ногах. Совершенно измотанный и опустошенный, он напоминал носильщика тяжестей после трудного дня; по лицу мага стекали капли пота, исчезая в темных ущельях морщин.

— Дозволь, твое шахское, я его?.. — с надеждой осведомился Худайбег.

— А я добавлю! — поддержал Дэва хург, удобнее перехватывая секиру.

Без всякого намека на улыбку.

Судя по всему, рогатому нахалу в ближайшее время могло не поздоровиться — если бы Гургин не разлепил спекшиеся губы:

— Не надо. У меня все равно... старый я, владыка. Силы на исходе. Завтра попробуем еще раз.

Абу-т-Тайб смачно плонул под ноги рогачу и

выругался. В случайности поэт верил слабо, особенно в такие рогатые случайности, которые шляются за тобой тенью, дорогу перегораживают... жаровни пинают. Е рабб, в третий раз припрется — он, Абу-т-Тайиб, просто-напросто не станет удерживать Дэва с Утбой. Или... Как-никак, вот такие, рогатые, здесь хозяева, и не стоит раздражать их без крайней надобности.

А сейчас — крайняя, или нет?

Поэт подумал и решил, что нет.

Он погрозил рогачу кулаком и, не глядя на спутников, первым полез вниз по откосу.

Обратно, в долину.

Глава седьмая,

*где дэвы всех мастерий гурьбой бродят за шахом, их собратья
мнут глину или носят воду, дед и внучка рассказывают
поэту много интересного — а толку?*

1

Весь оставшийся день Абу-т-Тайиб понуро мерил котловину вдоль и поперек.

В самом скверном расположении духа.

Гургина, к концу обратного пути буквально валившегося с ног, Дэв с Утбой под руки отвели во «дворец» — отъедаться и отсыпаться. А потом, видя, что шаху не до них, потихоньку убрались с глаз долой. Хотя поэт и подозревал: эта парочка наверняка крутится где-то поблизости. Подпоясавшись поясами служения и намотав чалмы верности, чтоб их... Пусть. На глаза не лезут, и хорошо. А за заботу — спасибо, конечно...

Зато местные дэвы то и дело увязывались следом — по одному, по двое, а порой и целой ватагой. Вначале Абу-т-Тайиб честно пытался отогнать жутких попутчиков, а потом махнул рукой: ходят — и ну их. Тем более что дэвы почтительно держались

сзади, в разговоры не вступали и вообще всячески старались как можно меньше мозолить шаху глаза.

Что у них временами даже получалось.

Вот прицепились, отродья случайных связей! — не уставал дивиться поэт, но дивиться вскоре надоело. Тучи мрачных мыслей роились в мозгу, противно жужжа: «Ж-жиз-знь! Ж-жаж-жда ж-жиз-зни! Ж-жуть!..» — и, стараясь угомонить наглую свору, Абу-т-Тайиб занялся осмотром долины, в которой ему, судя по всему, придется задержаться еще на несколько дней.

Пока не оправится старый маг и они не попытаются снова открыть загадочный Ал-Ребат.

Вид мазандераницев, занятых своими делами, тоже радовал глаз существенно меньше, чем «танец живота» в исполнении юной невольницы, но давал изрядную пищу размышлению.

Да сами поглядите, чего зря ерзать...

Десятка два почти голых дэвов — все без особых «украшений» вроде рогов, крыльев или суставчатых лап, а облезлые хвосты не в счет! — в поте лица трудились на куцых огородах. Пололи, окучивали, разрыхляли, правили оградки. И в то же время близ огородов слонялось никак не меньшее количество откровенных бездельников, зато бездельников рогатых, крылатых и перепончатых.

Кстати, именно они и увязывались то и дело вслед за поэтом.

Из части пещер раздавался отчетливый стук. Наружу время от времени летела каменная крошка; не поленившись заглянуть в одно из таких жилищ, Абу-т-Тайиб обнаружил внутри двух дэвов-«огородников» — те мучили бугристый потолок теслами, вместо молотка колотя по обушку собственными кулаками. На полу, подстелив драную циновку, сидел широкоплечий урод в чешуе; фыркал и топорщил усы, каждый длиной в локоть.

Поглядев немного, поэт двинулся дальше.

Близ ручья, под навесом, за неказистым гончар-

ным кругом пристроился еще один дэв. Работа у него явно не ладилась: мало того, что разболтанный круг водило из стороны в сторону, будто пьяного гяура — это еще полбеды, хороший гончар и на таком управится. Возможно, когда-то, в своей предыдущей жизни, дэв и был хорошим гончаром; но сейчас... Едва глина начинала приобретать некое подобие формы, как корявые пальцы дэва клещами цепляли заготовку — и вся работа шла наスマрку. Дэв раздраженно хрюкал, отшвыривал прочь ни в чем не повинную глину, потом сидел истуканом, продолжая вращать ногой круг и глядя при этом в какую-то ему одному ведомую даль. Вздыхал, брал следующий кусок глины...

Абу-т-Тайб приблизился. Его вдруг пронзила стрела любопытства: что мастерит бедолага? Поэт тихо встал за спиной гончара, наблюдая за работой. И, как ни странно, у дэва вскоре начало получаться! Пусть кривобокий, но в целом вполне приличный кувшин с широким горлом. Похоже, гончар и сам был крайне удивлен подобным успехом. С осторожностью ювелира он снял с круга готовый кувшин, поставил на плоский камень — и залюбовался своим творением, на время позабыв обо всем.

Поэт кашлянул.

Косматая голова повернулась, скрипнув позвонками шеи; и взгляд голубых глаз упал на Абу-т-Тайiba.

Мгновение — и вот дэв неуклюже растянулся у ног шаха.

— Моя твоя... шаха благодари очень!

— Да ладно, вставай!.. умелец. Только-только работа пошла — а ты тут брюхом камни протираешь... Трудись, говорю!

— Твоя правильный говори. Мудрый шаха! — Дэв встал, низко поклонился и с усердием принялся вертеть круг.

Здесь больше стоять не имело смысла... а где имело?!

Тянулись к ручью коренастые чудо-дэвицы; несли пустые бадьи и кувшины, возвращались обратно с полными. Их сестры и подруги собирали урожай на дальних огородах, а вон две старухи взялись с одеялами, когтями выдирая из складок наскокомых.

Абу-т-Тайиб прикрыл глаза и постоял так, вслепую, пытаясь представить себе ту же картину. Но с одним отличием: вместо дэвов весь этот круговорот обыденности творили люди. Простые люди. Ведь все, как у людей вроде...

Странное дело! В представленной им картине люди были четко разграничены: феллахи в пыльных одеждах занимались земледелием; поодаль прохаживалась стража — кожаные панцири, пики в руках... надсмотрщик бичом щелкает. Зато с женщинами вышла неувязочка: к ручью спускались сельские простушки рука об руку чуть ли не с султанскими женами: домотканая холстина и индийский кашемир, ковровые накидки и парча, шитая золотом...

А вот из-за скал выходит вереница гостей. Купцы? разбойники? — у всех в руках и на головах красуются тюки, хурджины, ларцы со всяkim добром.

Все-таки: торговля или грабеж?

Абу-т-Тайиб открыл глаза — и в действительности увидел выбирающуюся из-за утесов вереницу исполинов, нагруженных разнообразной поклажей. Вот тебе и раз! Никак провидцем становлюсь?!

Дэвы местного каравана весьма смахивали на былых проводников к Мазандерану. Как их назвал тогда Худайбег? Добытчики? Похоже. Что ж это выходит: его, Абу-т-Тайиба, они тоже «добыли»?

А до него — безумного Кей-Кобада?

Встречаться с «добытчиками», даже для изучения добычи, мигом расхотелось — и Абу-т-Тайиб свернул на неприметную тропку, уходившую в заросли кизила. Впереди, за поворотом, он различил

тонкую струйку дыма, уходящую в безветренное небо — и двинулся туда. В конце концов, шах он или не шах?! Значит, вполне может посетить любого из своих подданных, дабы... Нет, никаких «дабы»! Для шахов и душегубов закон не писан...

Говорят, правда, что для дураков — тоже.

Вскоре тропа вывела поэта на поляну, скрытую от досужих взглядов кизиловыми деревцами. Под одним таким деревцем белела груда... груда... короче, в первое мгновение Абу-т-Тайиб решил, что это — снежный сугроб.

Именно из сугроба и ползла вверх сизая струйка, которую поэт заприметил еще с тропы.

А потом сугроб зашевелился — и на шаха из-под кустистых бровей уставились два прозрачно-голубых осколка неба.

* * *

— В гости пришел? Заходи, — еле ворочая языком, произнес старый Олмун-дэв.

2

Вблизи поэт сразу учуял знакомый запах гашеного — тот исходил из серебряного кальяна, покоявшегося в косматых лапах Олмун-дэва. Тихо булькала вода в кальяне, запах дурмана смешивался с ароматом цветущего кизила, солнце грело, как греет душу удачно сложенный стих — райские кущи, да и только. Только гурий не хватает! Да и то: даром гарему простаивать? — сейчас кликнем...

Поэт тщетно пытался выдавить улыбку.

Шерстяной сугроб по имени Олмун-дэв долго молчал, время от времени вдыхая дурманящий дым.

— Ты ее не гони. Тебе с ней хорошо. Будет. Хорошо... — проговорил он наконец, с трудом возвращаясь на грешную землю из своих высей.

— Кого — ее? — не сразу понял Абу-т-Тайиб, сразу подумав о Нахид и внутренне содрогнувшись.

— Внучку мою. Фарангис, — сейчас дэв говорил правильно, медленно и старательно произнося слова. Только паузы делал не всегда там, где надо. Но от курильщика гашиша трудно ожидать красноречия, даже не будь он мазандеранцем.

— Внучку?!

— Да, шах. Внучку. Это я ее к тебе. Послал. Да она и сама. Была. Не против.

Казалось, голос Олмун-дэва доносится издалека, из облаков покоя и блаженства, где он сейчас пребывал.

— Пусть к тебе. Поближе будет. Ей — надо.

— Да я, в общем, и не против, — зардевшись, как юноша, чого с ним уже давно не случалось, сдавленно ответил поэт. — Если только она сама не откажется. Зачем ей я?

Лицо горело, и было трудно не переминаться с ноги на ногу.

Чудеса!

— Ты ей. Понравился. Свет. От тебя. Может быть. Дети будут, — Олмун-дэв снова на некоторое время замолчал, окутавшись гашишным дымом. — Пока ты здесь. Всем хорошо. Дэвам. Если Фарангис. Рядом будет. Человеком останется. Совсем хорошо. Облака. Летят. Летят. Хорошо. Хочу туда... хочу.

Голубые глаза затянула туманная поволока, и только сейчас поэт до конца понял, насколько точное это слово — «небоглазый». Олмун-дэв был там, в вышине, сливвшись с лазурной далью, — и плыл вместе с пуховыми лебедями облаков, такой же снежно-белый и свободный от всего земного.

Потом осмысленное выражение вновь возникло во взгляде старого дэва. И поэт задал вопрос, который давно жег ему язык:

— Почему вы цепляетесь за меня? Почему, Ол-

мун? Ведь вы — «небоглазые», и фарр для вас — пустой звук! Зачем я вам нужен? Дэвы липнут ко мне голодными мухами, ты послал Фарангис на мое ложе... Зачем вам, изгоям, шах?

— Не понимаешь... — нараспев протянул старик. — Хорошо. Я скажу. Ты видел нас. Дэвов. Какие мы. А ведь раньше. Мы были — люди. Как все. Только глаза другие. А теперь... Мы глупеем, шах! Мы — ладно. Плевать. Наши дети. Дэвтаги. Они рождаются обычными. Многие умирают. Многие. Очень. Но потом. Те, кто выжил. Лет с тридцати... У Фарангис шерсть появилась. Совсем недавно. Скоро у нее будет. Шерсть. Как у меня. И она станет дурой. Совсем. Я не хочу. Внучка. И другие — тоже. Плохо. Душа... болит. Гашиш. Помогает. Не-надолго. Думаю лучше. Когда курю. У людей наоборот. А у дэвов...

Он жадно припал к черному, прокуренному мундштуку кальяна и сделал глубокую затяжку. Тучи набежали на небо в глазницах дэва, но поэт терпеливо ждал его возвращения из царства грез.

— Тяжко... возвращаться, — пробормотал наконец старик, с усилием приходя в себя. — От тебя — свет. «Небоглазые» не видят. Люди. Дэвы — могут. Не все. Этот свет... лекарь. Лекарь разуму, о шах! — Во взоре Олмун-дэва полыхнуло яростное отчаяние, и призрак дикой, невозможной надежды. — Разве — рядом с тобой! Душа — рядом! Ты нужен нам! Мы хотим быть людьми! Людьми, а не чудищами!

Абу-т-Тайиб мимоходом отметил, что речь Олмун-дэва становится более гладкой — неужели действительно благодаря его присутствию?!

— А те, кто моложе... наши дети, внуки... они вообще могут. Не стать дэвами! Остаться людьми. Или почти. Людьми. Как Фарангис. Она была умная. Очень. Для внучки дэва. Мне больно смотреть на это, шах! Но я ничего не могу сделать. Сам. Гашиш помогает. На время. А потом — опять. И тут пришел

ты. С твоим светом, который лечит. Ты нужен нам, шах! Если у Фарангис будет ребенок... от тебя. Он будет человеком! И у него будет свет! Он будет светить нам всем. Так было когда-то здесь, очень давно... пока не явился Меднотелый! И Фарангис... она останется человеком, с тобой. Совсем. Вчера и сегодня она была почти прежней! Не гони ее, шах!.. молю... облака... облака... хочу...

* * *

Старый дэв с кальяном давно остался позади, на поляне, вновь уйдя в свои заоблачные выси, а Абут-Тайиб все брел, не разбирая дороги, и мельничные жернова в его мозгу крутились быстрей и быстрей, перетирая зерно мыслей в муку отчаяния.

Значит, он несет не только зло? Значит, дэвы любят его отнюдь не по велению Золотого Овна? Оказывается, сияние фарра целебно не для него одного...

Неужели — правда?

Но ведь это фарр-ла-Кабир, Золотой Овен, сделал «небоглазых»-отступников такими, какими они стали! И что теперь? Остаться здесь, пытаясь помочь этим... людям? дэвам? По ночам любить Фарангис, а днем бездумно бродить по Мазандерану, не обращая внимания на плетущихся следом уродов, понимая теперь — в чем смысл...

Аллах, дай силы! Посвятить остаток (возможно, еще очень большой остаток!) жизни бескорыстному самоотречению!?

Нет, он не святой в дырявом плаще-хырке и не подвижник, бичующий себя проволочной плетью! Он поэт и бродяга, через год он просто рехнется в этой дыре, и никакие благочестивые размышления о долге, пользе и помощи ближнему не удержат мятешийся рассудок в темнице черепа — как не удержат его самого в пещерном городе под названием Мазандеран!

Да, ему жаль этих несчастных, да, он хотел бы помочь им, но никому не дано стать выше себя! Жить растением, полезным растением, дуреть от скуки и понемногу сходить с ума — увольте! Рано или поздно он все равно не выдержит — так не лучше ли сделать это сразу, пока зыбучий песок равнодушия ко всему на свете еще не поглотил его мятущуюся душу?!

О Аллах! Вразуми и наставь на путь истинный непутевого раба твоего!

Да, он уйдет, уйдет, как только старый маг опрavitся и откроет свой Ал-Ребат. Уйдет к пещере Ис-пытания — и будь что будет. Может быть... может быть, Олмун-дэв окажется прав, у Фарангис родится ребенок с фарром, и тогда...

Поэт понимал, что лжет самому себе, но другого выхода не было.

Это была жизнь с чужого плеча; это вновь был подарок, искушение, милостыня...

Абу-т-Тайиб хотел брать сам.

3

— Это ты, Фарангис?

Шелковистая шерстка под ладонью, упругое тепло прилипает к боку, тонкие руки, которые тут же начинают осторожно двигаться под одеялом...

— Да, это я, мой шах.

— Не называй меня так. Зови по имени — Абу-т-Тайиб.

— Разве у шахов бывают имена?

— Бывают, Фарангис.

— Странно, — руки девушки на миг останавливаются; два теплых щенка, тычущихся в бок матери. — Тот, другой, требовал, чтобы я звала его только «мой шах». Или, в крайнем случае, «мой повелитель»...

— Кей-Кобад?! — Абу-т-Тайиб резко сел. — Ты была с ним?!

— Была, мой... была, Абу-т-Тайиб. Олмун-дэв сказал: так надо. И еще я очень боялась... боялась стать такой, как все! Ты не прогонишь меня?

Тревога. Тревога и ожидание в дрогнувшем голосе. Девушка, почти девочка — согласная пойти на все, лишь бы не превратиться в тупое чудовище!

— Что ты, Фарангис! Нет, конечно, — вздохнув, поэт вновь опускается на ложе и мягко привлекает внучку Олмун-дэва к себе.

А потом они еще долго лежали рядом, блуждая между сном и явью, и поэт успел подумать: «Зря, зря говорят, будто нельзя дважды войти в одну и ту же реку... глупцы». Но едва он улыбнулся собственным мыслям, как ощущение сказочности происходящего исчезло, и поэт застонал от грубого явления реальности, словно от приступа зубной боли. Скоро он покинет Мазандеран, и эта девушка волей-неволей начнет спуск в общую пропасть, станет обычной самкой дэва... такой, как Нахид. И важно ли, что не появись он здесь, роковые изменения случились бы еще раньше?! — нет, это неважно.

Е рабб, он дал ей надежду — а теперь уходит, забирая надежду с собой!

— Что с тобой? Тебе плохо?... Абу-т-Тайиб!

Соврать?

Промолчать?

— Скоро я уйду, Фарангис. Мне очень жаль, но я не могу остаться.

— Ты останешься. Тебе не уйти отсюда, мой шах.

— Поэт не видел в темноте лица девушки, но голос прекрасно выражал все то, что Фарангис и не пытаясь скрывать: искреннее сочувствие и столь же искреннюю радость, что шах останется с ней!

— Почему? — Поэт удивленно приподнялся на локте.

— Тебя не выпустят.

— Кто? Дэвы?

— Дэвы. Стоголовый, Следящий и их подручные.

— Погоди-погоди! — Остатки дремы упорхнули с век вспокоенными голубями. — Следящий — это такой длинный... с бараньими рогами?

— Нет, это Стоголовый. У Следящего — крылья.

— Стоголовый? Башка-то у него вроде одна...

Тихий смех, хрустальные колокольчики во тьме.

— Голова у него одна. Но ему подчиняется сотня других дэвов. Бойцов.

— А, юз-бashi!.. ну да, это, собственно, и значит «голова сотни». Сотник, значит. Стоголовый... Он еще сегодня утром жаровню Гургину перевернул! Выходит, это было не случайно?!

— Не случайно. Ты нужен дэвам. И останешься здесь.

Абу-т-Тайиб тут же вспомнил четверку мазандеранцев, заступивших ему тропу и отказавшихся выполнить приказ.

Фарангис правильно поняла его замешательство.

— Здесь, в Мазандеране, они сделают все, чтобы тебе было хорошо. Работники будут служить тебе, добытчики принесут все, что ты захочешь. Если сумеют, конечно. Бойцы будут защищать тебя до последнего вздоха; женщины — ублажать. Но уйти... уйти тебе не дадут. Так хочет Олмун-дэв. И так хотят все.

— Олмун-дэв? Твой дед? Он здесь правит?

— Нет. Просто дедушка — самый умный. И знает, как надо.

— А если попробовать договориться с твоим умным дедушкой? — Поэт еще надеялся решить дело миром.

— Он не согласится. Ты нужен здесь. Нам всем.

Фарангис отвернулась, и они долго молчали.

— И все же я попробую, — медленно проговорил наконец Абу-т-Тайиб. — Прости, девочка, — я не могу остаться. Это не моя жизнь; понимаешь, Фарангис?

Она плакала почти беззвучно — и у поэта впервые не нашлось слов.

Любые слова здесь казались орудиями пытки.

4

...На этот раз Худайбег, не слушая возражений хирбеда, усадил Гургина себе на закорки, чтобы сберечь его силы. Они им еще понадобятся, эти скучные стариковские силы! Нахид сама вызвалась тащить хурджин с жаровней и всем остальным, что могло понадобиться при открывании Ал-Ребата. Она дважды пыталась заговорить то со своим учителем, то с Абу-т-Тайибом, — но вскоре, отчаявшись связать больше трех слов, умолкала. И все же это была не та Нахид, которая с воплем выбежала из «tronной залы» Мазандерана, отвергнутая поэтом. Исподволь, нехотя, ворча и сопротивляясь, разум вновь просыпался в ней, и взгляд Красной Дэвицы становился осмысленней.

Еще неделя-другая; проведенная рядом с шахом... не проснется ли вместе с разумом и былая ненависть?!

Абу-т-Тайиб запретил себе думать об этом.

Мелкий щебень выскальзывал из-под ног и шуршал по склону, уносясь вниз; край скалистой площадки, где они в прошлый раз пытались открыть Ал-Ребат, приближался медленно, но верно.

Еще немного — и...

Их ждали. Стоголовый, угрюмо набычившись, стоял прямо напротив, и за его спиной корячились громады все тех же (или других?) исполинов, которые уже однажды заступили Абу-т-Тайибу путь в горах.

— Уходите! — Это слово произнесли одновременно двое: Стоголовый и Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби.

— Эй, твое шахское? Может, их тово... копье-

цом? — громко зашептал на ухо поэту Худайбег, ссаживая на землю мага.

Убивать не хотелось. Но есть ли иной выход? Поэт прикинул возможности обеих сторон. «Нет, не осилим, — пришел он к малоутешительному выводу. — А если и осилим, то кого-то потеряем. Меня эти красавцы не тронут, зато остальных...»

Мостить дорогу из Мазандерана трупами друзей?! У шаха не бывает друзей! Не бывает?! Врешь, Гургин, врешь, Баркук-Харзиец! Вот они, мои друзья, стоят рядом со мной! И я не дам им лечь в могилы ради моих прихотов! Я — плохой шах?.. да, плохой. Никудышный. Златой Овен ошибся в выборе. Настоящий Кей-Бахрам фарр-ла-Кабир послал бы любого на смерть, не задумываясь! Но почему же я тогда молчу?! Ведь Худайбег сейчас решит, что я согласен, и...

Уже решил!

Горло сковал спазм, челюсти окостенели, не желая раздвигаться, язык намертво присох к небу, рождая лишь дурацкое блеянье. Грудь вздымалась все чаще, воздуха не хватало — какой там крик, прощаться бы всласть... всласть... всласть... власть!

Не встававший на колени — стану ль ждать чужих молений? Не прощавший оскорблений — буду ль гордыми прощен?!. Тот, в чьем сердце — ад пустыни, в море бедствий не остынет, раскаленная гордыня служит сильному плащом!..

— Назад, Дэв! Назад!

Хриплый рык отшвырнул прочь Худайбего, уже готового броситься на Стоголового.

— Назад, я сказал! Не трогать их! Уходим...

Горло жгло, как если бы оно отведало расплавленного олова: смертельно. Проклятый баран, проклятый фарр проклятой страны — что же вы все со мной делаете?!!

Ведь еще немного... е рабб!

— ...Хочешь, я почитаю тебе стихи?

— Стихи? — Восторг и удивление вспыхивают в ее голосе, переливаются искристым серебром на солнце. — Конечно, хочу! А что это такое — стихи?

— Если б я знал это сам, Фарангис!.. тем паче я никогда не был силен в любовной лирике...

Слова пришли сами.

Ты стоишь передо мною, схожа с полною луною,
С долгожданною весною — я молчу, немея.

Дар судьбы, динар случайный, ветра поцелуй прощальный,
Отблеск вечности печальный — я молчу, не смея.

Пусть полны глаза слезами, где упрек безмолвный замер —
Я молчу, и мне терзает душу жало змея.

Заперта моя темница, и напрасно воля мнится —
Не прорваться, не пробиться... О, молчу в тюрьме я!

Ты стоишь передо мною покоренною страною —
Укрощенным сатаною мучаюсь во тьме я!

Отвернись, уйди, исчезни, дай опять привыкнуть к бездне,
Где здоровье — вид болезни, лук стрелы прямее,

Блуд невинностью зовется, бойня — честью полководца...
Пусть на части сердце рвется — я молчу. Я медлю.

— ...это стихи? — Фарангис очень осторожно погладила поэта по плечу. — Твои стихи?

— Увы, мои. Я же говорю: лирика мне не дается.

— Ты все равно уйдешь, — неожиданно звякнуло серебро. — Я знаю. И никакой Стоголовый тебя не удержит. И я не удержу...

Тишина.

— Если бы ты знала, девочка... Ты держишь меня тут куда сильнее, чем дюжина Стоголовых! Да, я уйду. Рано или поздно. Но пока я здесь, с тобой, и к чему жить будущим?! Хочешь еще стихов? Веселых, как ветер над рекой? Буйных, как табун в степи?! Хочешь?!

— Да!..

— Тогда слушай...

— ... Есть другой Ал-Ребат, точно есть! Чувствую я его! — бормотал себе под нос Гургин, резво перебирая ногами и бросая по сторонам короткие острые взгляды — словно ножами швырялся.

Волоски на знаменитой бородавке мага воинственно топоршились.

— А ты, Худайбег, тоже чуешь? — интересовался Абу-т-Тайиб. Все-таки одна голова, пускай хирбедова — хорошо; а две, особенно когда вторая — Дэвова, с его нюхом на Ал-Ребаты — куда как лучше!

— Чую, твое шахское, чую, — отвечал в сотый раз Худайбег. — Куда надо идем, это уж точно!

Торчали из расщелин сухие руки корней, не нашедших опоры, словно лапы добровольных тюремщиков: стой! ухвачу! свалоку в пропасть! Обломки скал псыми бросались под ноги, грозно выл ветер, налетая сбоку и норовя ударить, больно зацепить крылом, сбить дыхание — казалось, сами горы не желают выпускать беглецов из своей утробы.

Но они шли.

Осыпи, предательские откосы текут реками щебня, тропа петляет, двоится, троится, издеваясь — но две шахские собаки, большая и маленькая, безошибочно отыскивают путь в горном лабиринте, углубляясь все дальше и дальше в каменный хаос, уходя, уходя прочь от Мазандерана!

Абу-т-Тайиб едва не убил себя за подлую мысль о «шахских собаках»; и еще долго брел, стараясь не думать вовсе ни о чем.

Гургин резко останавливается, и ойкает Утба, едва не сбив с ног старого хирбеда.

— Удача, мой шах, — скучая улыбка мага похожа на милостыню скряги. — Этот Ал-Ребат — не в скале. Вот он, перед нами.

— Угу, — согласно кивает Дэв.

И даже Нахид бурчит невнятцу, тыча перед собой мосластым пальцем.

Поэт смотрит туда, куда указывает Гургин. Ничего особенного. Узкая расселина, след от удара меча Джибраиля, развалила ближний утес пополам. В расселину вполне может пройти человек — а то и дэв.

Во всяком случае, Худайбег с Нахид наверняка пройдут.

По другую сторону расселины видны камни, каких везде — хоть горстями греби!.. и взъерошенные пучки травы упрямо лезут в щели. Тропа огибает утес, скорее всего продолжаясь там, по другую его сторону, у выхода из расселины.

— Ну так... пошли, что ли? — неуверенно бросает поэт и замолкает, устыдясь надежды в собственном голосе.

— Двое, — маг шепчет это на ухо, и шепот старца горячей кипятка, — двое дэвов нас всех не потянут, мой шах! Чтобы уйти вместе — нужен ритуал открытия.

— Но ведь сами дэвы ходят по твоим Ал-Ребатам, как по базарной площади! Ну, скалу заколдовать (при этом слове Гургин морщится), это еще понятно, а тут — дыра дырой...

— И мы выйдем из дыры по ту сторону утеса. Не более и не менее. А так может посчастливиться выйти к перевалу Баррах. Оттуда до пещеры Испытания уже рукой подать. Нельзя терять, не приобретая, мой шах! И наоборот. Это закон, хоть для людей, хоть для дэвов. Последние, например, без усилий отыскивают и используют Ал-Ребаты, даже не замечая этого. Поэтому ловить дэва в горах или пустынях — дело безнадежное... Если только он сам не захочет послужить тебе проводником. Но я уже сказал, мой шах: два дэва не свезут нас троих!.. да и Худайбег, к счастью, еще не совсем...

— Я понял, — угрюмо кивает Абу-т-Тайиб.

Нахид тем временем, сосредоточенно сопя, уже развязывает завязки жреческого хурджина. Пальцы упрямятся, противятся воле бывшей хирбеди, но вот бунт подавлен, и на свет является знакомая жаровня, огниво, бруски ароматного дерева... над всеми этими сокровищами парит улыбка Нахид, дерзкая улыбка, которой не место на чудовищной морде.

Ястреб кричит в небе; и боятся в припадках воссторга цикады, рискуя охрипнуть.

— Здесь легче будет, — оборачивается к поэту маг, минутой ранее присевший у жаровни на корточки. — Не скала — дыра, как справедливо заметил мудрый владыка...

И, забыв обо всем, начинает возиться с огнivом. Пока Абу-т-Тайиб думает, что в последнее время слишком часто подозревает своего наиглавнейшего советника в скрытом издевательстве, над жаровней начинает куриться легкий дымок. Гургин вовсю бормочет заклинания, и на этот раз Стоголовый все-таки проморгал их побег, что хорошо, отлично, прекрасно и замечатель...

Уши мгновенно закладывает от дикого, оглушильного вопля, заполнившего мир, что называется, от Тельца до Рыбы. Вскрикнув от боли и зажав уши ладонями, поэт оборачивается. Шагах в пятидесяти позади них на тропе стоят старые знакомые: Стоголовый, трое его дружков, а рядом раскорячился мохнатый бурдюк на кривых ножках. Бурдюк пыжится, топырит космы, раздувается жабой в предчувствии ливня — и кошмарный звук вновь обрушивается на многострадальные горы.

Дэв Вайдос!

Оказывается, у рогатого сотника в запасе имелся еще один способ, как остановить беглецов!

Гургин шевелит белыми губами и беспомощно начинает ковыряться пальцем в ухе.

У ног мага медленно гаснет жаровня.

Абу-т-Тайб потерял счет дням, в течение которых бесцельно бродил по долине, сопровождаемый почтительным эскортом дэвов; потерял счет ночам, когда любовные ласки перемежались рвущимися наружу бейтами — странными, грустными и пронзительными, так не похожими на обычные строки поэта; потерял счет тщетным потугам уйти, вырвавшись из каменного мешка. В память отчетливо врезался лишь один случай: когда, озверев после очередной неудачи, он отшвырнул в сторону рвавшихся в бой Худайбега с Утбой и наотмашь рубанул проклятого рогача своим ятаганом. Сталь до кости рассекла подставленную под удар лапу дэва — и тот стал сосредоточенно зализывать рану длинным шершавым языком. Пытаясь унять кровь, что темным потоком хлынула наружу, Стоголовый глядел на рассвирепевшего шаха сверху вниз, глядел грустно, заранее прощая; и в голубых глазах дэва стояли печаль и понимание.

У Абу-т-Тайиба опустились руки.

А еще он помнил, как однажды утром к нему подошел его «пятнадцатилетний курбashi» и, с трудом подбирая слова, заговорил:

— Я тут тово, твоё шахское... думал я, вот. Долго думал. Не выпустят они тебя. А сам я тебя не выведу, хоть пуп надорви! Даже с махонькой... с Нахид. Вот ежели б я... тово... совсем дэвом стал, как они... Тогда бы смог, наверное. Только ты не серчай, твоё шахское. Ежели я совсем дэвом сделаюсь... я тебя тоже отсель не пущу. Голова совсем дурной станет. Забуду все. Так что я уж лучше как сейчас. С тобой то есть, вместе. Чтоб не совсем тово... Вот.

Выхода не было, и поэт это уже понял, но, скорее по привычке, от безнадежности и неумения сдаваться, раз за разом повторял свои бесплодные попытки. Он почти смирился — но не хотел признаться в этом даже самому себе.

И, значит, еще не смирился до конца.

В тот раз Утба и Нахид не пошли с ними. Хург с самого начала разрывался на части, утешая местных невольниц, притащенных дэвами-добытчиками со всех обитаемых четвертей земного круга. К немалой радости бедняжек: одни чудища вокруг, бугаи несытые, а тут в кои-то веки сын Адама! Свободное же время веселый Утба посвящал утешению коренных мазандеранок, в чем также преуспел. А бывшая хирбеди просто куда-то запропастилась, и искать ее не стали. Все равно сегодня побег не предвиделся. Шли вроде бы без дела, прогуляться втроем: Абу-т-Тайиб, Гургин и Худайбег. Хотя на самом деле «прогулка» их имела подспудный смысл: вчера вечером старец шепнул поэту, что он, кажется, нашупал еще один Ал-Ребат. И открыться сие «междуместье» должно вроде бы полегче. Но соиться наобум глупей глупого, лучше сначала разведать, что да как, изучить путь — и тогда, ночью, тайком...

Маг был многословен и бодр, отчего Абу-т-Тайибу становилось вдвое тоскливой.

Хоть передо мной-то не притворяйся, колдун колчерукий!..

Позади брели вразвалочку пятеро дэвов-стражей. Рогатого сотника с ними не было, но Абу-т-Тайиб не сомневался, что и этой пятерки достанет в случае чего сорвать им побег. Ну и тащитесь, дети мятежа, шайтан с вами!.. все равно ведь не отвяжетесь!

— Вот здесь, мой шах, — Гургин остановился напротив грота, потолок которого украшали, сочась влагой, сосульки сталактитов. — Верно, Худайбег?

— Угу, — Худайбег задумчиво вертел в лапах свою «Сестру Тарана» и словно прислушивался к чему-то.

— Совсем прямой Ал-Ребат! — с натужной ра-

достью сообщил маг. — Ай, какой прямой — хоть босиком ходи!

Фальшивая бодрость старика, равно как и ухватки рыночного зазывалы, совсем вогнали поэта в тоску.

А знакомый вопль, эхом раскатившийся по горам — в глухоту; и лишь изрядное расстояние до чинары с Вайдосом отчасти сберегло на этот раз уши путников.

— Стряслось чего-то, — буркнул Худайбег. — Народ кличет.

— Ну и пусть хоть разорвется! — не сдержался поэт. — Лишь бы не по наши души...

Он обернулся — и застыл, не веря своим глазам. Тропа позади была пуста, только где-то за поворотом удалялся топот пяти пар исполинских ног.

— Ушли... — выдавил Абу-т-Тайиб; и тут до него дошло, что это значит.

Путь свободен!

— Гургин! Мудрец ты мой любимый! Открывай Ал-Ребат! Скорее! — срывающимся от волнения голосом закричал поэт, будто собираясь соперничать с Вайдосом.

Вялость и безразличие, свившие гнездо в его сердце, стрелой улетели прочь.

— Жаровня... Огниво... Священное дерево... — выдавил Гургин, разом растеряв всю бодрость. — Мой шах, ведь...

— Здесь оно! — радостно гаркнул Худайбег, скидывая с плеча хурджин и, не справясь с завязками, попросту разорвал их. — Здесь, говорю!

И зарделся, когда шах Кабира ухватил его за уши и звонко расцеловал в обе щеки.

Старик торопился, словно за ним гналась свора шайтанов. Нетерпеливое возбуждение шаха передалось всем. Жаровню раздули в считанные минуты,

и тогда Гургин, разом успокоившись, взял себя в руки — сказывался опыт, приобретенный жрецом за его долгую жизнь. Он принял читать свои заклинания, а рядом с ним могучий юз-бashi плавил взглядом кромешную тьму грота.

Наконец маг умолк, и в воздухе повисла гулкая тишина; лишь потрескивала жаровня, да тяжело сопел Дэв.

В гроте насмешливо стучала капель.

— Ал-Ребат открыт, мой шах, — голос Гургина звенел от напряжения. — Мы можем идти, если шах желает.

— Шах желает! — Поэт еще подумал, что такого разочарования не перенесет. — Скорей!

Худайбег голой рукой подхватил с земли раскаленную жаровню и первым шагнул в темноту. Абу-Тайиб, не колеблясь, последовал за ним.

Шаг.

Другой.

На третьем шаге мир мигнул — и по глазам полоснуло солнце.

— Мы на перевале Баррах! — торжественно объявил Гургин, возникая позади поэта прямо из воздуха.

Бескрайняя синь горного неба раскинулась над головой, сколько хватало взгляда, вниз убегала каменистая змея тропы, на горизонте белела снежная вершина Тау-Кешт, а по правую руку в глубокой долине раскинулся город.

Медный город — его Абу-т-Тайиб узнал сразу.

— Ты, твое шахское, брось, — бормотнул рядом Худайбег, — брось это дело... ишь, вздумал, пла-кать-то...

* * *

— Е рабб! Тысяча шайтанов! О Аллах, прости мой скверный язык! Мы не можем оставить там хурга и Нахид!

«И Фарангис! — мысленно добавил поэт. — Надо было забрать и ее! Ведь если она все время будет рядом...»

— Проклятье! Я возвращаюсь за ними!

— Опомнитесь, мой шах! — Старик был близок к истерике. — Пошлите за ними вашего юз-бashi!

— Меня пошли, твое шахское! Я их приведу! — Верный Дэв грохнул в грудь кулачищем.

— Ведь им нужен именно шах, его фарр! — Хирбед уговаривал упрямого владыку, как ребенка. — А Худайбега никто удерживать не станет! На кой он им?!

— На кой я им?! — еще один удар кулака в грудь.

Умом поэт понимал, что Гургин совершенно прав, что надо отправить в Мазандеран одного Дэва, а Нахид вообще лучше никуда не забирать...

Мучило другое: что, если Худайбег, оторванный от него и его фарра, начнет стремительно превращаться в чудовище? Что, если он забудет все и вся, навеки оставшись в каменной ловушке Мазандерана?! А вместе с ним — Утба, Нахид... Фарангис!

— Прости меня, Гургин. Я уже говорил тебе, что я — плохой шах. Там, где любой правитель отправил бы вперед слугу, мне проще идти самому.

— Ага, разогнался! — В отчаянии Дэв совсем забыл, кто есть кто. — Сам он пойдет... без меня никуда — понял, твое шахское? И не надейся!

В эту минуту «пятнадцатилетний курбashi» был до невозможности похож на Стоголового.

— Воля шаха — закон, — безнадежно развел руками хирбед. — Отсюда я смогу держать Ал-Ребат открытым около суток — здесь дэвы не в силах помешать мне. Но на большее меня не хватит... это так, мой шах — даже владыкам неподвластен возраст. Поторопитесь.

Абу-т-Тайиб кивнул, сглотнув горький комок, и вслед за Дэвом шагнул в мигнувшую пустоту.

КАСЫДА О ПЖИ

Это серость, это сырость, это старость бытия,
Это скудость злого рока, это совесть; это я.

Все забыто: «коврик крови», блюдо, полное динаров,
Юный кравчий с пенной чашей, подколодная змея,

Караван из Басры в Куфу, томность взгляда,
Чьи-то руки...
Это лживые виденья! Эта память — не моя!

Я на свете не рождался, мать меня не пеленала,
Недруги не проклинали, жажду мести затая,

Рифмы душу не пинали, заточенные в пенале,
И надрывно не стенали в небе тучи воронья.

Ворошу былое, плачу, сам себе палач и узник,
Горблю плечи над утратой, слезы горькие лия:

Где ты, жизнь Абу-т-Тайиба, где вы, месяцы и годы?
Тишина. И на коленях дни последние стоят.

Глава восьмая,

залитая кровью и оглушенная криками, прибежище удивительных встреч и дивных разговоров, где вопреки очевидному напрочь отсутствуют порицания в адрес безбожников-дахритов, полагающих мир вечным, а не сотворенным Аллахом всемилостивейшим и милосердным!

1

...поначалу Абу-т-Тайиб решил, что верный Дэв-проводник ошибся. Спутал место и время, взамен Мазандерана случайно выйдя к земле Божьего гнева. Открывшееся зрелище более всего напоминало истребление оскорбленным Аллахом (славен Он!) языческих племен Ад и Самуд, дерзких исполинов, отвергнувших сладкоречие пророков Худа с Салихом и убивших верблюдицу последнего. А так, если не поминать всеу нечестивых адитов и самудян, все прежнее — котловина, извилистая дорога вниз, по которой он не так давно спускался на встречу неизвестности и гостеприимству дэвов, речушка-подросток плещет волнами... разве что русло

запружено трупами, и вода ярится, бьется о страшные пороги, ища выхода из западни.

Пахло кровью. Пахло бойней, насилино распахнутым чревом, насилино отворенными венами, насилино подрубленными сухожилиями... насилием пахло.

И кружилась голова, хотя Абу-т-Тайиб никогда не отличался особой брезгливостью или малодушием.

— Да что же это? — бормочет рядом Дэв, и в хриплом рыке юз-бashi щебнем катаются тайные всхлипы, стон потрясенного мужчины и рыдания обиженного ребенка. — За что, твое шахское?.. за что??

— Молчи! — обрывает его поэт. — Молчи, говорю! И держись рядом. Как бы дело ни обернулось — рядом! Понял??

Абу-т-Тайиб начинает медленно спускаться туда, в царство Разрушительницы наслаждений и Разлучительницы собраний, в обитель смерти, некогда звавшуюся Мазандераном. Медленно, ибо ноги не держат, подкашиваются, а идти все равно надо. Он знает, что мгновением раньше был несправедлив к своему спутнику. Как несправедлив отец, затрещиной отшвыривая малыша от края пропасти. Как несправедлива мать, когда изо всех сил стегает чадо веревкой, даже не дав опасно приблизиться к песчаной эфе, греющейся на солнышке. Так надо. Надо идти, надо держать спутника на коротком поводке верности и послушания, не давая привязи лопнуть. Еще не хватало, чтобы Дэв с воплем ринулся вниз, истово размахивая «копьецом», захлебываясь горьким хмелем мести, убивая, убивая, убивая, пока шальной удар не вобьет ему в глотку и месть, и саму жизнь.

Абу-т-Тайиб знает, что он прав.

Ему даже не нужно слышать громоподобного клича, взметнувшегося навстречу:

— Слава! Слава Кей-Бахраму!..

Слышать не нужно, но и не слышать тоже нельзя.

Из нор, из разоренных ласточкиных гнезд, торопливо ползя по уродливым трупам бывших обитателей, выбираются муравьи: черные, блестящие, только что они шарили в глубине, копошились, ища вожделенную добычу — и вот уже муравейник вскипел забытым на огне котелком, ибо добыча идет к ним сама.

Искать больше не стоит.

— Слава!.. о-о, шах...

Муравьи остро пахнут волками.

«Волчья дети».

Они бегут навстречу, спотыкаясь, захлебываясь счастьем обретения, как бегут сыновья к вернувшемуся из долгих странствий отцу; но останавливаются на полпути. Счастье на бородатых лицах исподволь сменяется пониманием, и взгляды, где еще недавно плескалось бешенство и упоение справедливым боем, наполняются тихим сочувствием. Они расступаются, не добежав; они дают дорогу, застыв изваяниями в помятых доспехах. Владыка скорбен. Владыка не в настроении. Владыка хочет одиночества. Еще бы! — после долгого плена, после общества отвратительных чудовищ, после заточения и скорби душевной... Носителю фарра надо дать прийти в себя. Главное сделано: шах спасен, а будущее навсегда осенено знаменем благоденствия.

Это так; мы знаем, что это так.

Мы все знаем.

Впереди поэта бежит Златой Овен, весело топоча копытцами по бурой от крови гальке; баран трясет курдюком и поминутно дергает ноздрями, с жадностью втягивая запах гургасаров-освободителей. Волчий запах. Хищный. Домом пахнет... Поэт нагибается за камнем, но рука отказывается бросать: там, где остановился проклятый баран, скорчилось маленькое тело, и лепестки мушмулы тихо осыпаются на золотистую шерстку.

Рядом валяется кувшин; бесформенный кусок меди, смятый солдатским сапогом.

Ты лежишь передо мною мертвой бабочкой ночною,
Неоправданной виною — я молчу, немея.

Отливают кудри хною, манит взор голубизною,
Но меж нами смерть стеною — я молчу, не смея...

«Вот где славно умереть, — шепчет в ухо на-смешница-память, и горячий этот шепот обжигает сознание, на миг пробуждая страстное желание уда-рить наотмашь и уйти навсегда, но увы! — этого блаженства шаху не дано, а самоубийство есть тяг-чайший грех перед Совершеннейшим Благотворите-лем. — Вот где славно... славно... Умереть и быть похороненным. И чтоб ветер осыпал на могилу при-горшни лепестков, а река смеялась... Е рабб, хоть бери и ложись, не дожидаясь отведенного срока!»

Златой Овен блеет, запрокинув рогатую голову, и бежит дальше.

А камень выпадает из пальцев поэта.

Расталкивая «волчьих детей», вперед выходит широкоплечий воин: латы в двух местах надорваны, будто не металл рвали чужие когти, а гнилую ветошь, ноги забрызганы до колен, чьи-то волосы прилипли к сапогам, и тяжелая сабля щукой ныряет в ножны... Воин падает ниц, прямо в растоптанную требуху, и замирает недвижимо.

Перед шахом.

— Встань, — скрипит колодезный ворот, кото-рый нерачительные хозяева забыли смазать маслом.

Воин послушно встает. На нем знакомый пояс, и еще вокруг шлема знакомый венец-кулах — рос-сыпь жемчужин по зубчатому обручу; каждая третья или пятая — черные.

Капли адской смолы.

Лицо воина чужое: твердые скулы, твердый взгляд, рот сжат твердо и упрямо, а по углам рта за-легают складки опыта и решимости.

В черной бороде пробивается первая седина; первый иней грядущей зимы.

— Здравствуй, юноша, подобный блеску молнии во мраке, — надрывно скрипит колодезный ворот, и в лице воина на миг пробивается робость былого шах-заде, того мальчишки, что честно рубил ненавистного оскорбителя в Медном городе, а потом так же честно плакал перед этим оскорбителем в бане, не смея поднять головы.

— Теперь можно умирать, — отвечает Суришар, и глаза шах-заде блестят слюдяными озерами, но ни одна капля не срывается с ресниц. — Клянусь Творцом, можно...

Он пережидает спазм, мешающий ему говорить, и завершает:

— Потому что владыка наконец свободен. Свободен от пятилетнего плена в kraю ужасных дэвов. Слава!

— Слава! — отзыается слитный хор многих глоток. — О-о, шах... наш шах...

Поэт даже не удивляется «пятилетнему плену». Если Суришар так говорит, значит, это правда. Время ничего не значит, и расстояния ничего не значат; и вообще ничего не имеет значения, если оно снаружи, а не внутри. Поэт глядит внутрь, туда, где варом клокочет бессильная боль; и тесно зажмуривает глаза души.

Нет сил.

— Скорбь владыки билась в наши сердца, — продолжает меж тем Суришар, Суришар-дэвоборец, Меднотелый Суришар, герой и витязь. — Мечты владыки о свободе не давали нам спать по ночам. Темные земли, проклятые от века, тряслись под копытами наших коней; темные существа, недостойные жить, корчились под ударами наших мечей. Мы дошли, и владыка поведет нас обратно. Домой.

— Домой... — бормочет поэт. — Домой...

Слово горчит на вкус, будто оно не слово, а вя-

жущее растение мирап, от которого у верблюдов выворачиваются губы.

И насмехается с кручи Златой Овен, бодая труп седого мохнача, чья шерсть заплетена в щегольские косички даже на животе.

Олмун-дэв молчит, ибо мертвым все равно, кто их бодает.

Чудовищным усилием Абу-т-Тайиб подавляет в себе желание шагнуть вперед и взять Суришара за глотку. Не поможет. Да и мальчишка не виноват... впрочем, какой он теперь мальчишка?! Пять лет, говорите, прошло? — да, пять лет трудов ратных, пять лет сплошных подвигов во имя заточенного владыки... Е рабб, здесь есть лишь один человек, которого действительно стоило бы брать за глотку! — вот он, сей человек, бездарный рифмоплет, покинутый Аллахом! Ведь это его желание оставить Мазандеран, его тяга к свободе, к бегству от упрямых дэвов — это и только это дотянулось до Кабира! Ухватило Суришара за шиворот, превратило щенка в героя, кинуло с полком гургасаров в стремнину безнадежных поисков... и ведь нашли, добрались, победили!...

Цена победы видна: меж трупами дэвов немало убитых гургасаров.

Абу-т-Тайиб вглядывается, смаргивая предательские слезы: почему он не заметил этого раньше? Вон подле заколотого дэва лежит мертвей: голова покрыта бедуинским уккалем, в руке зажата сломанная альфанга... Дальше еще один труп — и налобник адийского шлема украшен изображением черного орла, символом Бану Абс. А за спинами «волчьих детей» сгрудилось не меньше полусотни истинных фарисов — бойцов пустыни, каких поэт многажды видел в жизни, что была до самума и пещеры Испытания.

Смуглые лица бесстрастны, будто не бой остался за плечами фарисов, а тихий вечер в кругу домочадцев; будто не удивительные земли вокруг них, а зна-

комый до мелочей оазис с водопоем; будто неизвестность впереди, а безопасный путь домой.

Впереди бедуинов стоит чернокожий предводитель, опираясь на длинное копье.

Тот самый, кто являлся Абу-т-Тайибу в колдовском киселе скалы, когда пятеро дэзов отражали налет дерзких всадников.

Они смотрят друг на друга, не отводя взгляда: Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, рожденный в триста втором году от бегства пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), и Антара Абу-ль-Фаварис, Отец Воителей, ничего и никогда не слышавший о пророке Мухаммаде, которого какой-то Аллах должен за что-то благословлять и приветствовать.

Пятьсот лет разницы смотрят друг на друга, Эра Истины и Эра Невежества; и окружающие их существа, живые и мертвые, не видят в этом ничего удивительного.

А сам поэт предпочитает не вспоминать, что в свое время мечтал о встрече с живой легендой песков, с самим Антарой-Губошлепом, мечтал страстно, терзаясь неосуществимостью грез. Сейчас он готов молиться об одном: чтобы Господь миров лишил его способности мечтать и стремиться. Слишком часто желания выворачивались наизнанку, слишком часто они исполнялись, исполнялись так, что воздух пах кровью, а плащ безрассудства бился за плечами сумасшествия... Радуйся, несчастный! Пой песни, пляши, вскидывай пятки к горбатому небосводу, ликуй великим ликованием!

Получи! — ты же этого хотел?!

Антара передает копье стоящему рядом бедуину и идет к Абу-т-Тайибу.

Приблизясь, он опускается на одно колено.

— Пусть враг никогда не попользуется твоим огнем, о царь джиннов Сальхаб ибн Ахаб! — Звучный голос Отца Воителей раскатывается над котловиной смерти. — Счастлив тот день, когда я встретил тебя в облике вороного коня, заточенного в

тайных подземельях, и освободил от плена, взяв клятву помочь мне в поисках убийц моего сына!

Поэт затравленно озирается.

Нет.

Никакого царя джиннов со странным именем Сальхаб ибн Акхаб поблизости не наблюдается.

— Э-э-э... Отец Воителей обращается ко мне? — осторожно интересуется поэт.

Вести такой разговор при Суришаре и «волчьих детях» весьма неловко. И еще: все время приходится краем глаза следить за Дэвом — как бы парень в отчаянии не натворил глупостей!

Е рабб, они слепы, они честно не замечают сходства юз-бashi с чудовищными трупами вокруг!

Или слеп только шах?

— А к кому же еще?! — в свою очередь удивляется чернокожий предводитель. — Кто, как не ты, слепил из огненного столба за подлым убийством моего первенца Гадбана?! Кто, как не ты, встретил меня и моих воинов на Сарихской равнине во главе войска джиннов в облике человеческом?!

И рука Антары указывает на молчаливые ряды тургасаров.

— Кто, как не ты, распахнул перед нами вихрь, позволивший нам явиться сюда; и кто, как не ты, достал золотую палочку и намазал волшебной сурьмой глаза мои и глаза спутников моих, дабы мы увидели врагов наших в их истинном облике, от которого волосы встают дыбом и седеют трехнедельные младенцы?! И наконец...

Антара выхватывает из ножен меч; но не для удара, о котором поэт втайне молился.

— И наконец: кто, как не ты, подарил мне свой колдовской клинок по прозвищу аз-Зами, что значит «Горе Сильных», дабы я успокоил боль моего сердца и поразил убийц Гадбана?!

— Кто, как не ты?! — слитным эхом отзываются бедуины за спиной чернокожего Антары.

— Кто, как не я? — пожимает плечами шах Кабира.

Он узнал меч в руках Антары. Кривой машрафийский меч, изготовленный оружейниками Йемена, оплаченный блюдом полновесных динаров — и похороненный вместе с мумией в бархане-мавзолее.

Он только... впрочем, неважно.

Антара, Отец Воителей, растягивает в улыбке эфиопские губы, сверкая жемчугом зубов.

— *Мой жребий высок, — смеется он, — и ушла в песок кровь недругов Антары!*

— *Но жизнь — не кусок, — ответ Абу-т-Тайиба рождается сам, рождается в крови и нечистотах, как любое дитя, — подхваченный псом, не мяч для веселой игры...*

Черное лицо становится серьезным; очень серьезным.

— *Прибезищу лжи бессмысленно жить, бессмысленно длить года!*

— *Но, мудрый, скажи: хоть мы — миражи, неужто уйдем без следа??!*

— *Пир сильного — бой! Рискуя собой, заслужим в веках хвалу!*

— *Но крови прибой утопит Любовь, наткнувшуюся на стрелу...*

— *К чему этот стон? Один или сто — позорно врагов считать!*

— *Но, явь или сон, он определен — твой жребий, за пядью пядь! И полно мечтать о том, чтобы спать — придется когда-то встать...*

Антара, Отец Воителей, умолкает и долго разглядывает царя джиннов.

— Прощай, — наконец говорит чернокожий. — Если буду нужен — позови. Я у тебя в долгах.

Он машет своим людям, и бедуины идут к коням, легко прыгают в седла — чтобы медленно двинуться по склону вверх, туда, где воздух закручивается удивительным вихрем, так похожим на приближение самуна, из которого нет возврата.

— Погоди, — кричит вслед поэт. — Погоди, Антара!

Только что Абу-т-Тайиб вспомнил, вспомнил отрывок из «Сират Антара», эпизод жизни чернокожего бойца, истинный или придуманный, — но раньше он всегда слушал эту историю, позевывая.

Раньше; но не теперь.

— Да погоди же! Ответь: правда ли, что один из твоих недругов возил по пустыне барана с позолоченными рогами и требовал от вольных племен поклонения этому барану?!

— Правда, — улыбается Отец Воителей, подбоченясь в седле. — Истинная правда, о царь джиннов!

— И что ты сделал с проклятой тварью?!

— Я накалил на огне жало моего копья и прижал к глазам твари, после чего они лопнули!

— Я не о человеке! Я о баране! Что стало с ним?!

— Баран? — искренне недоумевает чернокожий. — Баран убежал. Стану я гоняться по пескам за каким-то бараном...

И с кручи весело блеет Златой Овен.

2

Тучи собирались над растерзанным Мазандераном, косматыми бурками плотно укутывая небо; тучи наползали с востока, с запада, с севера и юга они наползали тоже, отовсюду, со всех сторон света, в котором света было разве что на медный фельс больше, чем тьмы, и то сомнительно; медленные отары, стада ливня, табуны гроз, — но пастух еще не взмахнул бичом, разорвав морок тишины ветвистым зигзагом, и водяные змеи медлили, не спеша обласкать исковерканную землю, живых и мертвых, мертвых и живых, а есть ли разница между первыми и вторыми, известно не всякому...

Тучи.

В небе.

Высоко... не достать, не дотянуться.

Шкурами выстлана былая синева, блеск глаз неудачников.

«Они не виноваты», — беззвучно вымолвил Дэв, или только подумал; или только собрался подумать.

«Они не виноваты, — песчинка в каменной чаше, плоть от плоти убийц и убитых, душегуб и солдат, ребенок и чудовище. — Они просто любят тебя, твое шахское... любят. Как я».

«Они просто... — Пальцы на древке огромного копья ерзают, словно не находя себе места, и ерзают «волчьи дети» под внимательным взглядом могучего юз-бashi, переминаются с ноги на ногу, потупив взоры. — Нет. Не как я. По-другому. Но это не важно, твое шахское... важно, что любят. Вот».

«Ты не бойся за меня, твое шахское. Я не пойду их убивать. Ты за себя бойся, отец...»

В этот день Худайбег аль-Ширвани, «пятнадцатилетний курбashi», стал взрослым.

Здесь, в Краю Дэвов, где трупы перемешались с трупами, и не было меж ними отличия для сведущего.

* * *

Шах-заде Суришар стоял перед возлюбленным владыкой, и душа его, душа не мальчика, но мужа, плавала в приятной опустошенности.

Душа пела.

Три года он жил жизнью властных: наместник Кабира соизволением обладателя фарра, чье слово — закон, а взгляд — повеление; держава процветала, и Суришар спал ночами без сновидений, подобно утомленному за день пахарю. Он знал: где-то есть венценосный владыка, где-то идет за своей прихотью символ государства, дыша полной грудью, пребывая в благополучии, как он это себе по-

нимает — и оттого цветет Кабирское шахство розовым кустом!

Он знал.

И два года он жил жизнью сильных: Волчий Пастьарь, спахбед воинов в серых плащах, покоритель земель неведомых, призраков невидимых и чудовищ ненавидимых. Его гургасары шли за полководцем в огонь и в воду, они рыскали обезумевшей стаей, терзая молчаливых, сокрушая упорных, пытками вынуждая колдунов открывать тайные двери; где ты, Край Дэвов?! — я иду, ибо ощутил зов плененного владыки, и его неистовая тяга к свободе колотится о мое сердце!

Он шел.

И еще пять часов он жил жизнью верных: мститель, он рубился в первых рядах, заставляя изумиться даже бесстрастных союзников, явившихся из ниоткуда, без чьей поддержки, без чьей ярости и безумия лежать сейчас гургасарам вкупе со спахбедом в каменной чаше страшным приношением. Уроды-исполины падали под мечом Суришара, скрипели кожистые крылья, рассекаемые синим вы сверком стали, плакали раненые утесы, осыпаясь кровавым щебнем, и вой сотрясал горы окрест, дикий гимн победителя.

Он сражался.

И еще полчаса он жил жизнью счастливых: господин стоял перед слугой, свободный шах перед освободителем-героем, и путь домой был открыт.

Он радовался.

Так отчего же ты не в силах опустить взор, Суришар Меднотелый, о ком еще только сложат песни?! Отчего ты смотришь на своего владыку в упор, взглядом неподобающим, и губы твои шевелятся сами собой, будто дерзкие слова щекочут их кончиком голубиного пера, и умирают, так и не родившись? Что видишь ты, шах-заде, потерявший юность в поисках и битвах?!

Что ты видишь?

Лик обожаемого господина на миг уплыл куда-то вбок. На его месте вдруг возникло совсем чужое, не-знакомое лицо, сплошь заросшее кудрявой бородой; горбатый нос сморщился, шевельнулись густые усы, и в ушах Суришара прозвучало отзвуком запредельного:

— Если вы в затруднении... о-о, если вы в затруднении, то ищите помощи у покоящихся в могилах!.. ищите... в могилах...

Нет, кабирский шах-заде никогда не слышал хадисов — преданий о жизни и воззваниях пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!); но странный смысл почудился ему в услышанном.

Шах Кей-Бахрам стоял перед названным сыном: на голову выше любого из гургасаров, могучие плечи гордо расправлены, весь облик дышит силой и спокойствием, — но сквозь владыку, как пропустит блеск оброненной монеты через толщу воды, пропускал совсем иной человек. Шрам на шее, и на скуле, и еще вот здесь, под ключицей, часть зубов выбита, и ухмылка от этого кривая, жестокая ухмылка, а ноша возраста давит нещадно, будто верблюда нагрузили двойной поклажей, только упрямый горбач идет себе по пустыне, идет на гордости и умении мерить пески, а больше ни на чем. Тот бродяга, что вышел из пещеры Испытания, тот боец, что гонял шах-заде в грязи Медного города, певец, гораздый подхватывать и завершать, — прошлый, забытый, ушедший... Оказывается, он никуда не делся! Оказывается, он всегда был здесь, но прежний Суришар не видел его, или не хотел видеть; или не умел...

И прежний был многажды опасней нового.

Мысль показалась совсем уж еретической, ее просто-напросто не могло родиться, этой мысли...

И как же было хорошо, когда владыка увлекся

разговором с чернокожим союзником, а потом долго провожал последнего взглядом, давая отды-шаться Суришару, Суришару-дэвоборцу, Меднотелому Суришару, герою и витязю!

А тучи все копились в небе над Мазандераном.

3

...подбежав, десятник гургасаров припал на одно колено. Плечо «волчьего сына» было наспех замотано грязной тряпицей, и сдавленный стон нет-нет да и прорывался сквозь стиснутые губы.

— Говори, — машинально вырвалось у Суришара, и шах-заде вздрогнул. Привычка командовать въелась в плоть и кровь, дергая за язык раньше, чем следовало бы в присутствии повелителя — но, кажется, все обошлось. Названный отец стоял, равнодушно глядя на десятника, и не проявлял признаков раздражения.

— Там... там... — Десятник никак не мог начать. Храпел загнанной лошадью, сбивался. — Там... я нашел его под одеялами...

— Кого? — осведомился Суришар, а шах лишь хрюплю расхохотался.

Будто в Краю Дэвов под одеялами в пещере можно обнаружить бабушку султана Баркука!

— Дэва, владыка мой! Дэва, Пастырь мой... раненый, он прятался...

— И ты полагаешь эту новость достойной ушей шаха? Почему ты просто не добил эту мерзость, глу-пец?

Суришар кривится. Распекать десятника против-но. Позор! — вести такие разговоры в присутствии обладателя фарра... Позор давать повод упрекнуть «волчьих детей» в малодушии.

Десятник заслужил наказание.

— Я... рука не подымается... я старался, вла-

дыка! — Последнее адресовано непосредственно шаху. — Я старался! Но... колдовство, наверное!..

— Неси его сюда, твоего дэва, — приказывает шах. — Живого неси, слышишь?

И десятник, кликнув еще троих воинов, убегает.

Вскоре они возвращаются, неся на копьях, застланных плащами, чье-то тело. Импровизированные носилки ложатся в грязь перед владыкой Кабира и его спахбедом-освободителем; стонет существо поверх плащей, и десятник невольно отступает назад, сдержав собственный стон.

— Кто это? — неприятным голосом интересуется Кей-Бахрам у своего названого сына. — Кто это, Суришар? Как полагаешь?!

Шах-заде равнодушно пожимает плечами.

— Дэв, мой повелитель. Кто же еще?

Владыка пристально вглядывается в лицо Суришара — так он вглядывался тогда, в бане, назначая юного шах-заде Волчьим Паstryрем: жестокое любопытство плещет в глубине взора, вынуждая смотреть в землю и чувствовать, как уши позорно багровеют.

Стыдно.

— Дэв, говоришь? Ладно... Скажи мне: ты хорошо помнишь моего предшественника, покойного шаха Кей-Кобада?

Суришар улыбается. Владыка просто расположен к разговору, к тихому, спокойному, ни к чему не обязывающему разговору. А потом они поедут домой...

— Разумеется, мой повелитель! Я прекрасно помню прежнего шаха!

— И этот дэв, по-твоему, нисколечко не похож на их солнцеподобность, великого Кей-Кобада?! Или ты просто расчесываешь гребнем зломыслия бороду коварства, скрывая очевидное?

Суришар позволяет себе улыбнуться шире.

А тургасары — те еле сдерживаются, чтобы не последовать примеру своего Паstryря.

— Владыка изволит шутить? Грязный урод похож на обладателя фарра?!

Владыка присаживается на корточки над носилками, и ладонь шаха откидывает волосы с лица раненого дэва. Тот стонет и открывает глаза. Отчаянный луч солнца, прорвавшись сквозь завесу туч, осыпает голову и плечи чудовища драгоценной пылью... Суришар близок к тому, чтобы отшатнуться — нет, быть не может!.. Но тучи смыкаются, золотое марево гаснет, и все возвращается на круги своя. Впору проклясть собственную впечатлительность, недостойную водителя отрядов! И все-таки: теперь шах-заде понимает, отчего десятник не сумел добить раненого дэва. Понимает, и не станет наказывать воина. Что-то есть в полуодхлом уроде, неизвестном из Мазандерана, что-то такое...

Впрочем, дело сделано, и груз переложен на чужие плечи: сейчас решать владыке.

Дэв с носилок моргает и пытается приподняться. Это ему не удается, зато владыка склоняется еще ниже.

— Я вспомнил... — бормочут губы в запекшейся крови, губы чудовища на пороге мира иного. — Эй, вор, ты слышишь?! — я вспомнил! Там, в пещере, там нет тьмы... тьмы не бойся! Бойся себя, самого себя... понял?

— Понял, — кивает владыка. — Ты лучше молчи, тебе нельзя...

— Можно, вор! Теперь мне все можно... Спрашивай! — я отвечу.

— Что он сделал с тобой?

— Златой Овен? То, что я хотел сделать с остальными...

Стон прерывает речь, тело дэва выгибается в предсмертной агонии, и последние слова звучат последним вздохом, судорогой вздувшегося горла, выкриком уходящей жизни:

— Он меня съел!.. съел... меня...

Шах Кей-Бахрам стоит над трупом.

— Похоронишь его, как хоронил бы меня само-
го, — роняет владыка, страшно дергая левым веком,
и прежний бродяга вновь виден в обладателе фарр-
ла-Кабир. — Слышишь?! Как меня самого. Ты прав,
глупый мальчик: мой предшественник, гордый Кей-
Кобад, умер. Воистину ты прав...

И владыка начинает уходить прочь, по дороге
вдоль стенок каменной чаши.

Следом тащится могучий юз-бashi, поминутно
оглядываясь.

Суришару отчего-то кажется: это все.

Если б еще понимать, что — все...

Глава девятая,

*повествующая о тайном и явном, звучащая плачем,
смехом и словами мудрецов прошлого, но даже намеком
не помогающая героям сделать их выбор.*

1

Эта картина позднее не раз будет являться поэту
в снах, и он будет тихо улыбаться вялыми губами.

Не разгром Мазандерана, не встреча с легендар-
ным Антарой, не иные деяния и похождения —
перевал в горах без названия. Солнце падает в объ-
ятия дальнего хребта, краснея от стыда и еле сдер-
живаемой страсти, а над песчинкой, муравьем, рас-
простертым навзничь старцем в шафрановом плаще
склонился гибкий хург, отбросив прочь секиру. Лад-
они хурга ритмично давят на впалую грудь старца,
с усилием, с требовательным усилием приказывая
изношенному сердцу — бейся! ну бейся же, под-
лое!.. Затем самозваный лекарь припадает губами к
запавшему рту мага, словно всю жизнь мечтал о по-
целуях стариков, и дышит, дышит, толкает упрямый

воздух внутрь; поцелуй прерывается, и снова — руки, грудь, толчки... толчки под ладонями.

Сбивчивые всхлипы жизни.

Хург беззвучно смеется, кладет седую голову к себе на колени и тянется за баклажай воды.

В пяти локтях от него курится забытая жаровенка, и возле золотого краба, рукотворного солнца, младшего брата того светила, что сейчас рушится за горы — рядом стоит рыжее чудовище. Трясутся бурдюки грудей, кривые ноги полусогнуты, страшно напоминая лапы львицы, но лицо спокойно, и странно видеть это спокойствие на морде ночного кошмара. Губы движутся, вывороченные губы зинджа из речных заводей юга, и почти членораздельное бормотание сливаются со стоном дряхлого мага, рождая противоестественную гармонию. Курится жаровенка, течет пряным дымом, хоть и нет топлива в сердцевине ее, нечему гореть, нечему дымиться, кроме бормотания, стона и смеха...

Нечему.

А горит.

— Ал-Ребат, — бормочет Дэв, забывшись, хлопает по плечу своего владыку и даже не думает извиваться. — Они удержали его, твое шахское... Нахид, махонькая, умница моя! — Твое шахское, ну скажи ей хоть словечко, она рада будет! Эй, хург, с меня причитается, за девкину жизнь... да брось ржать-то, юрта ты кочевая, растрясяешь дедушку!..

Дэву простительно: это он минутой раньше пыхтел зверем аль-каркадани, прорываясь в шайтанов Ал-Ребат и стараясь увлечь за собой беспомощную обузу в виде шаха Кей-Бахрама.

Сейчас Дэву все простительно.

И не только ему.

Щеку Абу-т-Тайиба щекочет легкое касание; поэт машинально смахивает каплю-надоеду и потом долго смотрит на собственную ладонь.

Ладонь влажная.

А в уголках глаз подозрительно щиплет.

— Я у чинары сидел тогда. С которой Вайдос глотку дерет. Ждал одну... прийти обещала. Только не дождался...

Утба Абу-Язан, отставной есаул султана Харзийского, любил женщин, и те отвечали ему взаимностью. Приятели-Вороноголовые, тоже бабники, каких мало, иногда перемигивались, слушая рассказ веселого хурга о его новом увлечении, но языкам волю не давали. Секира Утбы была им хорошо известна, и бешеный норов — тоже: кому охота из-за лишнего словца... Короче, друзья помалкивали. Отхватил красотку, говоришь? Чуденько. На все согласна, говоришь? Мы за тебя рады. А то, что красотка носата, сутула и в годах уже — о том молчок.

О вкусах не спорят.

Тем паче, что водились за Утбой и подлинные красотки, и просто хорошенъкие... всякие водились.

Если бы веселый хург был поэтом, он нашел бы нужные слова. Судьба подарила Утбе замечательное качество: он смотрел на женщин открытым взглядом, не замечая внешней оболочки и видя тайную суть, сердцевину, сокровища, скрытые от неумелого глаза, как запоры скрывают от воришки-простофили золотую казну. С иной старухой он мог сидеть часами, ведя бесконечные разговоры о прошлых днях, и выходил из покоев окрыленный, долго вспоминая тихие беседы. И точно так же он мог буйствовать на ложе с мастерицей постельных утех, доводя ее до изнеможения, давным-давно забытого и оттого вдвойне желанного; после мастерица погружалась в дрему, а хург уходил. Окрыленный. Да и в Мазандеране его мало смущали все эти крылья, когти, хвосты... пустяки. Он не видел внешнего уродства; он смотрел дальше. Женщина есть женщина, и любая хочет одного: отогреться у мужского огня.

Здешним бедолагам вообще не повезло; пока мы сюда не явились... пока я сюда не явился. Если бы хург был поэтом...

Но поэтом Утба не был. И не понимал удивления во взглядах приятелей. Он просто жил, как умел, даже не подозревая, что мужчине вроде бы положено от роду-века брать, а не отдавать. Утба отдавал. И в любви, и в гульбе, доведя было имущество предков до полного разорения; и в бою.

Стихия схватки захлестывала его целиком, без остатка, и когда после шутейных свалок на майдане Утбу урезонивали: дескать, что ж ты делаешь, безумец, убить кого вздумал или попросту сдурел?! — Утба не обижался. И на него не обижались. Иногда он пытался объяснить, что в дружеских поединках щедро выплескивает все свое умение, весь свой пыл, как велит слугам ставить на дастархан все угощения, имеющиеся в доме, едва на пороге объявится дорогой гость! Жизнь и смерть в такие минуты теряли для хурга всякий смысл — была жизнь, будет смерть, и опять жизнь, а слова есть слова, и ничего они не значат! Увы, его стали отстранять от учений, без объяснений причин. И так ясно. Денег не напасешься, дурачок: платить отступной выкуп за братскую кровь, нечаянно пролитую, и по первому ли разу...

Если бы Утба был поэтом... но поэтом он не был. Жил, как умел; и все тут.

— *Сижу, а тут Вайдос бежит — и на чинару. Я от греха подальше — оглохну ведь, его вопли слушая! Дай, думаю, выше пересижу, где шиповник... моя-то все равно не пришла, а теперь и не придет, наверное! Только спрятался, только уши заткнул...*

Гургасары свалились как снег на голову. Утба заткнул уши более чем основательно; и призыва Вайдоса

доса не услышал (лишь в голове слабое шевеление произошло) и топота копыт заодно.

Видимо, «волчьи дети» еще перед спуском в котловину разделились на несколько отрядов, и веселому хургу повезло: налетевшими на него вадниками командовал лично Суришар. Не успел хург скинуть с коня головного знаменосца, не успел лечь под копыта, предварительно захватив с собой в Верхнюю Степь пару-тройку удальцов — взлетела вверх ладонь в латной перчатке, и клинки опустились, минуя дерзкого.

Суришар слетел с коня, обеими руками вцепился в хурга, и губы шах-заде беззвучно задергались.

— Что? — переспросил Утба и рассмеялся: уж больно весело шевелились губы, ни дать ни взять у червяков свадьба!

Черви выплюнули ругательство, понятное даже глухому; Суришар прянул в седло, и спустя мгновение конные гургасары прогрохотали вниз по тропе.

Только тут Утба вспомнил, что забыл вынуть из ушей затычки.

Вынул.

И стал смотреть вниз, где бой превращался в бойню.

Дэвы дрались отчаянно. Ярость гургасаров, ярость мстителей, дорвавшихся наконец до вожделенной цели, разбивалась о мощь «добытчиков» и проворство «бойцов», похожих на Худайбега-дружка, вернее, на того Худайбега, каким юз-бashi только обещал стать. Мелькали змеиные жала копий, суковатые дубины мерно подымались и опускались, в ход шли камни и ножи, и пока хозяева с гостями вовсю истребляли друг друга — по западному краю котловины уходили в горы дэвицы и дети-дэвтаги, прикрытые с тыла редкой цепочкой особо могучих «добытчиков».

На их счастье, нежданные союзники гургасаров

сыпались вниз по другой тропе, иначе этот натиск смял бы женщин вместе с немногочисленной охраной.

— ...*Там и тропы-то особо не было. Как из воздуха явились... кони под ними славные были, это я сразу приметил: морды узкие, щучьи, бабки аж звенят на ходу! Даже в наших табунах такие аргамаки — редкость. И копьями швырялись — заглядение...*

— Кони? — машинально переспросил Абу-т-Тайб.

— Люди, — удивился Утба. — Кони копьями швыряться не умеют...

Чернокожий предводитель всадников оказался зорок на диво. Или предупрежден заранее. Он лишь привстал на стременах, вскинув пику, на флагже которой трепетал крыльями черный орел, — и новая напасть обрушилась на жителей Мазандерана. Бой в котловине то затихал, то вспыхивал с новым ожесточением, раненые дэвы уползали в заросли на склонах, прятались в пещерах — но «волчьи дети» кидались следом, и схватки продолжались там, в темноте и стонах.

Утба смотрел и смеялся: шутка судьбы оказалась удачной! Вот бой, и вот он, хург — вне боя! Не смешно ли? А если вступать, если решиться отвести душу — на чьей стороне? И что скажет шах-побратим: одобрит ли выбор своего пса? осудит? промолчит?

Побратимом Утба называл кабирского шаха только в мыслях, ни разу не дав волю языку.

И если бы Утба был поэтом... нет, не так. Если бы некий мудрец разъяснил веселому хургу, что даже мысленно приблизиться к владыке столь дерзким образом — кощунство, достойное кары!.. Увы, Утба не был поэтом, мудрецов поблизости тоже не

наблюдалось, и «небоглазый» хург раздумал терзаться выбором.

Он знал: неизбежность приходит сама, выбирай не выбирай.

— *Она из-за кустов вывернулась. Я сперва и не признал-то: вся в крови, поди разбери, своя кровь, чужая? — и тюк волочит. Здоровенный такой тюк, мне и не поднять. А следом гургасар и двое этих... у которых кони... только пешие.*

Нахид-дэви задыхалась. Едва не сбив Утбу наземь, она проковыляла мимо, спотыкаясь, подволакивая ногу, задетую чьим-то мечом — но добычу из рук не выпустила.

Рыжая.

Та, за которой шах-побратим пошел в Мазандеран.

Своя.

Утба смотрел дальше уродства, и видел больше других, или меньше, или...

Впрочем, неважно.

Своя.

— Эй, хург, хватай ее! — хрипло выдохнул гургасар, замахиваясь копьем для броска. — Воровка дэвская, с-сучья...

— С-с-с? — осведомилась секира веселого хурга.

К чести залетных воинов, они соображали быстро. Гургасар не успел еще упасть с раскроенным черепом, как две кривые альфанды заплясали вокруг убийцы. Им ответил страшный плеск Ар-Раффаль, и пока «Улыбка Вечности» делала свой выбор за хозяина, вторя его смеху радостным звоном — все это время рыжее чудовище стояло поодаль, дожидаясь исхода драки.

А потом Нахид удобней перехватила косматыми лапами тюк, вскинула воровскую добычу на холку и мотнула хургу головой — пошли, мол!

Утба бежал за ней, бежал по тропе, бежал вдоль гряды, похожей на спящего верблюда, бежал прямо в пропасть, на краю которой вдруг заварился колдовской кисель, маня неизвестностью — и все это время он смеялся.

В самом деле, не смешно ли...

* * *

Абу-т-Тайиб подошел к хургу и взял его за плечи.

— В Коране сказано Аллахом о людях: «Пусть смеются мало и плачут много». Пророк Мухаммад (да будет мир над ним!) изрек: «Изобилие смеха убивает душу!» Святые мудрецы учили: «Пагубных последствий смеха много. Во-первых, он заставляет человека забыть о Боге; во-вторых, он превращает живую душу в мертвое тело; в-третьих, хотят есть великий грех; и в-четвертых, от смеха в чистых членах появляется нагноение». Мужи истины утверждали: «Кто, подобно безумцам, много смеется, обретет еще больше камней отчаянья!»

Поэт перевел дух и улыбнулся в ответ на улыбку отставного есаула, веселого хурга по имени Утба Абу-Язан.

— А я, побрратим, скажу другое. Смейся, сколько тебе влезет; смейся, не боясь забыть о Боге, не боясь омертвления души, хохочи, презрев нагноение чистых членов, и веселись, пиная камни отчаянья! И еще...

Тишина.

Даже Гургин перестал стонать.

— И еще — спасибо. Теперь мы квиты; ты честно заплатил долг.

— Нет, — спокойно ответил хург. — Это не так. Я еще только плачу, и вряд ли когда-нибудь расплачусь до конца.

В трех шагах от них, над украденным тюком, си-

дела на корточках Нахид-дэви и настороженно глядела по сторонам. В прорехах тюка, разорванного по дороге, тускло блестела сталь. Бывшая хирбеди знала, что делает; знала тем знанием, для которого не всегда нужен разум и почти никогда не нужны слова.

Суришар не зря вез с собой в тороках боевой доспех шаха.

Латы попали по назначению.

3

...Абу-т-Тайиб из-под ладони глянул на солнце, клонившееся к закату. Багровый диск вот-вот должен был утонуть в складках чалмы Тау-Кешт. Именно в эту минуту он, шах Кабира, поэт и бродяга, упрямая игрушка рока, должен будет войти в шершавый сумрак, который поглотит его...

Что произойдет дальше? Эта мысль ушла, улетела, избежав рождения, даже не думая вором прокрасться в сердце — ибо, как известно, Господь миров поместил истинный разум в сердце человека, откуда свет его подымается в голову. Поэт тихо улыбнулся собственным размышлениям. Он просто устал, смертельно устал от безнадежной войны с судьбой; а после чаши Мазандерана, доверху полной крови, эта судьба — его собственная судьба! — уже не слишком волновала Абу-т-Тайиба. Он сделает должное, совершил предназначенное, каким бы оно ни оказалось — и да поможет ему Аллах, всемилостивый и милосердный, на которого уповаёт всякий правоверный!

В глазах мало-помалу темнело, и Абу-т-Тайиб не осознавал, что виной тому — не зубчатый горизонт, чье чрево поглощало солнечный диск. Просто веки поэта, отяжелев от грез, налипших на ресницы, смыкались тюремными дверями, смыкались, смы-

кались... пока самовольно не скрыли от господина и раба своего угасающий день.

А потом под веками вспыхнуло другое солнце!

* * *

Полнеба было забрызгано кровью. Багровый диск светила яростно рвал в клочья тучи, темные, как пролитые растяпой-писарем чернила; края обрывков мрака небесного сверкали позолотой молний — и люди, казалось, старались не отстать от солнца и залить кровью половину земли!

С холма, где, приподнявшись на стременах, воздвигся Абу-т-Тайиб, были хорошо видны белые стены Кабира — но сейчас стены были черным-черны от карабкающихся на них людей! Город брали приступом, и с левого фланга отчетливо доносился грохот медного тарана, в щепки разносившего западные ворота. На ближних холмах, у осадных машин, метался лысый джаселик — мастер стено-битных орудий. Казалось, это джинн, обладающий способностью находиться сразу в дюжине мест: вот он у баллист-аррад, какими пользовался еще пророк Мухаммад (благо ему!) при взятии святой Мекки; а вот он уже у камнеметов-манджаников кричит на полутысячную обслугу «Невесты», огромного манджаника, прозванного так за множество веревок, подобных косам. Именно такая «Невеста» некогда умудрилась сшибить флагшток на самой высокой башне Дайбула; а сейчас от ее поцелуев несладко приходится укреплениям Кабира.

Войска уже подступили вплотную к столице шахства, жадными руками вознося ввысь осадные лестницы; волна атакующих муравьиным нашествием захлестывала белый камень — и свет разума наконец поднялся из глубин сердца в голову поэта!

Е раб! Ведь это же *его* войска штурмуют белостенный город!

Его, Абу-т-Тайиба аль-Мутанабби!

«Вы хотели подарить мне ваш Кабир вместе со всем шахством и венцом владыки?! — Поэт рассмеялся сухо и зло, как не засмеяться во сне даже самому Иблису. — Подавитесь вашими подарками! Я возьму сам!»

И безумие этой битвы показалось ему куда более подлинным, истинным, чем безумие последнего года, проведенного им в образе кабирского шаха. Плевать, что этого не могло быть, что он никогда не был полководцем и не брал приступом города! Плевать! Это была *его* жизнь, настоящая, в которой правил не Златой Овен, но Меч!

«Хорошая фраза, — подумалось мимоходом. — Не забыть бы...»

Но мгновением позже ему уже было не до удачных фраз.

С треском распахнулись створки ворот, изнасилованные залпами манджаников, и наружу потекла стальная река, сверкая кровавыми отблесками: латная пехота, гордость и слава Кабира, приняла вызов!

Смыкались щиты, частокол копий грозил широкими жалами...

— Вперед, дети пустыни! — Рев Абу-т-Тайиба, нового, бешеного Абу-т-Тайиба, сотряс землю.

Ответный грохот и визг.

Конная лава устремилась наперерез разворачивающейся в боевые порядки пехоте. Впереди несся, горяча белоснежного, как стены Кабира, жеребца, чернокожий всадник, воздев над головой кривой полумесяц меча, — и поэт уже не удивился, узнав в предводителе «детей пустыни» Антару Абу-ль-Фавариса!

Здесь и сейчас возможно было все, что угодно.

Явись сюда сам пророк (благо ему!), осенить святыстю падение Кабира — приму как должное!

— Утба Абу-Язан докладывает: восточные ворота пали, мой повелитель! Хург и его люди в городе!

— Отлично! — Ухмылка раздирает губы, и боль сладостна, она пьянит, течет запретным хмелем, от этой боли сердце пляшет базарным дервишем.

Довольно наблюдать. Сил у Утбы недостанет удержать захваченное — хургу нужна подмога.

Поэту было совершенно неинтересно: откуда он знает о распределении сил? Должен знать, если он же и затеял этот штурм!

— Скачи к Утбе. Передай: пусть держится зубами — мы уже идем!

— Радость и повиновение! — И только пыль взметнулась из-под копыт, хрустя на зубах оскоминой боя.

Абу-т-Тайиб в последний раз окинул взглядом поле сражения.

Кабирская пехота, перегородив западные ворота, еще держалась, но строй ее прогнулся панцирной пластиной под ударом клинка: всадники Антары рвались вперед, и даже явление ангела Джибраиля не могло бы сдержать дикий натиск язычников из славных времен джахилий! На стене, у башни Аль-Кутуна и прямо напротив холма, с которого поэт обозревал битву, вертелся кровавый ветряк, расшвыривая защитников, и к нему спешили другие осаждающие, проворно карабкаясь вверх по узким лестницам.

Худайбег? Точно, Дэв! И смертоносная «Сестра Тарана» разила, как всегда, без устали. Мало кто из кабирцев отваживался сунуться в жернова смерти — а на стене тем временем возникали все новые и новые фигурки атакующих. Худайбегу с Антарой помочь явно не требовалась — они и их люди спрашиваются сами.

Пора!

— За мно-о-ой! — И три тысячи всадников резерва, давно ожидавшие своего часа, во главе с самим полководцем устремились к городу.

Мимо проносятся стены, люди, бьются в агонии

коны с распоротыми животами, над столицей плывет в зенит черный дым, подсвеченный снизу багрянцем пожаров; звон металла, крики — но все это заглушает грозный топот тысяч копыт за спиной.

Дальше, дальше — восточные ворота уже совсем рядом.

На мгновение Абу-т-Тайиб оглянулся через плечо. Но смотрел он почему-то не на своих воинов, скачущих позади, а вверх, на небо. Поэтому хотелось увидеть разъяренный лик солнца.

Это казалось очень важным.

Но солнца не было: лишь кромешная тьма грозовых туч — предвестниц бури; светило брызгало на их края позолотой, тщетно силясь пробиться сквозь заслон. То же, что и на земле — чёрнота дыма, подсвеченная кровавым огнем.

А потом впереди явились ворота. Спешно уступала дорогу коннице пехота Утбы Абу-Язана, сам Утба пятился от наседающих кабирцев, отмахиваясь секирой...

Свистнул, покиная ножны, ятаган.

Тот самый!

И завертелась кровавая круговерть.

Металл звенел о металл, кричали люди, бешено ржали кони, в горле першило от едкого дыма, и рука в латной перчатке, по локоть забрызганная дымящейся кровью, вздымала вверх тяжелый ятаган — и мощное лезвие, визжа от ярости, опускалось на головы врагов, рассекая шлемы и черепа, и скользил на плитах площади гнедой жеребец, и он, мятежный поэт, презревший милостыню венца, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, все смеялся в порыве боевого безумия, совсем как его друг и побратим Утба Абу-Язан, и бежали, спасая свою жизнь, защитники Кабира, а за ними вдогон неслись воины на взмыленных конях...

Живой, я живые тела крушу; стальной,
ты крушишь металл —
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!

Навстречу ударил грохот копыт, совсем как тот, что недавно плащом бился за спиной; и сразу следом — истошный вой. Гургасары, «волчья дети», личная гвардия кабирского шаха!

Демоны-оборотни в косматых шкурах поверх доспехов, на черных жеребцах-исполинах — они вылетели из-за поворота, и шедшая на убыль битва вспыхнула с новой силой.

Но Абу-т-Тайиб не видел всего этого. Сейчас он не видел ничего, кроме всадника, закованного в драгоценный доспех, всадника на чалом скакуне с узкой щучьей мордой.

Поэт узнал их сразу.

Обоих — и коня, и всадника.

Суришар, наследник кабирского трона, которого он, Абу-т-Тайиб, невольно лишил венца, явившись на свет из пещеры Испытания — и теперь собирается лишить вновь, но отныне своей волей, с мечом в руках!

Кто же он сейчас, вспыльчивый Суришар: восставший против господина наместник или законный шах Кабира, по праву носящий кулах владыки?

Но и это тоже не имело значения.

Кони сшиблись грудь в грудь. Полыхнула, запела сталь клинов, закружилась в гибельном и по-своему прекрасном танце. На этот раз Суришар предусмотрительно сменил легкую щегольскую саблю на массивный талвар, да и опыта у юноши... куда там, где он, былой юноша?! — заметно прибавилось. Вихрь ударов рушился на поэта памятным самумом, обещая тьму и покой. Дважды лезвие скрежетало по наручу и латной перчатке, но Абу-т-Тайиб успевал отбиваться, не спеша лезть на рожон. Возраст не тот, молодость давно ушла в дальние края, и приходилось беречь силы, выжидая, когда разгоряченный противник зарвется...

Случилось!

Чудом извернувшись в седле, поэт пропустил очередной удар мимо себя — лишь седельная лука

взвыла от мимолетного касания! — и ятаган Абу-т-Тайiba пошел на полный круг.

Давешние слова пришли сами:

— Отныне Кабиром будет править не Фарр, но Меч!

И в этот миг рука отказалась.

Нет, не рука!

Став вдруг непомерно тяжелым, ятаган, словно живой, отказывался повиноваться, отказывался взмыть вверх и обрушиться на противника, проламывая доспех, мышцы, кости!..

Свинцовый клинок тянул к земле, едва ли не стаскивая с коня; этому не было объяснения, как не было объяснения и всему, что творилось вокруг; но ведь и на Страшном Суде вряд ли станут слушать твои дурацкие объяснения, грешный человек, и цена им — ломаный фельс!

С какой-то странной отрешенностью поэт наблюдал, как вспыхивают торжеством глаза Суришара, как вспыхивает в ответ нимб фарра вокруг головы кабирца, как юноша, подобный блеску молнии во мраке, поднимает коня на дыбы — и как рушится сверху смерть в облике клинка талвара.

Он проиграл. Час пробил; и значит — пора. Пора уходить. Он и так прожил лишний кусок чужой, заманной жизни.

Или все же своей?

Последним, что увидел поэт, было солнце над правым плечом кабирского шаха. Нет, не солнце: в небе, усмехаясь, скалила плоские зубы баранья голова!

Златой Овен смеялся.

Потом была темнота.

* * *

— Е рабб!

Поэт заснул сидя и сейчас, упав на бок, основательно треснулся головой о камень.

От чего и проснулся.

— Е рабб! — еще раз повторил Абу-т-Тайиб, по-тирая ушибленное место. — И приснится же такое!

Солнце успело закатиться за вершину Тау-Кешт, и снежная чалма, которую гора носила с неизменным достоинством, была уже не розовой, — серо-лиловой она была, и продолжала быстро темнеть.

Сумерки стремительно падали на горы серым саваном, обещая скорую ночь.

Пора было идти.

Поэт тяжело вздохнул, встал и шагнул в кромешную тьму пещеры.

Два-три шага — и темнота сомкнулась вокруг.

Глава десятая,

*где рай сменяется адом и наоборот, наисладчайшее
блаженство — наитягчайшим грехом и наоборот, агнец
взлежит со львом и наоборот, но никоим образом не
упоминаются джавляки, бродячие дервиши, во имя Аллаха
добровольно лишившие себя всех волос на теле, включая
брови и ресницы*

1

Родник доверчиво ткнулся мне в ладонь холодным носом — и отпрянул от кольчужной чешуи, обиженно лепеча невнятницу. Брызги маленькой радугой на миг повисли в воздухе, чтобы опасть на травы капельками росы; гордая фиалка вскинула головку, украшенную алмазным ожерельем, и насмешливый щебет птиц был ответом этой гордыне. Солнце пригоршнями рассыпало вокруг терпкую охру, золотя кусты жимолости, оглушающий аромат плыл волнами, заставляя сердце биться чаще, словно у юноши в предвкушении первого любовного свидания — а каждый вдох и выдох звучал «алифом» и «лямом», славя Предвечного.

Я стоял нелепой, закованной в металл статуей

посреди райских пределов и не знал: тосковать ли мне за тьмой пещеры Испытания?!

Тьмой, из которой родился свет, как уже случалось некогда с мирозданием; да и со мной однажды бывало.

Память подсказывала свидетелем, заслуживающим доверия: шахский доспех так и остался лежать у входа в пещеру. Я не разворачивал тюк, не просил Утбу или Дэва помочь мне застегнуть пряжки и затянуть ремни; я не облачался во все эти зерцала, оплечья; наручки, поножи, не обвивал талию поясом с бляхами, не украшал голову прорезным шлемом, наматывая поверх него тюрбан...

Я не делал этого.

И тем не менее — творение Коблана-кабирца покрывало злосчастного Абу-т-Тайиба с головы до ног, и это являлось такой же истиной, какой был тюк, оставшийся снаружи.

Я был готов к бою.

Я — потому что здесь и сейчас не находилось места лжи или притворству, отстранению или возышению, всем этим Ахмедам ибн аль-Хусейнам, Абу-т-Тайибам аль-Мутанабби, именам, прозвищам, отчествам и племенным куньям; я был наг душой и открыт рассудком для всего, что могло произойти со мной в здешнем раю.

Не смешно ли? — нагой боец в ратном снаряжении!

Смейтесь великим смехом!

...трава хрустела под двойными подошвами сапог. Брызгала липким соком, ломкими стеблями корчилась за спиной. Трава была бессмертна: что значит сотня-другая зеленых побегов для обширной луговины? Меньше, чем ничего. Мы с травой знали о бессмертии все. Я сдвинул набок ножны с ятаганом и полной грудью вдохнул пьянящий ветер, отличный от запретного вина лишь тем, что он был

дозволен. Куда идти? Что делать? С кем биться? О гордый Кей-Кобад, неужели именно здесь тебя выели до сёрдцевины, бросив в мир лишь пустую оболочку??!

Деревья сомкнулись вокруг меня: ивы с ветвями-хлыстами, вековые карагачи, пирамиды кипарисов накалывали облака на острия макушек, красные листья аргавана соседствовали с серебристой подкладкой листвы сафеддоров; и пятнистой шкурой леопарда земля стелилась к ногам владыки.

Я шел, не разбирая дороги, держа ладонь на рукояти ятагана. Легкий скрежет латной перчатки о костяные накладки рукояти, хруст травы под сапогами, звяканье наруч, когда он краем цеплял поясные бляхи — странная, противоестественная гармония царила в этом хаосе звуков! Трели птицы бульбуль — и скрежет, воркотня голубей — и хруст, шелест крон под ветром — и звяканье... хиджазский напев бытия!

Уж лучше бы меня ожидала тьма кромешная со скрежетом зубовным, мрак тысячи опасностей, чем этот волшебный Ирем, где волей-неволей приходится чувствовать себя захватчиком!

Я наклонился и мимоходом сорвал нарцисс.

Сунул было за ухо и, наткнувшись на шлем, устыдился.

«Только раз в году нарциссы украшают грудь земли — а твоих очей нарциссы расцветают круглый год...» Воспоминание отрезвило, я бросил цветок в душистую тень олеандра и двинулся дальше.

Без цели, без смысла.

В метелках дикого овса, осыпая серую пыльцу, щеголями площади Мирбадан бродили голуби. Ворковали, топоршили перья, терлись клювами в любовной игре. Ближе всех ко мне прохаживался крупный сизарь с алоей полоской вокруг шеи, более всего похожей на коралловое ожерелье. «Мяо!.. мя-а-ао...» — кошачье пение издавал он, и все топтался на одном месте, отпрыгивая, возвращаясь, кося на

меня влажной бусиной глаза. Я пригляделся. У лап голубя извивалась пестрая гадюка, один укус которой отправляет человека к праотцам верней, нежели добрый удар копья.

Змея вязала из себя замысловатые узлы, но жалить не спешила; и уползать не спешила.

— Мя-а-ао... мя-я-я...

Голубь с ленцой топтался по упругому телу гадюки, кривые когти не по-голубиному хищно прихвачивали змею, вздергивали над землей, чтобы тут же отпустить, дать наизвиваться вдоволь — и снова... Тихое шипение вторило нежному мурлыканью, кораллы на шее птицы отливали рассветной зарей, а остальной стае дела не было до забав вожака.

— Кыш! — довольно глупо сказал я. — Кыш, зар-раза!

Голубь, являя собой образец послушания, оставил змею в покое (та мигом юркнула прочь, исчезнув в зарослях), вспорхнул и уселся ко мне на плечо.

— Кыш... — беспомощно повторил я.

Голубь потерся головкой о назатыльник шлема. Щелкнул мощным клювом, норовя ухватить кольчатый край. В ответ я дернул плечом, желая прогнать назойливую птицу, но земля вдруг ринулась прочь, вниз, в пропасть, а небо ударило в лицо синим полотнищем. Расплескивая пену облаков, я мчался в вышине вольным голубем, следя, как внизу стелются реки и озера, холмы и долины, города с многоярусными крышами домов и рисовые поля, залитые водой... острые шпили пагод, судоходные каналы, обсаженные деревьями... «Мэйлань, — мяукал мне в уши ветер, — Мэ-э-эйлань, Мя-я-ао!..»

Я знал: захочи я, и все это станет моим. Я стану всем, стану холмами и долинами, домами и людьми в них, стану Сыном Неба, который долгожитель даже в сравнении с владыками иных держав; мне предлагали величие без границ и пределов.

Искренне.

Я зажмурился. Ну почему я?! Зачем я вам всем понадобился, бродяга, с двенадцати лет избравший долю странствующего поэта? Почему вы не даете мне умереть, отказывая в последнем утешении отчаявшихся?! Я привык петь хвалу власти имущим, когда нуждался в деньгах, я не стеснялся славословить халебского мерзавца Сайфа ад-Даула, этого тупого Меча Истины, получив за лесть годы благополучия, о чем сейчас вспоминаю с омерзением! — но, воспевая эмиров, я мысленно претендовал на их троны лишь в минуты отчаяния! В те горькие минуты, когда душа моя, залог Аллаха, брала своего обладателя за глотку и гнала прочь от благополучия, заставляя выкрикивать стихи, оплачиваемые не динарами, но мечами оскорбленных! «Как, — возмущались они, — сей рифмоплет, чье достоинство — только происхождение от южных арабов, смеет превозносить свою гордыню до небес?! Пес заброшенных стоянок воет на луну и называет это истинной поэзией?! В наше время, когда, в отличие от славного прошлого, перестали рождаться мастера слова, он задирает нос и бахвалится похвальбой зазнаек?! Ату его!» Да, слыша их, мне хотелось надеть венец и перестать быть поэтом, ибо я втайне знал: такого не может произойти никогда...

И не потому, что венец мне заказан.

— Мя-а-а... — разочарованно проворковал ветер. Я вновь стоял на земле, а Голубь-Мяо фарр-ла-Мэйлань, спрыгнув с моего плеча, вразвалочку ковылял прочь.

Стая ждала вожака.

2

Из-за цветущей мушмулы выскочил заяц. Принююхался, вытягивая мордочку, и дробно рванул в лощину, где мне почудилась серая тень. За ним вы-

летела добрая дюжина приятелей — длинноухих, с куцыми хвостами-пуговками; и зайцы скатились вниз по склонам, топча клевер-пятилистник, будто совершенно не нуждались в удаче. Солнце полоснуло их семихвостой плетью, прежде чем зверьки успели скрыться от моего взгляда, и заячьи шкурки запылали в ответ шафраном, а на ушах блеснули серебром длинные кисточки.

Минутой позже в лощине раздался тосклиwyй волчий вой. Он разрастался, ширился, тек унынием, захлестывая окружающий меня Ирем; истошному вою вторил барабанный перестук. Невидимые для меня лапки колотили в невидимые стволы, полые изнутри, барабаны гремели все громче, и вой звучал все громче, превращая день в ночь, а солнце — в луну, пока не оборвался на самой высокой ноте.

Я шагнул к спуску в лощину, плохо понимая, зачем это делаю; и споткнулся. Степь раскинулась вокруг меня, степь белобаранных хургов, и чернобаранных хургов, до самой Харзы, на чьи стены никогда не поднимался враг; та степь, которую я уже топтал однажды. Ноги вихрем несли меня по ковыльным просторам, заставляя петлять меж сопками, шуршать в озерном камыше, бешеным соглядатаем наворачивать круги вдоль крепостных стен... люди, кони, юрты и палатки, стада и табуны, башни и рвы...

Все это предлагалось мне.

Бесплатно.

Просто так.

— Нет! — выкрикнул я, чувствуя, что теряю сознание. — Не-е-ет! Я возьму сам!.. са-а-ам!..

Тишина.

На краю лощины сидел Лунный Заяц фарр-ла-Харза, внимательно глядя на меня зелеными глазами. «Зря, — явственно читалось в глубине заячьего взгляда, — зря... я ведь от всей души...» Наконец он

моргнул и, потешно выпрыгивая на каждом шагу, двинулся вниз.

Где били в барабаны маленькие лапки, а эхо еще ловило отголоски былого воя.

* * *

Синий Тур Лоула даже не подошел ко мне.

* * *

Виноградная лоза предложила мне масличные рощи Кимены, двугорбый Нар ал-Ганеб — Дубанские равнины, купцы-оразмиты со всеми их караванами были брошены мне под ноги Вольным Плющом фарр-ла-Оразм; Вран фарр-ла-Фес каркал над моей головой, удивляясь человеческому упрямству, а Черепаха-о-Семи-Пятнах все ползла за мной, с воистину черепашьим терпением раз за разом предлагая мне Хинское ханство.

Пока я чуть не наступил на нее сапогом, и черепаха отстала.

Я шел, топча благоуханный ковер, я чувствовал себя святым пророком Исой, которого враг Аллаха возвел на гору и указал пророку на все царства земные: владей! бери! пользуйся!

Только я, в отличие от святого пророка, мог сколько угодно кричать гласом вопиющего в пустыне:

— Отыди от меня, искуситель!

Разве что горло сорвал бы.

Его я нашел последним. Золотого Овна, бесцеремонного спутника, того, за кем явился сюда. Баран лежал у поваленного кедра, а рядом с ним лежал косматый лев, опустив голову на передние лапы и зорко поглядывая по сторонам. При моем появлении лев глухо зарычал и сделал было попытку встать, но блеянье Золотого Овна остановило хищни-

ка. Рык еще доносился из груди льва, катился предупреждающим рокотом, пока баран не ухватил зверя зубами за складку шкуры на щее и не встряхнул как следует.

Лев угомонился.

Зажмурился, лег на бок и выгнулся спящим котенком.

Я подошел к Златому Овну. Остановился в растерянности, потом освободил ятаган от ножен.

Клинок вопросительно блеснул: я здесь! чего ты хочешь?

Лев встал и затрусиł прочь. А проклятый баран глянул на меня снизу вверх и прикусил травинку, что торчала у самой его морды. Курдюк Овна дряблой грудой трепетал от каждого движения челюстей, драгоценная шерсть блестела сокровищами пещеры Сим-Сим; он не сопротивлялся, он лежал покорной тушей, и я почувствовал себя подлецом.

Мне опять предлагали милостыню.

Кебаб вместо Золотого Руна.

Вместо боя, борьбы и схватки, вместо возможности взять самому мне подкладывали нечистое животное свинью! — то есть тупого барана, на холку которого я в любую минуту мог опустить карающий клинок.

А вокруг молчал Ирем, рай без людей, или не так: рай, каким он был до создания Адама.

Впервые я понял, почему имя падшему ангелу, отказавшемуся исполнить прихоть господина: Иблис, то есть «отчаяние».

Иблис охватывал меня все теснее, и не было этому яду противоядия.

— Нет, — сказал я раю, барану и всем на свете фаррам, которые бродили неподалеку, с интересом поглядывая в нашу сторону. — Нет. Если вы предлагаете мне рай, чьей благодати я уже успел наесться всласть, так что она пошла мне горлом — тогда я предпочитаю ад. При одном условии: свой ад я возьму сам. И поверьте: я знаю верный способ...

Я укрепил ятаган между двух камней — острием вверх.

Сцепил пальцы на затылке, чтобы не передумать в последний миг.

И упал на острие.

3

Падение длилось вечность.

Я даже успел вспомнить, что забыл снять доспех, которого не надевал; и решил, что это не имеет никакого значения.

* * *

Я лежу перед собою цитаделью, взятой с бою,
Ненавистью и любовью — ухожу, прощайте!

Теню ястреба рябою, исковерканной судьбою,
Неисполненной мольбою — ухожу, прощайте!

В поношении и боли пресмыкалась жизнь рабою,
В ад, не в небо голубое ухожу. Прощайте.

Ухожу...

Кривое лезвие ятагана изгибалось мне навстречу холодной улыбкой стали: «Давай, поэт! Иди ко мне! Доверься! Уж я-то тебя не подведу!»

И я так же криво улыбался ему в ответ, отвоевывая у пространства пядь за пядью.

Прости меня, Аллах всемилостивый и милосердный; или нет, лучше не прощай, а просто пойми. Я даже не буду молить Тебя принять мою неприкаянную душу — ибо знаю, какой грех совершаю. Нет мне прощения, как нет и другого пути. Эй, падший ангел, гордыня во плоти, готовь котел попросторнее, раздувай пламя, зови подручных!

Встречай!

Я иду, спешу, падаю, я уже... где ты?!

Перед глазами мелькают кровавые угли и блеск рогов — вот ты каков, хозяин преисподней! — тупой

удар в бок пронизывает болью все тело, в уши врывается глухой звон металла...

...Небо. Откуда в аду такое голубое небо?

Я приподнялся и сел.

Напротив ухмылялась баранья морда! Ибليس, будь ты проклят, прощен и снова проклят! — почему и ты предал меня?! Или ты — одно целое со Златым Овном, моим мучителем и искусствителем?! Молчишь? Все молчите, да?! — адские выкорьмыши, зеленые холмы Ирема, их обитатели, толпа тварей, что мало-помалу собирается вокруг поглазеть на завидное зрешище!

Последние слова умирающего Кей-Кобада кузнечными молотами бьют изнутри в гулкие своды черепа:

— Он меня съел!.. съел... меня...

«И меня», — беззвучно отвечаю я.

В ответ баран издевательски скалит плоские зубы, похожие на речную гальку — словно мерзкая скотина чует мои мысли и глумится над старым поэтом! Златого Овна не устраивает шах-самоубийца! Только он, рогатый фарр-ла-Кабир, волен распоряжаться жизнью и смертью венценосной куклы! Только он вправе, отшвырнув глупца в сторону и выбив из-под него стальную смерть, лично растерзать упрямого — позже найдя замену сносившейся ветоши!

Это намерение ясно читалось в горячих углях, в хищных глазах пастыря стад.

И я понял запоздалым озарением: судьба дарит мне вместо греха самоубийства нечаянную возможность взять, взять, взять наконец самому — что бы я ни брал, жизнь или смерть!

До каких я великих высот возношусь и кого из владык я теперь устрашусь, если все на земле, если все в небесах... если... все...

Удар!

Скрежещут пластины доспеха, трещат ребра, запирая дыхание в легких, как запирают узника в бес-

просветных темницах Салам-Зиндана; оскал бараньей морды нависает надо мной ущербной луной генны — и я еле-еле успеваю извернуться под массивной тушей. Кулак, закованный в броню, со звоном впечатывается в самую середину мощного лба, Овен отшатывается, гнусаво блеет; и пинком ноги я отталкиваю его от себя.

Ятаган! Где ты?! Где?!

Тусклый серый блеск в траве, в каких-то двух шагах.

Ноги все делают за меня сами: остается лишь накнуться, сомкнуть пальцы на рукояти, моей волей избавленной от позора самоцветов...

Багровая вспышка превращает сознание в кусок парного мяса.

Боль.

Семь адских кругов боли, и восьмой, предназначенный исключительно для упрямцев вроде меня.

Во рту — соленый вкус крови и крошево выбитых зубов.

Зубы хрустят на зубах; бывшие на оставшихся.

Встать! Встать, старый урод! Немедленно — потому что время медлить иссякло на весах твоей участи!

Ну же?!

Баран стоит рядом. Рукой подать, и кровь, *моя* кровь, стекает по его золоченым рогам. Встать не получается, сколько ни кричи сам на себя; затруби сейчас Израфиль в трубу Судного Дня, я все равно не встану — но это и не нужно. Вот он, ятаган, стальные пальцы латной перчатки плотно обхватили рукоять с костяными накладками. Правая рука с оружием как нарочно отброшена назад: единственный взмах, один сверкающий полукруг — и этому кошмару придет конец!

Н-на!

Плечо едва не вывернулось из сустава. Ятаган жмется к земле, наливается свинцом, не желая под-

ниматься, мешая рывком сесть и нанести решающий удар — меч владык, символ Кабирского шахства, отказывается рубить Золотого Овна.

Как отказываются рубить только мечи: наотрез.

— Предатель!

В ответ с неба рушится издевательское блеяние, злорадный смех фарр-ла-Кабир.

Вот он, веший сон! Вот он, сон в руку, меч в руку, и непомерная тяжесть распластывает меня по нежной траве Ирема, давая всласть насмотреться на адское солнце — баранью голову, хохочущую в облаках!

Исступление, бешенство отчаяния обжигает гортань расплавленным оловом:

— Предатель! Кусок ржавчины, позор своего рода, недостойный называться Мечом! Прислужник вонючего барана!

Золотой Овен заставляет небосвод содрогнуться в приступе дикого веселья.

— Ведь мы похожи, ты и я!.. — шепчу я непослушными губами, словно надеясь уговорить упрямый ятаган. — Чего ты хочешь? Пылиться на дворцовых коврах, надуваясь от спеси во время парадов и торжеств?! Даже покидая ножны по прихоти очередной венценосной куклы, оставаться мясницким ножом?! — ибо никто не ответит тебе честным ударом на удар! Ты меч — или кусок бараньего деръма?! Вспомни: подобен сверканью моей души блеск моего клинка; разящий, он в битве незаменим, он — радость для смельчака!.. мой яростный блеск, когда ты блестишь, это — мои дела; мой радостный звон, когда ты звенишь, это — моя хвала! Живой, я живые тела крушу; стальной, ты... ты...

«Достаточно, — решает Золотой Овен. — Пора обедать».

Дрогнула земля под копытами кинувшегося на меня барана — и в ответ странной, пронизывающей дрожью отозвалась рукоять ятагана, в чью плоть, ка-

залось, намертво вросли сквозь железо перчатки мои пальцы.

Победный рев исторгся из моей груди, вторя свисту рассекаемого клинком воздуха Ирема: меч все-таки сделал свой выбор! Выбор между человеком и златорогим фарром — а значит, нас было двое!

Нет, не двое: сейчас мы были одним целым!

Ятаган крылом бури взмыл над косматой тушей — чтобы опуститься.

Истошное, испуганное блеяние, влажный хруст — и кривое лезвие, на третью войдя в шею Золотого Овна, вспыхивает ярче дюжины солнц. Оно плавится в жаре фарра, истончаясь, исходя нестерпимым сиянием — и вот: обожженные пальцы уже не ощущают рукояти, ибо ладонь моя пуста.

— Отныне Кабиром будет править не Фарр, но Меч!

Полководец из сновидения в последний раз повторяет эти слова, пробуя каждое на вкус, и удаляется в свою обитель грез.

Раненый баран неистово бьет копытами, проминая доспех, насилия мое кричащее тело — но руки уже сомкнулись мертвой хваткой на подрубленной шее фарр-ла-Кабир. Рывок, проворот, треск ломающихся позвонков и рвущихся сухожилий...

Я встаю.

У ног моих бьется в агонии обезглавленная туша кабирского фарра. Драгоценная шерсть, легендарное Золотое Руно, быстро тускнеет, становясь обычной бараньей шкурой, грязной и окровавленной.

Мухи.

Жужжат, клубятся... райские мухи.

А вокруг молча ждут обитатели Ирема, символы сопредельных держав. Фарры Харзы, Мэйланя, Дурбана... зайцы, голуби, верблюды, черепахи; лоза и плющ растут из рыхлой земли, цепляясь усиками друг за друга, уставясь на меня глазницами странных соцветий... ни одного хищника.

И я читаю в их молчании приговор.
Приговор озверевшего рая.
Но все-таки первый шаг навстречу делаю я.
Сам.

4

— ...твое шахское! Посторонись!

Мимо меня, выпятив смертоносный рог «Сестры Тарана», проносится разъяренный зверь аль-карка-дани по кличке Дэв.

Мимо меня летит знакомый смех Утбы Абу-Язана, смех и песнь «Улыбки Вечности», двуручной секиры, не обученной задумываться: рай вокруг, ад или сумрачная страна аль-Араф.

Мимо.

Меня.

А в отдалении наотмашь пластиет воздух кривой машрафийский меч, изготовленный оружейниками Йемена, честно оплаченный блюдом полновесных динаров — разрубая цепкие объятия Вольного Плюща фарр-ла-Оразм и скрежеща по панцирю Черепахи-о-Семи-Пятнах, так и не сумевшей всучить мне трон Хины!

«Если буду нужен — позови. Я у тебя в долг».

Антара Абу-ль-Фаварис, Отец Воителей, ты и без зова пришел на помочь к царю джиннов по имени... по имени... забыл!

Антара, я забыл, как ты называл меня там, в чаше Мазандерана!

Но все равно — спасибо.

Оглушительное хлопанье крыльев над головой — и в горло впиваются кривые когти Голубя-Мяо, символа мира и добродетели! Стоит немалого труда оторвать от себя разъяренную птицу, больше похожую сейчас на горного орла, чем на кроткого голубка. В ответ на удары кулака пернатый фарр-ла-Мэй-

лань бьет клювом, метко и страшно, прошибая зерцало как раз под ключицей, на месте былого шрама; клащи когтей отрывают от доспеха пластину за пластиной, хлопанье крыльев терзает слух, и я уже с трудом держусь на ногах, но падать нельзя, ни в коем случае нельзя, а можно лишь раз за разом бить в ответ, бить, пока есть силы, а потом — ногами втаптывать мерзкую тварь в грязь, ломая крылья и слыша, как хрустят под каблуком ребра...

Огромная голова Лунного Зайца катится по останкам голубя, а верный Дэв спешит на помощь чернокожему Антаре — Отец Воителей, изрубив на конец в куски Вольный Плющ, схватился с двугорбым Наром ал-Ганебом, успевая одновременно уворачиваться от упрямой черепахи фарр-ла-Хина. Гигант-верблюд встает на дыбы, машет копытами, пытается достать Антару зубами, и помочь Дэва весьма кстати.

Я вытираю пот, удивленно слыша скрежет перчатки о налобник шлема; и вижу Утбу.

Что ж ты так, веселый хург, что ж ты...

Они лежат рядом, вцепившись друг друга и разметав в стороны обрывки Кименской Лозы: Утба Абу-Язан и Фесский Вран. В спине мертвого ворона, подобного птице Рох из легенд, глубоко засела секира со сломанным древком — но клюв фарр-ла-Фес до середины вошел в левый глаз Утбы, выйдя из затылка.

И на губах хурга костнеет его последняя, прощальная улыбка.

А поодаль молчаливо стоит Синий Тур Лоула, так и не приняв участия в битве, стоит, печально глядя на убийц и убитых слезящимися голубыми глазами.

Опять — голубыми!

Голова идет кругом, взор туманится, но я еще успеваю увидеть, как под страшным ударом копыта падает несокрушимый, казалось, Дэв, подняв за миг

до смерти на копье Черепаху-о-Семи-Пятнах; как возле него, прорвав воздух-кисель, возникает суро-ый Гургин, и пламя из солнечного краба жаровни, которую маг держит в руках, фонтаном ударяет в ос-каленную морду верблюда фарр-ла-Дурбан; Антара радостно заносит меч — и я ухожу.

Сам.

* * *

Утонув во мраке беспамятства, Абу-т-Тайб уже не видел, как пал Нар ал-Ганеб под ударом Отца Во-ителей; не видел, как растворился в туманном маре-ве сам Антара и как уходил прочь из оскверненного кровью рая печальный Тур Loула.

Он не чувствовал, как трясущиеся руки Гургина стаскивают с него покореженные латы, отбрасывая прочь куски металла. Левую перчатку маг стащил, истово ругаясь сквозь зубы, потому что раскаленная сталь обжигала руки; и потом старец долго смотрел на покрытую ожогами ладонь поэта: Там, на сред-нем пальце, ниже полуоторванной фаланги, сиял перстень с вишнево-красным камнем — а на само-цвете мигал удивительный глаз, похожий то ли на косматое солнце, то ли на разинутый рот.

Шахский перстень, древний символ, который поэт всего-навсего забыл снять, оставляя в Кабире кулах и пояс владыки.

Свет в Иреме стремительно мерк — и вместо этого наливался багровым пламенем камень перст-ня, словно всасывая остатки умирающего дня.

Маг потянулся было к перстню — снять! — но не решился.

— Тебе не хватает света, да? — тихо спросил вер-ховный хирбед, делатель владык. — Ты привык всегда быть в сиянии фарра, и теперь пьешь про запас?

Перстень не ответил.

Старец кивнул и попробовал успокоить сердце-
бие.

Иначе сил его изношенного тела могло попросту
не хватить.

Глава одиннадцатая,

*в которой жизнь и смерть спорят между собой
из-за одного человека, в которой память издевается
над этим человеком, в которой выясняется, что может
произойти с тем, кто заночует-таки в храме Сарта,
Гложущего Время (благо ему!) — но так и остается
неясным, отчего же горцы обходят столь
гостеприимный храм десятой дорогой??!*

1

Солнечный диск медленно полз к закату. По пустыне неба, изгрызенной зубами скал, осыпая на-
последок золотистым багрянцем угрюмые хребты, подкрашивая веселой охрой — словно красавица кудри! — замшелые крыши селения. Требовательно блеяли недоеные козы в тесноте загонов; незло, по привычке, переругивались соседки и зубоскалили над женщинами их мужья, раскупоривая глиняные бутыли; квохтали куры, устраиваясь на ночлег. Скрип и хлопанье ветхих дверей, над саклями курились сизые дымки, разнося окрест ароматы готовящейся стряпни. Пахло обжитым, вековечным дном, которым давно уже стали для этих людей здешние горы без названия.

У входа в крайнюю саклю, на каменной скамье, отполированной седалищами поколений, сидели двое. Сухощавый старец кутался в длинный, до пят, войлочный кобеняк, поверх обшитый кожей — от дождя и ночной сырости. Рядом яростно чесал бороду заросший до самых глаз горец, обладатель мохнатой папахи и кацавейки из козьей шкуры, мехом наружу.

Штанов на горце не было.

Они после стирки сушились на веревке, в трех шагах от скамьи, и чем-то удивительно напоминали злоумышленника, вздернутого на дыбу.

Оба молчали: и старец в кобеняке, и горец без штанов. Прислушивались к звукам, что доносились из сакли, — невнятное бормотание, звяканье связки колокольцев, ритмичный перестук деревяшек, шарканье шагов...

Что-то творилось внутри, и это «что-то» явно интересовало обоих. Но соваться внутрь мужчины не решались — лучше не мешать; сидеть снаружи, слушать... ждать.

— Не грызи печенка, Гургин-ака, — горец искося глянул на старца и подмигнул со значением. — Хадыжа-апа дело знай! Хороший колдовка, вай! Меня лечи, когда я нога ломай — виши, как новый бегает!

И в доказательство стукнул себя кулаком по колену.

— Вижу, знает она дело, бабка ваша, — хмуро кивнул старец, которого горец назвал Гургином-акой. — Была б нога, я б сейчас песни пел! Ох, была б нога... Боюсь — помрет.

— Вай, зачем Косую поминаешь?! — замахал на старца руками хозяин жилища. — Седые волосы нажить, ума не нажить! Все хорошо быть! Я вас на перевал находи — хорошо?

— Хорошо, — вынужден был согласиться старик.

— Твой друг совсем дохлый быть, ты его таскай-воловчи — силы кончайся, вы оба кончайся! Плохо? Плохой некуда. Но Джуха, — палец гордо ткнулся в отворот кацавейки, — вас орлиный глаз замечать, вино поить, второй конь деревня находить, гостей спасай-привози — хорошо?

— Хорошо, — доводы Джухи просто-таки вынудили собеседника кивнуть.

— Теперь лучший колдовка твой друга помоги! Злого испа-лихоманщика гоняй, травами лечи, какой надо еда делай — хорошо?

— Хорошо, — в третий раз согласился старец. — Спасибо тебе, Джуха. Я очень надеюсь, что уважаемая Хадыжа-апа сумеет поставить моего друга на ноги. Но мои надежды — это одно, а раны — совсем другое...

— Великая воин, да! Я сразу видать! Рука совсем железный! — поспешил внести свою лепту неугомонный Джуха.

— Только если он даже поправится, — старец гнулся свое, и тень лежала на морщинистом лице, тень забытых ущелий, куда не попадает солнечный луч, — нам тут у тебя еще долго гостевать. Пока мой спутник на ноги встанет... Если встанет, — добавил он чуть слышно. — Так что имей в виду: мы в долгую не останемся! Еды прикупить, захарке заплатить, ну и за ночлег — ты только не стесняйся, прямо говори. К чему тебе разорение?

— Обидеть хочешь?! — Джуха аж подпрыгнул на скамье и сбил папаху набекрень. — Вы двое — моя гость! Любимый гость, кунак, живи, сколько надо! Ты, наверно, горы редко быват, Гургин-ака... Закон не знать. В горы по-другому нельзя. Человек беда попади — помогай надо! Гостя гнать — позор! Деньга брать — позор! Чтоб не слышать больше! Понял?

Джуха грозно свел косматые брови на переносице.

— Понял, — покладисто согласился Гургин. И тронул бородавку: не пропала ли?

2

...Темнота. Тишина. Покой. Ничто.

А вот уже — не тишина. Звук. Колокольцы. Издалека. А вот трещит что-то, постукивает. Ближе, ближе...

Рядом.

Мрак редеет, и из него проступает старушечье

лицо. Морщины, складки. Скорбно поджатые губы скупо цедят слова, но смысла не разобрать — просто слова.

Кап... кап... слова.

Лицо исчезает. Дым. Едкий, остро пахнет бедой. Горим, наверное. Пожар.

Эта мысль не вызывает никакого отклика — попытки или хотя бы желания вскочить, бежать куда-то, спасаться. И страха тоже нет. И на помочь звать не хочется.

Горим — значит, так надо. Ну, сгорим. Что с того?

Пожар заканчивается, не начавшись. Дым уходит, уплывает, хоронится в щели... Ну и ладно. Не сгорим. Тоже хорошо.

Твердое тычется в губы. Наверное, надо бы их приоткрыть — вот только получается плохо. Нет, получилось-таки.

— Ляпс пей надо, родимый! Много пей, здоровей, сил набирайся... сил...

Слова. Одно смешное: л-ляпс! Пригоршня жидкой грязи — и на мрамор. Ляпс. Пахнет луком и чесноком. Горячий. Вкусно. Только больше не хочется. Хочется назад, туда, в темноту без звуков.

И темнота приходит.

* * *

Тишина. Но темноты больше нет — ушла куда-то, наверное. Камень. Вокруг — камень. И над головой — тоже. Сверху неуверенно сочится серость. Это свет. Такой свет. Совсем рядом — руку протяни, достанешь! — грязные циновки. Это пол. Такой пол. Чуть дальше — круглый блин из камня; на блине стоит кувшин. Глиняный, кособокий. Ага, вон, еще дальше — дверь, собранная из каких-то совершенно немыслимых обломков дерева. Кажется, что-то подобное он уже видел. Серость, плоские камни, узкое оконце и — дверь-урод. Где?

Нет, не вспомнить.

Снаружи доносятся голоса. Люди. Разговаривают. О чем — не понять. Люди... А сам он — кто? Человек? Да, наверное. Руки ползут по телу, щупают, трогают. Руки. И тело, по которому они шарят. Наверное, где-то есть и ноги. И голова. А вот на теле обнаруживается шрам. Под ключицей. И еще один, выше, прямо на горле. Шрамы хочется чесать. Но одна рука удивляет: два пальца короче остальных. Ну и ладно.

Удивление уходит вслед за темнотой.

Он — человек. Это точно. Человек — и все?!!

Нет ответа. Только гулкая пустота там, внутри, где должен лежать этот самый ответ.

И вновь — тишина.

Темнота.

Вернулась.

* * *

Глаза открываются.

Видят.

Старца видят. Сухого, жилистого, с бородавкой над верхней губой, из которой растут жесткие черные волоски. Старец сидит напротив, почесывает свою бородавку и глядит прямо.

На него глядит.

На человека.

— Наконец-то ты пришел в себя, — скупая улыбка на морщинистом лице.

— Я... пришел... — Слова выходят чужие, натужные, от них першит в горле, и человек на время умолкает, откашливаясь. Грудь саднит; это неважно. Важно другое.

— Кто я, старик?

— Кто ты? Одно время тебя звали Кей-Бахрамом, шахом Кабира-белостенного. Но ты задушил это имя собственными руками. А еще раньше, если мне не изменяет моя старческая память, ты называл

мне другое имя. Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, бродяга и поэт.

— Абу-т-Тайиб? Кей-Бахрам? — Человек по очереди пробует имена на вкус. Оба — одинаково безвкусные. Никакие. Ляпс вкуснее: там чеснок и лук. И нет отклика в душе, ничего не поднимается из глубин спящей памяти. Спящей? Или умершей?..

Шах? Бродяга? Поэт? На последнем слове человек задерживается чуть дольше. Поэт.

— Кто такой поэт, старик?

— Тот, кто слагает стихи.

Тот, кто слагает стихи. Если он был поэтом, у него тоже должны быть стихи.

Наверное.

— Эти имена — пустой звук, старик. Почитай мне лучше стихи. Мои стихи.

— Увы, — разводит руками старец, и его голубые глаза предательски блестят. — Я не могу... я не помню, не знаю... Неужели ты все забыл? — Старец на миг умолкает, не зная, как теперь обращаться к собеседнику. — Мазандеран, пещера Испытания, Златой Овен? Вспомни! Ну вспомни же!

В хриплом голосе звучит отчаянная мольба.

Человек честно пытается вспомнить, раз за разом повторяя про себя странные слова, произнесенные стариком, и пытаясь представить себе, что бы они могли значить.

Ничего.

Пустой звук.

Человек устало откидывается на изголовье.

— Я болен, старик?

— Ты очень сильно болен, — старец глядит в сторону. — Тебе требуется покой и хороший уход. Мы делаем все, что в наших силах — но...

— Мы? — вяло переспрашивает человек.

— Я, наш добрый хозяин Джуха, знахарки из селения...

— Хорошо. Спасибо. Тебе, Джухе и знахаркам.

— Принести тебе поесть?

— Не надо. Хотя... Поставьте еду где-нибудь рядом. Когда я захочу есть, я возьму сам.

При последних словах больного глаза старика странно вспыхивают.

Он ждет.

Но человек молчит.

— Хорошо, отдохай. Я больше не буду отвлекать тебя глупыми разговорами. Но... ты отказался от прежних имен — как же мне называть тебя?

— Зови меня Безымянным, — равнодушно говорит человек, отворачиваясь к каменной стене.

3

— Хадыжа-апа говори: плохо дела, — Джуха пошел сзади, заставив Гургина вздрогнуть от неожиданности. — Твоя друг уже вставай, только мало-мало. Голова совсем пустой. Ничего не помни. Ничего не хоти. Помирай скоро. Только Джуха не понял: почему помирай? От глупой головы, да?

— От безразличия. — Старец все смотрел на закат и не мог оторваться от зрелища похорон дня. — Ему скучно жить.

— Помирай хоти? — сочувственно осведомился Джуха.

— Нет. Он ничего не хочет — ни жить, ни умирать. И поэтому скоро умрет. С одними ранами он бы еще справился — он очень сильный человек. Был...

И старики снова, не моргая, уставился на заходящее солнце блекло-голубыми глазами.

Джуха стоял рядом, морща лоб. Думал. Наконец заговорил снова.

— Слушай, Гургин-ака... Если он все вспоминать — жить опять?

— О, если бы он вспомнил! — тяжелый вздох. — Тот, кем он был прежде, очень любил жизнь. Но, к

сожалению, даже я не знаю, как вернуть ему память. И возможно ли это вообще...

— А так он точно помирай? — не отставал Джуха, явно лелея тайный замысел.

— Да. Я вижу.

— И Хадыжа-апа тот же слова говори! — непонятно чему обрадовался горец. — Значит, если мы его свой способ лечи — хуже не бывай?

— Не бывай, — кивнул Гургин. — Теперь хуже ничего не бывай.

— Только ты Хадыжа-апа не говори! Она мой шибко ругать будет! — зашептал Джуха прямо в ухо старцу, косясь по сторонам и отчаянно брызгая слюной. — Есть способ! Храм Дядь-Сарт его везти надо! И на ночь оставляй! Утром мы приехать. Тогда твой друг или вспомнить все, или помирай!

Джуха подумал немного и добавил:

— Или сначала вспомнить все, а потом помирай. Но так все один сдохнет. А так... — и многозначительно умолк.

В следующий миг над горами раскатился протяжный, нечеловеческий вой, от которого, казалось, в ужасе содрогнулись сами скалы.

— Горный Смерт! — поднял вверх указательный палец Джуха. — Хорошо кричи, молодца! Добрый знак.

— Добрый?! — поперхнулся Гургин, которому вопль подозрительно напомнил одного голосистого мазандеранца.

— Ясно дела, добрый! — уверенности Джухи не было предела. — «Так и надо делай, вах!» — говори. Громко говори, подбадривай! Завтра утром и повезти.

* * *

Одеться ему помогли. Безымянный не возражал; только очень спать хотелось. Все время. Даже когда его, почему-то стараясь не шуметь, вывели во двор, где ждали три низкорослых конька.

Безымянного подсадили в седло и предусмотрительно привязали к коню толстой мохнатой веревкой.

Это было правильно — ведь с коня можно упасть. И тогда: снова боль, мешающая спать, уходить в спокойные глубины забытья, к которым он уже привык и совсем не возражал бы остаться там навсегда.

Они выехали из селения, и копыта коней застучали по камням узкой тропы.

Безымянный не смотрел по сторонам. Равнодущие пеленоало его в серый кокон из пыли, такой же мохнатый, как веревка-хранитель. И лишь когда впереди, на востоке, показался из-за зубчатого хребта розовый краешек солнца, во взгляде привязанного к лошади человека появилось некое подобие интереса. Он знал, что это — *правильное солнце*, и ему доставляло странное удовольствие смотреть на восход.

Он смотрел на солнце до тех пор, пока у него не начали слезиться глаза.

4

...Безымянному было все равно.

Его куда-то везли, потом вели, вполголоса шептаясь за спиной, после сунули в руки узелок, из которого вкусно пахло свежими лепешками, и, наконец, оставили в покое.

Безымянный огляделся.

Свет закатного солнца медленной патокой тек в крохотное оконце под потолком. Пылинки танцевали в луче, вертаясь и подпрыгивая заблудшими душами в поисках божественного откровения; Безымянный подумал еще, что свет не видывал более напыщенного сравнения; да и тьма, пожалуй, тоже не видывала...

Мысль оказалась слишком длинной и сложной, чтобы додумывать ее до конца.

Ну ее.

В углу стоял алтарь, похожий на черный камень Каабы. Чуть дальше, у самой стены, притулился идол из серого песчаника, но на идола Безымянный смотреть не стал.

Он знал, что идолопоклонничество — это грех.

Единственное: он не помнил, что такое грех и плохо ли это.

Безымянный потер пальцем шершавый сланец стены, лизнул палец, сплюнув горькую крошку, и присел на корточки. Узелок он положил перед собой на пол. Узелок его сейчас не интересовал, до наступления голода. Зато сбоку, прикрученный тесемкой, обнаружился длинный сверток — и любопытство вспыхнуло в Безымянном. Это было приятно: хотеть узнать и иметь возможность узнать.

Съесть лепешку — тоже приятно, но не так.

Меньше.

Шелковый платок развернулся сам собой. Там, в скользких объятиях шелка, прятался пенал. Роскошный пенал из мореной черешни, сплошь расписанный мельчайшей вязью, ветками и цветами. Серебряная цепочка приковывала к пеналу чернильницу о шести гранях; сделанную из желтой бронзы. А внутри черешневого футляра мирно лежали два очищенных калама и бронзовый ножичек.

Маленький такой.

Безымянный встал и подошел к дверям. Ему захотелось уйти, но двери оказались заперты снаружи. У порожка, свернутое втрое, валялось одеяло из коклюшей верблюжьей шерсти; поверх одеяла ждали своего часа огниво и пучок лучин.

Безымянный передумал уходить.

Он только стукнул кулаком в дверь: тихий вызов, бунт, от которого смешно щипало в носу, а на душе становилось тепло.

И вернулся к пеналу.

Чернильница была пуста. Безымянный огляделся: раз есть пенал, значит, должно быть что-то еще... что-то... еще... Нашел. На алтаре лежала книга. Огромный фолиант в кожаном переплете, с застежками из тусклого металла, похожего на серебро. Рядом стоял яшмовый флакон с притертой пробкой.

Безымянный подошел к алтарю. Взял флакон; с трудом выдернул пробку, получив в ответ короткий визг. Внутри, в полой гробнице, плескались чернила — и это было правильно. Перелить часть их в чернильницу оказалось делом совсем простым. Безымянный даже почти не испачкался, только полу халата залил, но халат его не интересовал.

Его интересовала книга.

Первая страница была девственно-чистой. Как вторая и третья. Безымянный макнул калам в чернильницу, подумал и опустил калам на алтарь. Зачем? И так красиво. Он подпер рукой подбородок и задумался. О белых страницах и черных чернилах. Думать о них было неприятно, а не думать — плохо. Наверное, это и есть грех. Наверное, за него положено запирать в одиночестве, чтобы человек мог спокойно поразмыслить о важном, наедине с каламом и тишиной.

А потом надо будет съесть лепешки.

— Нравится? — спросили из-за спины.

Безымянный кивнул.

— Ну-ну, — сказали из-за спины; но уже гораздо ближе. — Ты каллиграф?

— Нет, — с уверенностью сказал Безымянный; потом ему захотелось узнать, что такое каллиграф, но он постеснялся спросить.

— И я — нет, — чужое дыхание жарко коснулось волос на затылке. — Но у меня есть вино и немного зелени. А у тебя?

— Пить вино — это грех, — наставительным тоном сообщил Безымянный, сам удивляясь собст-

венным словам. — Ибо сказано: «Вино превращает человека в похотливого пса, в грязную свинью!»

— Тем, кого превращает, конечно, запретно, — покладисто согласилось чужое дыхание. — А тем, кого не превращает, — дозволено.

Довод показался Безымянному разумным.

Он обернулся и увидел рядом с собой худого человека, вид которого показался Безымянному знакомым. Горбатый нос, в запавших глазницах плещет немая усмешка, лоб изборожден морщинами... Человек улыбнулся и почесал себе переносицу. Безымянный улыбнулся в ответ и тоже почесал себе, но иначе: проводя пальцами от складки меж бровями по всей седловине носа до самых крыльев.

Утолять зуд было приятно; почти как утолять любопытство.

А думать о том, что сбреи Безымянныи бороду — и они с человеком из-за спины станут изрядно похожи... думать об этом не хотелось.

Ну его.

— У меня есть лепешки, — сказал Безымянныи, осторожно вытирая калам тряпицей, найденной за пазухой, и пряча его обратно в пенал. — Кажется. Я сейчас посмотрю.

В узелке, кроме лепешек, обнаружились катышки овечьего сыра и еще какой-то сыр — скользкий, он плакал солеными слезами, скорбя о собственной участи.

Последней явилась плеть вяленого мяса, сплошь покрытая коростой перца.

Человек из-за спины тем временем рылся в углу, где раньше стоял идол. Извлек кувшин, оплетенный сеткой из сухих лоз, встряхнул его, насладившись бульканьем, и полез за зеленью.

— Тебя как зовут? — спросил человек из-за спины, нюхая пучок рейхана.

— Меня?

— Тебя. Неловко, понимаешь: собутыльники — и без имен!

Последняя реплика подсказала ответ.

— Меня зовут Безымянный, — сказал Безымянный.

— А меня — Ожидавший, — ничуть не удивившись, сказал человек из-за спины. — Слушай, а рейхан совсем свежий... ишь, пахнет! К нему бы баранинки... с перчиком, с черемшой...

И кинул в рот фиолетовый листок.

— Вот, — Безымянный махнул вяленой плетью. — Вот баранинка.

И мысль о баранинке, которую можно съесть под вино, которое одним запретно, а другим — дозволено, показалась Безымянному приятнее всего на свете.

5

— ...еще по одной?

— Наливай!

— А песню??!

— Чей черед, Ожидавший? Я тебя спрашиваю: чей черед?? Гость, значит, через раз поет, а хозяин — через два??!

— Ты, гость, ври, да не завирайся! Хозяин черед знает! Я тебе пел: «Над горою кипарисы»?.. Пел или как??!

— П-пел! Перепел! Давай еще разок, хором: «М-мир лишь луч от лика друга... мир лишь луч...»

— Не хочу хором! Ты пой, как уславливались!

— Н-нет, ты меня не торопи! Раз Ожидавший, значит, жди и не выкобенивайся! П-понял?

— П-понял! Жду и не выкобениваюсь!

— А теперь скажи: обиделся?

— Н-ну... ты лучше перстенек свой поверни камнем внутрь — кому охота в темноте сидеть? Ишь, светосос...

— Ты не юли, ты отвечай: обиделся?

— Отвечаю: да. Убил бы, только некогда.

— Правильно! Если б ты не обиделся, я б тебе в

жизни петь не стал! Ни словечка! Бродим по миру тенями бесплотными, бродим по крови, которую пролили; жизнь моя, жизнь — богохульная проповедь! Ныне молчу... молчу! Ныне... Слушай, Ожидавший, скажи мне лучше: кого больше — живых или мертвых?! Ну скажи: кого?!

— Ты украл чужой вопрос, Безымянный.

— Знаю! А откуда знаю, не знаю! Это спросил Искандер Двурогий у нагих мудрецов из страны Синдху! Смешно: мудрецы — с голой задницей! Чтоб мудрость лучше отсвечивала...

— И что ответили мудрецы Искандеру?

— Живых больше, ответили задницы; мертвых не существует. Представляешь, Ожидавший: мертвых не существует! Совсем! Ты мне веришь?

— Верю.

— А задницам?

— И задницам верю. Особенно голым.

— Где мой пенал? Где мой пенал, я тебя спрашиваю?! Мне просто необходимо это записать в твоей книге: мертвых не существует! Заглавными буквами! Где мой... а-а, вот он! Где книга?!

— Перед тобой.

— А я пишу! Е рабб, я пишу! Вот: «Мерт... мертвых не существует!» И еще: «Пусть враги стенают, ибо от Багдада до Магриба петь душе Абу-т-Тайиба, препоясанной мечом!» И еще: «Где ты, жизнь Абу-т-Тайиба, где вы, месяцы и годы? Тишина. И на коленях дни последние стоят». И еще...

* * *

Безымянный отшатнулся.

Опьянение талой водой оплыло с него, исступленные сквозняки продули сознание насовсем; сейчас он мог только стоять и смотреть, как на белизне книжной страницы, испещренной его записями, проявляется новый текст.

Алиф, лям... штрихи, точки, завитки...

«Аль-Мутанабби (*Сам-Себе-Пророк, Выдающий себя за пророка*) Абу-т-Тайиб Ахмед ибн аль-Хусейн. 915—965 гг. по христианскому летосчислению (302—354 гг. лунной хиджры). Потомок южноарабского племени Бану Джуф, с двенадцати лет избрал путь профессионального странствующего поэта. Добился признания, состоял при дворах эмиров Сирии, Египта и Ирака; высшего успеха и славы достиг в Халебе, при дворе эмира Сайфа ад-Даула. Убит из мести за сатирические стихи. Оказал влияние на персидскую поэзию».

И еще:

«Ханна аль-Фахури сказал: «Ему были свойственны воинственность, решимость в риске, бесстрашие, неиссякаемая энергия... Аль-Мутанабби обладал такими качествами, как стойкость, непоколебимая решительность, и никакие превратности судьбы не могли заставить его пасть духом».

И еще:

«...человек у ночного костра невесело ухмыльнулся. Поворотил угли палкой с завитком на конце, похожим на вытянутую букву вав; и в ответ иные буквы зарделись, заплясали в очнувшемся пламени — алиф, мим, нун, син, каф... ты, гроза, гроза ночная... Заревая колыбелица пока что существовала лишь в воображении человека, до бега ее оставалось не меньше трех часов, а реальность была совсем иной: костер, который пришлось разводить заново, ежеминутно поминая шайтана над сырьими дровами...»

Когда Абу-т-Тайиб наконец захлопнул книгу и обернулся — собутыльника, минутой ранее выяснившего перед дружеского пения, рядом не было.

Лишь в углу молчал идол из серого камня; но на идола поэт смотреть не стал, потому что идолопоклонничество — это грех.

— Не складывается жизнь... — Поэт сложил

калом с ножичком в пенал, плотно закупорил чернильницу и стал заворачивать пенал в платок. — Нет, не складывается...

«Какая жизнь? — беззвучно спросили из угла. — Какая, приятель — та или эта?»

— Неприкаянный я, перекати-поле... носит ветром, и куда ни занесет, везде одно и то же!..

«Ты сказал! — плясали пылинки в луче зари рас-
света, и молчал алтарь с книгой в кожаном перепле-
те. — Ты сказал... ты...»

Абу-т-Тайиб подошел к двери и стал колотить в нее кулаком.

6

Открыли не скоро.

КАСЫДА О ВЗЯТИИ КАБИРА

Не воздам Творцу хулою за минувшие дела,
Пишет кровью и золою тростниковый мой калам.

Было доброе и злое — только помню павший город,
Где мой конь в стенном проломе спотыкался о тела.

Помню: в узких переулках отдавался эхом гулкий
Грохот медного тарана войска левого крыла,

Помню: жаркой требухою, мертвым полем под союю
Выворачивалась площадь, где пехота бой вела.

Помню башню Аль-Кутуна, где отбросили к мосту нас
И вода тела убитых по течению ввлекла,

Помню гарь несущий ветер, помню, как клинок я вытер
О тяжелый, о парчовый, кем-то брошенный халат,

Помню горький привкус славы, помню вопли
конной лавы,
Что столицу как будницу дикой похостью брали.

Помню, как стоял с мечом он, словно в пурпур
облаченный

— А со стен потоком черным на бойцов лилась смола —
Но рука Абу-т-Тайиба ввысь указывала, ибо

Опускаться не умела, не желала, не могла.
Воля гневного эмира тверже сардиний мыши.

Слаще свадебного пира, выше святости была.

Солнце падало за горы, мрак плащом окутал город,
Ночь, припав к земле губами, человечью кровь пила,

В нечистотах и металле жизнь копытами топтали,
О заслон кабирской стали знатно выщерблен булат!

Вдосталь трупоедам пиши: о стервятник, ты не нищий!..
На сапожном голенище сохнет бурая зола.

Над безглавыми телами бьется плакальщицей пламя,
Над Кабиром бьет крылами Ангел Мести, Ангел Зла,

Искажая гневом лица, вынуждая кровь пролиться —
Плачь, Златой Овен столицы, мясо бранного стола!

Плачь, Кабир — ты был скалою, вот и рухнул, как скала!
...Не воздам Творцу хулою за минувшие дела.

Глава двенадцатая,

*полная загадок без разгадок, вопросов без ответов,
мудрости и глупости, а также воодушевленных разговоров;
но то, что богомолец-ходжа обязан после обхода Каабы
посетить Стоянку Авраама — это так и остается
невыясненным*

1

Во дворе постоянного хана плясал дервиш. Иступленно, самозабвенно; третий час плясал. Метались полы одежд цвета меда, билась стягом траура лиловая накидка, противореча танцу; высокая шапка-конус, крестообразно обмотанная чалмой, чудом удерживалась на голове — а ноги странника переступали, притоптывали, отбивали неслышный иным ритм, сгибались в коленях, подбрасывали в воздух сухое тело...

Неподалеку, ближе к коновязям, валялся посох с железным набалдашником.

И еще: котомка, откуда высовывалась другая шапка, в форме ладьи, испещренная письменами — будто чайка прогулялась по мокрому песку.

— Ай, святой человек! — Цирюльник ловко шлепнул на макушку клиента горсть мыльного настоя и ухватил помазок из конского волоса. — Ай, славно пляшет, душу Аллаху выворачивает!

— Это ересь или дурость? — поинтересовались из-под пенного тюрбана.

— Свою душу перед Аллахом, я хотел сказать! — спешно исправился цирюльник, с удвоенным рвением работая помазком; потом он потянулся за бритвой. — Я б так сплясал, и сразу в рай... лба не утрев...

Клиент хотел было кивнуть, выражая согласие с мнением просвещенного цирюльника, но побоялся: уж больно остра была бритва.

Кому охота оставшийся век корноухим ходить?

Дервиш тем временем завертелся волчком, вскинул правую руку к небу, а левой ухватил подол собственной накидки. Святой человек был безбород, безволос, даже брови его были аккуратно выщипаны по волоску. Возраст славно поработал над лицом странника, и складкам с морщинами негде было укрыться — выставились на всеобщее обозрение, втайне мечтая о бороде-спасительнице.

— Потом отрастит, — цирюльник угадал тайные мысли клиента. — Все у него будет, и борода лопатой, и усы ручьями... Обет он принял небось, на тысячу ночей и еще одну, покаянную. Я на таких насмотрелся, господин хороший, все их повадки изучил! Вот сейчас вы голову бреете, а завтра этот дервиш придет! Ну, не завтра, пусть через месяц — какая разница? Мимо цирюльни никто не ходит...

— Ты б болтал поменьше, — донеслось снизу. — Не ровен час, порежешь!

— Я?! — Возмущению цирюльника не было предела. — Я мухе усы обрею и лишку не сниму! Когда я брил голову светлейшему Харуну, наместнику Басры...

Клиент ухмыльнулся, отважно рискуя ухом.

— Светлейшему Харуну, говоришь? Наместнику Басры? Это случайно не Харуну Праведному, лучшему из халифов? А по ночам в народ ты с ним не ходил?

— Светлейший Харун тогда еще не был даже престолонаследником, — наглости цирюльника не было предела. — А после их светлость Харун перебрался из Басры в Дар-ас-Салам, а я — сюда, так что не знаю, не знаю, кто там с кем в народ хаживал!

— Выходит, ты меня лет эдак на две сти постарше будешь? А, брадобрей?

Цирюльник лишь усмехнулся — веселый заказчик попался! — и продолжил ловко орудовать бритвой. Которой некогда, начиная с правой стороны и заканчивая левой, брил басрийского наместника Харуна, потом — привередливых жителей Медного города; сейчас же делал красивым разговорчивого клиента по имени Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби.

А дервиш все плясал.

* * *

...Гостеприимец Джуха предлагал гостям оставаться у него. Навсегда. Мол, всем селением обустроим, саклю поставим, кур там, овец... невест сосватаем! Поэт не сомневался: дай они с Гургином согласие, и завтра же горец вывернет весь свет наизнанку, а обещание выполнит! Таков уродился. Соседи-всезнайки успели шепнуть, что и отец Джухи таков был, и дед... Однажды пять аулов разбойника Джукмара ловили — грабеж грабежом, все горазды, а этот на женщину руку поднял, вши головой! — так разбойничек в саклю деда Джухи вломился и к ногам упал.

— Гость, — кричит. — Гость я!

А у самого кровь по лицу...

Не тронули горцы Джукмара-лиходея: дед у входа с кинжалом стал, и трое суток не евши, не пивши, охранял гостенька.

После до перевала проводил и сказал тихо:

— Иди, добрый человек! Далеко иди, мой глаз не видеть — иначе у Горный Смерт ночевать!

А внук Джуха, если соседским языкам верить, и деда с отцом вдвое переупрямил.

Нет, поэт с магом не собирались испытывать на прочность гостеприимство хозяина. И оставаться здесь, в горах без названия, не собирались. Поэт не-навидел горы. Каждая скала, каждое ущелье напоминали ему о том, о чем хотелось забыть раз и на-всегда. Только не получалось. И Абу-т-Тайиб понимал: после ночи в храме, ночи, смысл которой остался для поэта темен, память вернулась к нему иной. Теперь он ничего не забывал. Захоти Абу-т-Тайиб припомнить шуточную строчку, которой по-забавил Аллах весть когда эмира халебского — строчка приходила сама. Ждала, вертелась красивой перед зеркалом, звенела бубном. Так и лица: друзья, враги, мать... Дэв, Нахид, веселый хург...

Но в горах он больше жить не мог; не мог, даже зная, что забыть прошедший год, год безумия, находок и потерь, — тщетная надежда.

— Ты счастлив? — как-то спросил его Гургин.

— Да, — без колебаний ответил поэт. — Я счастлив. Я достиг цели, я взял сам, и потерял сам. Я счастлив. А ты?

Маг не ответил.

Джуха вызвался проводить гостей до перевала Баррах, но гости вдруг решили ехать в Медный город. С перевала дорога вела их в Кабир, куда оба возвращаться не желали. Поэт — по вполне понятным причинам; маг — из страха. Он так и сказал поэту: боюсь. Однажды я уже пережил это: возвращение не туда, откуда уезжал. Нужно обождать, сказал он, нужно пережевывать страх зубами времени, проглотить и запить холодной водой. Может быть, тогда...

Может быть.

Двое стражников-близнецов, собирающих пошлину у въездной заставы, неожиданно показались Абу-т-Тайибу чуть ли не милей кровных родичей.

Такие они были... настоящие. Свои. Рыжие чекмени, треухи норовят сползти на лоб; и сквалыжничество обоих походило на дым родного очага. Жаль, денег у путников не нашлось. А маг на вопрос поэта о деньгах откликнулся крайне двусмысленно, хотя сам обещал Джухе чуть ли не озолотить горца за приют.

— Сейчас нет, — вот что сказал старый хирбед.

Пришлось торговаться. Стражники упирали на то, что за двоих уважаемых людей они хотят получить пенал из мореной черешни; и вдобавок кинжал, подаренный на прощанье Джухой. Иначе, дескать, откроется истинная суть путников, а бродяги, хоть и стоят гораздо дешевле, но пропускаются в город через одного, во избежание.

Выбирайте, уважаемые: кто пойдет, кто останется?

В конце концов сошлись на кинжале и пуховой чалме, сохранившейся у поэта со временем его бывшего шахства.

Зато в городе, едва оба несостоявшихся бродяги миновали ворота, Гургин повел себя крайне возбужденно. Разыскал ближайшую чайхану, где собирались местные саррафы — менялы и ростовщики; и долго выспрашивал у них, кто является старшиной цеха. Сперва с назойливым стариком и разговаривать не захотели. Но маг распорол подкладку халата и извлек оттуда треугольный лоскут кожи, сплошь покрытый мелкими значками. Лоскут мигом превратил заносчивых павлинов в подхалимов-вертишек, а старшина цеха объявился джинном из волшебной лампы.

Не прошло и получаса, как поэт стал обладателем увесистого кисета с динарами; такой же кисет и другой лоскут, поменьше, Гургин спрятал у себя.

— Вернемся? — поинтересовался маг и подмигнул спутнику, что было менее всего похоже на прежнего Гургина.

— Выкупим кинжал?

Догадка поэта оказалась верна.

И вскоре они, с кинжалом и при чалме, устраивались на ночлег в постоялом хане хромого Кумара.

Впервые, что ли?

Укладываясь спать в отведенной им келье, поэт долго мучил мага разговорами. Все представляло вслух, как вернется домой, в Халеб или Дар-ас-Салам, как купит дом, примется восхвалять местного владыку и близких его, подставляя открытый рот за жемчугом-динарами, как будет поносить скучных, вышибая подачки острословием, как возобновит переписку с закадычным другом, прожорливым неряхой Абу-ль-Фараджем Исфаханским, в надежде попасть в «Книгу песен» последнего; и в конце концов, давно пора бросить воспевать дев и битвы, вспомнив о бренности тела и вечности души...

— Дай поспать! — наконец не выдержал Гургин.

И поэт до самого рассвета улыбался, глядя в потолок.

А то, что улыбка выходила чуточку грустной — так ее все равно никто не видел.

2

— Освежить? — Тёплым полотенцем цирюльник вытер гладкую макушку клиента. — Есть отвары трав редких, драгоценных; есть благовония шамсийские, согдийские, дамасские; есть...

— Не надо.

— Бороду подкрасить? Хной пройдемся? — Говорят, женщины любят рыжих!

— Врут.

— Кто врет? — опешил цирюльник.

— Те, кто говорят.

Ханчик, стоя у кухни, откуда доносилась ругань стряпух, расхохотался. Даже за пляской дервиша перестал наблюдать. В кои-то веки болтуна-ци-

рюльника осадили! — а в наше тихое время вошь сдохнет, и то событие...

Удачное утро складывалось у хромого Кумара.

— Ты его больше слушай, почтенный! — крикнул он Абу-т-Тайибу. — Он тебе уши выонками заплещет — моргнуть не успеешь, залезет в шальвары и обрежет по второму разу!

Цирюльник обиженно поджал губы, а поэт не стал объяснять ханщику, что еще при первом своем появлении в Медном городе имел беседу вот с этим болтливым цирюльником. И про его отъезд из Басры слышал, разве что о наместнике Харуне брадобреи тогда не вспоминал.

И правильно делал.

— Это Румиец, — вытирая руки передником, на пороге кухни объявилась дородная стряпуха и кивнула головой в сторону дервиша. — Звать Джалалом, а Румиец — это прозванье у него такое. Он уже неделю пляшет. Вчера на базарной площади, позавчера — в квартале кузнецов; сегодня вот к нам заявился... Тетка моя спросила у него, осмелилась: какими, мол, ветрами, Божий странничек? А он шапку оземь и хохочет: дескать, трижды помер, пока до вас добрался! Оттого и пляшу, значит...

Все засмеялись: и хромой Кумар, и стряпуха, и цирюльник-пустозвон, и пятеро купцов, восьмой день державших постой в этом хане.

Засмеялся и Абу-т-Тайиб.

Хорошо, что цирюльник в этот момент не видел лица поэта; а еще лучше, что бритвы в руке не держал.

Дервиш тем временем резко оборвал пляску, собрал свои пожитки и пошел прочь, не оборачиваясь.

— Я эти танцы видел, — сообщил один из купцов, оправляя кушак. — Мы, когда из Коньи от монголов бежали, насмотрелись: султан Изеддин таких плясунов привечал, набрал великое множество... в рай думал на их горбу въехать. Ан не въехал...

Поэт продолжал улыбаться. Время ничего не

значит. Пространство ничего не значит: Мертвых нет; совсем. Если здесь есть ничтожный раб Аллаха по имени Абу-т-Тайиб, то почему бы и не стоять где-то некой Конье, откуда стоит бежать, не дожидаясь каких-то монголов? — и султан Изеддин вполне мог родиться вчера или завтра.

Это пыль.

Это прах; и домыслы несведущих.

Истинно то, что происходит с тобой; но истинно и другое, то, что происходит с остальными людьми и нелюдьми — а искать меж первым и вторым скрытые соответствия...

Полно, уважаемые!

И пляска исступленного дервиша говорит сердцу больше, нежели выводы ученых.

Мертвых не существует.

Совсем.

* * *

У ворот хана послышалось бряцанье колокольчиков. Хромой Кумар мигом вылетел наружу, забыв про хромоту, а минутой позже принялся обустраивать целый караван. Не торговый — богомольцы. Из святого хаджа идут: вон, почти у всех зеленые чалмы паломников, посетивших Мекку. Богомольцы мало интересовали поэта: он расплатился с цирюльником и собрался было идти завтракать, как увидел Гургина.

Старый маг прятался в тени карагачей, близ водоема, и манил поэта пальцем.

— Что случилось? — осведомился Абу-т-Тайиб, подходя.

— Это наши, — палец мага, сухой и мосластый, теперь тыкал в паломников.

Дрожа осенним листом.

— Наши?

— Да, кабирцы. Помнишь: «И паломничество к священному храму Аллаха для тех, кто в состоянии его совершить!» Когда мой шах...

Маг замолкает и долго жует впалыми губами.

— Когда ты...

— Я помню, — обрывает его поэт. — Я теперь все помню.

И смотрит на богомольцев.

Один из них, дряхлый патриарх, согбенный не-померной тяжестью лет, замечает этот взгляд. И вопросительно глядит в ответ, моргая белесыми ресницами: что, мол, надо, добрый человек?

Абу-т-Тайиб делает глубокий вдох и идет к патриарху.

— Из Мекки путь держите, рабы Аллаха? — спрашивает он после долгих изъявлений вежливости.

— Из нее, — степенно кивает патриарх, довольный возможности поговорить с новым человеком. — Давно идем, тридцатый годок скоро... ничего, теперь уж недолго осталось!

— Это хорошо, что недолго... А через какие ворота мой отец вступил в мечеть?

— Через Баб-аль-Салам, о любопытный, через «Ворота Приветствия». И, пройдя под аркой, читал без устали известные молитвы, выученные в тяжком пути!

— Я полагаю, Господь миров предоставит моему отцу в раю никак не меньше двух сотен гурий, чьи прелести несравненны! А дозволено ли будет спросить: как отец мой совершил обход Каабы?

— Семью обходами, о любопытный, и три из них я совершил бегом, насколько позволял мне мой возраст, а четыре — медленным шагом.

— И отец мой после святого обряда посещал цирюльню?

— Конечно, о любопытный!

— А что сделал цирюльник с обрезками волос и ногтей моего отца?

— Зарыл в священную землю, о любопытный, не пропустив мельчайшей частицы — и обет с тех пор считается выполненным мною!

— И когда же мой отец решил отправиться в паломничество, да будет добрая участь его вечным спутником?

— Давно, о любопытный, давно, говорю тебе, покинул я Кабир-белостенный с товарищами моими! В тот год, отмеченный благими знамениями, открылся перед нами свет истины — стараниями владыки нашего, шах-заде Суришара, вместе с кулахом принявшего на себя имя Кей-Бахрама, да сиять его фарру... Эй, любопытный! Что с тобой? Тебе плохо?!

— Не знаю, — плотно зажмурясь, отвечает Абу-т-Тайиб. — Не знаю, отец мой.

Поэт не врет.

Он действительно не знает.

3

Когда полдневная жара разогнала всех обитателей хана, Абу-т-Тайиб чуть ли не за шиворот выволовок мага во двор.

— Завязывай! — Он сунул в руки Гургину шелковый платок, куда раньше заворачивал пенал. — Глаза мне завязывай, говорю!

Маг повиновался, пребывая в недоумении.

— Теперь раскручивай!

— Что?

— Меня раскручивай! В «Джинн-бежим!» не играл?

Маг пожимает плечами. Он не играл в игру со странным названием «Джинн-бежим!»; он вообще почти не играл в игры детей, с младенчества приобщаясь к тайнам хирбедов — но если поэт настаивает...

Руки Гургина хватают поэта за плечи и вертят, вертят, пока Абу-т-Тайиба не начинает качать и без чужой помощи.

— Теперь спрашивай: где Басра?

— Где Басра? — послушно спрашивает маг.

Минута задержки — и рука поэта указывает на северо-восток.

— Там. Крути еще!.. еще! Спрашивай: где Нумания?

— Где Нумания?

— Там... е рабб, там! Крути... крути! Спрашивай: где Кабир? Спрашивай, чтоб тебя ифриты разодрали! Ну?!

— Где... где Кабир?

Поэт останавливается. Он стоит прямо, врастая в землю вековой чинарой, от головокружения нет и следа; рука Абу-т-Тайиба медленно поднимается и указывает вдаль.

Рывок — и повязка сорвана.

— Мой шах, — бормочет старый хирбед, бледнея лицом. — Мой... шах...

— Ударь меня! Ты слышишь: ударь меня! Живо!

В ответ ладонь мага входит в чувствительное со-прикосновение со щекой поэта. Ноги подламываются в коленях, Абу-т-Тайиб с размаху садится, ударяясь о землю сиденьем, дарованным Аллахом всякому человеку, и смеется смехом ребенка.

— Ф-фух... А я уже испугался: шах, мой шах! Ну и рученька у тебя, Гургин-богатырь, такой не Ал-Ребаты открывать, а слонов опрокидывать...

Маг молчит.

Испуг мало-помалу выходит из старика озnobом и холодным потом.

Испуг того мига, когда он увидел: там, куда указывал поэт в последний раз, воздух заплясал киселем открывавшегося Ал-Ребата.

Без жаровен и дэвов.

4

В этой чайхане они уже сидели год назад; и память о дерзкой хирбеди, требовавшей, чтобы наглого чужака бросили у пещеры Испытания, больно

кольнула в сердце. Хозяин заведения, толстяк Али, тоже был прежний — вот только постарел он, что ли? Впрочем, возраст чайханщика волновал Абу-т-Тайиба меньше всего; а мага не волновал вовсе. Поэт открыл было рот: спросить гранатового сока! — но вовремя опомнился. И, мысленно вытерев лбом покаяния престол Всеышнего, заказал вина. Красной крови лоз, седой от пузырьков родниковой воды, каковую следует добавлять в необходимом количестве, для радости заказчика, а не для выгоды продавца. К вину требовалось подать плоский хлеб с корочкой, покрытой сладкими ожогами, кебабы рубленые, томленые, а также жареные на решетке, вкупе с уксусным супом из барбариса; свежих фруктов не надо, вместо них несите сушеный инжир, фисташки, тминные прянички...

В итоге поэт с уважением смотрел на сплошь заставленный стол; а маг с уважением смотрел на поэта.

— Совсем выздоровел! — Скупая усмешка растянула губы старца; и он, ухватив дрожащей рукой кувшин, основательно приложился к нему.

Когда маг ставил кувшин обратно, дрожь в его руках унялась.

— Да ты ж вроде трезвенник?! — запоздало изумился Абу-т-Тайиб, но старик только рукой махнул: с тобой, мол, и праведник детей резать начнет!

— Молодец! — на всю чайхану возгласил поэт. — Этот старец поклоняется веселью, и прекрасно прославлять его стихами — ибо видим патриарха мы с похмелья меж кувшинами с вином и бурдюками!

После чего пододвинул ближайшую миску и впился остатками зубов в сочное мясо.

Желудки наполнялись, блюда пустели, царивший в голове сумбур улетучивался восвояси, и превратности жизни мало-помалу начинали казаться пустяками, не заслуживающими внимания; минута в чайхане, оказывается, вполне стоит года воздержа-

ния и наоборот, а баловать чрево есть признак благодушия...

— Честь имею приветствовать достойных сотрапезников!

У стола обнаружился лысеющий человечек, облаченный в узкие шальвары и кургузый казакин из одинаковой ткани: синей, плотной, какая чаще идет на обивку паланкинов. В одной руке человечка булькала бутыль, в другой — дымилась плошка с пловом.

— Валент бен-Шамаль, мудрец, — без всяких предисловий представился гость. — Свидетель падения Трои, Рима, Кабира и гетеры Авлиды Херсонесской (последнее свидетельствовал дважды)! Позвольте присоединиться?

На пехлеви Валент бен-Шамаль говорил бегло, слегка прищепетывая.

— Валяй, Валент, — кивнул Абу-т-Тайиб, а Гургин лишь покосился на бен-Шамала и кинул в рот пряничек.

Упрашивать человечка по второму разу не пришлось.

— Кой же тебе годик, мудрец? — шутливо осведомился поэт, когда бен-Шамаль уселся за стол напротив него. — Ишь, погулял: Троя, Рим, Кабир...

И недожеванный кусок встал поэту поперек горла.

Кабир!

Свидетель *падения Кабира*!

В следующую секунду Гургин подавился пряничком и заперхал, так что пришлось долго хлопать мага по костлявой спине.

— По какому календарю считать будем? — Хитренькие глазки Валента бен-Шамала сощурились. — А если без календарей, то мне сегодня стукнуло ровно сорок! От рождества вашего покорного слуги. Чем не повод для выпивки в чудной компании? Стопольское грызло, тройной перегонки — такое вы здесь вряд ли найдете!

Кружки мигом наполнились, и, выпив за долгие лета Валента, поэт мысленно согласился с последним заявлением мудреца. Видимо возглашая запрет на вино, пророк (благо ему!) не имел в виду стопольского грызла тройной перегонки. А если бы имел, то удержал бы святой язык и обошелся без запретов, тихо спившись еще до начала пророчеств.

Огонь, не вино!.. водичкой, водичкой запить... водичкой... ф-фух!

— Кстати, о каком это падении Кабира ты упомянул, почтенный мудрец? — как бы невзначай поинтересовался Абу-т-Тайиб, а Гургин только навострил уши.

— Науке в моем лице известо лишь одно падение Кабира! — заявил Валент, являя собой пример того, что после первой не закусывают. — Одно-единственное, тридцатилетней давности... если считать по тамошнему календарю. Когда с Белых гор Сафед-Кух спустился неистовый и мятежный вождь племен Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, чей чанг в редкие часы мира звенел, подобно мечу, а меч в годину битв пел громко и радостно, слагая песню смерти!

Валент перевел дух и запил тираду новой порцией грызла.

— Город был осажден и взят штурмом, а шах Кабира сражен в поединке самим Абу-т-Тайибом — и поэт-воин воссел на престол, отказавшись от шахского кулаха в пользу титула эмира, военного вождя. Вот это был человек, я понимаю!

— Был? — тупо переспросил поэт, прихлебывая дар бен-Шамаля маленькими глоточками; что само по себе было удивительно. — А где он сейчас?

— Помер, ясное дело! — Бен-Шамаль поразился неосведомленности собеседника. — Лет десять как помер. От старости.

Гургин вкрадчиво пододвинулся ближе.

— А уверен ли досточтимый в подлинности свое-

го рассказа? Видел ли он это собственными глазами, пользовался ли свидетельствами уважаемых людей или внимал слухам?

— Слухами пользуются лжемудрецы, позор исторической науки, которую я в данный момент представляю! — Гордыней бен-Шамаль вполне мог поспорить с самим Иблисом. — Я же привык отвечать за свои слова! Иначе разве сам великий Кей-Кавун доверил бы мне писать летопись Ории, моей родины? Разве взялся бы я за «Око Сциллы», жизнеописание славного народа дхаров, если бы не провел меж ними большую часть жизни? А на мой трактат относительно Ахиявы, которую пустозвоны именуют Элладой, ссылается лично Гермес Трис... Трис... Трисмегист, вот! Хотя...

Уже изрядно захмелевший бен-Шамаль наклонился к собеседникам и зловеще прошептал на всю чайхану:

— Я открою вам тайну тайн! История — лженаука. Ее не существует! Ни одно событие прошлого не является абсолютно достоверным! Ни одно! Если вы услышите, будто ахейцы десять лет брали Трою или что Кабир пал под натиском орд аль-Мутанабби, — плюньте лжецам в морду! Не верьте им! И мне не верьте, когда я говорю вам об этом!

Бен-Шамаль хитро усмехнулся и, оставив собеседников в изрядном недоумении, вновь припал к своей кружке. Он явно вознамерился напиться, и его мастерство в этом деле было очевидно — так что задавать вопросы следовало поскорее.

Если, конечно, Абу-т-Тайиб хотел получить связный ответ.

— Подробности, уважаемый, подробности! Мы жаждем услышать о славных делах прошлого, которых на самом деле не было! Поверь, история Кабира вдохновляет нас на подвиги, и если мы до сих пор их не совершили, то лишь по одной причине: не-

имению сведений! О, молим — не прекращай дозволенные речи!

— Верю! — Резкий кивок, и зачесанные назад волосы бен-Шамаля падают ему на глаза, являя взорам плешь, подобную зарождающемуся светилу. — Вдохновляю! Когда более полувека назад (по кабирскому календарю, уважаемые, по кабирскому!) на сто семьдесят девятом году жизни безвременно скончался великий шах Кей-Кобад, на смену ему пришел молодой и горячий Кей-Бахрам, прежде носивший имя Суришара. Правление его было безоблачным в течение двадцати шести лет, пока на шахство не обрушились племена Белых гор под предводительством поэта-воителя. Как я уже говорил, город был взят приступом, шах погиб в поединке, и на престол воссел первый эмир Кабира, Абу-т-Тайб аль-Мутанабби. Позже эмир принял на себя кунью «Абу-Салим», то бишь «Отец Салима», по имени своего первенца от бывшей хирбеди Нахид, которую вскоре по восшествии на престол взял в жены, устроив большие свадебные празднества.

— Дальше! — выдохнул поэт. — Дальше!

— А дальше, как известно, новый владыка занялся расширением границ своего эмирата. Разделив войско на четыре части, сам он двинулся по дороге Барра, ныне Фаррскому тракту, к Мэйланю; его верный соратник Худайбег аль-Ширвани возглавил поход на Харзу, и после падения Харзы войска Худайбега соединились на Дубанских равнинах с конными полчищами Антары Абу-ль-Фавариса, успевшего к тому времени растоптать Хинское ханство и вольный город Оразм. Вскоре их объединенные силы взяли приступом Дурбан. Тем временем полки Утбы Абу-Язана, эмирского побратима, прошли по землям Феса и осадили Кимену — взяв пред тем с торгового Бехзда вассальные грамоты. И попробовали бы торгashi не подписать!

Глаза бен-Шамаля азартно горели, а бутыль с грызлом едва успевала кланяться и выпрямляться, подражая льстецу-царедворцу.

— При штурме Кимены веселый Утба погиб, сдерживая натиск копейщиков, но город был взят! На чем эпоха великих войн завершилась, и на территории Кабирского эмирата, от барханов Верхнего Вэя до масличных рощ Кимены, воцарился мир. Который, насколько мне известно, длится по сегодняшний день. Сейчас эмирятом правит эмир Салим, сын покойного аль-Мутанабби, славясь добродетелью. О, я мог бы рассказывать еще долго: о предсмертном пророчестве верховного хирбеда Гургина, зарезанного пьяным горцем при штурме Кабира (от этих слов Гургин подпрыгнул на скамье, плюясь недожеванным мякишем), о небывалом расцвете изящных искусств, в частности — искусств воинских; о культе Творца, сменившем кульп Огня Небесного — но тогда, боюсь, нам не хватит времени и до завтрашнего утра!

И Валент бен-Шамаль отдал дань кружке.

— Ты бы не частил так, уважаемый, — только и смог растерянно выдавить Абу-т-Тайиб. — Ведь написано в Коране...

— А мне Коран не указ! Ибо вкушаю плоть и кровь Господа нашего по мере слабых моих возможностей! — Выкрик бен-Шамаля привлек к себе внимание всех завсегдатаев чайханы. — Взыскуя Истинного Лика, тщусь возобладать над... и под. Вот вам, обрезанным!

— Истинный Лик? — Гургин наконец справился с собой.

— Да! Истинный Лик коренного ха... дха... дхарянина! И если ко мне опять начнут приставать эти... то я им...

Кусок репы плюхнулся прямо на колени к разбушевавшемуся мудрецу, забрызгав медовым сиропом его чудную одежду.

Репой, как вскоре выяснилось, кидался из угла некий раскосый молодец в фартуке сапожника — и пьян молодец был тоже как сапожник, в стельку.

Видимо, бен-Шамаль был не одинок в достижении Истинного Лика.

Поймав на себе взгляд всей троицы, сапожник довольно заухал.

— Он им! — Кулак молодца указал на бен-Шамаля, а ладонь второй руки похабно рубанула по сгибу локтя. — Он, понимаешь, им! Ты б Стополье лучше отдал, мятежник! Понял?

Кажется, Абу-т-Тайиб с Гургином уже видели молодца. Здесь же. Год назад. Правда, тогда он был заметно трезвее — впрочем, если предположить, что сапожник не вылезил из чайханы весь прошедший год...

— Вот тебе, Марцелл! Выкуси! — Поклонник лженаки истории кинул репу обратно, но попал не в сапожника, а в чайханщика Али; и попал, надо заметить, весьма удачно: прямо в разинутый рот. — Родное Стополье?! Отчий дом?! Где куст калины?! Где я без штанов?.. Никому не отдам! Погоди у меня — вот допьюсь до Истинного Лика, шиш ты у меня заново срастешься! Изыди!

Сапожник, как ни странно, внял.

И захрапел на всю чайхану.

— И вот так всегда! — повернулся бен-Шамаль к поэту, ища у того сочувствия. — Только сядешь выпить с приличными людьми — лезут всякие! Стополье им подавай!

— А оно что, твое, это Стополье? — осторожно осведомился поэт.

— Нет, конечно! Вино там хорошее делают... — без видимой связи добавил историк и допил остатки прямо из бутыли.

— Так почему они к тебе пристают?

— А я знаю? — Глухо булькнули остатки. — Все равно не отдам!

— Так ты говоришь, что аль-Мутанабби... —
Поэт сделал было попытку вернуть собеседника к исходной теме, однако ответ бен-Шамаля на еще не заданный вопрос мгновенно поставил его в тупик.

— А кто такой аль-Мутанабби? — заплетающимся языком вопросил в свою очередь историк. — Знать не знаю! Это который «Касыду о Мече», да? — «...подобен сиянию моей души блеск моего клинка...»? От-т-личные стихи! А кто такой аль-Мутанабби — не знаю...

И Абу-т-Тайиб понял, что от историка он больше ничего не добьется.

Тем временем бен-Шамаль с усилием поднялся и, пробормотав: «П-прошу прощения, уважаемые, п-пора мне», нога за ногу направился к выходу.

— Пожалуй, и нам пора, — решил Абу-т-Тайиб, вставая. — А ты, Гургин, не горюй — подумаешь, погиб ты при штурме! Я вон уже по третьему разу хожу: сперва в пустыне, потом в Кабире, от старости, если верить бен-Шамалю — и ничего, живой! Выше голову, старик!

Гургин смотрел в пол.

* * *

Бен-Шамаль, оказывается, не успел далеко уйти. Лик его, впрочем, особо не изменился, так что трудно было сказать: являлся он Истинным или нет?

Историк, покачиваясь, стоял перед пожилым священником Людей Евангелия, обладателем грубой рясы с капюшоном.

Сбоку топтался молоденький монашек-служка.

— Исповедуйте меня, фра Лоренцо! — орал на всю улицу бен-Шамаль. — Ибо грешен и жажду покаяться!

Священник колебался; и не без оснований, если принять во внимание облик грешника.

— Брат Бартоломео! — обратился он к служке. — Может, вы... во имя милосердия?..

Монашек отпрыгнул к глинобитному дувалу и вжался в него всем телом.

— Брат... Барт... Бартоломео! — Вопль историка и вовсе опрокинул монашка в беспамятство. — Нельзя отказывать человеку в исповеди! Все люди — братья, понял?!

— Хорошо, сын мой, — со вздохом согласился наконец фра Лоренцо. — Мы с братом Бартоломео направляемся в горы, дабы нести свет Господа заблудшим душам, так что в миссию возвращаться не имеет смысла. Но, прошу тебя, сын мой, — уединимся...

— Н-не могу, святой отец! — покаянно сообщил бен-Шамаль. — Н-ноги не держат.

И рухнул на колени пред священником прямо в дорожную пыль.

Наблюдать дальше за этой сценой поэт с магом не стали, а тихо свернули в переулок, где и остановились.

— Он не врал, — еле слышно произнес Абу-т-Тайиб. — Иначе я бы почувствовал. Гургин, мне надо туда. В Кабир. Я должен увидеть все это собственными глазами... Я должен, понимаешь?

— Понимаю, — серьезно кивнул Гургин.

— Да ничего ты не понимаешь, старик! Ничего! Этот баран опять загнал меня в ловушку! Я взял Кабир, понимаешь, взял! — но я не брал его сам! Мне его снова подсунули милостыней, подачкой! — а потом бросили в смерть, лишив возможности сопротивляться! Даже дохлый, Златой Овен смеется надо мной!

Гнусавое блеянье донеслось из-за угла. Бледный, как известь, поэт вскинул руки, защищаясь от соры призраков; и жалобно вскрикнул, когда в переулок вбежал баран. Следом за животным с воплями выскочили два подростка, ухватили барана за космы — и поволокли обратно, награждая тумаками.

Смех, похожий на рыдания, вырвался из груди Абу-т-Тайиба.

— Я понимаю, — повторил маг, отступая на шаг. — Я все понимаю. Прости меня, но я останусь здесь, в Медном городе... мне страшно. Я не пойду с тобой. Но я провожу тебя до перевала Баррах и открою для тебя Ал-Ребат в Кабир. А потом вернусь сюда, доживать отпущененный мне век.

— Ты сильно сдал за последнее время, Гургин. — Поэт взглянул старику прямо в глаза. — Отдыхай. Не стоит меня провожать. А Ал-Ребат я теперь могу открыть сам. Любой. Для этого мне даже не придется тащиться к перевалу. Ты веришь мне?

— Верю.

— Ну что ж, тогда прощай, старик. Скорее всего мы больше не увидимся, хотя... кто знает? Вот, возьми на память, — и Абу-т-Тайиб принялся стаскивать с пальца шахский перстень.

Глаз, вырезанный на красном камне, подмигивал обоим людям.

— Нет, не надо!.. — запротестовал было старик, но отставной шах едва ли не насилино втиснул подарок в сухую ладонь хирбеда.

— Прощай. И не держи на меня зла. Хотя есть, за что... есть. Надеюсь, ты не пропадешь здесь, в Медном городе?

— Я-то не пропаду! — ворчливо буркнул Гургин, но поэт уже шел прочь, забросив за спину полупустой хурджин. Сворачивая на главную улицу, Абу-т-Тайиб не выдержал, оглянулся — и увидел, что маг стоит на прежнем месте.

Вслед смотрит.

Поэт отшагнул, прячась за углом дувала — и еще успел заметить в конце улицы удаляющуюся фигуру бен-Шамаля. Историка бережно поддерживал огромный волосатый детина, весьма смахивавший на обитателей Мазандерана.

Миг — и обоих след простили.

Пора было уходить и ему.

Поэт зажмурился, потом медленно закружился на месте, вспоминая дневные ощущения... почувствовать, увидеть, нащупать, в какой стороне лежит дорога... дорога...

Напротив стоял дервиш-плясун и следил за исчезновением человека.

Без удивления.

Глава тринадцатая,

*весьма несчастливая, как и положено тринадцатой главе,
написанной в пятницу, к тому же тринадцатого числа;
некий человек здесь раз за разом убеждается в
бесплодности своих поисков, кричит в пустоту —
но так и остается загадкой: добавляют ли
крики мудрости?*

1

Суровая строгость мавзолея подавляла и вызывала невольное благоговение. Казалось, сам Огнь Небесный стеснялся светить здесь в полную силу, дабы не нарушать торжественную гармонию вечного покоя. Багровый купол венчал полированные стены серого, в тонких золотистых прожилках, мрамора, и стражами застыли вокруг недвижимые свечи кипарисов, чья темная зелень и неправдоподобно четкие, резко очерченные тени внушили людям суеверный трепет.

Ничего лишнего, никаких украшений, барельефов, орнаментов — только над входом чеканная золотая вязь:

«Абу-т-Тайб Абу-Салим аль-Мутанабби».

Ни титулов, ни перечисления заслуг, ни эпитафии, ни даже дат жизни.

«Ни стихов», — подумалось вдруг остановившемуся у гробницы человеку.

Двое хмурых тургасаров, облаченные в золото и сталь парадных доспехов, с кривыми шамшерами наголо застыли у входа. На человека они не глядели; верней, глядели сквозь него, как умеют лишь правители и часовые. Снаружи, за ровным четырехугольником кипарисов, позволено находиться всем. Каждый имеет право бросить шапку почтения к ногам покойного эмира — таков закон. А внутрь прохожий соваться не собирался; и это тоже был закон, неписанный, но от того не менее властный. Еще не хватало, чтобы всякие бродяги тревожили покой великого аль-Мутанабби!

«А ведь действительно хорошо сделали, — думал человек, глядя на суровую гробницу. — Никакой помпезности, показной пышности — на что они усопшему? Строго и величественно. Хорошо. Вот только... хотя бы одно стихотворение могли все-таки высечь! Хоть один бейт... одну строчку! Впрочем... ладно. Может быть, тот, другой, так завещал. Или не завещал. Теперь это уже все равно. Ничего ведь не изменишь? — да, странник? Странник... страна... странно. Очень странно. Там, внутри, в пыли и тишине — я? Да, наверное. И под барханом в пустыне — тоже я? И здесь стою — я? Какой из нас — настоящий? Я-здесь полагаю, что я; а что полагают я-там и я-очень-далеко? Ведь мертвых не существует...»

Человек постоял еще немного. И медленно двинулся прочь, по аллее, сплошь обсаженной благоуханными кустами жасмина; туда, где в небо возносилась высокая стела из гранита.

Вот где барельефов хватало с избытком! Стела так и называлась: «Взятие Кабира». И хотя Аллах запретил сынам Адама создавать изображения людей и животных — дабы не возгордились, уподобляя себя Творцу! — все же человек невольно залюбовался открывшейся ему картиной.

Да, скульпторы и каменотесы поработали на

славу! На вечную славу Абу-т-Тайиба Абу-Салима аль-Мутанабби и его потомков. Рушились белокаменные стены города под ударами осадных машин, падали сраженные защитники Кабира (неправдоподобно маленькие в сравнении с атакующими), каменные языки пламени жадно лизали каменное небо — и вел в бой свои орды непобедимый воин Абу-т-Тайиб, гордо воздев над головой каменный ятаган. Все это было монументально, и величественно, и... лживо. Потому что всего этого не было.

Никогда.

Человек знал, что «Я-здесь» не брал белостенный Кабир.

Ему подносили город с поклоном.

Дважды.

Зато все остальные знали иное. Они знали, помнили — и ни у кого ни разу не возникло и тени сомнения в истинности событий прошлого!

И это тоже была правда. Их правда.

Воистину: «Ни одно событие прошлого не является абсолютно достоверным!» Прав был историк...

Впрочем, отчаявшись, равно как и впадать в уныние, не стоило. Он еще побродит по эмирату, поищет. Он должен найти. Должен! Иначе просто и быть не может!

«Найти — что?» — сам себя спросил человек.

Ответ свернулся за поворот аллеи и удрал, громко топоча.

Пора было идти. Дальше.

Вот только ноги отказывались подчиняться. Все время сворачивали обратно, к мавзолею. Человеку временами казалось: его место — там, в саркофаге, в подземелье, скрытом под мраморными стенами; он уже давно там, спит без сновидений, а по земле бродит лишь его неприкаянный призрак, навеки опутанный миражами чужой памяти...

Человек напомнил себе, что он жив.

И невесело рассмеялся.

Надрывались медные трубы, в которые исступленно дули гордецы-карнайчи, павлинами вышагивая впереди. Торжественно рокотали барабаны, и нога в ногу ступали вороные жеребцы под «волчьими детьми» в ярко начищенных латах.

— Слава светлейшему эмиру Салиму фарр-ла-Кабир! — надрывалась в ответ толпа, силясь перекричать трубы, барабаны и друг друга.

Человек не кричал. Он предусмотрительно явился на шествие заранее; теперь же тихо стоял во втором ряду. Смотрел. И лишь иногда недовольно морщился, когда одноглазый сосед слишком громко вскрикивал у него над ухом.

Но вот прошли мимо краснолицые карнайчи с раздутыми щеками, печатающие шаг барабанщики, простучали по мостовой копыта гургасарских коней, проехал знаменосец, важно неся стяг с изображением оскаленного волка, изготовленного к прыжку — и человек наконец увидел.

Светлейший эмир восседал на белоснежном иноходце. Да и сам владыка был облачен в белые, шитые золотом одежды — символ мира, а также благоденствия. На голове эмира сиял белым золотом и алмазами венец повелителя Кабира — но это был совсем другой венец, а не хорошо памятный человеку шахский кулах, который некогда украшал его собственную голову.

Нимба, сияния ореола вокруг эмирского чела, не наблюдалось.

Человек вздохнул с облегчением и внимательнее взгляделся в лицо эмира Салима.

Лицо как лицо. В меру смуглое, с правильными, чуть крупноватыми чертами. На губах — вежливая улыбка приветствия. Таким, наверное, и должен быть эмир Кабира, осчастливив шествием своих восторженных подданных. Точно так же вели себя

правители других городов и стран на парадных выездах — человеку не раз доводилось наблюдать подобные зрелища.

Похож ли теперешний эмир на него самого? В чем-то похож. А в чем-то — нет. Мог ли он быть его сыном? Вполне. А мог и не быть. И выяснить это сейчас уже нет никакой возможности. Да и стоит ли выяснять? Наверное, нет...

Эмир проезжал мимо, когда взгляд человека зацепился за висящий на поясе правителя ятаган. Хотя дорогие, обитые бордовым бархатом и украшенные драгоценностями ножны скрывали от досужих взглядов славный клинок, человек узнал ятаган, как узнают давно не виденного друга.

Рукоять.

Знакомая рукоять с ребристыми накладками из кости!

На мгновение человеку показалось, что от ножен исходит некое прозрачное сияние — но это, наверное, просто солнце сверкнуло на обилии самоцветов. Человек протер слезящиеся глаза — соринка попала, что ли? Нет, ничего. Ятаган — тот самый. Ну и что? Так, наверное, и должно быть...

3

— Язык проглотил, уважаемый? Величию светлейшего эмира поражаешься? Понимаю. Добрый наследник у великого аль-Мутанабби вырос, добрый, дурного слова не оброню — а все не чета папаше! Вот кто был герой, я тебе скажу...

— Ты знал его? Видел?

Седобородый ветеран, чье лицо украшено косым шрамом от виска до подбородка, криво ухмыляется.

Трешины морщин на его дубленой коже становятся еще глубже.

— Я? Видел?! Как тебя сейчас... Слушай, странник, чем здесь мостовую протирать — пошли-ка

лучше в чайхану! Поднесешь винца, а я тебе доподлинно расскажу, как мы с Абу-т-Тайибом Мэйлань брали!

И ветеран панибратски хлопает человека по плечу.

— Пошли. Давно мечтал послушать рассказы очевидцев. А угощение — за мной, не сомневайся,— ветерана несколько озадачило легкое согласие странника, однако это не помешало обоим нырнуть в завешенный циновкой проем двери ближайшей чайханы.

На удивление, у странника, по виду более всего смахивавшего на бродягу, оказались деньжата, причем деньжата немалые, а словоохотливого ветерана вполне устроило вино, которое здесь подавали. Вояка издавна привык к тому сорту, что носит название «дешевого крепкого». Ведь что славно: пить противно, во рту будто ишак опростался, вот и глотаешь залпом, побыстрее — а там и хмель объявляется сам собой.

Красота!

Сам бродяга, как ни странно, вина пить не стал, спросив себе шербету и сдобных крендельков.

— ...значит, до самого Мэйланя пылили без интересу. Хаффа подкрепление дала, провианту, так что про дорогу я тебе рассказывать не буду. Нечего там рассказывать!

Дубленый стариk со шрамом резво выхлебал очередную чашку вина и мигом наполнил ее снова.

— Ну а когда к Мэйланю подперли — вот тут-то ихние голубки навстречу и вывалили! При полном параде: флаги, ленты, крылья из дранки — и мяукают по-своему! Прямо как коты весной! Любо-дорого косоглазых рубить было: пока они, значит, строй развернули, как на учениях — наша конница уже во весь опор! И сам эмир впереди, на белом коне! Ну,

задал он им жару, а тут и мы подоспели — я-то в пехоте служил...

— А сам-то он каков был, эмир? — прервал рассказ бродяга.

— Каков-каков, — с раздражением буркнул ветеран, досадуя на недотепу-собеседника, перебившего его на самом интересном месте. — Во-о-от таков! (Старый вояка изобразил руками нечто громадное и могучее.) Герой, в общем! Как махнет ятаганищем — враги дюжинами с ног валятся! Ну, и мы, ясное дело, не плошали. Я вот схватился с одним из этих: юлой вертится, сопливец, мечиком тоненьkim меня достать норовит — а я его копьем, копьем...

Ветеран явно увлекся рассказом, живописуя свое боевое прошлое, но бродяга уже не слушал его. Даже не смотрел на собеседника. Взгляд его был прикован к дальнему, затемненному углу чайханы, откуда доносилось журчание струн чанга. Плохо различимый в сумраке чангир наигрывал мелодию без слов, тихую, ленивую, а человек слушал, слушал...

— ...Вот тут-то я сопливцу жало промеж глаз и всадил! — донесся до него азартный возглас ветерана, даже не заметившего, что собеседник перестал слушать его повесть.

— Да, здорово ты его! — кивнул человек. — А скажи-ка мне,уважаемый: правду ли говорят, будто эмир аль-Мутанабби был не только великий полководец, но и поэт, каких мало?

— Каких мало? — возмутился вояка, уязвленный тем, что кто-то мог усомниться в многочисленных талантах и доблестях его кумира. — Таких и вовсего нет! Как запоет, затянет — все враги бегут в страхе! Понял, деревенщина?!

— А тебе самому его песни слышать доводилось?

— Ясен пень! — самодовольно подтвердил старик, уже заметно окосевший от выпитого вина.

— Вспомнить можешь? Ну хоть строчку! Плачу по динару за каждое слово!

На мгновение лицо ветерана отразило мучительные раздумья.

— Не, не помню. Эх, как на грех... Ты лучше про Мэйлань послушай, и по динару не надо — дирхемов пять-десять отвали, я спасибо скажу!

— В другой раз. — Человек кинул старику два золотых и встал.

Но направился почему-то не к выходу, а в полутемный угол, из которого все плыла, скользя среди дыма и чада, тихая мелодия...

4

— Не соблаговолит ли уважаемый мастер струн и ладов спеть одну песню по просьбе усталого путника? — Человек присел рядом на скатанную валиком старую циновку.

Чангир откинул назад длинные, до плеч, сальные волосы, закрывавшие его лицо, явив полусвету смуглый горбоносый лик похмельного коршуна.

— Разумеется, соблаговолит — за соответствующую плату.

— О, я заплачу с лихвой!

— Тогда какую именно песню желает услышать славный путник, несомненный знаток прекрасного?

— Одну из касыд покойного эмира Абу-т-Тайиба аль-Мутанабби, да славится его имя в веках! Любую, на твой выбор.

Чангир долго смотрел на заказчика, задумчиво перебирая струны чанга.

— О, песни покойного эмира есть вершина поэтического мастерства! — наконец затянул он вполголоса. — Не мне, презренному, за деньги потешающему народ, терзать языком сокровища сих касыд...

— Я ценю твою скромность, о шах чангиров. —

Человек изо всех сил сдерживал нетерпение. — Но память о поэте — его песни, и ты лишь послужишь вящему величию аль-Мутанабби! Заодно получив весьма щедрую плату!

Человек многозначительно потряс перед носом певца тугим кисетом, откуда донесся сладкий звон.

Глаза чангира вспыхнули хищным блеском; угаснув почти сразу.

— Прости меня, щедрый странник, но, к моему великому сожалению, я не в силах уладить твой слух стихами покойного эмира. Ибо не знаю их! — честно признался длинноволосый коршун.

— Не знаешь? — изумился человек. — Но ты хотя бы слышал их? Может быть, всего пару строк...

— Кажется, слышал, — неуверенно пробормотал певец, — но... Да нет же, слышал!

Чанг под его пальцами взвыл собакой под колесами арбы.

— Еще раз прошу простить меня, о странник! Мне действительно очень жаль, но я не могу удовлетворить твой взыскательный вкус!

— Да, жаль... — Человек поднялся, громко хрустнув коленями, и, сутулясь, побрел к выходу из чайханы.

* * *

— ...Какую же песню ты хочешь? — Благообразный чангир преклонных лет говорил степенно, не торопясь, ибо возрасту поспешность приличествует не более, чем глупый спутник — мудрецу.

Человек уже знал: этот полуслепой певец славится не только своим умением, но также до сих пор чистым, без старческого дребезга, голосом.

О нем говорили, что он знает все песни на свете, кроме ненаписанных!

— Одну из касыд покойного эмира, великого

поэта аль-Мутанабби, — произнеся последнее, человек едва заметно скривился.

Будто лесного клопа с ягодой разжевал.

— Покойный эмир был все-таки больше воин, нежели поэт, — осторожно, тщательно подбирая слова, заговорил старец. — Свои песни он чаще пел в походах — и, похоже, среди воинов не нашлось грамотного или просто памятливого... Боюсь, я не смогу порадовать твою душу, о странник!..

* * *

Человек метался по городу загнанным в ловушку чаушем. О нем уже были наслышаны все чангирь Кабира-белостенного, и теперь в большинстве своем старались не попадаться упрямцу на глаза. Кому охота признаваться, что ты не знаешь ни одной песни великого поэта? Ясное дело, никому!

Дважды его пытались обмануть, выдав за стихи покойного эмира какое-нибудь другое сочинение. Но после первых же строк человек гневно прерывал обманщика, и тот смущенно умолкал, даже не заикаясь о деньгах — как бы по шее не схлопотать!

Глаза-то, глаза — огонь, не глаза!..

И лишь подле одного чангира задержался назойливый искатель — подле молодого парня, чьи черные кудри вились буйной порослью, словно никогда и не слыхали о существовании такой вещи, как гребень.

Человек долго стоял, слушая разбитные песни, что так и рвались со струн чуть дребезжащего чанга и из неутомимой глотки парня.

— Касыд аль-Мутанабби не знаю, — кратко бросил молодой чангир в перерыве между двумя песнями, не удостоив взглядом человека; и продолжил веселить народ.

А человек все стоял, стоял рядом...

Он помнил этого парня. Когда-то он походя, не глядя, ткнул его ятаганом, мгновенно отправив чернявого в Восьмой ад Хракуташа или куда-то еще, куда отправляются души местных воров и певцов. Чудеса! — вот сейчас парень сидит перед ним, жив-здоров, весело скалится из-под завесы смоляных кудрей. Песни поет. В конце концов, он и сам умирал дважды — чем он лучше чернявого чангира?!

Тем, что убийца помнит убитого, а убитый убийцу — нет?

А чанг, похоже, прежний: звучит знакомо, надтреснуто.

Сумерки потихоньку окутывали город чадрой близкого сна, зеваки разошлись, звякнули последние монеты, упав в папаху, лежащую у ног чангира — и парень наконец умолк.

— А ты что скаредничешь? — ухмыльнулся чернявый прямо в лицо человеку. — Полдня слушал, жадина! Аль денег нет?

— Есть, — спокойно ответил человек, но лишь один Аллах ведал, какой ценой далось ему это спокойствие. — Продай мне свой чанг.

— Что-о-о?!! — Глаза чернявого вылезли из орбит. — Может, тебе еще и эмирский дворец по дешевке уступить? На кой он тебе, мой чанг?

— Нужен, — лаконично ответил человек. — Я дам хорошую цену, чангир.

— Ну так сходи на базар и купи, — сбавил тон парень. — А я к своему привык, даром что не новый...

— Вижу. Продай, я тебя очень прошу...

— Вот ведь привязался, как репей к ишаку! — растерялся чернявый. — Вот ведь... Десять динаров! — ляпнул он наобум, и, похоже, сам испугался заломленной цены. За такие деньги можно было купить три новых чанга, и еще осталось бы на добрую пирушку с друзьями!

Странный покупатель, не торгуясь, развязал

тугой кисет — и десяток новеньких золотых перекочевал в папаху обалдевшего чангира.

— Спасибо, — вежливо поклонился незнакомец, осторожно, словно хрупкую фарфоровую вазу, беря старый чанг и чехол, протянутый ему чернявым. — Да будет к тебе новая судьба благосклонней старой, певец!

Молодой чангир еще долго смотрел вслед человеку, зажав в кулаке нежданное богатство, и смутная, забытая тень ворочалась в душе парня.

Отчего-то болело под сердцем, словно туда сунули холодным лезвием.

5

Он держал в руках старый чанг и понимал: это не просто потертый инструмент. Это кусок памяти. Часть сгинувшего бытия, о котором помнил только он, поэт и бродяга, бывший шах Кабира.

Он так и заснул, сжимая в руках чанг; словно держал за руку старого друга, с которым наконец-то посчастливилось встретиться.

В эту ночь его снова мучили кошмары. Своды мраморной гробницы смыкались над ним, и старательные каменщики уже закладывали дверь, плеща раствором; лишь маленькое окошко покуда оставалось свободным. Сквозь него человек видел, как в небе вместо солнца скалится в злорадной ухмылке барабаный череп.

А потом из-за горизонта обрушился самум, и сквозь оставшуюся щель устремилась лавина песка, погребая человека под собой...

Он проснулся от собственного крика. И долго еще сидел в предутренней мгле, не разжигая огня, медленно приходя в себя. Ночные призраки таяли, в

окошко сочился серый свет, а чанг лежал у изголовья, пряча в себе отзвуки неспетых песен.

Иблис, чье имя значит «отчаяние», сидел напротив.

Златой Овен издох, смеясь: если подобает возвращаться поэту и бродяге, почему бы не вернуться барану из садов Ирема? Воистину человек всегда остается в убытке!.. Жизнь снова прожили за него, всучив ему все тот же Кабир, который он взял, взял сам, штурмом взял — никогда не делая этого! Никогда аль-Мутанабби не брал приступом белостенный город, не шел войной на Мэйлань и Харзу, не женился на красавице Нахид, не радовался рождению сына Салима — и не умирал от старости, окруженный лекарями, семьей и верными подданными!

Никогда!

Он, Абу-т-Тайиб, знал это. А все остальные знали другое. И знание это было столь же непоколебимым, как и горы без названия, за которыми прочно закрепилось теперь имя Сафед-Кух — Белые горы; как строгие мраморные стены гробницы первого эмира Кабира, великого полководца и завоевателя, величайшего поэта — от кого не осталось ни единой строчки.

Ни единой! — Человек с размаху ударил кулаком о край ложа и не почувствовал боли.

Те редкие обломки памяти, один из которых лежал сейчас перед ним в виде потертого чанга, являлись памятью лишь для него.

Великий эмир Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби умер. Никому нет дела до бродяги, неприкаянно шляющегося по эмирату, никому нет дела до шуток его неправильной памяти!

Ему снова силой всучили милостыню, предусмотрительно умертвив во второй раз, оградив тридцатилетним частоколом, чтобы связать упрямцу руки, чтобы не дать ничего изменить, хоть трижды пройди путь отсюда до Мазандерана!

Ни-че-го!

Эхо этого слова отдалось глухим стуком очередного камня, положенного в неумолимые стены гробницы. Он там, внутри. Он мертв. Пора успокоиться.

— Врете! — Человеку казалось, что он кричит, но на самом деле с обветренных губ срывался лишь едва различимый шепот. — Я не хотел такой славы! Я не брал Кабир! Я не был эмиром! О, если бы все это случилось на самом деле! — если бы я действительно вел армады на штурм, рубился с мальчишкой Суришаром, если бы... ведь я мог... Оставьте себе вашу славу, вашу жизнь, которую вы все сделали моей! Ну хоть кто-то, хоть один человек, вспомните меня! Один-единственный бейт моих стихов — и я покорно соглашусь с остальным! Где вы, те, кто умер, и те, кто выжил тогда, в настоящей жизни? Где вы?! Чернявый чангир — не в счет. Я рад, что здесь он остался жив; но — не в счет! Дэв, Нахид, Фарангис — я найду вас! Вы обязаны узнать меня, вы просто не можете иначе...

Утро вставало из-за Белых гор Сафед-Кух.
Один из длинной вереницы рассветов.

Глава четырнадцатая,

*открытая ветрам жизни и смерти, памяти и забвению,
полная плачем и песнями, и трепетом траурных полотниц,
но если подойти к ней с точки зрения здравого смысла, то
останется лишь пожать плечами в недоумении*

1

Его вело то же чувство, которое позволяло ему отныне безошибочно открывать призрачные Ал-Ребаты, находить дорогу в незнакомых местах, за десятки и сотни фарсангов определять, в какой сто-

роне находится нужный ему город — и, как выяснилось теперь, нужный ему человек. Кто подарил ему это умение: иззыхающий баран в пещере Испытания? гостеприимный обитатель заброшенного храма? книга с чистыми страницами на алтаре?

Человек не знал этого; да и не очень-то стремился узнать. Куда идти — известно, за что спасибо небесам; а если ты, умирая от голода, нашел лепешку, то негоже сетовать на отсутствие халвы.

Ешь и помалкивай.

Впрочем, на сей раз далеко ходить не пришлось. Его влекло к южным предместьям — и он, подчиняясь зову, отправился мерить мощеные улицы и грязные переулки, эти кишкы большого города, выводящие... нет, совсем не туда, куда вы подумали, уважаемые!

Вот они, крепостные башни; вот заново отстроенные стены; вот и ворота... и дальше, пыля широким трактом, а потом — виляя собачьим хвостом тропы, к селению углежогов, чьи крытые камышом крыши домов прятались под сенью вековых чинар.

Вместо дувалов здесь были плетни, высотой до подбородка взрослому мужчине. Все жители селения наперечет, чужие заглядывают редко — от кого хорониться?!

Он увидел ее во дворе третьего с краю дома — и сердце ударило сумасшедшим бубном. Было почти невозможно отвести глаза, но он сделал это. Перевел дыхание. Облизал губы, почувствовав под языком сухие трещины. И снова: осторожно, почти благоговейно тронул взглядом знакомую фигурку в платье из дешевого карбоса. Выцветшие ленты вплетены в смоль кос, свисающих ниже пояса — все как там, в Мазандеране. И знакомое золото шерстки на обнаженных девичьих руках... Нет, не шерстка, конечно! — он усмехнулся, понимая, что эта умеш-

ка не для зрителей. Просто ее кожа теперь была золотистого цвета, и пушок, нежный персиковый пушок...

Почувствовав на себе чужой взгляд, девушка порывисто обернулась — и в лицо ей плеснул знакомый голубой огонь. Е рабб, и родинка на скуле, капля драгоценной сурьмы! Здешняя Фарангис была года на два-три старше той, памятной мазандеранки — но это, несомненно, была она!

— Фарангис... — В горле стоял комок, и слова разбивались о него, выходя горьким шепотом.

— Да, меня зовут Фарангис, — брови девушки двумя голубками взлетают на лоб; совсем как тогда, при первой их встрече. — Откуда ты знаешь меня, странник? Я тебя впервые вижу!

И сердце снова на миг отказывает.

Захлебывается, мчит шалым скакуном по лугам проклятого Ирема.

— Вспомни! — Отчаяние и надежда звенят в надтреснутом голосе человека. — Мазандеран... ложе в пещере, которую звали дворцом... я читал тебе стихи...

— Стихи?! — Утренняя заря вспыхивает на щеках девушки. — Ложе?! Какая сводня подсказала тебе мое имя, бесстыдник?! И ты решил, что я... Салех! А ну-ка, иди сюда! Ишь, увалень! — К его жене пристают, а он и ухом не ведет!

Из дома грузно вывалился полуголый детина, скребя обеими руками черную поросьль на груди.

— Кто, дорогая? Вот этот? — Недобрый взгляд маленьких, кабаньих глазок детины уперся в бродягу, стоящего у плетня.

— Ну, не совсем пристает, — смущилась Фарангис. — Странный он какой-то...

— Странный? Ну и странствовал бы где-нибудь в другом месте! — Детина хохотнул над собственной шуткой. — А я ему помогу, чтоб не заблудился!

Одним прыжком Салех с разбега перемахнул через ограду.

В следующее мгновение человек получил изрядный пинок в бок, едва не упав.

— Вали отсюда, понял? И если я еще раз увижу тебя возле моей жены...

Детина взмахнул увесистым кулаком, с удовлетворением отъявленного драчуна приметив огоньки во взгляде бродяги. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы в этот момент не откинулась циновка на окне дома и властный голос не приказал:

— Угомонись, Салех! Пусть идет себе.

В окне обозначился косматый старец. Борода и длинные, до плеч, волосы старца были белы как снег — однако голос устоял против возраста: сразу слыхать, кто в доме хозяин!

Муж Фарангис с неохотой опустил кулак.

— Иди уж, похабник, — угрюмо бросил он бродяге. — Счастлив твой бог: когда б не дедушка Олмун...

И Салеху вдвойне захотелось отвести душу на бродяге: ишь, урод, выпятился на Олмун-деда, ровно на шлюху портовую!

А человек, забыв про обиду и обидчика, смотрел — и ничего не мог прочесть в раскосом прищуре былого Олмун-дэва. Погибшего во время резни в Мазандеране, чтобы жить здесь, в мирных предместьях Кабира, вместе с внучкой, благополучно выскочившей замуж за улгежога Салеха.

Вспомни!

Ну вспомни, Олмун-дэв!.. не хочешь? не можешь?

Человек повернулся и молча побрел восьмояси.

Он не видел, как Фарангис провожает его долгим взглядом, и уж тем более не слышал, как она шепчет деду, боязливо косясь на Салеха:

— Он говорил, что читал мне стихи... Когда-то. В чудном месте, которое называется Мазандеран. И знаешь, дедушка... помнишь, я рассказывала тебе о моих снах? Ну тогда, еще до замужества... и... после...

— Сны — это всего лишь сны, Фарангис, — отвечает старый Олмун. — Правда, иногда они бывают вещими... Скажи мужу, пусть лучше любит тебя — х-ха, мои женщины спали без сновидений!

Но в глазах старика, противореча веселью слов, на мгновение вспыхивает нездешняя синь горного неба.

Неба над каменной чашей.

...Нет, всего этого человек не видел.
Он шел прочь.

2

Он понимал тщету своих поисков; понимал, отказываясь принимать. Строители гробницы поработали на совесть, не оставив лазеек. И все же... он просто не умел по-другому, вслепую тычась в стены, ища несуществующий выход, загоняя панику в самый дальний угол рассудка, изнемогшего в борьбе с самим собой.

А значит — еще оставалась надежда.

* * *

Он нимало не удивился, когда в какой-то чайхане услыхал: завтра в столицу с докладом приедет Худайбег аль-Ширвани, соратник покойного аль-Мутанабби, а сейчас — наместник эмира в Харзе. Человек уже неделю ждал приезда того, кто раньше был известен ему под кличкой Дэв. Он знал: Худайбег приедет. Не нужно открывать Ал-Ребаты или добираться с попутным караваном в Харзу. Дэв едет к нему сам.

И при этой мысли по коже странника пробегал озноб. Он боялся не слепоты во взгляде бывшего друга. Что, если кто-то снова начал исподволь подсовывать ему желаемое? Не труди ноги, бывший

шах! Тот, встречи с кем ты ищешь, сам спешит к тебе — о радость!

Ты получишь желаемое!

Совпадение? — с некоторых пор человек весьма подозрительно относился к подобным совпадениям.

Въезд наместника Харзы в столицу был обставлен, как и следовало ожидать, куда скромнее парадного выезда эмира. Зато сам наместник гордо ехал впереди свиты, состоявшей из двух десятков «Вороноголовых» на пегих иноходцах.

Сам Дэв красовался на гнедом жеребце-гиганте, чьим отцом был скорее слон, нежели конь. Левая рука наместника играла посеребренной уздечкой, в правой он сжимал до боли знакомую «Сестру Тарана», ставшую, похоже, символом его правления. Дэв заметно постарел, буйную гриву обильно припоротила седина — однако весь его облик по-прежнему дышал первозданной мощью сказочного богатыря. Но это была вполне человеческая мощь, и даже лоб, изрядно нависая над пронзительной голубизной взора, принадлежал сыну Адама, а не обитателю Мазандерана.

Фарр-ла-Кабир умер — и вместе с ним умерло проклятие, тяготевшее над «небоглазыми».

Худайбега аль-Ширвани встречали. Его приветствовали. Как-никак, живая легенда, соратник самого аль-Мутанабби, наместник двух эмиров подряд! Однако толпа зевак, выстроившихся вдоль улицы, была достаточно редкой, чтобы человек смог без труда пробраться в первый ряд.

Наместник Харзы не глазел по сторонам. Он был преисполнен важностью своей миссии и погружен в размышления о предстоящем докладе эмиру; праздная толпа его не интересовала.

Человек понял: Дэв сейчас попросту минует его, даже не заметив — тем дело и кончится. Поэтому,

не раздумывая, сделал единственное, что мог сделать, обратив на себя внимание наместника: вышел на середину улицы и встал, загораживая путь процессии.

Глядя прямо в голубые глаза седого «пятнадцатилетнего курбаси».

Это было глупо. Это было настолько глупо, что наместник наконец очнулся от государственных дум.

И наглому бродяге достался удивленный взгляд.

Человек молчал. Он уже знал: взывать к памяти, к прошлому, в котором они сражались бок о бок, бессмысленно. Худайбег либо вспомнит сам, либо...

Придержав коня, наместник смотрел на наглеца: сперва недоуменно, потом все более пристально. Тень сгущалась в глубине голубых колодцев, смутно ворочалась в душе бывшего Дэва — еще, еще немного, еще несколько мгновений, и...

— Вон пошел, бродяга! Мыши плещь проели?! — у наместника на дороге стоять?!

Удар камчи обжигает спину, гнет к земле крылом урагана — а с боков уже наезжают, теснят лошадьми всадники свиты. В толпе рождается смех: поделом дураку! Человека отшвыривают прочь, вдогонку на прощание огрев копейным древком.

Путь свободен!

Наместник может ехать дальше.

— А ведь похож... — бормочет себе под нос Худайбег аль-Ширвани, и медленно гаснут на лице наместника голубые угли. — Нет, действительно похож...

Соратник покойного аль-Мутанабби трогает повод. Он едет дальше, ко дворцу, выбросив из головы нелепое происшествие... выбросив... е рабб, да выбросив же, чтоб тебя!

Сердце колотится взбалмошным зверьком, и еще: почему-то хочется умереть за кого-то.

Умереть.

Хочется.

Мертвых не существует — щекочет сознание на-
местника Харзы странная мысль.

3

На западную окраину города он попал случайно.

И у высокого дувала остановился случайно — внимание привлекли траурные полотнища синего и лилового атласа, наискось переброшенные через верх.

Странно: хора плакальщиц и воплей родственников, предающихся скорби, слышно не было.

— Кто умер? — без особого интереса спросил Абу-т-Тайиб у древней старушки, что сидела у ворот на остроганном чурбачке.

Его мало интересовало, кто умер.

Мертвых не существует.

Совсем.

— Кобланчик помер, странничек... — ласково прошамкали старушечьи губы. — Внучок мой... только он не помер ишшо, помирает себе, помирает, который день как помирает, странничек...

Слово «помирает» старушка произносила вкусно, со значением. Так говорит влюбленный о предмете своей страсти или пьяница — о вине.

— Кузнец? Кузнец Коблан?!

Что-то исподволь шевельнулось в душе поэта, тайная, давняя струнка зазвенела тихим звоном: воробышек-кузнец, могучие подмастерья-мариды... доспех...

— А ты небось знал его, странничек? Внучка моего?

— Знал, бабушка.

— Так зашел бы, проводил... не сегодня-завтра

отмучается, внучок-то! Тебе б там лепешечек сунули, мясца кус... Ворота вторую недельку без запора, входи, кому душа велит!

И в сопровождении ковыляющей старухи поэт пешком вошел во двор — куда некогда въезжал на лихом коне, шахом Кабира, с эскортом тургасаров.

Было?

Не было?

Сперва он по старой памяти направился в кузню, но предупредительное шамканье за спиной остановило поэта. И впрямь: не у горна ведь лежать умирающему? Хотя такой упрямец, как воробышек с глоткой матерого льва... Этот и при смерти на своем настоит. А в дом отчего-то идти не хотелось. Абу-т-Тайиб взошел было на айван, затоптался на веранде меж колоннами из ошкуренного тополя, думая повернуть обратно — но навстречу уже грузно шагал мохнорукий исполин, на голову выше поэта и вдвое шире в плечах.

— Правнучек это, Кобланчик-младшенький, — бормотнули из-за спины. — Ты его не боись, странничек, он только с виду страшенный, а так мухи не обидит, правнучек-то мой...

Словно задавшись целью опровергнуть высказывание прабабки, исполин походя пришелепнул муху на перилах.

Но пришелепнул с одного удара, не обижая — это старуха верно заметила.

— Ты, значит... — утробный бас Кобланчика-младшенького был под стать рыку Кобланчика-старшенького, но гораздо больше подходил к его могучей стати. — Ты, значит, странник... ты заходи, значит. Помолись за родителя моего. Скажешь потом — накормят. Значит, так и разумей, что накормят...

И веранда сотряслась, когда он затопал дальше — в сотый раз распорядиться насчет лекарей.

Безнадежно, значит, да совесть велит.

Абу-т-Тайиб вошел в дом. Там было многолюд-

но, шепоток сквозняком гулял от стены к стене, бродил коридорами, перемежаясь редкими всхлипами; женщины украдкой прятали лица в передники, мужчины сдержанно говорили о пустяках. Пахло едой, снадобьями, человеческим потом; и еще — смертью.

Поэт не стал говорить этим людям, что мертвых не существует.

Он протолкался к запертой двери в соседнюю комнату, плохо понимая, зачем он это делает. Потом сразу дверь открылась, больно ударив в грудь краем створки, и оттуда бочком выбрался сухонький лекарь-хабиб с лицом престарелого младенца. Он уставился на поэта и развел ручками: дескать, все в воле Творца! Будем надеяться... надеяться... будем. Поэт кивнул; потом глянул через плечо хабиба. В глубине комнаты, на смятом ложе, лежала мумия: крошечная, сморщенная, туго обтянутая пергаментной кожей. На лице-черепе мумии лихорадочно горели впадины глаз: жаркое пламя души истово рвалось на волю из вонючего склепа.

Этот огонь опалил сознание Абу-т-Тайиба, как если бы поэт живьем сунулся в пылающий горн, сунулся в тщетной надежде быть перекованным из человека в меч.

Мумия на ложе захрапела умученной лошадью, задергалась, и рядом всполошились сиделки. Одна из них — видать главная — склонилась к мумии, оттопырила себе ухо ладонью, вслушалась в еле слышный хрип былого горлопана...

— Давайте странника-то! — крикнула она минутой позже. — Сюда давайте! Дядь Коблан просит!

Абу-т-Тайиба сильно толкнули в спину, и ноги сами сделали два-три шага, переступив низкий порожек.

Подойдя к ложу, поэт остановился, глядя на умирающего и теряясь в догадках: что делать? о чем говорить? молиться?!

— Ты пригнись, странничек, — шепнула сиделка. — Пригнись к дядь Коблану! Он говорить хочет... да язык костяной. Авось услышишь...

Абу-т-Тайиб послушно нагнулся.

Сперва он услышал только страшное сопенье. Воздух клокотал в глотке мумии, клокотал слабо, усталым варом, выходя вместо слов пузырями.

— Д-до... — лопнул один пузырь, обдав поэта жаркими брызгами. — Д-доспех... помнишь?..

— Помню, — больше всего Абу-т-Тайибу хотелось бежать отсюда. Ноги, ноги хадрамаутского верблюда, бегуна из бегунов — где вы?! Сейчас, когда в намертьво замурованной гробнице, куда заточил его изыхающий Златой Овен, обозначился крохотный просвет, мышиная нора, щелочка наружу, — поэту стало страшно.

Так узники дуреют от глотка свежего воздуха, кричат, хватают стражников за руки, моля вернуть их в привычный смрад и мрак.

Или это просто предсмертный бред?

— В-вели... туда... вместе...

— Про какой это он доспех? — Спрашивая сиделку, Абу-т-Тайиб втайне надеялся, что та выставит странника-нахала прочь. Ишь, человек душу отдает, а этот прилип реppем с вопросами!

— Про эмирский доспех. — Оказывается, Коблан-младшенький успел вернуться и теперь стоял с поэтом бок о бок. — Родитель мой самому аль-Мутанабби латы ковал, значит... было дело. А потом эмир доспех вернул, да со значением: дескать, мир на земле, пусть хранится у того, кто делал! По сей день, значит, в сундуке бережем...

— В-вели... туда...

— Тебе, значит, показать хочет? — спросил Коблан-младшенький у поэта и, не дожидаясь ответа, кивнул сам себе. — Просьба умирающего — закон. Эй, кто там — носилки! Пусть порадуется, значит, родитель... эх, Коблан-ата!..

В кузне было прохладно. Молчал горн, скучали без дела мехи, дожидаясь подмастерьев, масляно отливали в углу молоты и клещи. Носилки втаскивали осторожно, стараясь не потревожить мумию, бывшего человека, которого вскоре уже не потревожит ничто из тревог земных.

По приказу исполина из кладовки вынесли сундук, поставив его прямо на холодную наковальню.

— В-в... в-во двор...

Пришлось с той же осторожностью тащить носилки обратно во двор; следом сын умирающего вместе с коренастым бородачом несли сундук.

Все, кто был в доме, к этому времени толпились здесь, на открытом пространстве: недоумение во взглядах, губы роняют слова, будто крошки, мигом разбираемые любопытными пичугами, мужчины чешут бороды, женщины шушукаются втихомолку, обсуждая и осуждая суетную похвальбу кузнеца. И было б перед кем?! — перед бродягой с большой дороги!..

На старушку, пригласившую удивительного странника, глядели с опаской.

Носилки примостили на дощатой тахте в тени чинары, сундук опустили напротив, прямо на землю. Со стороны это напоминало погребальный обряд каких-нибудь диких зинджей: покойника таскают туда-сюда, без видимого смысла и цели, ожидая то ли чуда, то ли вовсе Страшного Суда...

— О-о... открой...

Коблан-младшенький откинул крышку, распахнув перед людьми чрево сундука.

Внутри лежал доспех; зародышем в материнской утробе. Густо смазанный зигировым маслом шлем со стрелкой, защищающей переносицу; вороненые наручи и оплечья, подбитые двойным бархатом, меж слоями которого для упругости был уложен конский волос; пояс, густо усыпанный стальными

бляхами; наколенники, сетчатый полог с разрезами; латная перчатка была одна.

Левая.

Но не это бросило поэта в холодный пот.

Сзади о чем-то шептались незнакомые люди, беззастенчиво орала ворона в ветвях чинары, звон невидимых цикад оглушал, а поэт все смотрел и не мог оторвать взгляда от зерцала панциря, уложенного по центру.

С зеркальной глади металла, нагло врезаясь в его плоть бороздками гравировки, Абу-т-Тайибу в лицо ухмылялся череп со спиральными рогами.

Мертвая баранья голова.

Неужели они не видят? Неужели они по-прежнему слепы, и зрячие здесь лишь двое: он, неприкаянный рифмоплет, дважды похороненный и дважды воскрешенный не волей Аллаха, но причудой ходячего кебаба — и еще проклятая скотина, которой он собственоручно свернул шею?

Выходит, зря?!

— С-со... с-сохранил я... сберег...

Поэт ухватился за еле слышный шепот умирающего, как хватается тонущий за брошенную ему веерку. Вытер лицо рукавом, вздохнул полной грудью. Переждал, пока сердце угомонится, уимет лихорадочный стук.

И стал рыться в дорожном хурджине.

Все ахнули, когда странник извлек наружу латную перчатку, родную сестру-близнеца той, что безмятежно дремала сейчас в сундуке.

Только сестра была правая.

Абу-т-Тайиб еще немного постоял над сундуком, собираясь с духом; зачем-то надел свою перчатку на руку, снял, скрежетнул ногтем по кольчатой чешуе... Поэт был сейчас похож на фариса-рыцаря Запада, когда те бросают вызов врагу — и брошенная перчатка полетела прямо в морду Златого Овна.

В ухмылку.

В оскал.

В сундук.

Свой выбор — в чужой.

Звонко ударившись о поверхность панциря.

Абу-т-Тайиб страшно рассмеялся и стал расчехлять чанг, купленный им у чернявого.

— Д-да... — хрюпала мумия на носилках. — Д-да... т-так его...

И ни у кого из присутствующих не повернулся язык сказать, что негоже при умирающем струны драть.

Примерзли языки.

— Ты почтил меня великой честью, Коблан-мастер, — мумия замолчала, внимая; лишь полыхали бешеные глаза с пергамента лица. — Великой честью. Я отплачу тебе единственным, что имею: песней. И думаю, тогда мы будем наконец квиты — ты и я. А вместе с нами и тот, кто всегда стоял между такими, как мы.

— Песня, значит, — буркнул Коблан-младшенький, тщетно пытаясь вникнуть в загадочные речи странника, и обвел людей строгим взглядом — хотя и так никто не собирался перечить. — Песня, это ладно... родитель любил... раньше. Хоть и... ну да ладно. А чья песня-то, значит?

— Моя.

— А слова, значит? Слова-то чьи?

— Аль-Мутанабби.

— А зовется как? Название, значит?

— Касыда о взятии Кабира.

И чанг плеснул в людские лица буйным хиджазским напевом.

4

...помню: жаркой требухою, мертвым полем под сохою,
Выворачивалась площадь, где пехота бой вела.

Помню башню Аль-Кутуна, где отбросили к мосту нас,
И вода тела убитых по течению влекла...

Ты обложил меня со всех сторон, Златой Овен, рогатый пастырь; даже приняв смерть от моей руки, ты бродишь за мной неуспокоенным призраком — и блеешь во тьме, смеясь над безумным поэтом! Ты спрятался от меня в гибельной мгле, которую я сам даровал тебе; теперь мне не достать, не дотянуться, не ухватить за глотку барана, раздающего милостыню направо и налево со щедростью владыки владык! О фарр-ла-Кабир, единственное, что ты не смог вплести в ткань своей изысканной шутки, — это кровь моего сердца, стрелы моего колчана, мои слова, рожденные из тех глубин, куда я сам редко осмеливался заглянуть... Все ложь: побходы и завоевания, падения и взлеты, годы и фарсанги расстояний, имена и клички — все в мире ложь, кроме этого!

Спасибо тебе, Златой Овен. Низкий поклон, ибо без тебя я никогда не достиг бы понимания простой истины: можно возвести гробницы и дворцы, обойдясь без каменотесов или зодчих, можно воскресить мертвых и похоронить живых, швыряя жизнь со смертью игральными костями, путая чет с нечетом; но нельзя заставить кабирских чангиров петь мои песни, если я, я сам, не захотел отдать им эти песни!

Это единственное, что поэт может сделать сам, и только сам!

Я благодарен тебе: ты делал меня владыкой, упрямо и самозабвенно, пытаясь уподобиться Творцу, ты лепил меня-нового из глины власти, чтобы я остался прежним.

Спасибо — и прости.

Я убью тебя снова.

Навсегда.

...помню горький привкус славы, помню вопли
конной лавы,
Что столицу, как блудницу, дикой похотью брала.

Помню, как стоял с мечом он, словно в пурпур
облаченный,
А со стен потоком черным на бойцов лилась смола...

Ты травишь меня сворой псов-подробностей,
Златой Овен, все за тебя — правда и ложь, быль и
небыль, мой сын, которого я не зинаил, мои походы,
которых я не совершил, мои сподвижники, ги-
бель которых я видел собственными глазами! Я —
никто, я меньше, чем никто, и нет у меня орд, спо-
собных обвалом рухнуть с Белых гор Сафед-Кух на
твои твердыни, о вожак стад! — нет и свидетелей,
способных обвинить тебя на высшем суде, ибо Гур-
гин далеко, а остальные безнадежно немы, кроме
этого умирающего кузнеца, чье существование —
прах под зимним ветром!

Я брошу по твоим пастбищам неприкаянным
призраком, погибшей душой, стеная о том, что
ушло прошлогодним снегом; я вновь добрался бы
до Мазандерана, я вновь свернул бы тебе шею, если
бы знал: это хоть что-то изменит!

И все-таки я возьму Кабир.

Сам.

Здесь и сейчас.

...воля гневного эмира тверже сердцевины мира,
Слаще свадебного пира, выше святости была...

Они слушают меня, открыв рты, они внимают
тому, что выше нас, выше всех, выше мавзолеев и
тверже гранита, они берут твой Кабир вместе со
мной, заново — посмотри в их глаза, мертвый череп!
Посмотри и ухмыльнись, если сможешь! Там клуба-
ми плещет дым горящей столицы, там сшибаются
всадники, там в стенном проломе боятся последние
защитники Кабира, и вой гургасаров перекрывается
визгом бедуинов Антары Абу-ль-Фавариса; их
взгляды полны огня и стали, бешенства и ярости, их
взгляды — зеркала, их души — зеркала, их жизнь,
исковерканная тобой, — зеркало, где теперь отража-
юсь я-настоящий, я-живой, я-подлинный...

Моя прихоть равна твоей, о Златой Овен, потому
что я стою ныне на своей земле, и не баранам гнать

меня прочь, туда, где мы все презренно равны: рогатые и безрогие!

Я возьму твой Кабир.

Сам.

...над безглавыми телами бьется плакальщицей пламя,
Над Кабиром бьет крылами Ангел Мести, Ангел Зла,

Искажая гневом лица, вынуждая кровь пролиться —
Плачь, Златой Овен столицы, мясо бранного стола!

Звени, чанг — оружие превыше мечей, господин превыше венценосцев, истина превыше летописей или памяти; звени, пой, опускайся ятаганом на холку проклятой твари, даже если я льщу сам себе несбыточной надеждой, и все мои упования — льдинка на полуденном солнце!

Обманывая сам себя — я все равно обманываюсь сам.

Сам.

* * *

...старый Коблан прожил еще три с половиной дня.

Все это время Абу-т-Тайиба не отпускали: самая лучшая еда, самое мягкое ложе, любая одежда, золотые динары, лишь пожелай он, были бы к его услугам. Во двор с утра набивались толпы людей — забыв о смерти, забыв о скорби, они приходили слушать, и пламя души умирающего все жарче горело во впадинах глазниц.

Тело уходило без боли и сожаления.

Кузнец умрет, произнеся всего два слова.

— Ш-ш... ш-шахский дар, — скажет он, и отойдет к праотцам с улыбкой.

Все решат, что покойный имел в виду доспех, оставленный ему первым эмиром кабирским.

А Абу-т-Тайиб лишь кивнет и закроет умершему глаза.

Наутро поэт оставит дом Кобланов, попрощает-

ся у ворот со старушкой, а потом зашагает себе дальше.

По эмирату, от барханов Верхнего Вэя до масличных рощ Кимены.

Он никогда и никому не скажет, что в свою последнюю ночь, проведенную у кузнеца, он тайком ходил в кладовку.

Туда, где хранился драгоценный сундук с латами.

Крышка откинулась без скрипа.

Вместо бараньего черепа по зерцалу панциря вилась ровная вязь; две строчки.

Бейт из «Касыды о мече».

Живой, я живые тела крушу, стальной,
ты крушишь металл —
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!..

Поэт закроет крышку.

Мертвых не существует.

Совсем.

Глава пятнадцатая,

*подлежащая было усекновению по причине отсутствия
ответов на вопросы, но даже Аллах (слава Ему!)
не обещал отвечать на все загадки Мироздания
(при условии, что кто-то из смертных дерзнет
беспокоить Господа миров своими наглыми
домогательствами)*

1

— Открывай, хозяин! Именем светлейшего эмира Салима! Открывай, пока мы не разнесли тут рухлядь, которую ты по недомыслию именуешь дверью!

Гулкие удары.

Брань стражников.

Испуганный голос за дверью:

— Кто вы, добрые люди? И что вам нужно в моем доме в столь ранний час?

— Оглох?! Именем светлейшего эмира и его наместника в Дурбане! Открывай, кому говорят?!

Лязг засовов, жалобный скрип петель.

И поспешный грохот тяжелых сапог — мимо едва успевшего посторониться хозяина.

Бледного коротышки в ночной сорочке и остроносых домашних каушах на босу ногу.

— Где он?! — Последний стражник задерживается в дверях, нависает над низкорослым хозяином, дышит в лицо чесночным перегаром.

— Кто, господин?

— Чангир этот, кто ж еще?

— Пусть господин простит меня, скудоумного, но я не понимаю, о ком идет речь! В моем доме нет никаких чангиров! Я честный красильщик, подати плачу исправно...

— Не болтай зря, красильщик! Лучше сразу отвечаю, где его прячешь — как бы не сожалеть потом!

— И рад бы сказать, господин — да не знаю, о ком речь! В доме только я, мои жены с детьми да еще подмастерье. Подмастерье, правда, ловок струны драть, только все больше не на чанге, а на ребабе...

— А если посмотреть с пристрастием?!

— Смотрите, господин, только я вам, как пред самим Творцом...

А в доме тем временем уже по-хозяйски топочут сапоги. Трещит мебель, возмущаясь наглостью чужих рук, голодными ртами распахиваются крышки сундуков, содержимое их бесцеремонно вываливается прямо на пол, в воздухе плавает пух из распоротой перины; и тихо причитает старшая жена красильщика.

Младшая, круглолицая бабенка с разбитной ухмылкой, молчит.

Скалится, блудница!

— Здесь! — радостно кричит один из ранних гостей. — Господин он-бashi, здесь люк под ковром!

Приводят хозяина.

— Ну что, скажешь — нет его там? В последний раз добром спрашиваю!

— Н-нет, господин...

— Открывай!

Крышка поднимается без скрипа — сразу видно, пользовались люком часто, на масло для петель не скучились, исправно мазали.

Один из стражников сунулся вниз с лампадкой в руке.

— Ага, попался!

Наружу был немедленно вытолкнут тощий паренек — востроносенький, с испуганно бегающими глазками, одетый в одно исподнее.

— Да это же мой подмастерье! — всплескивает руками красильщик и напускается на паренька. — Что ты там делал, Азизам?!

— Я... я... не надо меня в тюрьму! Не крал я те пряники! Клянусь мамой, не крал! Я деньги на прлавок положил, а тут он ко мне поворачивается и кричит: вор! держи вора! Испугался я, побежал... Не надо меня в тюрьму, не виноватый я!

Плечистый он-бashi, успев дважды стукнуться навершием шлема о низкую притолоку, только плюет с досады.

На пол.

— Заткнись, дитя разврата! — рявкает он, сам плохо понимая, кого имеет в виду: хозяина? подмастерье? всех вместе?

Злоба распирает душу сброшенным суслом.

— Эй, Саид, больше там никого нет? Хорошо смотрел?

— Хорошо, хорошо, — ворчит из подполья Саид. — Тряпки тут всякие, краска... людей нет, господин он-бashi!

— Ладно, вылезь. Пойдем отсюда.

Уже выйдя на улицу, он-бashi с досады засаживает кулаком в крайний из опорных столбов, поддерживающих кровлю айвана, заставив столб дрог-

нуть. Снова придется докладывать: упустили! А может, и впрямь не было его там?!

Стражники опасливо молчат.
Зевают, прикрывая рты ладонями.

2

— Поторопись, уважаемый! Стражники уже в доме небось! Скоро по окрестностям шарить начнут — уходить надо. Ну да нам везет, до затоки теперь рукой подать...

— Спешу, спешу, мой проводник! — весело откликнулся человек.

И действительно прибавил шагу, стараясь не отстать от провожатого.

Далось ему это с некоторым трудом: человек явно разменял полвека, был не то чтобы тучен, но гружен изрядно; и слегка припадал на левую ногу — растянул, должно быть.

Вскоре полы джуббы беглеца зашуршали среди прибрежных камышей.

Захлюпала вода под стоптанными сапогами.

— А вот и Монсур-рыболов! Ждет, молодчина... Счастливого пути, певец!

— Спасибо, добрый человек. И тебе, и красильщику-хозяину, и всем вам — низкий поклон! Ну что, Монсур, поплыли? Я, пожалуй, на весла сяду — а ты рулить будешь. Так?

— Еще бы не так! — угрюмо буркнул Монсур, помогая ступить через борт. — Ты тут нарушишь... и нагребешь...

Лодка бесшумно скользила по черной воде, рассекая носом белесую пелену, укутавшую саваном озеро Куч-Курган. Воистину: ножом мучную похлебку резать, и то проку больше! Туман расступался лениво, с неохотой — чтобы немедленно сомкнуться позади. По сторонам темнели, шурша от

зябкого ветерка, стены тростника; действительно, певец бы тут нарулил!

А Монсур, по всему видать, Озерному Деду родная душа...

Плыли не слишком долго: хитрой водяной змеи скользнули по затоке, и лодка мягко ткнулась носом в противоположный берег.

— Эх, спел бы я тебе песню, Монсур, да жаль, нельзя — у этих уши, как у ишака! — Поэт выбрался из лодки. — Может, динар возьмешь? У меня есть.

— Со святых плату брать грех, — с прежней угрюмостью ответствовал Монсур-рыболов.

Сказанные им слова странно противоречили хмурому лицу: с такой рожей не то что плату, родную мать зарезать — где мой нож?!

— Какой же я святой? — усмехнулся поэт. — Брожу себе по белу свету, песни горланю, люди слушают — вот и вся моя святость!

— Некогда мне с тобой спорить, — Монсур явно не был любителем долгих бесед. — Не хочешь святым быть — твое дело. Поторопись только. Вон там, от холмов наискось — дорога на Оразм.

— Ну, прощай тогда, шутник Монсур! Пусть рыба легко идет в твои сети, а счастье — в твою душу... Удачи!

Поэт закинул за спину видавший виды хурджин, умостил поверх зачехленный чанг — и, чуть прихрамывая, двинулся к округлым холмам, прступавшим в тумане грудями блудницами.

Где должна была лежать дорога на Оразм.

Рыболов долго глядел ему вслед. Очень долго, пока фигура певца не растворилась во мгле. Но и после Монсур еще с полчаса продолжал сидеть в лодке — оглядывался, прислушивался.

И услышал.

Стук копыт. Ближе, ближе... И вот, наполовину скрытые молочной кисеей, мимо проносятся силуэты всадников.

Конный разъезд!

Топот не успел стихнуть — а Монсур уже бежал. Он знал, куда направился поэт и куда поскакал разъезд. А еще он знал короткий путь. Он успеет, успеет перехватить, дать знак...

Тайная тропка сама легла под ноги. Мягкие ичи-ги, выменянные в свое время у неразговорчивых, как и сам рыболов, горцев Озека и предусмотрительно надетые сегодня, делали шаги бесшумны-ми, и не надо было осторожно красться, стараясь не выдать себя, не надо было терять драгоценное вре-мя.

В последний раз Монсур бегал так, во весь дух, ребенком — спасаясь от девок Озерного Деда, пад-ких на заблудших молокососов.

На миг ему показалось: на склоне ближнего холма мелькнула фигура с хурджином за спиной. Рыболов прибавил ходу, но проклятый туман перед ним заклубился, потек киселем, чтобы минутой позже начать редеть, истончаться — и, добежав до гряды, Монсур увидел: впереди никого нет.

Холмы здесь заканчивались, дальше начиналась обещанная дорога, на которую как раз выезжал из-за поворота давешний разъезд. Выезжал, бросив го-рячить коней: за кем гнаться, почтенные?! Место здесь открытое, спрятаться невозможно... а на доро-ге пеший от конного и без скачки не уйдет.

Только нет его, пешего-то!..

Рыболов на всякий случай обошел холм кругом. И от всадников подале, и оглядеться не грех. Нико-го. Чудеса, да и только!

«А ведь верно — чудеса!» — дошло вдруг до Мон-сура.

Даром, что ли, в народе считают этого человека святым? — а то и вовсе самим Абут-т-Тайибом аль-Мутанабби, вернувшимся с того света...

Выходит, прав был он, Монсур! Как есть святой! Исчез — и поминай лихим помином! Теперь понят-

но, почему его уже два года не может изловить вся эмирская конница, вся эмирская рать!.. Одно неясно: если он, Монсур, прав, значит, святой был не прав, споря с ним? Что ж это получается?!

Прав, не прав... чудны дела твои, Отец Небесный!

3

— Мой повелитель! Владыка Ночи докладывает — этому человеку опять удалось уйти! Владыка Ночи обещает приложить все усилия, но пока...

— Да что ж он, в самом деле святой?! Чудотворец?! В который раз... — Эмир Салим не закончил фразу. Оставил трон, прошелся по зале, время от времени косясь на распростершегося ниц вазирга.

— Матери моей докладывал? Ее ведь затея... — Эмир остановился напротив вазирга, покачиваясь с пятки на носок и обратно.

— Нет еще, мой повелитель. Нахид-хатун сейчас очень занята — к ней привели очередного чангира. Он утверждает, будто знает две касыды вашего великого отца, которые до сих пор не звучали в стенах дворца. И Нахид-хатун распорядилась...

— Понятно. Можешь не докладывать — сам знаешь, что за дурные вести бывает... Или напомнить?

— Как будет угодно моему...

— Ладно, иди.

Когда пожилой вазирг, пятясь и кланяясь, покинул тронную залу, эмир Салим снова прошелся от стены к стене. Задумчиво взял с золотого подноса гроздь винограда — кименский «калинджари», черной смолы, с тонкой кожицей... любимый виноград эмира.

Бросил ягоду в рот, постоял и скривился: дар лозы, подобного которому не найти в обитаемых четвертях земного круга, горчил.

Или дело не в винограде?

Слухи пестрыми гадюками поползли по эмирату около двух лет назад. Поначалу внимать им казалось глупей глупого. Ну, объявился какой-то бродячий чангир; ну, поет на площадях касыды покойного владыки, казалось бы, безвозвратно утерянные. Ну и пусть поет! Небось старые записи раскопал. Или сам когда-то ходил в походы под началом славного завоевателя — там и услышал, запомнил. Почему только раньше не объявлялся?

Впрочем, подобная ерунда меньше всего интересовала эмира Салима. Что, других дел в державе нет, кроме как бродячих чангиров отлавливать?!

Отца этим не воскрешишь...

Однако царственная матушка эмира крайне заинтересовалась новой молвой. А когда слух ее усладили дюжиной песен, приписываемых покойному супругу, в исполнении других чангиров — Нахидхатун неожиданно щедро одарила певцов. И распорядилась привести к ней того, который... в общем, ясно. Прихать стареющей женщины? Почему бы и нет? Возможно, таинственный бродяга был знаком с ее мужем, воевал бок о бок — славно вспомнить молодость, услышать рассказы и песни из первых уст...

Для кого прихать, а кому — беготня от заката до рассвета, и от рассвета до заката в поисках чангира, оказавшегося воистину неуловимым! Слуги с ног сбились, пытаясь найти певца — однако тот как в зыбучий песок канул!

Чтобы вскоре объявиться в Хаффе, затем в Мэйлане, Верхнем Вэе, после — в Харзе, в Бехзде...

А потом к эмиру явился с докладом Владыка Ночи, начальник столичной стражи — и правая рука Господина Приговоров, вазирга западной стороны трона. Владыка Ночи был неглуп, очень неглуп, дело свое знал и имел нюх охотничьего пса на

беспорядки и волнения, когда смута находилась в самом зародыше.

Доклад был подробным — но оттого еще более странным.

Владыка Ночи не поленился собрать все донесения из разных уголков эмирата о появлении там искошего чангира, поющего касыды аль-Мутанабби. Затем бдительный блюститель опор власти сопоставил даты сообщений, расстояния между указанными в них городами... и решил, что кто-то сошел с ума! Или он сам, или его осведомители, или весь мир разом!

Замеченный в Мэйлане, певец никак не мог неделю спустя объявиться в Харзе! Даже если скакать день и ночь, ежедневно меняя лошадей на свежих — все равно, от Мэйланя до Харзы около месяца пути! Добраться быстрее просто не в человеческих (и не в конских) силах!

Разумеется, оставалась возможность ошибки, и в Мэйлане касыды покойного эмира пел один человек, а в Харзе — другой. Именно об этом в первую очередь и подумал Владыка Ночи. Однако, сравнив описания внешности чангира из разных донесений, он пришел к выводу: человек был один и тот же. Одежда, телосложение, шрамы на горле и на скуле, недостача пальцев на левой руке, что отнюдь не мешало бродяге ловко управляться с чангом, — донесения сообщали обо всем этом в один голос!

Столь совершенных двойников не сыскать даже среди братьев-близнецов — в последнем Владыка Ночи был уверен.

Затем всплыла очередная несуразица во времени, следом явились ее родная сестра, хихикая втихомолку: от Кимены до Хафы бродяга добрался за день; не иначе, одолжил летучий хурджин у Ушастого демона У!

И тогда Владыка Ночи забеспокоился всерьез. Дело попахивало колдовством или явлением свято-

го — никаких других объяснений происходящему не было!

Слухи тем временем ширились, обрастили истинными или на ходу выдуманными подробностями: в народе шептались, что смерть аль-Мутанабби была подлогом, сыновним бунтом против отца, и вот теперь отец возвращает людям свои стихи, бездарно утерянные глупцами! Или нет, смерть есть смерть, но Творец отпустил поэта-воина из райских пределов, вняв скорби его касыд, дабы поэт мог завершить свои земные дела; а какие именно дела — о том можно только гадать! Говорили и о новоявленном святом, и о деревенском дурачке, в коего вселилась душа первого кабирского эмира, и о...

Разное говорили.

Владыка Ночи не мог допустить, чтобы по эмирату летал колдун или святой, принимаемый чернью за покойного эмира. Слухи и так уже начали принимать опасный оборот: видать, не по отцовским заветам правит нынешний эмир, ежели отцу во гробнице не спится вечным сном!

Необходимо было принять меры. Срочные меры. А для этого Владыке Ночи требовалось разрешение светлейшего эмира Салима.

За чем он и пришел во дворец с подробным докладом.

Эмир так до конца и не поверил Владыке Ночи: склонность последнего сгущать краски возможных бед и волнений была хорошо известна сыну аль-Мутанабби. Тем не менее соответствующий фирман Владыка Ночи получил — и началась охота.

По всем правилам.

Но с единственной оговоркой: стражникам было строго-настрого велено взять певца *только живым*, не нанося ему телесных повреждений. И под конвоем препроводить в Кабир, пред светлы очи эмира и вдовствующей Нахид-хатун.

Охота началась — и продолжалась вот уже два года без малого.

Ищи ветра в поле!

* * *

— Дворцовый хабиб просит высочайшего позво-
ления войти!

— Пусть заходит.

Лекарь с порога пал ниц, и эмир раздраженно
поморщился: величие величием, но иногда надоеда-
ет. И время уходит впустую...

Перевалив за третий десяток, эмир Салим стал
чаще жалеть уходящее время.

— Вставай. Ты пришел сообщить мне о состоя-
нии здоровья моей матушки?

— Прозорливость великого эмира может срав-
ниться разве что с его же мудростью! Да, я пришел
поговорить с моим повелителем именно об этом.
К сожалению, никаких улучшений в состоянии здо-
ровья Нахид-хатун не происходит. И даже наоборот.
Стеснение дыхания усиливается, разлитие черной
желчи влечет за собой меланхолию, слабы выделе-
ния тела; вдобавок... дозволит ли мой повелитель
продолжить, ибо сам я не смею?

— Продолжай. И ничего не скрывай — я хочу
знать правду. Моя мать умирает?

— Еще нет, мой повелитель, еще нет — но все к
тому идет, и мое искусство здесь бессильно. Мне ка-
жется, сиятельная Нахид-хатун просто устала от
жизни. Ей скучно жить. Такое бывает...

— Я знаю. Думаю, ты прав. Можешь что-то при-
советовать?

— Разве что чистый горный воздух и целебные
источники Бек-Неша, мой повелитель. Вряд ли они
вернут вашей матушке волю к жизни — но могут за-
метно облегчить ей дыхание. Тогда появится на-
дежда...

— Я понял, хабиб. И поговорю со своей матушкой — возможно, ей действительно стоит отправиться в горы. Опять же, путешествие хоть немного развлечет ее. А ты, — палец эмира уперся в грудь лекаря, — будешь ее сопровождать! Слава Творцу, здесь больше нет тяжелобольных — так что твои ученики вполне управятся. Ступай!

Отпустив хабиба, эмир Салим еще долго стоял в задумчивости. Похоже, неудачи поисков и хвори-злодейки осадили крепость Нахид-хатун, приближая день сдачи. Даже стремление встретиться с удивительным чангиром исчезло. Скажем честно: касыды аль-Мутанабби распевали сейчас сотни певцов по всему эмирату, и отыскать среди них нужного — будь он хоть колдун, хоть святой... особенно если он действительно колдун или святой! Молва, словно весеннее половодье, мало-помалу вернулась в теснину дозволенного русла, опровергнув мрачные предсказания Владыки Ночи. Пожалуй, хватит гонять стражников за призраком. Есть дела и важнее!

Приняв решение, эмир хлопнул в ладоши.

Миг — и в залу вбежал юный гулям, ожидая распоряжений.

4

— Про указ эмирский слыхал? — Дюжий гончар аккуратно отставил в сторону готовый кувшин и сунул руки в лохань с мутной водой — ополоснуть.

— Не глухой, чай, — покупатель, медник с соседней улицы, придирчиво осмотрел кувшин. Не тот, что минутой ранее сошел с гончарного круга; другой, уже расписанный и обожженный. Кувшин явно глянулся меднику, но брать без торговли — обидеть мастера!

— Ну?

— Вот те и ну... Два года ловили, а теперь вдруг — на попятный? Небось нарочно указ-то огласили. Вот поверит *он*, что минула опала, бросит хорониться — тут-то *его* и возьмут за шкирку!

— Болтун ты, — ухмыльнулся гончар, отряхивая мокрые руки. — *Он* и раньше-то не больно хоронился... Возьми ветер за шкирку! А так — все верно. Зря, что ль, другим чангиром по куче монет отваливали, да с почетом отпускали? Думали, *он* клюнет, заглотит крючок! Нет уж, народ не обманешь, а *его* — и подавно!

— Точно, — медник не обиделся на «болтуна». — Народ все видит! Нам-то *он* поет, а *им* — шиш с бараным жиром!

И сменил тему:

— А скажи-ка, уважаемый, во сколько ты ценишь этот простенький кувшинчик для воды?

— Простенький?! Для воды?! — Гончар воздел руки возмущения над головой гнева. — Да в таком кувшине не стыдно подать лучшее вино на стол самому эмиру! Нет, ты посмотри, уважаемый, посмотри — тут одной росписи на динар, не считая...

Поэт, скоротав ночь в доме гончара, сидел, никем не замеченный, в дальнем углу двора, в тени приземистого аргавана, и с улыбкой слушал разговор.

Два года поисков минули, скрылись в бездне времени. Он мог уйти от преследователей в любой момент, открыв первый попавшийся Ал-Ребат, как хозяин дома открывает привычную с детства калитку. Однако поэт редко пользовался новым умением. Не раз его прятали от властей благодарные слушатели, не раз провожали задворками или тайными тропами в горах — и он не мешал этим людям спасать его. Они сами делали свой выбор, сами решались

укрывать беглеца от властей; поэт был счастлив их свободой. Счастлив чужим поступком. Счастлив... Он ничего не имел против эмира Салима и его слуг, но каждый раз, когда очередной гончар или кра-сильщик спасал от погони незнакомого ему чангира — сердце поэта пело от радости!

Он все-таки взял Кабир! Взял сам; как и хотел того — не мечом, но песней.

Пора подводить итоги. В последние дни поэта все чаще необъяснимо влекли горы, перевал Бек-Неш, славный целебными источниками — и обилием Ал-Ребатов, которые поэт чуял даже отсюда.

Это означало одно: пора уходить.

Пора.

5

Рыжая кобылица зари, плеща гривой, стремительно неслась в небо; еще скрытая за седыми от снега вершинами, она спешила подарить людям первые отсветы зарождающегося дня.

Матушка эмира Салима, проведя ночь в обнимку с удушьем, наконец уснула. Уснул и пожилой хабиб, до утра не сомкнув глаз у ложа Нахид-хатун.

Зато в соседних шатрах и около них вовсю кипела жизнь. Спешили за водой служанки, разжигали огонь челядинцы, то и дело норовя ущипнуть девушек за тугое ягодицы. Результат сего ухаживания поражал разнообразием: от лукавого подмигивания до звонкой пощечины.

Жизнь потихоньку вступала в свои права, потягивалась, просыпаясь — и явление немолодого чангира мало кого заинтересовало.

— Откуда взялся, странничек? — Повар у котла зевнул, пытаясь скротить время беседой.

— Пришел, — лаконично ответствовал чангир, расчехляя свой видавший виды инструмент.

— Ну и шел бы дальше... — Повар без видимой

причины охладел к пустым разговорам, но его перебила подошедшая сзади служанка.

— Чего ты человека гонишь, Низам? Видно же: не вор, не разбойник! Споет нам, чтоб работалось веселее, а от твоей шурпы не убудет!

— Нашла время для песен! — напустился на девушку бдительный Низам. — Госпожа почивать изволит! Еще разбудит...

— Не разбудит! — беззаботно махнула рукой служанка. — Ты тихонько, чангир, ладно? А этого скучердяя не слушай: у него подружку один такой, как ты, увел, вот и злобствует!

Повар густо покраснел и заткнулся.

Веселая песенка о влюбленном парне и упрямой красотке, отправившей парня на край света искать ей заморские подарки, взвилась над малахитовой зеленью луга, где был разбит лагерь — и работа, как ни странно, действительно пошла веселее. Чангир спел одну песню, потом другую, третью — управляясь со своими делами, слуги собирались вокруг, садились, слушали...

— А касыды аль-Мутанабби знаешь? — с надеждой осведомился разом подобревший Низам, поднося гостю миску с дымящейся шурпой.

Чангир не ответил — просто запел:

Я любовью чернооких, упоенъем битв жестоких,
Солнцем, вставшим на востоке, безнадежно обольщен.

Только мне — влюбленный шепот, только мне —
далекий топот,
Уходящей жизни опыт — только мне. Кому ж еще?!

— ...Еще! — выдохнул повар, когда касыда кончилась и последние отзвуки струн растаяли, разбились о каменные зубцы близких скал.

— Дай ты передохнуть человеку! Шурпастынет, — немедленно встала на защиту певца давешняя служанка. — Ты ешь, чангир, угощайся... А потом еще споешь?

— Угу, — с набитым ртом кивнул певец.

По всему было видно: человек успел изрядно проголодаться, и дважды упрашивать его отведать шурпы не пришлось.

Почти сразу в шатре Нахид-хатун раздался слабый возглас.

Служанка бросила глядеть на певца, охнула, метнулась внутрь...

— Ну вот, разбудили-таки, — виновато пробормотал Низам. — Сейчас всем нагорит!

Он выразительно взглянул на чангира, но тот не понял намека или сделал вид, что не понял. Сидел, шурпу наворачивал, аж за ушами трещало!

— Добрая похлебка, — ухмыльнулся он, покончив с едой и вытирая руки о траву рядом с собой. — А нагореть — это вряд ли... Сами увидите!

Словно в ответ на его последние слова, полог шатра качнулся, и доверенная служанка поспешила к костру.

— Светлейшая Нахид-хатун желает слушать твои песни! — гордо объявила она. — Я проведу тебя в шатер, чангири.

— Мужнины стихи пой! Мужнины! — зашептали со всех сторон. — Озолотит! Иди!

— Нет, я отсюда петь стану, — неожиданно возразил певец. — И касыды не аль-Мутанабби, а Рудаки!

— Лучше делай, что говорят, — зашептал чангири прямо в ухо вездесущий Низам. — А кто такой этот твой Рудаки? — непоследовательно поинтересовался он.

— Его звали Адамом поэтов. Впрочем, это не важно. Нахид-хатун понравится — я знаю.

Бродяга встал, и голос его сразу набрал силу.

Только раз бывает праздник, только раз весна цветет, —
Взор твой, пери, праздник вечный, вечный праздник
в сердце льет!

И людям у костра послышалось, что внутри шатра тихо ахнули.

Раз в году блестят розы, расцветают раз в году —
Для меня твой лик прекрасный вечно розами цветет!

Полог шатра качнулся, как от легкого дуновения ветра.

Нахид-хатун стояла перед чангиром, судорожно вцепившись непослушными пальцами в одну из шатровых растяжек. Вдова первого эмира кабирского была далеко немолода, время дурно обошлось с былой красавицей-хирбеди, а болезнь иссушила тело, сделав его легким, почти прозрачным, готовым, казалось, взлететь при первом же порыве ветра, чтобы умчаться прочь из этой обители скорби.

И при взгляде на эту осень, на тихую пору увядания, щемило сердце, а к горлу подступал комок.

Поэт на миг запнулся, не в силах оторвать взгляда от женщины у шатра. Потом губы его шевельнулись — беззвучно, рождая слова, слышные лишь двоим:

Только раз в году срываю я фиалки в цветнике —
А твои лаская кудри, потерял фиалкам счет!

— Мерзавец! — прошептала женщина.

Слуги застыли с раскрытыми ртами, не понимая, что происходит и что им теперь делать.

— Червяк! Дождевой червяк! Проходимец!

— Да, да, Нахид! Еще! Еще! Кто я?!

...Только раз в году нарциссы украшают грудь земли —
А твоих очей нарциссы расцветают круглый год!

— Собачий сын!

— Еще!

— Мучитель!

— Кипарис — красавец гордый, вечно строен, вечно свеж,
Но в сравнении с тобою он — горбун, кривой урод!

— Палач!

— Еще! О-о, еще!..

— И еще... еще... Еще ты — поэт. Ты мой муж, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби! Где же ты шлялся столько лет, изверг?!

* * *

— Ты сказала! — Лицо поэта осветила улыбка. — Теперь я твердо знаю, кто я такой. И важно ли, где я был все эти годы?.. Пойдем. Нам пора.

Застыв идолами, поклоняться коим — грех, слуги молча смотрели, как бродяга осторожно обнимает плечи светлейшей матушки эмира Салима, как они идут прочь, дальше, дальше, по зеленому лугу — и вот луговина пуста.

Чудо?!

Лиши повар Низам успел заметить: перед самым исчезновением на том краю луга встал призрак. Зыбкий силуэт высокого старца в накидке цвета шафрана. Старец улыбался, и у ног его курилась жаровенка в форме то ли краба, то ли солнечного диска с лучами...

— Помилуй нас, Творец! Что мы скажем эмиру?! — потрясенно шепнул Низам побелевшими губами.

Доверенная служанка вдруг со всех ног бросилась в царский шатер — и мгновением позже оттуда раздались ее причитания.

Зря...

Впрочем, ведь служанке покойной Нахид-хатун никто никогда не говорил, что мертвых не существует.

Совсем.

ЭПИЛОГ

Я знаю мир — он стар и полон дряни,
Я знаю птиц, летящих на манок,
Я знаю, как звенит экю в кармане
И как звенит отточенный клинок.
Я знаю, как поют на эшафоте,
Я знаю, как целуют, не любя,
Я знаю тех, кто «за», и тех, кто «против»,
Я знаю все, но только не себя.

Толстый лютнист, минутой раньше одолживший наглому школяру свой инструмент, был вне себя от ярости. Даже курицу не доел — жареную курицу с гарниром из тушеноей капусты, куда подлец-трактирщик положил мало сала и много моркови. Обвислые брыли лютниста побагровели от прилива крови, а нос стал и вовсе сизым, пористым, хоть бери и запекай вместо баклажана!

Пальцы его, жирные пальцы чревоугодника — впрочем, они весьма ловко управлялись и со струнами лютни — сжимались в кулаки. Вот огреть бы по уху шалопая, огреть смачно, всласть, чтоб слова скомкались у него в глотке грязным бельем шлюхи из портовых заведений; если, конечно, у таких девок есть белье, в чем достойный лютнист изрядно сомневался.

Мерзавец!

Похабник!

Ворюга...

А школяр, знать не зная о чувствах лютниста, продолжал рвать струны, выкрикивая на всю таверну «Золотая Роза»:

Я знаю шлюх — они горды, как дамы,
Я знаю дам — они дешевле шлюх,
Я знаю то, о чем молчат годами,
Я знаю то, что произносят вслух,
Я знаю, как зерно клюют павлины,
И как вороны трупы теребят,
Я знаю жизнь — она не будет длинной,
Я знаю все, но только не себя.

Увы, негодование лютниста отнюдь не разделяли собравшиеся в таверне люди. Смеялся, слушая шко-

ляра, бродячий жонглер, чьи разноцветные штаны и лазоревая котта с нашитыми бубенцами выделялись ярким пятном в дымном чаду «Золотой Розы». Вторила смеху спутника юная акробатка, машинально стирая рукавом со щек густые румяна; за соседним столом равнодушно жевал старики-крестьянин, глухой, как пень. Требовали продолжения трое солдат в панцирях из буйволовой кожи, и вино клокотало в их глотках, а похоть горела в их взглядах, когда мимо проходила толстозадая служанка, рябая девка в засаленном чепце. Сержант поглядывал в угол, где стояли солдатские алебарды, крутил длинный ус, не мешая гульбе подчиненных — в Париже чума, в деревнях беспорядки и недород, где еще отвести казенную душу, как не в кабаке?

А школляр, из тех клириков Веселой Науки, что в любом возрасте остаются семнадцатилетними мальчишками, несмотря на выбитые зубы и седину в кудрях, все пел, вспрыгнув на стол, все терзал взятую напрокат лютню костлявыми пальцами...

Я знаю мир — его судить легко нам,
Ведь всем до совершенства далеко,
Я знаю, как молчат перед законом,
И знаю, как порой молчит закон.
Я знаю, как за хвост ловить удачу,
Всех растолкав и каждому грубя,
Я знаю — только так, а не иначе...
Я знаю все, но только не себя.

И лютнист наконец не выдержал.

— Это ложь, — завопил он, привлекая всеобщее внимание. — Это жалкое подражание! Я лично — слышите? лично! — присутствовал на поэтическом турнире у герцога Шарля Орлеанского! Я собственными ушами слышал посылку, данную его высочеством: «От жажды умираю над ручьем!» И ответные баллады Жана Робертэ слышал, и мэтра Астезана, и Франсуа Вийона! И потом я слышал Вийона близ церкви Сен-Бенуа, когда он продавал «Балладу сожаления в Блуа» и «Балладу примет» по десять су за строчку! Там были совсем другие слова! Совсем дру-

гие! Как ты посмел, виршеплет, как ты... посмел...
искажать... Отдай мою лютню! Отдай немедленно!

— Лови! — Гибкий, как ивовая плеть, школляр швырнул лютню ее владельцу. — Что ж ты не купил балладу, пока шла по дешевке? Небось поскряжничал, жмот! — а теперь развонялся: «Слова! Не те слова!» Хочешь всегда одинаковых слов — женись! Небось женушка тебя одинаково звать будет, рогач ты эдакий!

— Я... — задохнулся лютнист, прижимая инструмент к дряблой груди. — Я... чтобы всякое отребье, всякий висельник...

Но школляр уже не смотрел в его сторону.

Солдаты разразились громовым хохотом, требуя, чтобы оба бездельника кулаками выяснили отношения — если, конечно, они считают себя мужчинами, а не оципанными кочетами! Служанка, являя пример женской непоследовательности, заигрывала со школяром, явно предпочитая ласки муз прелестям походной любви; а жонглер с подругой втихомолку подсчитывали дневную выручку — хватит ли заказать жбан красного?

Да еще скучал в углу темнолицый мавр, разодетый с истинно восточной пышностью, которой уж никак не место было в «Золотой Розе».

Сержант покосился в сторону мавра. Мысленно посетовал на нерасторопность испанских кабальеро, что до сих пор не успели прибрать к ногтю Гренадский эмират, а заодно и на собственного всех-ристианнейшего короля Людовика, позволяющего черномазым нагло расхаживать меж честных французов; и усы сержанта воинственно встопоршились.

Ишь, паленая кость, нехристь! — Целый экю бросил школяру через всю таверну. А тот рад статься: поймал, и к сердцу прижал, и расцеловал, голытьба...

Нам за экю больше горбатиться надобно!

Ну да ладно, будет и на нашей улице праздник; как не бывать...

Когда школьяр собрал пожитки и, вскинув котомку на плечо, пошел прочь из «Золотой Розы», сержант исподтишка показал солдатам кулак.

Большой такой, волосатый кулак, со вздутыми костяшками.

Алебарды были расхвачаны в считанные секунды, а служанке осталось только провожать мужчин взглядом: школьяр, солдаты... не жонглера ведь соблазнять?

Может, мавра?

Но темнолицый рассчитался сполна, даже с лихвой, и вскоре на долю служанки остались лишь бродячие актеры да еще глухой крестьянин, равнодушно жующий вареную репу.

* * *

Осенняя распутица влажно чавкала под ногами. Заслышав топот за спиной, школьяр проворно перепрыгнул канаву — и собрался было бежать. Увы, ноги подвели хозяина. Подломились в коленях, не удержали легкого тела; правое сабо свалилось на земль, жабой ускакал в грязное нутро канавы, и сперва деревянный башмак погрузился в жижу до половины, а там и вовсе оплыл на дно.

— Стой! — рявкнул сержант. — Стой, говорю тебе!

— Господа, господа, — заюлил школьяр, шаря по сторонам взглядом затравленной крысы; котомку он выставил перед собой, будто защищаясь. — Если вы хотите отобрать у бедняги его нечаянную удачу, последнюю монетку, брошенную судьбой в лицо славного мавра — она ваша! Если же вы намерены причинить мне зло... Господа солдаты, господин сержант, на ваших лицах я читаю добродушие и любовь к ближнему! Позвольте мне идти своим путем!

Сейчас, стоя вплотную, было видно: школьяр от-

нудь не юн. Даже не молод. Небось четвертый десяток разменял, и вряд ли меньше, чем наполовину. Сука-жизнь изрядно потрепала клирика Веселой Науки: когда он говорил, явственно обнаруживалась недостача зубов, кудри поредели, соль времени густо прступила на них, и впалые щеки говорили сами за себя. Нервные пальцы, костлявые, с распухшими суставами, сжимали котомку все теснее; так цепляется за кошель скряга, встреченный ночными шутниками. Одет школяр был бедно, плащ (явно с чужого плеча!) снизу доверху заляпан рыжей глиной; и стоя, ему приходилось кособочиться из-за потери сабо.

— Своим путем? — Сержант довольно осклабился, воняя перегаром. — Не пойдешь, соловушка — побежишь!.. полетишь...

И мигнул солдатам.

Тупой конец алебарды угодил школяру в живот. Тот согнулся, блюя недавним обедом; и древко с костяным стуком опустилось на спину в грязном плаще. Солдаты столпились вокруг упавшего, носки и подошвы сапог с сочным чавканьем, подражая распутице-распутнице, принялись месить вскрикивающее тесто; нашлось место и древкам алебард...

— Тише, парни,тише! — прикрикнул сержант на увлекшихся подчиненных. — Не до смерти... пока.

И подошел ближе, склонился над растерзанным человеком.

— Г-го... — Гусиный гогот вырвался из губ, более всего напоминавших сейчас мучные клецки, измазанные вишневым сиропом. — Г-господа... н-не надо, господа...

— Ты, грамотей, зла не держи. — В единственном глазу, который еще не утратил способности видеть, вспыхнула отчаянная надежда; и угасла, зашипев в ледяном спокойствии взгляда сержанта. — Я — человек приказа, что велено, то и делаю. Ты лучше вот что скажи: лейтенанта Массэ помнишь?

Школьяр все пытался отползти, отодвинуться; вжавшись спиной в ствол древнего вяза, он трясящейся рукой полез за пазуху.

Серебряная рыбка ножа плеснула хвостом, вздрагивая от зябкой сырости; и ухмылка опять встопорщила усы сержанта.

Солдаты дружно заржали.

— Ты, грамотей, ножиком-то не тычь, не грози... Не о ножике спрос. Лейтенанта Массэ, говорю, помнишь? Ну, того, которого ты в своих «Заветах» на весь белый свет оставил?! Сопляки голозадые — и те по сей день орут: «Не стряпчий, не судья, не граф — пускай тройной заплатит штраф Массэ, потомственная шлюха!»

И сержант скосился на подчиненных: смеяться станете — удавлю!

— Вижу, помнишь. Так ведь и он тебя помнит! Всехристианнейший король наш, Людовик, тебя простили, а лейтенант не король, он прощать не обучен...

Еще один взгляд в сторону солдат: я этого не говорил, вы не слышали!

Ясно?

Солдатам было ясно.

— Эх, грамотей, тебе б ноги делать, да подальше! — а ты ходил-бродил, и опять к Парижу потянуло! Кого куда, лису в курятник, а тебя — на лобное место. Что ж, плати, раз кредиторы объявились...

В следующую секунду бравый сержант отшагнул назад и осенил себя крестным знамением. Клянусь подвязками святой Женевьевы, ведь не было, никого не было рядом, кроме школьара и парней; вот незадача!

Из-за ствола вяза бочком выбрался давешний мавр.

Встал рядом со школьаром, чучело бородатое, одернул свою одежду — простой христианин и не выговорит, как эта пакость называется! — по-птичьи склонил голову в тюрбане к левому плечу.

— Доблестные воины, — по-французски мавр говорил гортанно, с придуханием, но вполне понятно, — оглянитесь вокруг!

Сержант завертел головой: неужто тьма мавров кругом бродит?

Ф-фу, врет, кость паленая...

Тиши да гладь.

— Оглянитесь, — гнул свое черномазый, — и ощутите на губах сладость нынешнего дня! Разве лебедь ликования не парит в облаках ваших душ при одной мысли о том, что дней таких мало в нашей жизни, как мало жемчужин, но много пустых раковин на дне морском?!

— Шел бы ты, приятель, подобру-поздорову, — сержант уже малость пришел в себя. И то сказать: являются всякие, а ты их бредни выслушивай... — Раз день по душе, так иди себе, жри на сладкое! А что за день хоть?

— О, достойный воин, это день из дней! Ведь именно в этот день, в песках близ Нумании, ровно пятьсот лет тому назад...

Мавр оказался назойлив сверх меры.

Сержант поудобнее перехватил алебарду и смерил незваного гостя взглядом.

Массэ де Орлеан строго-настрого приказал: без свидетелей!.. ну что ж, без так без, в первый раз, что ли?

— ...пятьсот лет тому назад умер в первый раз один малоизвестный поэт, рожденный в славном племени Бану Джуф! И я дал себе обет: в день сей спасти от злой участи бедную душу, будь она душой правоверного или гяура, о коих сказано в Книге Неизменности...

Сержант справедливо полагал, что в Книге Неизменности ничего не говорилось о выпадах алебардой. О тех добрых выпадах, после которых остается лишь собрать потроха и убраться в ад, где дьявол уже приготовил для мавров местечко потеплее. Опытный вояка, он даже успел заметить, как черно-

мазый ловко повернулся, пропуская мимо тяжелое лезвие; а вот когда кривой меч мавра покинул ножны — этого сержант заметить не успел.

Так и остался стоять, сжимая в руках кусок древка, чисто срубленный у самого наконечника.

Мавр кинул меч обратно в ножны и тщательно вытер сапоги о лезвие искалеченной алебарды. Острое такое лезвие; богатые такие сапоги, из отличной юфти, с кисточками по краю голенищ. Сержант ждал, и в голове его волчком вертелась дурацкая мысль: что за меч у проклятого мавра? Альфанга? — нет, та короче, и конец у альфанги обоюдоострый... Симитарра? — у этой изгиб другой. В оружейной лавке дядюшки Госсуэна по прозвищу Ослиное Ухо сержант не видел подобных клинков; а теперь и видеть не хотел.

Никогда.

Зато мысль о том, что недурственно было бы скомандовать парням... нет, такая мысль сержанту в голову не являлась.

Все-таки он был опытным человеком, этот сержант.

— Пойдем, — мавр тем временем помог школяру подняться, бережно поддерживая избитого человека. Не надо было слыть лекарем, чтоб понять: пара ребер у бедняги сломана, ибо каждый вдох давался ему со скрежетом зубовым, а выдох и вовсе шел стонами. — Обопрись о меня... вот так... а теперь пошли. И прошу: не оборачивайся...

— Господин сержант! Господин сержант! Смотрите!

Школяр все-таки обернулся.

С холма было видно плохо, слезы боли застили взор, но он сумел-таки рассмотреть: солдаты сгрудились у канавы и, неловко используя алебарды в качестве багров, выволакивают из грязи чье-то тело.

Больше он смотреть не стал.

— Ты обронил котомку, — сказал мавр, незаметно поддерживая клирика Веселой Науки за талию. — Ты обронил котомку, Франсуа. Хочешь, я подниму?

— Не надо, — ответил школьяр, пережидая головокружение. — Спасибо, добрый мавр; не утруждай себя. Я возьму сам.

Паутинки струились в стеклянном воздухе, скользя по лицам поцелуем осени, и клин журавлей рассекал небо над головами людей.

Декабрь 1997 г. — апрель 1998 г.

Литературно-художественное издание

Генри Лайон Олди Я ВОЗЬМУ САМ

Издано в авторской редакции
Художественный редактор И. Сауков
Художник А. Дубовик
Технический редактор Н. Носова
Компьютерная верстка В. Шибаев
Корректор В. Викулкина

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Подписано в печать с готовых монтажей 05.10.2001.
Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. л. 25, 2. Уч.-изд. л. 20, 8.
Доп. тираж 5 000 экз. Заказ 1645.

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс». Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.
125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, подъезд 3.

Интернет/Home page — www.eksмо.ru
Электронная почта (E-mail) — info@eksмо.ru

Книга — по почтой: Книжный клуб «ЭКСМО»
101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@eksмо.ru

Оптовая торговля:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16
E-mail: reception@eksмо-sale.ru

Мелкооптовая торговля:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1
Тел./факс: (095) 932-74-71

ООО «Медиа группа «ЛОГОС». 103051, Москва, Цветной бульвар, 30, стр. 2
Единая справочная служба: (095) 974-21-31. E-mail: mgl@logosgroup.ru
contact@logosgroup.ru

ООО «КИФ «ДАКС». Губернская книжная ярмарка.
М. о. г. Люберцы, ул. Волковская, 67.
т. 554-51-51 доб. 126, 554-30-02 доб. 126.

Книжный магазин издательства «ЭКСМО»
Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»)



Сеть магазинов «Книжный Клуб СНАРК» представляет
самый широкий ассортимент книг издательства «ЭКСМО».



Информация в Санкт-Петербурге по тел. 050.

Всегда в ассортименте новинки издательства «ЭКСМО-Пресс»:
ТД «Библио-Глобус», ТД «Москва», ТД «Молодая гвардия»,

«Московский дом книги», «Дом книги на ВДНХ»

ТОО «Дом книги в Медведково». Тел.: 476-16-90
Москва, Заревый пр-д, д. 12 (рядом с м. «Медведково»)

ООО «Фирма «Книинком». Тел.: 177-19-86

Москва, Волгоградский пр-т, д. 78/1 (рядом с м. «Кузьминки»)

ООО «ПРЕСБУРГ», «Магазин на Ладожской». Тел.: 267-03-01(02)
Москва, ул. Ладожская, д. 8 (рядом с м. «Бауманская»)

АООТ «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.



*Любите читать?
Нет времени ходить по магазинам?
Хотите регулярно пополнять домашнюю
библиотеку и при этом экономить деньги?*

**Тогда каталоги Книжного клуба
“ЭКСМО” – то, что вам нужно!**



Раз в квартал вы БЕСПЛАТНО получаете каталог с более чем 200 новинками нашего издательства!

Вы найдете в нем книги для детей и взрослых: классику, поэзию, детективы, фантастику, сентиментальные романы, сказки, страшилки, обучающую литературу, книги по психологии, оздоровлению, домоводству, кулинарии и многое другое!

Чтобы получить каталог, достаточно прислать нам письмо-заявку по адресу: **101000, Москва, а/я 333.**

Телефон “горячей линии” **(095) 232-0018**

Адрес в Интернете: <http://www.eksмо.ru>

E-mail: bookclub@eksмо.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЭКСМО

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СЕРИЮ
«НАШИ ЗВЕЗДЫ»

Классика современной
российской фантастики

Здесь – встреча далекого будущего и реального настоящего.

Здесь решаются судьбы галактических цивилизаций и всей Вселенной.

Мастера фантастики ведут читателя навстречу звездам Вселенной.

И звезды обязательно будут нашими!



НОВИНКИ ЛЕТА '2001:

A. Калугин "Точка статуса"

Все книги объемом 500-750 стр., твердый, целлофанированный переплет, шитый блок.

Книги можно заказать по почте:

101000, Москва, а/я 333. Книжный клуб ЭКСМО.

Наш адрес в Интернете: <http://www.bookclub.ru>

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЭКСМО

ПРЕДСТАВЛЯЕТ



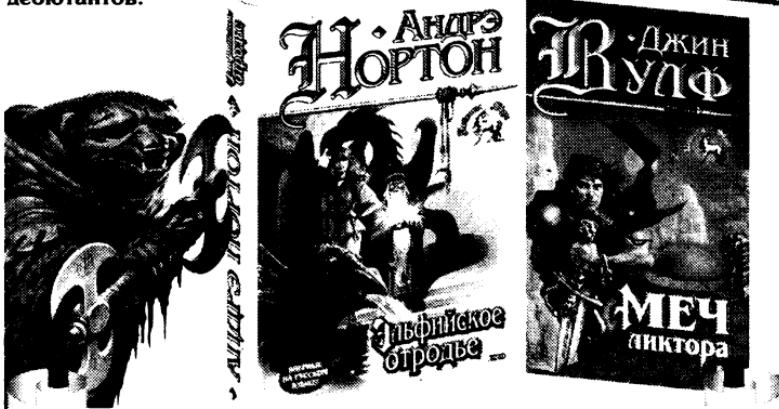
СЕРИЮ

Знак Единорога

Если Вы любите "старую добрую фэнтези", сделанную в классических традициях жанра, то "Знак Единорога" - это Ваша серия!

Знаковые книги знаковых авторов, таких как Джон Р. Р. Толкиен, Урсула Ле Гуин, Роджер Желязны, Дэвид Эддингс, Фред Сааберхаген, Гай Гэвериел Кей - это гарантия ненапрасной траты денег и времени.

"Знак Единорога" - это не только проверенная временем классика, но и новинки от мастеров фэнтези и талантливых дебютантов.



НОВИНКИ ЛЕТА'2001:

- А. Нортон "Серебряная снежинка"
Д. Эддингс "Хроники Тамула"
"Огненные купола"
"Сияющая цитадель"
"Потаенный город"

Все книги объемом 500-650 стр., твердый, целлофанированный переплет, шитый блок.

Книги можно заказать по почте:

101000. Москва, а/я 333. Книжный клуб ЭКСМО.

Наш адрес в Интернете: <http://www.bookclub.ru>

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЭКСМО

ПРЕДСТАВЛЯЕТ



СЕРИЮ
АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ

Острожетная фантастика
высшего качества.

Только новинки от отечественных
мастеров жанра!

- Прорыв сквозь пространство и время
 - Встречи с обитателями других цивилизаций
 - Сражения на земле и в космосе
Что обязательно понадобится
при этом?
- АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ –
без него в такие приключения
лучше не пускаться!



НОВИНКИ ЛЕТА 2001:

В. Головачев "Криптозой"
А. Калугин "Два шага до горизонта"
Ю. Брайдер, Н. Чадович "Гражданин преисподней"
А. Лютый "Рабин Гут"

Все книги объемом 450-700 стр., твердый, целлофанированный переплет, шитый блок.

Книги можно заказать по почте:

101000, Москва, а/я 333. Книжный клуб «ЭКСМО»
Наш адрес в Интернете: <http://www.bookclub.ru>

СЕРИЮ
**«РОССИЙСКАЯ БОЕВАЯ
ФАНТАСТИКА»**



Если вам надоели серые будни, вы не утратили тягу к приключениям и верите в то, что человечество наконец вырвется на просторы Галактики, то эта серия – для вас!

Кровавые схватки в глубинах Космоса, коварные пираты, отважные рыцари звездных дорог, зловещее сияние смертоносных лучей бластеров, встречи с обитателями далеких планет ждут вас на страницах этих книг.



НОВИНКИ ЛЕТА'2001:

М. Симонова, Д. Кравцов "Одержимые бессмертием"
Н. Гуданец "Нарушитель"
И. Гетманский "Звездный наследник"

Все книги объемом 500-700 стр., твердый, целлофанированный переплет, шитый блок.

Книги можно заказать по почте:
101000, Москва, а. я. 333, Книжный клуб «ЭКСМО»
Наш адрес в Интернете: <http://www.bookclub.ru>



ISBN 5-04-004341-4



9 785040 043415 >